

4

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1986

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

4

1986

ГОСКИНО СССР
МОСКВА • 1986

- 3 *С. Кармалита*
МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ
- 26 *А. Свиридова*
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ
- 44 *И. Васильева*
В ПОИСКАХ ЛЮБВИ И ОТВЕТА
- 63 *Э. Володарский*
ШАНТАЖИСТ
- 88 *Н. Кожушаная*
ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
- 104 *В. Кунин*
КЛАД
- 124 *В. Романов*
ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО?
- 140 *Ю. Николин*
РОЛЬ
- Из архива мастеров
- 160 *В. Крепс*
РАЗБЕГ
- Сценарий короткометражного фильма
- 185 *В. Черных*
КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ЭПОХЕ

Редакционная коллегия:
О. АГИШЕВ, С. АНТОНОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
С. ЖГЕНТИ, Е. КЛЕЙНЕР (отв. секретарь), В. СОЛОВЬЕВ,
В. СЫТИН, В. ТРУНИН

Номер подготовили к печати:
О. ГОРБАЧЕВА, Н. РЮРИКОВА,
Т. ПОКРОВСКАЯ, М. СЕРГИЕНКО

Технический редактор Л. РЯБЫКИНА

Корректор И. ШАРАЕВСКАЯ

Младший редактор Т. ЕРМОЛОВА

В/О «Союзинформкино»

Сдано в набор 06.08.86. Подписано к печати 30.09.86. А05403. Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32 (обл.).
Уч.-изд. л. 21,6. Усл. кр.-отт. 796,0 тыс. Печать офсетная. Бумага типограф. «Сыктывкар». Гарнит. лит.

Тираж 50 000 экз. Заказ № 2147. Цена 1 р. 20 к.
Всесоюзное объединение «Союзинформкино» 109017, Москва, Б. Ордынка, 43. Тел. 231-11-33.
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12. Телефон: 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат В/О «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли
142300 г. Чехов Московской области.



СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА КАРМАЛИТА окончила филологический факультет МГУ, а затем училась в аспирантуре Института истории искусств. Дебют С. Кармалиты в кинодраматургии состоялся в 1976 году, когда по ее сценарию, написанному совместно с А. Германом, на киностудии им. М. Горького режиссер М. Базелян поставил художественный фильм «Вот как это было». По ее сценариям поставлены также фильмы: «Садись рядом, Мишка», «Путешествие в Кавказские горы», «Торпедоносцы», «Жил отважный капитан».

Фильм по литературному сценарию «Мой боевой расчет» ставит на киностудии «Ленфильм» режиссер Михаил Никитин.

СВЕТЛАНА КАРМАЛИТА

МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ

Этой мартовской ночью, в четыре часа, артиллерия главного калибра начала обстрел немецкого города Коблин; в Москву прилетела очередная английская военная миссия; желтые быстроходные японские крейсера вышли на перехват американского конвоя, идущего к острову Иводзима... Много еще разного и чудного творилось в эту ночь на земле.

Например, в эшелоне номер 402, двенадцатые сутки ползущем от станции Брест, старшина ВВС ВМФ сел на мешочек с иглами и заорал так, что разбудил весь вагон. Этот аккуратный мешочек из тройного брезента был привязан к рюкзаку маленького рыжего ефрейтора, демобилизованного после тяжелого ранения и возвращающегося к себе в город Боготол. Рыжий ефрейтор по профессии был закройщик и старался не для себя — вез мешочек от самых границ фашистского логова в свое ателье.

— Начнется индивидуальный пошив, — отвечал он на брань и крики старшины-летуна, — и люди еще вспомнят меня хорошим словом, не таким, как вы. И простите

меня, надо иметь соображение, а не плюхаться просто так на чужой мешок. Мало ли что в нем вообще может быть...

— А чего в нем может быть, — ревел старшина, — чего нормальные люди возят?! У меня, может, иголки в мышцы проникли...

Иголки наружные, которые на плотном, обтянутом клешами задку выделялись ушками, добровольцы вынули. Клеша же летун снимать отказался: вагон не только мужской.

Разбудили даму — старшину медицинской службы, завесили отделение одеялами, принесли две свечки, трофейный фонарик, кто что дал.

Летун из-за одеял обвинял рыжего ефрейтора:

— Он вредитель! — кричал. — Я воздушный стрелок, для меня посадка в бою со стервятниками — наиважнейшее дело.

— Десять тысяч иголок, — рыжий ефрейтор все воспринимал всерьез. — Каждого прошу пересчитать. Каждый может убедиться, какой я человек... Мне для себя

ничего не нужно, но люди обносились, а не за горами всенародный праздник...

Прибежал еще один летун с остреньким носиком.

— Предлагаю компромисс,— говорит.— Те иголки, которыми вы ранили нашего старшину, считать за брак и обменять на ближайшей станции на кое-что в знак дальнейшего братства всех родов войск. Со своей стороны ставим тушенку. К тому же у нас музыка.

Летун из-за занавески слабым голосом подтвердил, что в таком случае тоже отказывается от обвинения, хотя ранение и серьезное.

— Сейчас,— говорит,— вам старшина медицинской службы подтвердит... Игла могла пойти по кровеносным потокам — и тогда смерть.

— Товарищи военнослужащие,— вдруг говорит из-за занавески старшина медицинской службы,— ну-ка прекратите галдеть. Смотрите, что за окном делается...

Посмотрели и обмерли.

Лампочки попадались и раньше по пути, да не столько, не так мирно горели. Да что лампочки. Главное — вокзал, не тронутый ни бомбами, ни снарядами, целый-целехонький. В высоких зеркальных его окнах медленно проплывал их эшелон, их вагон с выбитым дверным стеклом, их дымок над крышей, их темные в изморози окна — одно яркое, где горели две свечи и фонарик, — и им показалось, что даже собственные лица они успевали увидеть.

— Как сон гляжу,— сказал голос старшины медицинской службы.— Впереди нас ждет счастье, товарищи, пусть не сразу и не вдруг.

— Совсем не бомбил,— подтвердил летун.— Разве ж у него на Россию горючки хватит?!

— Ха, трамвай! — крикнул кто-то.

И они увидели трамвай. Он шел будто по параллельным рельсам, и за его освещенными замороженными окнами угадывались силуэты людей.

Поезд тормозил. Обгоняя его, трамвай исчез в темноте под мостом.

Если смотреть с пустого перрона на медленно тормозящий вагон, если приблизиться к его схваченным морозом окнам, то будто в обрамлении фантастической листы возникнут бледные лица, смотрящие прямо на нас из глубины вагона, прямо нам в глаза, из темных купе и из яркого, со свечками. Близко сдвинуты плечи, как на групповых фотографиях. За дверью с выбитым стеклом в сосульках, будто в раме, тоже человек в шинели и с вещмешком.

Он вздохнул, лицо закрылось голубоватым паром дыхания, и возник титр — название картины: «Мой боевой расчет».

Его фамилия была Кружкой, на фронте — Кружок или Кружка, в зависимости от отношения. Имя — Сергей, на фронте Серега, дома всегда Сереженька. Подробность тем более важная, что демобилизованному по тяжелому ранению голеностопного сустава гвардии сержанту, кавалеру ордена Ленина, бывшему механику-водителю САУ-100 — тяжелой самоходно-артиллерийской установки — не было еще восемнадцати.

Сережа еще раз вздохнул, сам себе кивнул почему-то. В глазах мелькнула растерянность, но из тамбура, один за другим, выходили проводить и попрощаться, даже пострадавший от иголок летун явился.

Паровоз ушел на сменку, высвечивая матовые рельсы, по которым Сергею было дальше не ехать. Проводник-кавказец заиграл на аккордеоне, как на гармошке, на одном регистре. Из офицерского вагона прибежал майор-танкист в кителе на распахну и сразу обнял Сергея сильной своей рукой. Может, он один сейчас понимал, что творилось с Сергеем, и все сжимал его ласково и любовно.

— Что нюхаешь? — спросил он.— Дым отечества?

— Почему дым? — удивился Сергей.

— «И дым отечества нам сладок и приятен», вот почему...

Из предрассветной мглы показался новый паровоз. Этот потянет без него, без Сережи. Из соседних вагонов тоже подходили, играл уже кто-то другой, с переборами. Рыжий ефрейтор вдруг подарил пять иголок.

— Надо иметь понятие, какое богатство, и не транжирить...

Вдруг все хором запели: «гремя огнем, сверкая блеском стали»... И так стояли и пели, пока поезд без свистка не дернулся. Тогда попрыгали в вагоны и пели из двух тамбуров, и теперь не они провожали Сергея, а он их, и даже пошел вслед и сколько успел, махал рукой.

Последний вагон пропал, опять матово засветились рельсы.

Сергей остался на пустом перроне под высоким ледяным, начинающим уже желтеть небом, и вдруг ощутил странное одиночество, какое не ощущал с детства. Будто и не домой приехал.

Недавно выпал снег, и Сережа пошел по перрону, на котором еще не было следов.

Позади загрохотало. Темный, без огней, поднимая снежную пыль, превращая ее в поземку, не тормозя, шел на запад воинский эшелон, который тащили два паровоза.

Дом был дореволюционной постройки, деревянный, двухэтажный, с уютными резными

балкончиками и глупой резной башенкой со скрипучим флюгером.

Здесь, в этом доме, на этом бульваре, вон там, ниже на пруду, где зимой был каток, прошло Сережино детство и отрочество. Юность образовалась сразу в один день на воинской железнодорожной площадке. А через три месяца уже и зрелость. Чего там разделять.

Больную ногу Сергей пристроил на мешок, вытянул — стало удобно. Он сидел и глядел на собственные окна — три справа от водостока на втором этаже.

— Так приехал он домой, невеселый и хромой, — пробормотал он сам себе, подумал и переделал: — Развеселый и хромой.

Но и это тоже не понравилось.

На шинном заводе кончилась ночная смена, на улице сразу началось движение, и на бульваре стали появляться люди.

Легковая машина, опасаясь выбоин на дороге, включила дальний свет, и в этом дальнем свете он сразу же увидел Зинку. Зинка закрылась от света муфтой, на руке еще была сетка. Машина проехала, и Зинка обезличилась: прохожая с муфтой, и все. Вот уж не думал Сережа, что это знакомое, мешающее жить чувство вернется так сразу, будто и не было полутора лет. Не давая этому комку под ложечкой поселиться надолго, он коротко и пронзительно свистнул.

Зинка остановилась, как на веревку наскочила. Затем повернулась, побежала назад, знакомым жестом придерживая высокую грудь, и исчезла.

Сережа ощутил силу и легкость в плечах, но не пошевелился. Должна же она вернуться, не на фабрику же обратно топтать.

Зинка вернулась с конвоем из двух теток. Те остались на углу, а Зинка торопливо затопала к дому. Сережа снова свистнул. Зинка тут же остановилась, зато конвоиры, сдвинув плечи и помахивая кошелками, пошли к ней от угла.

— Авиацию еще вызови! — выкрикнул Сережа.

Тетки угрожающе зашипели.

— Гражданки, — сказал Сережа, — вы свободны... А ты, «корзина», останься...

— Да они ж тут обнюхиваются, — взвыла одна из теток. — Совесть надо иметь, мы со смены...

Зинка снова пошла. И он увидел, как ахнула, как сложила кулачки на груди — варежек на руках не было. Он не захотел вставать из-за палки, продолжал сидеть, пронзительно насвистывая.

Тетки тоже подошли. Лица у обеих были похожие — сестры, что ли, напряженные были лица, — вдруг повернулись разом, как в упряжке, и потопали прочь.

— Ну какая же я «корзина», — Зинка засмеялась. — Вот рассчитывала, оторвет

тебе башку, некому будет меня дразнить. — И вдруг заплакала: — Вот дурак какой, «корзина, корзина»...

— Дрезина, — сказал Сережа. — Я тебе туфли-лодочки привез.

— Не возьму, тоже мне ухажер нашелся из яслей...

— Ладно, скажешь, что я тебе продал, за шесть тысяч. Ты мать с бабкой предупреди. Я им не писал.

Зинка, зачерпывая ботиком снег, подошла к нему. Он поймал ее за ноги, она рванулась. Но он пальцем выковырял снег из ботика и поглядел на нее снизу. Лицо у Зинки было усталым, она была старше Сережи лет на десять — его мука, его боль, его несчастье или счастье, кто разберет. С седьмого класса, как она к ним в дом переехала.

— Нога цела или протез? — Зинка забрала у него мешок.

— Погляди-ка, чего у меня есть. — Сережа, расстегнув шинель, показал орден Ленина.

— Твой?

— Да нет, один генерал подарил, но приказом оформил.

Они подошли к крыльцу, когда входная дверь отворилась, и в ее темном проеме он вдруг увидел мать.

— Зиночка, — мать вышла в платке и в валенках на босу ногу, — мне приснился странный, дивный сон, что Сережа вернулся и свистит под окном. И маме снилось, представь, то же самое... Ты же знаешь, я не верю в приметы. Мракобесие чуждо мне... Сережа! — вдруг крикнула она. — Сережа! Боже мой, это же Сережа! Откуда ты, почему ты с палкой?.. Ты ранен?!

— У него орден! — кричала Зинка и плакала. — У него орден Ленина, он герой, плюньте вы на эту ногу... Он жив и герой, жив и герой...

— Сережа, что с тобой, Сережа...

Пламя в плите горело ровно и сильно. На плите бак — помыться с дальней дороги. От плиты и от бака на кухне жарко и влажно. Ничего не изменилось на кухне, только меньше вроде стала. Дверь из кухни закрыта — боялись разбудить бабу, она была сердечница. Мать плакала, все время хотела целовать Сереже руки, просила раздеться и показать рану на ноге.

— Покажи мне, я же твоя мама...

Было почему-то мучительно.

— Рана украшает мужчину, — зачем-то говорила мать. — В девятнадцатом веке хирурги за большие деньги наносили шрамы на лицо... Байрон хромал, но это не помешало ему быть Байроном...

Пришла Киля из второй квартиры, Зинкина соседка.

— Дождалась, дождалась,— говорила мама.— Вернулся, и герой...

У Кили убили сына и мужа, она принесла мужнин пиджак и галстук, и пока Сережа примерялся, напряженно смотрела: раскаивалась, что принесла.

— Габардин чудный,— говорила при этом.— А если похоронка на Толика ошибочная?..

Пиджак оказался мал, и Киля обрадовалась.

— Давай будить все равно, а?! — И они с мамой стали накапывать бабке капли.— Все равно она поймет — махоркой тянет.

— Сережа и запах табака у нее никогда не соединятся. Мальчик, обещай мне бросить. Все позади, все позади...

Сережа по узкой лестнице поднялся в башню и сверху увидел, как мать с Килей пересекали коридор. В башне было холодно, пусто, в углу лежал волейбольный мяч, в нем еще был воздух — его позапрошлогоднее дыхание. Сережа расшнуровал мяч, выпустил воздух и понюхал, но пахло только резиной.

На лестнице он услышал, как мать говорила бабке про Байрона и как задыхающимся голосом бабка сказала:

— Сейчас я только приведу в порядок свое лицо, чтобы на нем было только счастье, только счастье...

Сережа спустился вниз, встал на руки. Из заднего кармана тут же выпал дареный хромированный браунинг «Сереге на день рождения». Он сунул его за сундук, опять встал на руки, пошел по коридору и свистнул:

— Если вам так мешает моя нога...

И в ответ услышал счастливый бабкин смех.

Пол вестибюля в школе был выложен плиткой, палка противно лягнула об эту плитку.

Было тихо, шли уроки. В вестибюле пахло морозом и дровами. Высоко, на третьем этаже, шел урок пения.

За длинными неподвижными рядами ватников, пальто и укороченных перешитых шинелей Сереже послышался вдруг вздох и шевеление.

— Фа-а, фа-а,— тянул наверху голос.

Пальто на вешалке раздвинулись, и в них появилась длинная лысеющая голова. Голова принадлежала математику Рабуянову.

— А, Кружкой,— негромко и без удивления сказала голова.— В отпуск или по раниению?! Как там наши, кого видел?!

Где это там и кого это там мог видеть Сережа?!

— А я карманника выявляю,— объяснила голова.— Стыдно признаться, и такое бывает. Пойдем пока к нам.

Они пошли к учительскому отделению, не видя друг друга за рядами пальто. По дороге Сережа привычно большим пальцем оттянул гимнастерку, орден на груди сел ровнее.

— Можно было бы бросить на выявление старшеклассников, но что-то в этом есть порочащее юную душу, согласись... Вот сижу в гардеробе, скоро лаять научусь...— Рабуянов захихикал.

Сережа забыл о ступеньке, споткнулся и уронил палку. Нагнулся, ударился лбом о лоб Рабуянова и сразу выпрямился. Рабуянов держал палку в вытянутых руках.

— Прости меня, Кружкой,— сказал Рабуянов.— Ах, какая война, какая страшная война... Люди, железо, все к черту... А я, брат, совсем старичок. Позволь, ты же танкист, а эмблема артиллериста?

— Я на САУ, такой танк, только башня не вращается, но считается артиллерией...

— Знаю, знаю, не сообразил...— закивал Рабуянов.— Выступишь на вечере, все-таки первый орден Ленина в нашей школе... Я сейчас...

Он исчез между пальто. Там раздался вскрик и возня. Пальто зашевелились, закачались. Рабуянов втолкнул в учительское отделение мальчика лет одиннадцати, сразу же захлопнул дверь и встал в дверях.

— Что это значит? Зачем? Что за бессмысленная гадость?

— Я ничего не делал,— сказал мальчишка. Глаза у него были близко посажены, руки в цыпках и пятнах йода.— Что вы хватаетесь? Вы мне кость сломали. Ответите...

— Молчи,— беззвучно затопал ногами Рабуянов.— Что будет, если я сейчас выйду к классу и скажу, что ты вор?.. Это на всю жизнь, на всю жизнь... Сейчас или ты замолчишь и задумаешься, или ты погнб, пропал.— Рабуянов сел и долго, тяжело дышал.— Иди,— сказал он,— никому не рассказывай... Принесешь перчатки и шлем, что там еще — не помню... Марш в класс!

Мальчишка сморкнулся и исчез.

— Это что — Вовка, брат Перепетуя? — Сереже стало жарко, он расстегнул воротник.

— Ах да,— Рабуянов слабо махнул рукой,— ты же с Перепетуевым-старшим... Не надо было тебе его сманивать, он же был близорук...

— Вы слабо себе представляете...— начал Сережа. Все в нем напряглось, даже

в голове взбухло.— Слово «сманивать» не совсем подходит... Я понимаю, в сорок первом вам не было пятидесяти пяти...

Сереза встал и опять, как на грех, уронил палку. И они оба опять стали ее поднимать.

— В общем, так,— Сереза выпрямился,— выступать я не буду: варенье отдельно — мухи отдельно. Я пришел учиться. Я не кончил две четверти и хочу их закончить... Могу пойти в сто десятыю...

Помолчали. Зазвенел звонок.

— Скорый суд не самый справедливый,— медленно сказал Рабуянов.— Впрочем, что я могу тебе ответить? Ты герой, а я нет. Я очень прошу тебя учиться в нашей школе. Твое возвращение к учебному процессу будет иметь огромное воспитательное значение для всего детского коллектива. Пойдем в класс...

— Сначала к Алексею Петровичу, я понимаю...

— Алексей Петрович умер... Школе нужны были дрова, и он со своими легкими работал на лесоповале... Наш доблестный тыл — не такие пустые слова, Сереза. А директорствую теперь я...

В конце коридора было яркое окно. Топилась печь, рядом читала книжку дежурная пионерка. Она встала и отдала салют. Сереза подумал, что Рабуянову, но тут же понял, что нет — ему.

— Алексея Петровича хоронили четыре школы,— сказал Рабуянов.— Даже трамвайное движение остановилось...

Сереза вспомнил, как горела первая в его жизни самоходка.

Везде был глубокий снег, одна их самоходка стояла на прошлогодней траве — вокруг нее все растаяло — и они забрасывали ее снегом, она шипела. Потом им приказали отойти, и комбат с помпотехом стали открывать люк ломом и кувалдой. Помпотех обжег руку, Сереза подбежал, дал свою рукавицу и увидел, что помпотех плачет. Лицо у помпотеха от горелой солярки было черное, жирное, и слезы катились, не оставляя на этой солярке следа. От самоходки пахло не только горелым металлом, и Сереза, не разбирая дороги, побежал прочь.

Позже, уже на могиле, они дали залп из башенных орудий в сторону немецких позиций...

Рабуянов толкнул дверь, и они вошли в класс. Сереза задохнулся. Удлиненные, в квадратах, предвоенные окна были залиты ярким светом, отсвечивала доска. Класс был такой же: ничего, ничего в нем не изменилось, он возник, как из сна.

— Ребята,— сказал Рабуянов. Он заложил руки за спину и покачался на носках, поглядывая на потолок.— Полтора года назад из нашего предыдущего десятого «б» ученики Карнаухов, Перепетуев и Кружкой...— он поискал слово и нашел: — самолично ушли на фронт. Карнаухов и Перепетуев пали за честь, свободу и независимость нашей Родины. Ученик Кружкой воевал танкистом-артиллеристом, был ранен, стал героем и теперь выразил желание учиться в вашем классе опять.

Класс заплодировал. Пожилая «немка» Ксения Николаевна — из памяти всплыло прозвище «Ксюня» — тоже хлопала, высоко подняв к близорукому лицу руки с зажатым в пальцах мелом, и улыбалась.

— Куда ты хочешь сесть, Сергей? — Рабуянов обвел рукой класс, будто все места были пустые.

Сергей сдул с губы пот, пошел к задней парте, там было единственное свободное место, рядом с худенькой, почему-то испугавшейся девочкой.

— Может, ты хочешь что-нибудь сказать? — Рабуянов все качался с носка на пятку.

Все обернулись и смотрели на него. Лица, высвеченные солнцем, плоские, как блины. Они были не виноваты в том, что учатся здесь, а он вернулся оттуда. Так же, как не виноваты в том, что больше всего на свете ему хотелось туда, обратно. Он покачал головой, сел и тут же сообразил, что все остальные стоят. Тогда сделал вид, что просто положил палку и встал.

— Ну так,— торопливо заговорил Рабуянов, кивнул, и все с грохотом сели.— Дежурные, внимательно выявляйте малышей в дырявых валенках. Дырявые валенки — это возможность ТБЦ.— Поднял палец и вышел.

Слева от Сергея стоял шкаф, те же самые облитые гуси и утки тарасили на него стеклянные глаза — утка-казарка, утка-нырок...

— Я не буду никого вызывать,— Ксения Николаевна потеряла длинные свои пальцы.— У всех у нас приятно и радостно на душе...— И тут же не сдержалась: — Приятно и радостно. Переведи, Гладких.— Взглянула на тощего и сконфуженного Гладких, опять передумала и сказала: — Я прочту вам замечательную поэму Генриха Гейне «Лесной царь». Ее содержание вы знаете из удивительного перевода Жуковского...

И, закинув голову, поблескивая очками, вдруг помолодев, она стала звонко читать по-немецки, на языке, так не похожем на сильные выкрики из колонн пленных.

Парта скрипнула, и Сережа увидел, что соседка рядом с ним уже другая — крупная, ярко-рыжая, цветная какая-то. Сережину палку она отодвинула. Он с трудом вспомнил ее. Это была Лена.

— Спасибо тебе за варезки, и за шарфики, и за варенье, — сказал он.

Лена посмотрела на него не мигая и положила перед ним листок серой бумаги. Четким, как типографским, почерком на бумаге было: «Сережа, я любила тебя и люблю всю жизнь», и был нарисован сам Сережа с палкой и самоходкой под мышкой.

Сережа посмотрел на нее, но она сидела, отвернувшись к окну. Ухо красное, через него просвечивало солнце.

— «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой...» — напряженным, по-прежнему звонким голосом начала читать перевод Ксюня.

— Ах, конец войны, конец войны, такой длинной и страшной, что будто до нее ничего не было, — сказала женщина в цигейковой шубке, пока продавщица в коммерческом магазине взвешивала двести граммов карамели «дюшес»: — Дюшес — значит груша... — Женщина повернулась к Сереже. Шубка цигейковая, а рукава у шубки суконные. — Груши бывают паразитических форм, с яркими красными пятнами на боку. Они тяжелы и красивы. Видели ли вы груши?! — Она засмеялась и пошла к выходу, оставляя за собой запах духов.

— Чудно пахнет, — вторая продавщица у дверей даже воздух понохала.

Купил Сережа сто граммов зелененького «дюшеса», вышел на крылечко. И тут же:

— Ваши документы...

Не патруль — милиционер-сержант подкатил на трофейной БМВшке. Сам в коляске, за рулем — хмурый дядька в квадратной бобриковой куртке. Мотоцикл трещит, стреляет, ну сейчас развалится. А эти сидят, будто так и надо, смехота! Тон у сержанта специальный, милицейский, шинелька старенькая, довоенная, подогнана по фигуре.

«Не воевал, нет, у воевавших глаз другой» — думал Сережа.

Милиционер, видно, понимал, о чем Сережа думает, и начал сатанеть:

— Вы демобилизованы. Воинские знаки различия, я полагаю, снимать пора...

— Вы палочку подержите, а я сбегая, отпорю...

Необходимости нет, но Сережа растягивает шинель, прячет документы в нагрудный карман, пусть на орден посмотрит,

полезно для такого принципиального.

— Сейчас побегу, — успокаивает его Сережа, — разбегусь только. Но вы за мной не ездите, у нас улица тихая, — это Сережа, что мотоцикл гремит.

— Я вам сделал замечание по форме одежды, только и всего.

— А я, что трофейную технику гробите. Ее в коммерческом магазине не купишь.

Милиционер тоже начал растягиваться. У него на шинели крючки, под шинелью — вот в чем дело — кителек приталенный, на нем — «Красная Звезда».

Мороз лезет под шинель, а с ним ощущение глупости: выставились друг на друга орденами и трясутся от злости.

Неожиданно мотоцикл еще раз выстрелил и заглох, возвращая улице привычные звуки. Стало слышно, как плачет малыш, просит у бабушки купить краски.

— Вы в горючку нафталин положите, — примирительно сказал Сережа и отправил в рот дюшесину. — У нашего бензина октановое число другое, его фрицевская техника не выносит.

— А если бензопровод разьест? — вдруг возник «квадратный» водила. — Это же прямое вредительство, товарищ Чухляев...

— Тогда учись бегать, — посоветовал Сережа.

Кричали воробы, звенели трамваи, улица была залита солнцем.

К лифту не пройти.

— Ты куда, солдатик?

На стуле вяжет тетка перчатки с обрзанными пальцами. Тетка та же, перчатки те же.

— Я к Карнауховым.

— Александра Петрович погиб, нету никого, нету. Иди, солдатик, иди.

Про Александра Петровича Сережа не знал.

— Я не солдатик, я сержант, гвардии сержант...

— Все равно иди, солдатик... Никого нет, всех растрепало, а какая семья была... Это ты Маратика ихнего сманил...

— Я никого не сманивал. — Сережа сам слышит срывающийся от бешенства свой голос. — Воинский долг, я полагаю...

— До долга Маратику полтора года было... Потом бы возмужал и, может, от пули бы уклонился... А Женя Перепетуев, может быть, не потонул бы, а как-нибудь выплыл... Сила бы в руках другая была...

Лязгнул и вниз спустился лифт. В лифте — начальник шинного завода полковник Гальба. У Гальбы астма, он сутулится и дышит на все парадное. Козырнул

Серее, оставил ключ, бах дверь, крик, лифт опять наверх пошел.

— Вы здесь провязали шарфики всю войну...

— Иди, солдатик, иди...

Зинку он дождался на трамвайной остановке. Провожал ее Уриновский, инженер, тоже с шинного, славный тихий человек, ленинградский галстучек из-под ватника, брючины наглажены с мылом, довоенные ботиночки. Это на морозе-то.

— Здравствуй, Серее... Мы все, кто с вами знакомы, гордимся вами...

— Рад стараться... А у вас шапка новая...

С Уриновским вроде полагается пошучивать, уж такой человек.

— Эта шапка — премия, верх — спиртовая кожа... Кому ордена, кому шапки... Что поделаешь?

Уриновский с Зинкой под ручку, у Серее с той стороны палка, не взять. Тот понял, что Серее неприятно, сначала вроде брючину стянул, после руки в карманы. Серее угостил всех дошесом.

— Можно я возьму вторую к вечернему чаю?

Зинке неловко стало, взяла из кулька и положила ему в карман ватника пять штук.

— Вы меня не так поняли.— Уриновский ужаснулся и попытался отдать конфеты.

Подожел трамвай, Уриновскому дальше в Затон. Его шапка, верх — спиртовая кожа, еще раз проехала мимо них.

Дом был деревянный, одноэтажный.

Пронзительно засвистев «Синий платочек», Серее отодвинул обледенелую доску у перепетувеского крыльца.

— Башка выросла — не пролезть,— сказал он Зинке и сунул под крыльцо голову.

После яркого света балки и промерзшая пыль медленно проступали в своей морозной сухости. Ключ был, как всегда, под ведром. Серее медленно выполз из-под крыльца, поцарапал-таки шею гвоздем.

По яблоневой ветке бегала сорока и трещала, и снег осыпался с ветки белым туманом.

— Говорят, они тревогу оповещают,— сказала про сороку Зинка.— Я этого Вовкá все в общаге Рыбфлота видела. А ты как сказал про воровство, меня как колынуло... У Перепетуя твоего лицо было, а у этого, как у мартышки.

— Ладно врать-то,— Серее приложил к щеке снег.— Одна ты у нас чүдная.

Зинка держала кошелку на большом пальце и крутила ей.

— Они, Перепетуи, беспокойные,— сказал Серее,— у них кровь такая...

— Не пойду я,— тоскливо сказала Зинка и отдала ему кошелку.— На, бери. Что ты меня таскаешь!..— Но в дом вошла.

В доме было жарко, чисто и душно. Радио тихо бормотало о событиях в мире. Все в мире наступало, обступало, горело, взрывалось.

По улице, за окном, шел морячило с девушкой. Морячило все говорил, а девушка все слушала, слушала.

— Морячило — языком точило,— почему-то обозлилась Зинка.— А тебя вон в покойники произвели...

На стенке фотография Перепетуя, маленькая, уголок затянута черным плюшем. От жакетки, что ли, мать отрезала. А вот они трое — сам Серее, Карнаушка, Перепетуи и длинная тень карнаушкиного паши с фотоаппаратом у их ног. И на этой фотокарточке тоже уголок в черном плюше.

— Точно... От жакетки отрезала,— крутит себя Зинка.— Вон строчка. А что ты жив-здоров — что ей, мамаше...

— Что ж ей меня, выстригать?.. Ты чего — мамаша, мамаша?!

Стоп. Вот и Вовкó, собачья шапка мимо бокового окошка.

Серее стоит за печкой, прижимая Зинку к табуретке. Надо подождать, увидит — рванет. Не догонишь с хромой ногой.

Шаги... Красная с мороза щека и красное ухо мимо печки, обернулся — поздно: Серее уже у двери.

— Здравствуй, рыцарь мой прекрасный. Что ты хмур, как день ненастный? Удивлешься чему?

Ноги у Вовкá дрожат, постоял, сел на стул, руку себе на колено положил, сообщает, сообразить не может.

— Холодно,— сказал Серее.

— Здорово, Кружок,— голос у Вовкá сорвался,— покажи орден.

— Спасибо, я покушал.— Серее вроде не слышал.

Вовка только теперь увидел Зинку и засмеялся.

— У меня, Вовкó,— Серее вроде смеха не слышал,— скажу я тебе по секрету, не только нога, мозжечок тоже весь в дребезги.— Для убедительности Серее погладил себя по затылку, показывая, где находится мозжечок.— Два медицинских генерала еле сшили... И справочка есть. Ввиду особых заслуг перед Родиной разрешить гвардии сержанту Кружкову... Справку маршал Конев подписал... Отдельно про тебя, Вовкó, нет, но подразумеваешься... Я тебе, Вовкó, в тыщу раз страш-

нее буду, чем все твои другие страхи. Ложись, снимай штаны, гад мелкий.

Сереза заорал, толкнул табуретку и стал выдергивать ремень.

— Уйди,— завизжал Вовка,— уйди!

И побежал вокруг стола, вправо, влево. Не схватить. Все неожиданно стало походить на игру. Испуг у Вовки проходил. Зинка все сидела, сцепив пальцы. Он мотнулся еще туда-сюда и хихикнул. Тогда Сереза рывкнул, поднял тяжелый круглый стол за край и перевернул. Так, что нырнувший под стол Вовка сразу оказался под ногами. Сереза поймал Вовку, почувствовал, как тот впился зубами в руку, перехватил другой рукой за штаны, бросил на диван и рванул штаны вниз. Увидел на секунду белую дрожашую от страха и напряжения попку и сильно, с оттяжкой ударил ремнем. И так хлестнул еще раз пять или шесть.

Вовка завыл и завизжал, и захлебнулся собственным плачем.

— Так,— бормотал Сереза,— так, так, что купил, что продал? По улице пойду, спрашивать буду... У всех...

Вовка заколотил по дивану руками.

— Ты мне нервы не демонстрируй, я, брат, таки-и-и-х нервов повидал... Штаны надевай, я сказал... Так я пойду по улице-то?!

— Ты мне мышцы перерубил...— рыдал Вовка.— Хочешь, чтобы все ковыляли, как ты... Да?

Сереза встал и опять стал снимать ремень.

— Подойдешь, я дом сожгу... И пусть эта корова отвернется. Что она подглядывает, я зна-а-а-ю...

— Тыфу! — Зинка ахнула, двинула табуретом, зазвенели пустые банки.

— Что у тебя хорошо, это мыслей много,— сказал Сереза, забрал у Зинки кошелку и выложил на печь потертый летний шлем и довоенные свои калоши.

— Отдашь, скажешь, спутал... Кому должен — посылай ко мне... Скажешь — деньги Кружку передал, мол, а он отдаст... Увижу у общаги Рыбфлота — отхлещу при всех... А ну, встань... Что надо говорить в таких случаях?

— Не знаю чего, мне вставать больно...

— Спасибо,— сказал Сергей,— спасибо за науку, товарищ гвардии сержант, вот что надо говорить. Папаша и брат у тебя пали смертью храбрых за честь, свободу и независимость и так далее... Так что поезд отправляется. И место твое у окошка справа, а не в тамбуре. Так будет, даже если я за тебя в тюрьму сяду...

Темнело, когда они с Зинкой подошли к дому. Зинка молчала, крепко сжав

рот, а Сереза старался идти без палки, держа ее на весу, наперехват.

— Давай я понесу,— предложила Зинка.

— Все в свое время, все в свое время. Только так и не иначе... Иначе зачем?!

На катке на пруду зажглись огни, там празднично и печально. Сразу и вдруг заиграл духовой оркестр. Тревожными легкими тенями пронеслись по бульвару птицы.

— «В сталь закованы, по безлюдью, на коне своем на белом»... — забормотал Сереза.

— Что это?

— Стих вспоминаю.

Крыльцо было скользкое. Зинка быстро поднялась, Сереза поотстал и сразу же услышал, как бухнула дверь и крякнул замок.

— Открой, а то дверь сломаю — Сереза потряс дверь.

— Вот как тебя разбирает...— Зинка за дверью развеселилась.— Иди зубы чистить и спать...

Оркестр на пруду все играл.

— Не будет этого никогда,— сказала Зинка,— это ж просто цирк...

Сереза услышал, как она прикрыла вторую дверь и сразу же там упал таз.

— Сыночек, ты?

Замок наверху не щелкал и крюк не брякал: дверь скорее всего были приоткрыта, и мама слушала. Сереза сплонул и медленно пошел наверх под стук собственного сердца. Он несколько раз менял выражение лица, будто примериваясь, с каким войти, и остановился на насмешливом.

Глаза у матери под очками большие, желтые, этими глазами мать показывает, показывает в угол. В худых руках — вафельное полотенце.

— Надо сразу же вымыть руки. В военное время гигиена тоже способ борьбы с неприятелем...— И опять глазами в угол.

В углу на вешалке куртка и шинель — милиция или НКВД, но младший комсостав. Мама и управдома-то боится. Раздеваясь, Сереза незаметно трогает шинель, шинель теплая и сырая, давно сидят.

— Давно сидят? — говорит он матери. Оправляет гимнастерку, тут он, орден, и нашивки тут. Он гладит мать, как маленькую, по голове, по редким волосам, и шагает в комнату.

В комнате горит люстра, не одна нижняя лампочка — всю врубил, и бабкина канарейка пронзительно трещит, радуется довоенной иллюминации. За столом бабушка и еще двое. Милиционер с Красной Звездочкой, тот, от коммерческого магазина, и «квадратный» водила в штатском.

— А на столе, как поезд, мчится чай-

ник,— объявляет бабушка, чтобы нарушить молчание, и тонкой красивой своей рукой проводит над носиком чайника и над паром.

— Лычки явились спарывать? — Сережа вырубает часть люстры.— У нас лимит, а мне заниматься надо, я в школу поступил.

— Протез, протез,— вдруг громко и нараспев объявляет старшина.— Вечно ты, Арпепе, панику порешь... Есть нога, я сразу вижу. Верно, мамочка? — это он бабушке.

— Вообще-то есть две,— Сережа садится к столу, нога на ногу.

Человек со странным именем Арпепе держит чашку двумя пальцами, указательный замотан тряпочкой, она в мазуте, глаза у него печальные, на старшину не глядит.

— Отбой воздушной тревоги. Это они мотоцикл закурачили,— объясняет Сережа маме и бабушке.— Плесни кипяточку,— это уже старшине.— Преступное ротозейство, статья, я так понимаю?

И, медленно отдуваясь, принимается хлестать кипятком в полной тишине.

— Кому статья? — после долгой паузы тихо спрашивает мама.

Мотоцикл он им сделал часов в пять утра. Сережа курил, пускал дым в ледяные в черном небе звезды. Арпепе слушал, как четко стучит движок, и пришепывал про себя.

— Почему вас Арпепе зовут? — спросил Сережа.

— Америка России подарила пароход... Из комедии «Волга-Волга». Это, как его техника работает,— сказал старшина Чухляев и пошел звать Гречишкина.

— Жеребец неразумный,— Арпепе не обиделся.

Гречишкин оказался старлеем, длинношшим, в хромовых, несмотря на мороз, сапогах и в шинели без ватника. Тоже послушал движок, склонив птичью голову к плечу и широко расставив ноги. Потом залез в коляску и приказал:

— Тройгай...

Вроде Сережа из его хозяйства.

Чухляев запрыгнул на заднее сиденье уже на ходу.

Ночью прошел снежок, и свет от фары лег на этот снежок желтым праздничным блином. Город спал, трамвайные рельсы и те запырились. Казалось, в городе никто не живет, все ушли куда-то. В одном лишь доме горело окно, это было странным.

Гречишкин глядел прямо перед собой, сложив губы трубочкой, должно быть свистел. Обогнали двух ломовиков с высоко нагруженными телегами.

— Гробы,— сказал из-за спины Чухляев и покашлял.— В госпиталя развозим ночью, чтобы не травмировать население... Война-войнишка...

Впереди, как средневековый замок, без единого огня громадой возникла недостроенная перед войной колхозный рынок. Свет фары мазнул красный кирпич. Гречишкин покрутил перед собой рукой в кожаной перчатке — лицо скучное — и опять покрутил, «кочегарь, мол, подшпоривай!»

Ах так, Гречишкин! Сережа гаснул, коляску на повороте подбросило. Гречишкин подскочил и этой же рукой в перчатке придержался за борт. Холодный ночной воздух заполнил легкие. Еще поворот, опять ахнула рессорой коляска. Чухляев сзади покрепче прихватился за Сережины плечи. Ледяной ветер высек Сереже слезы из глаз, мелко разбрызгал по щеке. Пролетели Сережин дом, Зинкино окно было темным, и весь дом темный. Еще поворот — и другая рука в перчатке легла на борт. Как скоростеночка, товарищ Гречишкин, как скоростеночка, старшина?! Наши лычки — это лычки, попробуй получи. У Гречишкина на красной щеке тоже слеза сосулькой.

Вот и желтая милиция. Яркий свет из окошек. Перелетели через сугроб так, что внутри все екнуло, проскользили боком. Заглушил Сережа двигатель — тишина.

Гречишкин осторожно вытащил из коляски длинные свои ноги, кивнул и — тощий, прямой, похожий на циркуль,— зашагал к освещенной двери. На ступеньках остановился и как-то очень конкретно ткнул не то в лампочку над головой, не то в небо, спросил, словно по делу:

— Слушай, Кружкой, вот звезда горит, а свет от нее движется и долетит сюда через миллион лет, когда мы с тобой того... Тебе от этой мысли противно?

Чухляев сзади зашевелился, включаясь в мысль начальника.

— Да нет,— сказал Сережа,— фиг с ней, пусть себе...

— Вот и мне не противно. Ты оформляйся к нам, Кружкой, а я тебе еще паек дам, пальто там купишь, шляпу... А то завоешь с детишками. Степи, лесостепи, пустыня Гоби называется?! — И, не прощаясь, ушел.

Из открытой форточки диктор объявил: «Рассвет над Москвой-рекой» Мусоргского. Сильно пахло бензином. Сережа пощупал бензопровод.

— Рассвет угадывается,— согласился Чухляев и кивнул на форточку.— Ты оформляйся, если он говорит... Нужно... У нас бандитизм, разбойная группа. В Дровяном милиционера убили, наган забрала, вооружаются. С другой стороны, всю страну праздник ждет, а их — стенка, тоже

пойми. Э, танкист, да ты мокрый...

Только сейчас они увидели, что запасную банку с горючкой вывернуло, и бок у Сережи весь мокрый. И пола шинели, и сапог. Вот откуда бензином воняло.

Чухляев втянул носом воздух и захохотал:

— Нафталин, нафталин! «Ложки да ложки, Чухляй, в горючку нафталин». Теперь ты, Серега, для моли неуязвим.— Помог стяннуть сапог и, глядя на Сережкину босую ногу, сказал: — Чудная нога. Отчего хромота — не понимаю.

В школьном дворе стоял морской офицер, смотрел на окна. В сереньком рассвете лицо его казалось бледным — белым пятном на белом снегу.

— Поторопимся, промедление отразится на балле.— Рабуянов поднял руки вверх и хлопнул в ладоши.

Перед Сережей — чистый белый лист, хоть стихи пиши. Все эти формулы ушли за полтора года, стерлись из головы. Как не было.

Было стыдно не от того, что забыл,— ну, черт с ним, забыл,— а от того, что лицо и лоб покрылись крупными каплями пота. Как в детстве, когда бабушка поймала на краже рубля. Капля со лба хлопнулась на тетрадный лист, на серединку. Промокать или так сдавать — чистую тетрадку с этим пятном, все, что из себя выдавил, мол, привет и наилучшие пожелания?

Сережа вырвал лист и стал делать самолетика.

Неожиданно на бумажную эскадрилью Сергея лег тоже выданный лист — решение его задачи. Потом полная в рыжих веснушках Ленина рука вытащила из-под задачи самолетика и поставила у чернильницы носами друг к другу. Лена глядела на него не мигая. Глаза серые, навывкате, грудь высокая, большая,— небось сама крышку парты не видит.

— Мигни,— тихо говорит ей Сережа.

— Что?

— Мигни.

Она кивнула не мигая.

Мигни-не мигни — не тем надо было заниматься. Поздно: Сережа увидел рядом наглаженные полосатые брючки и оттопыренный, подштопанный карман пиджачка.

— Серьезно и просто. Весьма серьезно и весьма просто. Пройди, пожалуйста, Кружкой, к доске...

Ему бы не идти, а он встал и пошел, с этим, не своим, Лениным листком. И даже стал переписывать, пока вдруг не обернулся и не положил мел.

Станция уже отключила свет, в коридоре пробухали шаги. Все это не похоже
12

на урок, скорее на воспоминание об уроке или на сон. Проснешься — встряхнешься и не понимаешь, почему сон такой мучительный.

Он улыбнулся, пожал плечами и пошел на место.

— Что же ты, Кружкой? Пи эр квадрат, что же ты? Все правильно, Сережа. Рабуянов, кажется, начал что-то понимать.

— Чему равен пи эр?

«Береза бе-е-елая, бе-е-елая...» — ниже этажом шел урок пения.

— Что у тебя было по геометрии до фронта, Кружкой?

— «Хор».— Сережа покашлял и улыбнулся.

В коридоре зазвенел колокольчик.

— Видишь, «хор»...

Все сидели, не вставая.

— Ты защищал нас своей грудью, Сергей,— голос у Рабуянова набрал силы.— Так неужели же мы не подтянем тебя по математике?.. И вымой наконец тряпку, дежурная. Мытая тряпка — это вежливость...

— Пстой, Сережа.— Рабуянов открыл форточку и сам подождал, когда все выйдут, затем достал папиросы-«гвоздики». Сергей протянул свои.— Мы хотели назвать лучшее пионерское звено твоей фамилией.

— Сейчас навряд ли. Будет двусмысленность, я полагаю...— Сережа кивнул на доску и хмыкнул.

— Ты был ранен только в ногу?!

— И в живот,— засмеялся Сережа.— В ногу и в живот... Я просто забыл... Другие впечатления вытеснили...

— Верно, верно... Детский ум впечатлителен, но пи эр квадрат, ну, напрягись, мальчик... Такой простой, такой красивый вывод...

— Три и четырнадцать?

— Счастье! — закричал Рабуянов.— Счастье, ты все вспомнишь... Перед тобой нет преград. Ты станешь географом, объедешь страну. Только сейчас надо напрячься, мальчик... Настоящий табак,— он посмотрел на папиросу,— голова кружится. А у меня и радость, и горсть, и сомнение. Младший Перепетуев сегодня явился в школу и все принес. Оказывается, у него было два шлема, то есть тоже был шлем, он спутал...— Рабуянов вздохнул, притушил папиросу и спрягал в пустую очечницу.— Видишь ли, я совершил с этим Перепетуевым педагогическую бестактность... Я так боюсь, что дети...

— Я не скажу.

Рабуянов покивал.

— Перепетуев не любит и боится тебя...

— Ничего, полюбит...

Рабуянов покивал и тут же махнул рукой.

Наверху заухало. В классе над ними что-то бросали на пол. Неожиданно круглый плафон отделился от стержня и, будто тормозя в воздухе, брякнулся на пол, взорвавшись серебристыми осколками.

— Ах! — сказал Рабуянов и взял рукой за галстук. — Ах! — Затем подпрыгнул, будто в воздухе ногами перебрал, и исчез.

В класс заглянул военрук, под мышкой картонный щит — «Максим» в разрезе. Попросил закурить. Взял папиросу трехпалой рукой и сказал, как разговор продолжил:

— Дисциплину держать не умею. В роте держал, а здесь не умею... В артель пойду пианино настраивать. — Покривился, как от зубной боли, и пошел.

Предстояло военное дело, свободный для Сережи час.

«В сталь заковаң по безлюдью, и с башкой своей тупою» — зазвучало в Сережиной голове, он прошел на свое место, сел и открыл геометрию.

Он на секунду закрыл глаза, а когда открыл, понял, что спал. Напротив сидела Лена и глядела на него. В руках у нее была деревянная трехлинейка с крашенным серебрянкой штыком.

— Ты кричал во сне, — сказала она, — два раза... Таким сильным голосом...

— Что же я кричал? А-а-а? О-о-о?

— «Огнем и гусеницами»... Ты два раза крикнул «огнем и гусеницами». Ты был в бою во сне...

— Да нет...

Форточки в классе были открыты, и он замерз.

— Тебе сейчас трудно... Пока ты не встал на ноги, я хотела бы быть рядом. Я сильная, я отличница, я ворошиловский стрелок...

— Я встал на ноги, даже на три, — он постукал палкой по полу, — и мне не трудно...

— Нет, ты одинок. Почему ты не пишешь ребятам?..

— У тебя что-нибудь от них?

Лена молчала, Сережа подумал, что что-то случилось, и испугался.

— Давай, что есть! Давай!

— Они живы, они живы! — крикнула она.

Перед ним была фотокарточка — его экипаж, все в одинаковых белых варежках. Его самоходка с заснеженными триплексами. Крайний справа, где всегда, стоял он, — новенький, крепенький такой паренек, лычек не различить. И поперек пяти пар валенок химическим карандашом: «Лене Бацук от расчета тяжелого гвар-

дейского орудия, 100 мм. Гвардии лейтенант Зуб».

Кроме этого новенького вместо него, ничего-ничего у них не изменилось. У лопаты на броняшке черенок новый белый — и все.

— У лопаты — новый черенок.

— Что?

Он все смотрел в лицо тому новому.

— Мы самоходы грязные, — сказал он, уже чувствуя, что несправедлив и что говорит зря. — Про нас песня есть: «пареньки пригожие, на чертей похожие»... Нам ветошь нужна — мазут с рожки обтирать, а ты белые варежки... Мы их девушкам в роте связи раздаривали...

— Что ж мне было вам ветошь посылать?!

Лена встала и пошла. В конце прохода она зацепилась юбкой за учительский стол, и юбка сильно порвалась. Лена прихватила ее и выбежала.

Сережа посидел, глядя на фотокарточку, повистел, потом взял оставленную Леной винтовку и фотокарточку, а когда вышел, столкнулся с Вовкой Перепетуем. Тот стоял на цыпочках и держал над головой кочергу.

— Пошел вон. — Сережа вынул кочергу из скрюченных Вовкиных пальцев.

— Дяденька, выстрелите в форточку... — рядом с деревянной винтовкой пританцовывал первоклассник. — Бахните один разочек.

Коридор был украшен флажками. Готовился вечер.

Вечером по дороге в милицию он толкнул Зинкину дверь. Дверь была не заперта. В комнате было холодно. У швейной машинки сидела Киля в пальто. Она качалась на стуле, вытянув толстые усталые ноги.

— Зинка где пропадает?

— Фасон «красное солнышко», — сказала Киля и потянула со швейной машинки платье. — Солнышко-колоколнышко... Было мое, теперь Зинкино. Каждому овощу — свой срок, верно?

— Чего дрова не сушите, трудно за печку положить?!

— Эх ты, дурачок. — Киля все качалась, свет — тень на глазах, свет — тень. — Эх ты, дурачок, дурачок, дурачина...

— В каком смысле?

Киля вдруг засмеялась, смех был неприятный, резкий и фальшивый.

— Иди, Сережа, мама сердится, когда ты к нам ходишь.

Она встала, взяла его за плечи и вытолкнула на лестницу. На улице Сережа подумал о странных глазах Киля, но народу было много, громко говорило радио,

и он быстро пошел, слушая, как приятно скрипит под ногами снег.

В милиции, в дежурке, маленький штатский плачущим голосом сразу стал объяснять почему-то Сереже, что он никого не хотел оскорблять.

— Горилла и неандерталец — суть разная. Но ведь, согласитесь же... Тридцать восемь — девяносто семь, телефон театра... Скажите, что я в заточении...

— Сядьте и не бегайте... — дежурный на Сергея посмотрел с вызовом, на штатского прикрикнул: — От вас в глазах рябит... Постового гориллой оскорблять не надо было.

Вышел Гречишкин, обрадовался Сереже, сказал, что на ночное дежурство надо являться позже, чтобы Сережа привыкал, и добавил:

— Организм отдыхает только во сне. Это уж ты мне поверь.

И, провожая Сережу в большую прокурорскую комнату за дежуркой, поинтересовался: неандерталец — это все-таки кто? Обезьяна?

— Нет, человек, но доисторический, наш с вами предок...

— Тогда вроде нет состава оскорбления, — Гречишкин пожал плечами. — Он голый бегал?

— Артист, что ли?

— Ну, какой артист, неандерталец...

— Если жарко — голый, а если холодно — в шкурах... Я так думаю...

— Тогда все же состав есть, — решил Гречишкин. — Тем более артист без документов...

Гречишкин поставил греться макароны в котелке и стал надувать резиновую подушечку.

— У моей супруги перина. Вернулся я с войны, полежал с женой, — он завинтил у подушки пробочку, — кручусь, верчусь... Нет сна. Пошел, принес шинель, положил на пол рядом с супружеской нашей постелью, «сплюшку» эту под щеку и храпака. — Неожиданно заботливо для всей своей угрюмой внешности он сунул подушку-«сплюшку» под голову Сергею: — Ее на два часа хватает. Ну, как прибор... И поет, и поет... — и вышел.

За окном пошел мягкий, спокойный, как в детстве, снег. И, уже понимая, что спит, Сережа успел удивиться, что подушка поет романс из «Бесприданницы».

Когда он понял, что не спит, «сплюшка» была плоская. В дежурке пел женский голос.

Там было много странно одетых людей. Ту, что пела, Сережа узнал сразу: артистка, которую он видел в коммерческом магазине.

Артистка кивнула Сереже, улыбнулась и сказала тому маленькому:

— Вот кого тебе надо рисовать, вот где неподдельные черты...

— Заводись, — сказал Сереже Гречишкин.

Уже на улице Сережа услышал, как артистка запела опять.

Гречишкин вышел следом и, залезая в коляску, как в тот раз, махнул рукой.

— Вокзал, базар, завод и по кругу... Ну так давай! Неподдельные черты! — крикнул Гречишкин. — Нарисует тебя, Сергуня, и будешь на стене висеть.

Шел сырой крупный снег. Навстречу от вокзала шел лейтенант с пустым рукавом, мешком и чемоданом. И, как тогда, когда приехал Сережа, следы этого лейтенанта четко возникали единственными на белом снегу.

Площадь у вокзала была пустынная, потом из снега появились двое — милиционер и солдат с винтовкой. Пока милиционер докладывался, Гречишкин снял перчатку и голую руку сунул ему под мышку.

— Обидно! — прервав доклад, вдруг крикнул милиционер. — С ноября проверяете, в вокзале ж стекло, я из вокзала вижу... Шо он про меня подумает?

— Правильно подумает! — заорал в ответ Гречишкин. — Ты и из окопа бы нос не высунул... Разорался бы, что все слышишь... На тебе вор снег тает... И это постовой! На постовом лед на шинели — вот это постовой. У постового наган теплый, сердце еле теплое, а требуха может быть ледяная, вот что такое постовой... А ну, марш! Пошел, Кружкой!

И опять они понеслись в снег.

— «В сталь закован, по безлюдью на коне своем на белом»...

— Ты чего бормочешь, Кружкой?

— Стих вспоминаю...

— Ну, давай, давай...

Пролетели бульвар, дом, у Зинки светилось окно.

Трамвай-мастерская стоял у перекрестка. Бабы чинили рельсы и громко ссорились. Гирлянда лампочек была крючком зацеплена за провода, очищенный рельс в ее свете был синий.

Высокие дома на проспекте — темные, ленивые.

— Посигналь, где он там...

Сережа посигналил. Пусто, пусто. Только в снегу борозда, вроде мешок тащили.

— Чего это здесь тащили?

Гречишкин молчал, сжал рот, как кошелек, достал длинный фонарь, трофейный.

— Посигналь еще.

Сережа сигналит. На дороге мешок, да нет, не мешок, это человек ползет на четвереньках. Прямо посреди проспекта пол-

зет. В свете фары зад у человека кажется неправдоподобно большим.

Мотоцикл рвануло и занесло, Гречишкин на ходу выпрыгнул — старлей, дурак, чуть не перевернулись! Мотоцикл через рельсы — и в сугроб. Руль с фарой — не повернешь... Рвет, рвет Сережа руль — повернул. Высветил и увидел, что тот, как полз, так и ползет, а Гречишкин бегаёт вокруг, справа забегает, слева, не знает, что делать.

Мотор заглох. Тихо, снег идет.

— Прыгать зачем, зачем прыгать?! — орет Сережа и пинает заглохший, забытый снегом мотор.

Человек все ползет — не остановить. Это Чухляев. Голова без шапки, странная, черная, будто обугленная, разбитая, а кровь на морозе прихватило. Он ползет, а они рядом идут, снег загребают, непонятно, как его взять.

— Чухляй, Чухляй!.. Давай перевернем...

Перевернули. Лоб почти чистый, глаз не видно, опять все в крови. Ушанку не наденешь — что там под волосами? Гречишкин расстегнул на себе шинель, задрал китель, и Сережа рвет на его голом тощем животе нательную рубаху.

— Не справился с управлением, — шипит ему Гречишкин. — Это руль, это тебе не рычаги.

— Прыгать не надо, я в цирк не нанимался...

Сережа порвал наконец рубаху.

— Чистая рубаха, — говорит Гречишкин. — Хорошо, вчера в бане был...

— Гречишкин, — вдруг довольно громко и ясно говорит Чухляев, — погляди, у меня на лице белое или красное? Если глаза порезали, я полагаю, белое должно потечь.

— Красное, красное, — Сергей с Гречишкиным перебивают друг друга. — Ну, хочешь, ты головой потряси, мы еще посмотрим... Я вот и фонариком посвечу. Ты, братуха, полз-то не туда, — Гречишкин вроде бы смеется, — ориентир потерял. Кто тебя, братуха, кто? Ты видел? Наган-то где, наган?!

Но Чухляев молчит.

— Нету, нету нагана, эх, нету, — негромко бормочет Гречишкин, охлопывая шинель и ватные штаны Чухляева.

Мотоциклетная фара совсем тусклая, из желтой на глазах делается красноватой. Где-то из снега возникает звук и три ярких огонька. Сережа берет у Гречишкина фонарь, идет на рельсы и светит, оставившая трамвай-мастерскую.

С утра оттепель, южный ветер на глазах сгоняет снег, все хлопает, чавкает.

У Сережкиного дома лошаденка стоит, прямо в большой луже. На телеге письменный стол расположился, чертежная лампа к нему привинчена, стул, кожей обитый. Кабинет приехал, ей-богу.

Сережина мама стоит, и Зинка мелькает — появилась, царица.

— Сереженька, стой, чтобы не украли... — глаза у мамы странные. — Зиночка просила подежурить, чтобы не украли...

— Письменный стол-то зачем? Она чего, наследство получила?

Но мамина спина уже исчезла в парадной. Слышала Сережин вопрос, да не ответила.

А вон Зинка с Килей в ватничках нараспашку.

— Простудишься, Зинк... Самый ветер поганый, — Сережа кивает на флюгер на башенке дома, тот мотается, как сумасшедший.

— Я вышла замуж, Сережа...

Киля повернулась и ушла, ничего не взяла с телеги. Лошадь переступила в луже. На лице Сережи дурацкая улыбочка, он ее чувствует, да не убрать.

— За Уриновского? Да ведь ты его не любишь.

— Люблю. — Зинка затрясла головой и даже ногой топнула. — Не любила, но люблю, люблю.

— Да ведь я бы на тебе тоже женился...

— На лето женился бы... Не смеши, я тебя на десять лет старше... Я его люблю, он мой муж, он талантливый, редкий человек. Его просто одеть надо... И он робок, но со мной он обретет силу.

— Да ведь он прыщ! — кричит Сережа. — А я люблю тебя и всегда буду любить. Гони эту лошадь, да и его гони... Я прошу тебя, Зина, Зиночка. Что ты с собой творишь?

— Не порти мне все, уйди. — И замолчала.

Так они стояли долго, и Сережа подумал, что на всю жизнь запомнит этот кусок обнажившегося из-под снега тротуара, колесо телеги в глубокой луже и вороний крик.

— Мне кажется, я сейчас упаду, — тихо говорит Зинка. — Лягу здесь и завою. Помогите мне быть счастливой, Сережа...

— Да как, Зиночка?..

— Давай стол внесем, — вдруг сказала она, — у нас гости. Начальник завода будет.

Они взяли фанерный самодельный стол с раскачивающейся лампой — лампа задевала Сережу по лицу — и потащили.

— Восемь тарелок, — закричала с лестницы Сережина мама счастливым голосом, — но чашек только семь!..

— Зачем она тебе, Сергуня, нужна, кляча

старая,— сказала Киля, подмигнула Зинке и поцеловала Сережу в щеку.

На табуретке в прихожей лежали две маленькие гантели. Сережа поднял их двумя пальцами и вдруг столкнулся с таким ненавидящим взглядом Зинки, что оторопел и вышел.

— Когда я вспоминаю свою жизнь,— сказала бабушка и подтянула черный суконный галстук на белой блузке,— отчего-то в памяти все зимы... Проклятые и счастливые, но все зимы... Отчего? Спустись вниз и будь весел. Ты задашь своей душе хорошего... перца. Но это надо делать иногда. Я стала очень уродлива?

— Ты прекрасна...— Сережа улыбнулся.

— Улыбку, Серега... Нет, это гримаса,— вздохнула она,— греческая маска отчаяния. Тогда уж не улыбайся, мой маленький героический дурачок. Твоей матери нужно так мало для счастья, а тебе так много. Прости меня.— Она долго бряцала замком, открывая, и ушла.

Сережа заплакал. И плакал долго. Потом вышел.

Он не успел спуститься, к дому подъехала машина. Зинкина дверь открылась, лег яркий желтый квадрат, и он увидел входящего туда начальника шинного завода Гальбу с тортом и услышал его сиплое астматическое дыхание. Когда уже закрывалась дверь, там возник Уриновский в Толикином габардиновом пиджаке.

Школа горела яркими огнями. Сережа вспомнил, что сегодня вечер, и постоял напротив освещенного подъезда.

— А Чухляев-то помер,— сразу объявил ему дежурный.— Мы с его супругой с утра пикши нажарили, а в госпитале подполковник вышел, по фамилии Бок, объяснил, что медицина оказалась бессильна... А у нас пикша теплая в ватнике завернута. Неожиданность.— Нос у дежурного длинный, печальный, ему легче, когда он Чухляя ругает: — Притупление бдительности. Как он мог подпустить, при оружии же был...

— У нас тоже,— некстати говорит Сережа,— сгорит машина, если боезапас не рвануло, сидит механик, даже руки на рычагах, а подуешь — кучка пепла. Облачко такое взлетит — и кучка...

В груди у Сережи будто туда кирпич втиснули.

— Изжога,— сказал он дежурному,— хлеб неудачный.

— У меня тоже тяжесть.— Дежурный достал пеструю трофейную коробочку, на-

сыпал соды, оба съели с ладони, запили из графина, каждый понимал, что это болит душа.

В углу милиционерша — из детприемника — вырезала из газет заглавные буквы.

Гречишкин влетел стремительно на ногах-циркулях, длинный, набритый, пахнет одеколоном.

— В столовой винегрет, Кружкой, чудный был, тебе оставлено... Из-за нагана Чухляева убили, вооружаются мало-мало. В России оружия полно, но на Урале кордоны сильнее, так что к нам покуда не прошло. Заявление, фотокарточки принес? А не принес, так и не ходи зря. Чего ходишь?!

— Я же езжу, паек у тебя не беру,— Сережа медленно подбирал слова.— Ты же знаешь, Гречишкин, мне учиться хочется. Географом стать.

— А что это вы мне тыкаете?!

— А вы чего?

— А что я?

— А кто мне только что тыкал?!

— Не один ты прыгаешь! — орет Гречишкин.

Милиционерша встала и пошла к дверям. Ноги опухшие, на шерстяных носках войлочные тапки.

— По форме переодеться,— заорал ей Гречишкин,— или в артель пуговицы делать!.. Еще кружева на задку нашей.

— Ах ты, Гречишкин, Гречишкин.— Сережа нацедил в кружечку воды из бака, попил и пошел.

— Дежурный! — заорал Гречишкин.— Не пускать сюда посторонних, здесь оружие.

С крыши лило, вода попала за воротник.

— Серега,— вдруг позвал сзади голос Гречишкина,— ну, прости ты меня, нервы сдали.— За шиворот или на голову ему, очевидно, тоже попала вода, и он выругался: — Кадровик сегодня весь день из-за тебя печенку сосал, что ты неформенный. У нас же не артель — НКВД...— И поскольку Сережа не оборачивался, крикнул вдруг с несвойственной ему тоской: — Может, мне с твоей мамашей поговорить?..

Сережа проснулся и сразу сел на кровати, как подбросило. Сон был тяжелый, неосвежающий. Дождь по окну не стучал, на кухне топилась плита. И голос бабушки говорил:

— Эта Молоховец написала поваренную книгу будучи дворянкой. Книга рекламировалась как лучший подарок молодой хозяйке. А сын ее учился в морском

корпусе, его там и задразнили «лучший подарок молодой хозяйке». Впечатлительный юноша застрелился.

— Ужас,— сказал голос Кили,— готова бы себе... И что некоторых тянет писать...

Сережа вытащил из-за дивана портфель, в портфеле не было учебников, лежало полено, медный пестик и губная гармошечка.

— Так, так.— Он тихо прошлепал в коридор, вытащил из-за сундука пистолет и сунул в портфель под полено.

Сержантские лычки с гимнастерки он спорол ночью, под лычками было не тронутое жизнью сукно. Он провел по нему пальцем.

— Мальчик,— сказала мама в дверях, она принесла стул от Зинки.

Сережа вздрогнул, он не услышал, как она подошла.

— Конечно, ты вправе не согласиться и высмеять меня,— мама заметно волновалась.— Через редакцию я достала бутылочку рыбьего жира... Ну, не жарить же на нем! — она всплеснула руками.

За ночь лужи подмерзли, каблуки ломали лед, выпуская воду. Во дворе Уриновский колол дрова.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

За углом Зинкина форточка открыта, тянуло паром, пахло табаком и едой.

— Сережа,— Зинка подбородком повисла на переплете,— ты только не сердись, возьми туфли, отдай маме.

— Гони...

— Хочешь рюмку водки? Как в буфете.— Зинка исчезла и через минуту передала в окно завязанные в газету туфли-лодочки, рюмку и моченое яблоко.

— За победу? — Зинка не знала, что предложить.

— Понимаешь, Зинк, я вот приехал, и жизнь так складываться начала, что я все получаюсь наковальной. Хлоп по мне да хлоп. А я вот не хочу. Так что за победу...

Сережа выпил, отдал в форточку рюмку и пошел, запихивая на ходу лодочки в портфель. Они не влезали, и он выбросил полено.

Батарея наконец вышла к Балтике. Огромные, в глине и песке, самоходки стоят у воды, и пена набегающая на гусеницы. Расчеты шляются вокруг, лениво загребая песок кирзой.

Сережа с лейтенантом Зубом лежат на моторах, от моторов несет жаром, пахнет

соларкой и дюренидом. Хорошо так лежать.

— Разобьется, Проня...— лейтенанту даже говорить лень.

Башкир Проня принес большой, как голова, стеклянный поплавок.

— На марше сядешь и порежешься.

— А я его ветошью, товарищ лейтенант, ветошью...

— Да зачем он тебе, Проня?

— Краси-вый...

— «Я помню море, я измерил очами...» — *Командирская самоходка у самой воды, командир батареи сидит на толстой пушке верхом. Краска у пушки обгорела, и небо, и багровое солнце отражаются в хромовом командирском его голенище.— Какими очами измерил, а, Кружкой, не помнишь?!*

— *Жадными, товарищ капитан. У Пушкина жадными...*

— *Грозными, Кружкой, грозными... «Я измерил очами грозными его»...*

Нету моря и батареи нет. Гудит, шумит, как море, вокруг Сережи воскресный базар.

— Маша гадает, что кого ожидает, стоит рубль отдать и дать Маше погадать... Маша гадает, кто чего ожидает...

Маша — девочка лет пяти, укутанная, как тюк. У матери на груди фанерный ящик с билетиками, на ящике вертушка. Маша вертушку крутит — и за рубль, пожалуйста, счастье. Несчастье никому не предсказывает, всем одно счастье. Правда, с оговорочками — после победы.

— Сколько ж она рубликов навывкивает? — сердятся вокруг бабы.— Коммерсанты, мать их...

Однако сами билетики покупают, читают и в сумочки прячут.

Глаза у бабы с билетиками тоскливые, все счастье продает, себе, видать, ничего не осталось.

Расположился Сережа у дощатого сплошного забора на бревнышке, палку на видное место положил, рядом портфель, на газетке иголки — подарок ефрейтора, и цена чернилами сказочная, хрен кто купит. Входит в задачу, чтоб не купил.

Сидит Сережа, играет на губной гармошечке. Если человек, по мнению Сережи, заслуживает внимание, ему можно и портфель приоткрыть. Вот подошел один деловой такой. Трофейными часами интересуется. Приоткрыл Сережа портфель, «пушка» делового не интересует.

— Там у вас лодочки,— говорит,— туфли...

— Неужели? — удивляется Сережа.— Как это они туда попали? — И портфельчик на замок.

Или вот. Шлеп-шлеп по луже валенки в калошах пробежали, калоши красные, высо-

кие, румынские. Туда пробежали, обратно пробежали, остановились. Покашляло над калосами, сплюнуло. Хороший инструмент — гармошечка: можно в небо смотреть, можно в землю, — не рояль. Этот, в калошах, — одноглазый, тоже отвоевался. Под мышкой курица.

— Дрезден или польская? — это он про гармошку. — Три сотни — и разбежались... Эмаль битая?

— Сам ты битый. Не продается...

— Быстрее думай, — не сдастся мужик, — я здесь с бабой... У бабы-то два глаза, увидит — не даст купить...

Ну нахал, сам присаживается, сам портфель открывает и сам же плюется.

— Это себе оставьте... Чего-о вез? Тюфу! — и исчез.

Красный кирпичный недостроенный рынок углом вдается в «толчок», как нос огромного парохода. В глубоких заколоченных его арках темно, как в шлязах.

Рядом старуха продает летчицкие унты, готовальню и глобус. Стучит, стучит по унтам варежкой.

Подошла рыженькая в ватнике, показывает мальчику глобус. Крутятся над затрушенной сенцом лужей синие океаны, желтая Африка...

— Фантастично, молодой человек, — говорит Сереже старуха в очках. — Когда Леонид сгорел, я не могла приблизиться к его письменному столу... В ящике аттестат лежал, так я его не отоварила. А сейчас жду — может, вот его унты купят или готовальню... Да еще по унтам похлопываю: «Купите, купите, обратите внимание»... Как там у Маши в билетике — «Горе успокоится, боль утихнет»... — голос у старухи делается пронзительным и неприятным. — К горю и боли привыкают... Существует инстинкт выживания...

— А вот мы не продаем, — дергает рыженькая носом, — а нам тоже жиров хочется.

Губы у старухи начинают трястись.

«Хочу любить, хочу всегда любить», — играет вдалеке пластинка.

— Вот именно, — говорит чей-то голос.

Сережа берет портфель и идет вдоль забора. А вон Вовка Перепетуй лампочку продаст, где-то свинтил.

Купил Сережа пирожок с картошкой и обратно к своему бревнышку.

Старуха в очках глобус тряпочкой протирает и что-то шепчет, шепчет.

Только Сережа сел, здравствуй, пожалуйста: одноглазый в румынских калошах прибыл, без курицы и нос разбит. На месте не стоит, приплясывает, характер такой забавный, сто движений в одну минуту и все с улыбочкой.

— Видал нас? — и сам смеется. — И яйцо в кармане разбил. — И тут же бродячей со-

баке: — Тузик, Тузик, покушай, — и карман с желтком вывернул.

— А кура где?

— Где, где, баба забрала... Решился, беру твою пушку. Тыща пятьсот и разбежались, притом с портфельчиком...

— Вали отсюда, калоша заграничная...

— Почему? — Мужик все приплясывает.

— Вон Тузика купи за тысячу пятьсот. Ох, у него блох...

— Здесь свое ценообразование, — неожиданно говорит мужик и садится рядом на корточки. — Тебе мой нос ни о чем не намекает?

И на корточках сидит — все равно успокоиться не может:

— Дают — бери, а бьют — беги. Знаешь?

Сережа смеется, только все внутри дрожать начинает. Берет у мужика деньги, начинает считать.

— Это кто ж тебе про тыщу пятьсот сказал?

— Люди, народ то есть...

— Ах, люди? А пушка — соседа поугать?..

— Не-а, кабаны огород подрыли...

— Ах, кабаны. — Сережа прячет деньги в карман и молчит.

И мужик попригих, заробел, Сережа это чувствует.

— Так я побежал, — мужик берет портфель за край. — Туфельки заберешь?

— Зовут тебя как? — Сережа локтем придерживает портфель.

— Федя...

— Ах, Федя. Ах ты, Федя, Федя... — Сережа говорит без выражения и еще раз: — Ах ты, Федя.

Старуха связала унты веревочкой, под веревочкой тряпочка, чтобы не протерлись. Готовальню в карман, глобус под мышку, уходит собралась.

— Бабушка, — говорит ей Сережа, — там на выходе старшина-милиционер, так вы пошлите его сюда. Скажите, сотрудник Кружкой спрашивает, только не позабудьте, а то я ноги промочил...

— Что за жизнь, господи, — мужик заплакал. — Отпусти меня, начальник, отпусти...

— Я бы отпустил, да вот про ценообразование узнать охота...

Мужик все плакал, вытирая лицо шапкой.

— Вон моя баба, — как выдохнул он и показал шапкой, — вон идет. Она тебе сейчас вторую ногу отремонтирует.

Костистая высокая тетка действительно шла к ним. Сережа даже успел подумать, где же у нее курица? Но тетка остановилась, и в ту же секунду мужик рванул, он ввинчивался плечом в толпу, мелькнули высокие калоши, серые валенки — и нету.

Не побежишь с палкой и стрелять не будешь.

Портфель краем съехал в лужу, Сережа наклонился его поднять.

Выстрела он не услышал. Увидел красный шарик, вылетевший в лужу, вроде красный камешек, и после красную струю, ударившую в эту же лужу. И красную воду, стремительно приближающуюся к лицу, понял, что падает, но еще не понял, что в собственную, бьющую из шеи кровь.

Стреляли сзади из обрезка, прямо через доски забора. Но этого Сереже уже не дано было знать, как и не дано было знать, как тащили его на шинели, как бежал рядом, кричал и плакал Вовка Перепетуй, как незнакомый майор-фронтвик зажимал перебитую артерию, как толпились люди, как на рысях влетела ломовая лошадь с телегой на дутиках и как, пока его везли, старшина-милиционер два раза крикнул, что он кончился, а майор-фронтвик тряс головой и орал: «Гони!»

Поезд все ехал и ехал, и грохотали, грохотали, бились колеса под полом. Потом голос спросил через этот грохот:

— Ты меня слышишь, сержант? Покажи глазами, если слышишь...

Из легкого марева возникла голова пожилого человека с розовыми щечками.

— Поздравляю тебя, сержант, — сказала голова, — вчера кончилась война.

Голова пропала, осталось окно, и за окном тополь, весь в молодой зелени, кивал, кивал макушкой под ветром.

— Не успел, — сказал Сережа каким-то маринным голосом.

— Что, что ты не успел? — опять возникла голова.

— Ничего не успел, ничего.

За окном загрохотало, там действительно шел поезд, и, когда поезд прошел, стало слышно, что где-то играет духовой оркестр и кричат «ура».

Конец мая был жаркий, с внезапными грозами и густыми туманами по утрам.

В госпитальном старинном парке обнаружили грибы — бывают, оказывается, грибы и в начале лета. Ходячие раненые искали эти грибы и жарили их на здоровенной сковородке на маленьком костерке.

Госпиталь был у железной дороги, и воинские эшелоны без огней грохотали теперь все больше на восток. Говорили разное, но злющего госпитального кота, по кличке Гитлер, переименовали в Банзая. Банзай всегда приходил, когда они собирались, и, не мигая, смотрел на огонь.

В этот день они сидели на скамейке втроем: Сережа, артистка, которая когда-то пела в милиции, — что-то у нее было с горлом — и летчик-штурман с «Дугласа».

Летчик жарил грибы. На путях гукнул паровоз и застучали колеса.

— Скоро Азия будет свободна тоже, — сказала артистка, — армии двинулись. Это не вагоны, это стучит история. В какое прекрасное бурное и яростное время мы живем... Голосовые связки у меня погублены, это непоправимо, что ж... Буду помремем. Помремем задает ритм спектаклю, от него многое зависит. Я не унываю, не унываю...

— Ты чего, сержант, не брешься? — летчик положил на алюминиевые тарелочки грибы, и они стали есть, беря грибы пальцами, обжигаясь: — Будет гроза, — сказал летчик. — Ах, какая чудная будет гроза, заглаждение.

— Не будет грозы, — стал дразнить его Сережа.

— Будет, — сказал летчик, — я ногой чувствую.

— А я ногой, животом, ребром и шеей, — перечислил Сережа.

И все посмеялись: летчик громко, а Сережа с артисткой тихо — им было нельзя.

— Может, мне к вам в театр пойти, всяческие исторические предметы делать? — сказал Сережа.

— Бутафором, — кивнула артистка.

Потемнело.

— Не подвела, — сказал летчик и похлопал себя по ноге.

— Бутафор — это мне интересно. — Сережа разволновался. — Книжки можно читать, какой предмет из какой эпохи и как выглядит...

Дождь застал их на полпути.

В вестибюле Сережу ждала Лена. Она сразу пощупала мокрую Сережину пижамную куртку и брюки.

— Чего рано, случилось чего? — спросил Сережа.

— Ничего. Не чего, а что... — поправила она.

За окном палаты дождь лил стенами и грохотало, и Лена стала считать, сколько секунд между громом и молнией. Потом сказала, что гроза уходит, и велела есть варенец, полезный для горла. Она стала еще увереннее, будто выросла. Сережа раздражался, но все более необходимой она ему становилась и все больше он ее слушался.

— Ты небритый, — сказала она, — это противно, пойдешь и побришься.

— У меня бритва затупилась...

— Дай тарелку. — Лена перевернула фаянсовую тарелку и стала осторожно править на ней бритву.

Дождь перестал. Так же сразу, как начался. Сережа сидел на кровати и, раздражаясь, глядел, как Лена правит бритву.

В саду раздавались громкие голоса и смех: возвращались те, кого гроза застала далеко. Лена с тарелкой и бритвой ходила от окна к тумбочке.

— Не успел побриться,— сказала быстро Лена.— Ах, не успел. Подойди к окну и не сутулься, и не нервничай... Распрямись.

— Ну что ты дурочку валяешь,— Сережа скинул тапки и лег на кровать.— Варенец кислый, не буду я его пить...

— Ну как хочешь... Он не пойдет! — крикнула она в окно и славно и мягко засмеялась.— Он не в настроении... Он нынче нервный...— и засмеялась опять.

— Ты чего, ты чего?

И, уже чувствуя, что случилось что-то, что все не просто, Сережа стал искать тапки, нашел только одну и в этой одной пошел к окну.

Широкая аллея уходила к воротам, в прозрачной луже отражалось здание с открытыми окнами. А по ту сторону лужи с мешками у ног и чемоданами стояли шесть человек — кто в кирзе, кто в хrome, кто в пилотке, кто в фуражке, кто в гимнастерке, кто с шинелью под мышкой, кто с кобурой, кто без... Весь его экипаж с 82-й машины и рыжий батарейный повар Котляренко — «Котлетыч». И, открыв рты, глядели на него. Он успел увидеть самого себя в серой госпитальной пижаме — вместе с рамой окна он отражался в луже.

Он помахал было рукой, вроде ничего и не произошло, потом хотел крикнуть, но воздух вдруг перестал поступать в легкие, он затопал ногами, завертел головой, опять попробовал крикнуть, воздуха не было — в горле сидела плотная густая пробка, ее было не пробить. Он увидел, как они побежали вокруг лужи и, уже садясь на пол у подоконника, услышал крик Лены:

— Доктора, ради бога, доктора! Дыши, Сереженька, дыши...

Только тогда воздух прорвался. Сережа задышал, закашлялся и, извиняясь, спросил:

— Ну и ну, откуда это взялись?

В первом часу ночи подполковник медицинской службы Бок, проходя по темному больничному коридору, услышал за открытым окном треск, пыхтение. Бок был стреляный воробей и сразу сообразил, в чем дело. Тихо поставил стул под выключателем, снял халат, как бы предъявляя китель с погонями и орденами и, скрестив руки на груди, сел ждать, пока над подоконником не возникло рыжее усатое лицо в пилотке.

Тогда Бок зажгет свет и вежливо сказал:

— Здравия желаю. Заходите, заходите... Лесенку где брали, за хлеборезкой?.. Вы пока чайку откушайте, а я в комендатуру позвоню...

Голова за окном тяжело вздохнула, придерживавшись за подоконник, отдала честь и, буркнув что-то горестное, стала исчезать.

— Молчать! Не отвечать! — больше для острстки заорал Бок.— Сестра, комендантский патруль к госпиталю, живо! Сколько раз я приказывал, лестницу на замок!

И, обливая воды, объявил прибежавшей сестре и ординатору, что заезжие танкисты готовят побег этому, из 21-й палаты, с проникающим ранением шеи и грудной клетки. И, крикнув в окно, в темную благоухающую сиренью ночь про дисциплинарные батальоны, которые никто еще не отменил, в сопровождении уже целой свиты прямоком направился в 21-ю палату.

— Наглость, достигшая апогея,— бормотал по дороге Бок.— Возить лестницей так, что стены трясутся, и надеяться не быть обнаруженным! Мои наблюдения, друзья: род войск диктует ощущение безнаказанности... Я думаю, пехотинец так бы не поступил, хотя ловили мы и пехотинцев.

— Это не танкисты, это самоходы,— сказал капитан,— стомиллиметровщики.

— Тем более...— хохотнул Бок.

Палата спала или делала вид, что спит. Пижама Сережи аккуратно висела на спинке кровати, и тапочки стояли точно в коридоре лунного света.

— Палки нет,— тихо сказала сестра.— Нет палки...— потянула одеяло.

Под одеялом лежал коленкоровый диванный валик и в узелке из полотенца множество тех бесполезных вещей, которыми обрастают за долгое пребывание в больнице.

Из окна тянуло сквозняком, и красная пожарная лестница из-за хлеборезки стояла как раз здесь.

— Растут люди,— вздохнул Бок.

Он усталился на соседнюю койку летчика с «Дугласа» и неожиданно для всех рванул одеяло.

— Ах,— сказала сестра и заломила руки.— Ах, что же это?!

Там лежал второй валик и такой же узелок.

Рассветало. Они сидели у трамвайного кольца. Кто дремал, кто лениво жевал консервированную колбасу. Сытый Банзай сидел напротив, Лена сплела ему ожерелье из одуванчиков.

— Робинзон Крузо,— сказал лейтенант,— тридцать лет прожил на острове один-одинешенек, но сохранил для нас силу человеческого духа... Эти же поганцы,— лейтенант потряс бутылкой трофейного коньяка «Робинзон Крузо»,— даже над его славным именем надсмеялись, потому что коньяк — дрянь. И на вкус и на дух.

— Жирный я стал, как гусак.— Летчик с «Дугласа» приложил к голой своей ступне

сапог подметкой.— Не надо мне было гарниры кушать.

И аккуратно отложил кучу обмундировки — все ему не годилось. Был он в солдатских коротких галифе и диагоналевой лейтенантской гимнастерке. Так и пошел он к трамваю посмотреть в боковое стекло.

— Об застегнуться нет речи,— сказал ему вслед Котляренко, запихивая в вещмешок шмотки и две гранаты-лимонки.

У трамвая уже хлопотала вожатая. Под ее руководством Проня шваброй мыл ветровое стекло. Вокруг бегал с фотоаппаратом стрелок-радиотех Кордубайло.

— Смотрите сюда — птичка вылетит...

— Знаю я, какая у тебя птичка! — завливалась кондукторша.

— Внимание, снимаю,— ликовал Кордубайло.— Между прочим, личный аппарат Гитлера...

— Тьфу, тогда отказываюсь,— кондукторша спряталась за Проню.

— Сапогами не исправишь.— Летчик вздохнул и пошел обратно.— Все ж таки я боевой офицер... Отвернитесь, девушка,— попросил он Лену,— я обратно в пижаму переоденусь... Плесни еще «Робинзона», лейтенант.

— Я вас другими представляла,— сказала Лена лейтенанту.— Я патруль на рынок вызову... Я вам не за этим писала... Я о моральной помощи писала,— посмотрела на отвернувшегося, громко засвистевшего «Синий платочек» Сережу и замолчала.

— А это и есть моральная,— сказал лейтенант,— вперед на третьей передаче и никому бок не подставлять. А уж как вы нас себе представляли, Леночка...— Он отошел, сломал ветку сирени, понюхал и отдал Лене.— Так что вы уж не противоречьте, у нас на батарее тоже девушки были и не противоречили.

Ветровое стекло трамвая сияло чистотой, вожатая в белой кофте смеялась за этим стеклом, закидывала голову, и тогда была видна белая шея.

— Па-а-адем! — скомандовал лейтенант.

И они пошли к трамваю один за другим с мешками и чемоданами, как на посадку. И, как при посадке, лейтенант стоял у ступеньки, пока все не вошло в вагон.

Трамвай тронулся, оставляя летчика, Лену и Банзая.

— И сколько же я на трамвае не катался,— медленно сказал Котляренко-повар.— В тридцать девятом катался у тетки в Туле и был я тогда еще мальчик.

Трамвай катил теперь вдоль железнодорожной насыпи, и Сережа вспомнил, как подъезжал к городу зимой.

Они обошли новый, уже густо обклеенный какими-то объявлениями забор.

Барахолка отодвинулась от рынка туда, где улица, сужаясь, спускалась к реке. Рынок же — нелепый, похожий еще недавно на огромный ржавый пароход,— был в новеньких желтых лесах. Арки-кюзы открыты, хоть насквозь смотри.

— Тю,— сказал Кордубайло про рынок,— цирк строят! Вот что значит фриц ни разу не снесся...

Они постояли и посмотрели, как ветер крутит сор между кучами строительного мусора.

— Значит, напоминаю,— сказал лейтенант.— Кружок идет первый... Мы все на расстоянии видимости... Пока Кордубайло свистит — Кружок идет, перестал свистеть — Кружок видами любитесь. Но не оборачивается и не подходит. Берем всех, кто узнает Кружка, даже если мельком глянет. Трясут Проня и Лисовец. Извинения приношу я. Пол и возраст значения не имеет. Вопросы есть?

— Есть,— сказал Проня.— А если дитя?

Лейтенант печально посмотрел на него и покачал головой.

— Извиняюсь,— сказал Проня.

— Еще вопрос,— сказал Сережа.— Комдив вам дал полтора суток, сутки кончаются в двадцать часов. А если вас эшелон не возьмет?

— Ну ты, Кружок, прямо как старушка стал,— захохотал Кордубайло.— В ту-то сторону!..

— Отставить,— сказал лейтенант.— Проходим один раз, нет результатов — идем к реке, чтобы не примелькаться.— Помолчал, с хрустом потянулся и добавил: — Ну, тогда пошли.

Они пошли между кучами мусора. Уже расстегиваясь, Сережа услышал, как лейтенант сказал, что купит все черешни.

— Черешню все время можно кушать, и вид будет натуральнее.

— Всем, кроме Кордубайло,— сказал Проня.

Раздался смех. Кордубайло сзади вдруг сразу и резко засвистел Чарли Чаплина. Так под этого Чарли Чаплина они и двинулись через площадь, а после улицей, заполненной уже в этот ранний час людьми, сворачивая то вправо, то влево, среди покупающих, продающих, распаковывающих и просто идущих.

— «В сталь закован, по безлюдью, продырявленный вторично»,— пробормотал сам про себя Сережа.

От этого ему неожиданно стало весело, и он засмеялся.

Барахолка не просто перенесли, кто-то здесь расстарался — и заборы, и сараи были побелены известкой. Красиво, хоть и пачкается. Вон мужик пошел — все штаны в побелке.

У высокого, тоже беленого, сложенного из старых шпал пакагуза разгрузжали с ломовиков тяжелые селечодные бочки. Весь проулок был в этих бочках в два этажа. Оттуда остро пахло рыбой, рекой и гнилью. Бочки пускали по доскам самокатом, они гремели, и Сережа перестал слышать свист.

Свиста не было, и когда бочки перестали греметь, Сережа вернулся и тут же услышал знакомый голос и увидел знакомое лицо: была Ксюня-немка. Проня огромной своей ручищей держал ее за желтую соломенную кошелку. Ксюня сорвала с себя очки и что-то кричала на весь базар, тряся очками в длинных своих тонких пальцах. Вокруг собиралась толпа. Голова лошади на секунду закрыла ее. Когда Сережа опять увидел их, рядом с Ксюней уже был лейтенант. Он терпеливо слушал и укоризненно качал Проне головой. А немка дрожащими руками пыталась надеть очки дужками наоборот. Потом возник Котляренко с пакетиком черешни. Кордубайло засвистел другую мелодию, красивую и грустную, ее Сережа не знал.

Они пошли дальше, и Ксюня еще немного прошла с лейтенантом.

Улица дошла до обрыва и сразу перешла в песчаную тропинку вниз к реке, в объявление, запрещающее торговлю на пляже, в стену сирени, над которой гудели жуки-броневики. И в далекий гудок парохода.

— Рожу от свиста свело,— сказал Кордубайло.— Что, лейтенант, будет, если она не распрямится?..

— Фитилек для керосинки немка твоя пришла покупать,— сказал лейтенант.— Правда, Проня, что ты ей «хенде хох» приказал?

И захохотал так заразительно, что все стали смеяться тоже. С этим смехом вся серьезность их предприятия уходила, превращалась в чепуху, и, словно почувствовав это, лейтенант приказал всем идти на пляж спать.

— Два часа спать, дневалит Лисовец... А потом вон там транспортом по кругу и сначала.

Он кивнул вниз, там, где в реке мыли лошадей, загнав их в воду вместе с телегами.

Они пошли вниз по жаркой и узкой тропинке.

— Понеси меня, Проня,— заныл Кордубайло.— Тебе нагрузка нужна, тебе без нагрузки дамы снятся, и ты орешь...

Шутка была из тех, еще Сережких времен. Локоть у впереди идущего механика-водителя Тетюкова был испачкан мазутом.

— Фрикционы новые поставил? — спросил его Сережа.

Не виноват же Тетюков, что Сережу замесил. Теперь уж все равно.

— Да ты что, Кружок, нету нашей машины. Наша, то есть ваша, сгорела под гордом Тильзит... Просто писать не полагается... И горела машина у очень красивого дома, наподобие дворца. А когда боезапас рванул, колонна такая белая сломалась. Ах, какая красивая колонна, Кружок, сломалась...

Проня впереди рассердился наконец на Кордубайло, поднял за ремень и потащил к воде.

Через два с четвертью часа, объехав на телеге знакомый уже беленый забор, они вышли на площадь и тут же наткнулись на сбежавшего из госпиталя летчика. Был он в брезентовом, вроде рыбацком, застегнутом у горла плаще, рыбацких же сапогах, потный и всклокоченный и шагал настолько стремительно, что их сначала не узнал. Пролетел бы мимо, не схвати его лейтенант за палку.

— Кончаюсь,— сказал летчик вместо приветствия.— Сахара — это ничего...— Он затащил их за угол в тень, расстегнул плащ, под которым была больничная пижама.— Здесь еще, оказывается, один толчок в Затоне есть... Я уж туда собрался...

— Вы бы хоть рыбину носили, товарищ капитан,— посоветовал Котляренко,— а то вид, признаюсь, просто дикий...

— Я часы — подарок боевого друга — продал.— Летчик махал плащом, обдувая взопревшее тело.— А ты меня видом попрекаешь... Распоряжайся мной, лейтенант. И учти, я штурман, у меня наблюдательность исключительно развита...

— Только вы позади всех идите, товарищ капитан,— согласился лейтенант,— тогда вы вроде на контроле будете. С другой же стороны, внимание к вам публики лично вам не создаст осложнений...

Сережа пошел вперед и, когда задержался, ожидая свиста, услышал, как лейтенант сказал Котляренко:

— Вид и вид... Допустим, был товарищ на рыбалке, замерз и не может согреться...

Начиналась жара, вот что было плохо. Дышать стало трудно.

За эти два часа базар разбух, раздался, растекся. И гул стоял над ним от тысяч шагов, слов, смеха, выкриков и патефонов, патефонов...

Пыль поднималась из-под ног. Один раз Сережа вдруг увидел Арпепе. Без бобриковой куртки, в парусиновом пиджаке Арпепе все равно казался квадратным. На согнутой руке у него сидела маленькая девочка.

Сережа сразу же дал в сторону и обрадовался, когда свист сзади не прервался.

Горячая пыль между тем все сильнее мешала дышать, он все чаще трогал боль-

ное горло рукой и все меньше воспринимал все вокруг, кроме пыли и запахов, от которых его мутило. Приближался пакгауз, там были пахнущие рыбой бочки. Сережа стал заранее готовиться к этому запаху, чтобы перетерпеть, и прошел было пакгауз, но тут его замутило так сильно, что он свернул на тропинку между пакгаузом и забором. Цветущий куст сирени, за которым он остановился, придерживая двумя руками раненое горло, тоже пахнул рыбой.

Когда Сережа с заплаканными глазами вернулся к своим, они стояли кучкой на углу тропинки и тихо и яростно, не обращая на него внимания, ругались.

— Чурки,— Проня дал ему воды из фляжки.— Это они, Серега, в азарт вошли...

В тени стало легче.

— Ни хрена вы не замечаете,— шипел между тем летчик.— Наблюдательность — ноль... Привыкли через щель смотреть... Никакого сектора, я только руками развожу...

— Сказать все можно,— гудел Тетюков.— В данное время вы для меня штатское лицо...

— Я тебе покажу штатское! — заревел летчик.— Я с сорокового командир ВВС. Ты каблучки-то сдвинь, сдвинь. Ну-ка пошли кому не лень.

Не лень было только Тетюкову. Они пошли обратно вдоль пакгауза, совсем недалеко отшли.

— Дядя,— летчик ткнул в проход между бочками палкой,— выйди-ка сюда. Да выйди, я тебя не обижу, не стесняйся... И напарничка с собой захвати... Ага-ага,— ликовал летчик.— Кто я буду? Командир Красной Армии буду... Выйди, разговор есть... Я тебя с одним гражданином познакомлю...

И пошел в глубь штабеля бочек.

Лисовец покупал черешню. Остальные продолжали раздраженно смотреть, и только вдруг успели увидеть, как ахнул Тетюков, схватившись за кобуру, выдергивая оттуда оружие.

За бочками треснуло, непонятно было, кто стреляет и в кого. Все побежали. Сережа побежал тоже, но поскользнулся в какой-то жиже.

А когда вскочил, первым увидел Проню, карабкающегося вдоль стены по штабелю вверх. Потом Лисовца, который отгонял народ, и только потом летчика. Брезентовый плащ у летчика был наполовину спущен и путался в ногах, как юбка. Двумя руками летчик держался за бок, и на зеленой боковой пижаме его разливалось кирпично-красное пятно. С другой стороны штабеля появился лейтенант и заорал, сделав ладони рупором, чтобы эти отсюда выходили, подняв руки над головой, потому что иначе будут уничтожены в течении двух минут.

— Здесь для вас адвокатов нет! — крикнул лейтенант.

— Здесь танкисты! — тоже заорал Проня.— Гвардейскую артиллерию не нюхали?

Напрягшись, он поднял здоровенную бочку и швырнул ее куда-то вниз. Неожиданно оттуда треснул выстрел. Проня сиганул с бочек. Через толпу продирался Арпепе, и маленькая девочка плакала и ташила его за волосы.

— Ребеночка пока кто-нибудь возьмите,— умолял Арпепе.

— Телегу гони! — крикнул ему Сережа.— У нас человек пораненный!

И встал на место, указанное ему лейтенантом, подняв с земли кирпич.

— Не везет мне,— летчик замахал руками.— Майор Бок будет зашивать мне бок. Это я синонимы применил...

И вдруг обвис на руках у Лисовца.

Проня достал из мешка лимонку, лейтенант заорал толпе, что разлет осколков до двухсот метров, что он не отвечает, и встал напротив прохода рядом с Сережей. Подумал, потянул Сережин кирпич к себе и отдал Сереже наган.

— Мы с ними потом разговаривать хотим! — крикнул лейтенант Проня.— Ты сообрази, как кидать-то, голову приложи...— Подождал, пока до Прони дошло, и легонечко кивнул.— А если понял, тогда давай...

Вверх полетели щепы и доски, даже железный обруч успел Сережа заметить.

Штабель проседал. Там что-то скрипело еще, когда на площадь пробрался грузовичок с никелированной фарой на кабине. Впереди бежал потный милиционер без фуражки.

Двое вылезли из-под разбитых бочек и щепы. Один тряс, тряс головой и, проходя мимо Сережи, вдруг укусил себя за поднятую вверх руку и заплакал. Из полосатого его пиджака, из спины и плечей, даже из брючины возле колена торчала, воткнувшись, острая щепка. Второй шел не торопясь, смотрел на небо, будто подставляя лицо солнцу, будто греясь. Повернулся, встретился с Сережей глазами, задержал взгляд. Глаза были выпуклые, никакого выражения Сережа в них не увидел. Лицо было знакомое — Зинкины туфли он торговал. Посмотрел, вздохнул, отвернулся и так бы покойно и прошел до грузовичка, куда милиционеры и Кордубайло усаживали раненого летчика, если бы Проня не сцепил вдруг ладони, будто колун, и этими сцепленными ладонями не наверхнул бы его по шее. Лупоглазый пролетел вперед, ударился о того, в щепу, они упали, и покуда вставали, все старались держать руки вверх, и второй вдруг пронзительно закричал, что это самосуд и чтобы подошла милиция.

Но милиция не подходила, посмеивалась и глядела в сторону.

Неожиданно с крыши пакгауза стала осыпаться черепица, что-то там нарушилось, и она падала, падала, стучалась друг об друга и кололась.

Потом приехал Арпепе с телегой и стал успокаивать дочку, которая плакала и кричала.

Они опять сидели у трамвайного кольца. Красная кирпичная госпитальная стена была рядом, рукой подать. Там стоял грузовичок, водитель спал, спрятав лицо в тень ската. Раненые сгали через стену, таскали им еду, один судки с кухни подтырил.

Гречишкин появился вместе с Леной, ноги циркулем — раз-два вышагивают стремительно. У Лены кастрюлька с компотом — таких здесь на траве уже штук шесть, — у Гречишкина длинная папироса, какие Бок курит. Поздоровался со всеми за ручку, будто не виделась, и сразу пошел к крану пить воду.

— Мы летчика навешали, — Лена отпила компоту. — Гречишкин от лица службы, а я с цветочками... В палате у него народу, а он сам макароны кушает... «Плюньте, — кричит, — мне кто-нибудь в макароны, а то остановиться не могу... Чудные такие макароны».

— Придется тебе, Серега, к вечеру сдаваться. — Гречишкин свистнул шоферу заводить. — У тебя дома медсестра засела, не баба — Кошей. Теперь. Меня у Бока комендант разыскал... «Я, — говорит, — может, лично, ваше уважение разделяю, но поймаю — посажу... Если, — говорит, — не посажу, они следующий раз на самоходке придут»... Так что вас водитель отвезет, он знает. — Лицо у Гречишкина набритое, пахнет одеколоном, говорит — в глаза не смотрит. И добавил, когда уже в кузов полезли: — Сколько я этой дряни переловил и каких сил это стоило, а вы прибыли, раз — и в дамках... Случайность... А все же таки случайность — проявление закономерности. А в чем закономерность — ухватить не могу...

— А ты не ухватывай, — сказал лейтенант. — Удача — такое дело...

Птицы возвращались на ночевку в город, и легкие их тени беззвучно неслись навстречу машине. Ехали бульварами, и листья старых кряжистых деревьев казалась отличной из металла.

Проехали Серезин дом. Медсестра в мамином синем халате поливала из шланга двор. Рядом с ней стояла мама, прижав к груди пеструю подушку, и что-то говорила.

У следующего перекрестка Сережа увидел Зинку. Он постучал по кабине, попросил минуту подождать и постарался прыгнуть половчее, оставив в кузове палку.

— Здорово, Зинок... — никогда он ей так не говорил, знакомая тяжесть легла под сердце и опять мешала дышать.

— Серезенька, тебя выписали? Маму видел?

Ничего в ней не изменилось, хотя вот зонтик купила.

— Ты чего не на работе?

— Я теперь технолог в пошивочном ателье... Пальто шьем, костюмы, даже шапки... Люди обносились, все гимнастерочки, — она ткнула пальцем в Серезину гимнастерку.

— Начался индивидуальный пошив, — вспомнил Сережа.

— Вот именно. Дело новое, я очень устаю. Твоя мама получила талон на материал, и мы все спорим, какой цвет тебе к лицу... Ты скоро домой?

— Скоро, — кивнул Сережа и пошел к машине.

— Дама, смотрите в объектив, я вас фотграфирую! — опять ликовал Кордубайло.

Эшелон они ждали на воинском грузовом перроне за городом.

— Мы отсюда на фронт дернули, — сказал Сережа. — Вот за той водокачкой.

— А я всегда мечтала прыгнуть с парашютом, — Лена раскинула руки. — Незабываемое, наверно, чувство парить. Верно? Загудело. Лейтенант забеспокоился и приказал разобрать вещи.

Черные, блестящие, с боковыми щитами от ветра, на большой скорости два паровоза тянули эшелон. Три классных вагона, потом платформы, теплушки.

— Дыма почти нет, — сказал Тетюков, — не будет тормозить. Когда тормозят, всегда дым, вы со мной не спорьте...

В эту же секунду эшелон стал тормозить. Лейтенант побежал, показав Тетюкову кулак. В окнах первого классного отражались все они, почти бегущие по перрону. Сережа отстал. И теперь в окнах следующего вагона проходили только он и Лена.

В эшелоне ехали моряки. Лейтенант предъявил предписание мичману с повязкой дежурного по городу. Мичман поглядел его на свет и показал на теплушку в середину эшелона.

Кордубайло щелкнул фотоаппаратом, что-то крутанул, послушал одному ему понятные звуки и сунул аппарат Серезе.

— Я, Кружок, все равно проявлять не умею, у меня три класса. Бегаешь, бегаешь, пока допросишься. Теперь уж ты давай... Тем более, у Хирохито тоже наверняка подобное имеется...

И побежал. И все побежали к теплушке, уже не оборачиваясь.

Лена с Сережей стояли, потом побежали за ними, но он отставал. На платформах баркасы, баркасы, на банке одного сидел морячило.

Паровозы засвистели, дернули состав, матрос на баркасе помахал Сереже рукой, ленточки бескозырки были завязаны у него под подбородком.

Подаренный Кордубайло аппарат выпал, Сережа не остановился.

Теплушка приближалась, оттуда торчала труба, из трубы шел дым, и там лаяла собака.

Лейтенант, уже без фуражки, обернулся, что-то крикнул в глубь теплушки и, еще не понимая, что он делает, Сережа бросил палку и схватился за дверь. Его поволокло, ударило об вагон. Он услышал, как закричала Лена, успел увидеть, как кончился перрон, и землю увидел, и траву под своими висящими ногами. Его держали за штаны, за гимнастерку... Наконец рванули и втянули внутрь.

Сережа сидел на полу, ему казалось, что провода со столбов вдоль линии бросаются на грудь.

— Ну, гад ты, Серега,— сказал Кордубайло.— Такой аппарат погубил...

— И дадут мне за тебя, Кружок, десять суток,— сказал лейтенант.— Правда, может случиться, опять после войны, а? — И, обернувшись к нарам, где сидели матросы, предложил: — Давайте, товарищи моряки, ужин готовить... Ваша каша, наши песни...

Сережа высунулся в дверь. Эшелон грохотал через город, мимо высоких, довоенной постройки, домов.

Эшелон выгнулся, клочья паровозного дыма сделались густыми и стали закрывать дома.

— Прошло сорок лет. Я не стал географом, я преподаю литературу. Литература вбирает в себя многое, и я не жалею. Я живу в том же городе, преподаю и, кстати, директорствую в той самой сорок третьей школе. Даже номер не изменился. Недавно меня вызвали в военкомат. Оказываются, меня нашла медаль «За победу над Японией»... Я долго тогда не был поставлен на довольствие в части, и все это привело к путанице. В ту ночь после военкомата у меня была бессонница. Я не сплю без сновидных, а Лена забыла их заказать. Такая необязательность.

Я не спал, и все вспоминал, вспоминал... Как один день прошел, как один день. А ведь жизнь.

По темноватой улице идут трое — Сережа, Карнаушка и Перепетуй. На Сереже и Перепетуге лыжные штаны и пальто, из которых они выросли. Карнаушка в кожаной куртке и отцовских хромоных сапогах, которые ему велики. Они идут в ногу, и Карнаушка говорит:

— Ать-ать...



АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА СВИРИДОВА в 1976 г. закончила сценарный факультет ВГИКа, автор нескольких документальных и мультипликационных фильмов. «Победителей не судят» — дебют молодого кинодраматурга в художественной кинематографии. Сценарий готовится к постановке на киностудии «Мосфильм».

АЛЕКСАНДРА СВИРИДОВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ

Дмитрий Николаевич Беглов, подтянутый сорокалетний мужчина, стремительной походкой прошел к кафедре и энергично начал:

— Итак, тема сегодняшней лекции: вода. Более семидесяти процентов поверхности Земли составляют моря и океаны. Откуда же взялась вода? Существует масса гипотез, но самая безумная, которая кажется мне наиболее убедительной, состоит в том, что по мере того, как наша планета охлаждалась, всё, что испарилось прежде, выпало потом на поверхность остывшей планеты в виде дождя. Шел этот дождь миллионы лет. И теперь вся вода, которая была на Земле изначально, находится в сохранном состоянии — в виде ледников на полюсах и гейзеров в недрах. Во всех мифах и легендах говорится о потопах и зарождении жизни из воды. Сегодня проследить процесс эволюции человека можно по формированию зародыша в материнском чреве. Воды, в которых поселяется этот червячок, по составу те же, что и в мировом океане. Только весь процесс становления от жаберно-дышащего до человека длится девять месяцев, а когда человека вынашивала планета, он тянулся миллионы лет. Установлено, что семьдесят один процент массы человека — вода, как и

семьдесят один процент поверхности Земли — тоже вода. Вода — уникальное химическое соединение. Она обладает аномально высокими температурами плавления, кипения, диэлектрической проницаемостью и теплоемкостью. Основу молекулы воды составляют три ядра...

— Дмитрий Николаевич... — заглянула в дверь худенькая женщина. — Простите, но вас срочно требуют к телефону.

— Извините, — сказал Беглов и сошел с кафедры.

Белые «жигули», надсадно воя, с трудом продвигались по жирной пашне. Впереди суетилась горстка мужчин с лопатами. Беглов вышел из машины, резко хлопнув дверцей. Подставил ветру лобастую голову с жестким ежиком седеющих волос.

У большого квадрата искусственного водоема-отстойника мужчины суетливо наращивали земляной вал, отделявший поле от темной жижи. Грязные стоки уже кое-где перехлестывали обвалование.

— Митя! — бросился к Беглову вскоченный человек лет тридцати трех — инспектор Бассейнового управления по регулированию использования и охране вод Иван Астахов. — Спасибо тебе... В санстан-

ции уже никого, а кроме тебя и просить больше некого!

Беглов сморщился от смрада, извлек из кармана черного пиджака носовой платок и прикрыл нос. Свободной рукой открыл багажник. Астахов поспешно достал оттуда несколько маленьких канистр и большую банку с грузилом и длинной веревкой.

— Чур, зачерпывать это будешь сам, — гнусаво сказал из-под платка Беглов.

Астахов кивнул и пошел к отстойнику. В разных местах он забрасывал банку, зачерпывая жижу, и бережно разливал по канистрам.

Тучный шестидесятилетний мужчина — директор свиноводческого совхоза «Прогресс» Михаил Иванович Щербаков недобро поглядывал на Астахова с дальнего края отстойника.

Астахов завинтил крышки канистр и понес их к машине.

Беглов же медленно, с нескрываемым сожалением, снял черный пиджак, закатал рукава белой рубашки, ослабил узел галстука и медленно пошел к груде лопат. Тщательно проверив черенок на прочность, выбрал одну.

— Да ты что! — Астахов, побросав канистры в багажник, попытался силой отнять у Беглова лопату.

Тот коротко глянул на него из-под насупленных бровей, Астахов покорно отступил. Потоптавшись, выбрал лопату и себе, принялся наращивать земляной вал. Щербаков тоже направился к ним, прихватив по дороге лопату...

Грязная жижа текла им под ноги, и Щербаков брезгливо переминался, то и дело бросая косые взгляды в сторону Беглова.

— Астахов, — глухо сказал Беглов, — мы не вытнем. Нужно поднимать людей. Пусть тащат трактора, бульдозеры, все что есть. Машины проси в горводоканале.

— Михаил Иваныч! — отчаянно сказал Щербакову Астахов. — Вы слышите?!

Щербаков швырнул лопату и пошел в сторону святящихся окон своего совхоза.

— Как ты узнал о прорыве? — спросил Беглов, поглубже вбивая лопату в грунт.

— С очистных позвонили, — тяжело дыша, ответил Астахов. — В биопрудах появились мутные полосы. У них там вода — пить можно! И вдруг... Я примчался, походил, выследил в балочке ручеек и так — по ручью — пришел на поля к Щербакову.

— Понятно... И что ты теперь с ним делать будешь?

— Штраф выпишу. Рублей на пятьдесят...

— А он себе премию на сто, — остервенело прихлопнул лопатой землю Беглов, и черенок предательски треснул.

— А что я могу? — вспыхнул Иван.

— Не можешь — уходи. Как тебе только не стыдно, чтоб такое творилось?

— А тебе? — недобро прищурился Астахов. — Я хоть гоняюсь за этими щербаковыми, а ты сидишь в своем институте — анализы делаешь да диссертации строчишь! Тоже мне наука — об утате дерьма! Сколько вам исполком за нее переводит?

— Сорок тысяч в год, — ответил Беглов, утаптывая землю.

— Да я б на эти деньги очистные уже в этом совхозе отгрехал! Ученый! На чужом горе наживаешься.

— Звонишь мне тогда зачем, а? — спросил Беглов и хлопнул лопатой по валу так, что черенок разлетелся.

— Век бы я на твою кафедру не звонил, будь у меня своя лаборатория! — клятвенно прижал руки к груди Иван. — Понаплодили контролирующих организаций!.. Тьфу!..

...Слышно было, как где-то далеко, в центре села, били в звонкую рельсину. В густеющих сумерках вкатывали на пашню грузовики. Люди прыгивали с лопатами, тямками — у кого что нашлось под рукой. Бульдозеры сгребали к краю отстойника землю, и люди утрамбовывали ее лопатами, утаптывали сапогами.

Наконец заработал насос горводоканала, откачивая жижу. Ручеек под ногами Беглова замер, выдохся и неохотно покотился вспять — в котловину.

Светало, когда работа была закончена. Полупустой отстойник черной дырой зиял посреди колхозного поля. Люди рассаживались по грузовикам.

— Опусто-ка мне борт, — командовал вдруг Щербаков водителю грузовика, и тот подчинился начальственному тону. — Товарищи! — крикнул Щербаков с импровизированной трибуны. — От имени дирекции, профкома и парторганизации совхоза я хочу сказать вам всем большое спасибо!

На Щербакова оглядывались — недоуменно, насмешливо, равнодушно. Пафоса не разделял никто. Щербаков же и вовсе не видел лиц тех, к кому он обращался: первые лучи солнца слепили ему глаза, и он шурился, распаяясь всё больше:

— Вы спасли город! Стоки могли прорвать земляные валы отстойника, и лавина зловонных ядовитых отходов едва не хлынула на это чудесное, политое потом, согретое лаской хлеборобов поле. Тысячи гектаров надолго лишились бы плодородия...

— Ишь! — услышал Беглов за спиной глуховатый басок. — И с этого дерьма пенку снимет!

Беглов обернулся. Огромный молодой парень, похожий на былинного Добрыню, смачно сплунул себе под ноги.

— Какой же вы наглец! — вдруг вырост перед Щербаковым Астахов. — Это преступление!

— Иди проспись! — рыкнул Щербаков.

— Я-то просплюсь, а вы как были наглецом, так и останетесь! Обрадовался, трудовой подвиг совершил, герой! Лужу осушил, чтоб самому же не захлебнуться собственным дерьмом!

Голос Астахова сорвался. Он безнадежно махнул рукой, закашлялся и зашагал прочь, загребая грязь стоптанными башмаками.

Грузовики с усталыми людьми выбрались на шоссе. Колонну замыкала белая машина Беглова.

— В исполкоме всё к сознанию его вызывают, — убито объяснял Астахов. — А тут не сознание менять надо, а производство...

— Я б сначала тебя сменил, — выжал газ Беглов.

— Останови, — решительно взялся за ручку дверцы Астахов.

— Сиди спокойнo! — прикрикнул Беглов. — Давай показывай, куда меня завтра вызовешь. Всё равно уже не усну.

Машина скатилась на гальку пляжа. Первые одинокие купальщики поживались на берегу. Молодцеватый фотограф с огромной искусственной пальмой и прилепленной к стволу плюшевой обезьяной брел по воде в поисках клиентов.

Беглов пристально смотрел под ноги, словно детектив в поисках следов преступника. Радужная пленка нефтяных пятен увязала в песке и переливалась на всех камнях.

— Это что ж, с нефтегавани прибывает? — ковырнул Беглов камешек.

— С нефтегавани — в другом месте. Там к берегу не подойдешь. Сюда ливневка судоремонтного выходит.

— Угу... Под видом дождя они тебе всю таблицу Менделеева сбрасывают, — с пониманием протянул Беглов.

Астахов молча кивнул.

Подпрыгивая на ухабах глинистой дороги, машина Беглова выехала к огромному многоэтажному дому-новостройке.

— Невероятно! — не поверил своим глазам Беглов. — Фарс какой-то!

Во дворе многоэтажного красавца стояло аккуратное деревянное строение с буквами «М» и «Ж».

— Всё в истории бывает дважды: один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса, — процитировал Астахов. — Трагедия досталась мне...

— Комедия еще предстоит жильцам, когда они поутру в очередь у этого клозета встанут... Чего — сдали не подключенным?

Астахов снова кивнул, отведя почему-то глаза в сторону.

У двухэтажного дома с неким подобием шпиля на крыше и гигантской надписью «Морской вокзал» по фронтому Беглов остановил машину.

Пароходы всех цветов и калибров тянулись вдоль причалов пассажирского порта, и только одна большая рыжая корма выглядывала с территории торгового.

Астахов сбежал по ступенькам к воде и, заложив два пальца в рот, залихватски свистнул. Моторная лодка, качавшаяся где-то вдали, взревела и устремилась к причалу.

— Катер восьмой год жду, а пока друзья выручают, — сказал Астахов, приглашая Беглова в моторку.

Втроем они с моря осмотрели акваторию порта. Огромные ржавые бока сухогрузов едва отражались в грязной воде. Плавал мусор, целлофановые пакеты, окурки. И, конечно же, — яркие пятна нефти и масел.

— Хочешь еще на нефтегавань?

— Спасибо, — взглянув на часы, ответил Беглов. — Давай заброшу тебя в контору...

Лавируя в улочках и переулках, они выехали к окраине города, где покачивался на воде старый облупленный дебаркадер. Беглов развернул машину, а Астахов устало побрел по деревянной скрипучей лестнице вверх.

«Бассейновое Управление по регулированию использования и охране вод» — значилось на табличке у покосившейся двери.

В первой маленькой комнате с мутными окнами было пусто.

В следующей — проходной — безмятежно спала, положив голову на ворох бумаг, молодая беременная женщина. Астахов осторожно, стараясь не разбудить, вытащил из-под ее руки бумагу. Это было постановление о штрафе.

Дверь в последнюю — «Начальник управления» — была приоткрыта. Астахов шагнул было, но замер, увидев, что на зеленом сукне старого письменного стола мирно хрустит сухариком мышь...

— У себя? — спросил Беглов, входя в приемную горисполкома.

Секретарь не успела ответить, как Беглов скрылся за дверью заместителя председателя исполкома Шевцова.

— Здравствуйте, Виталий Михайлович. Извините, что я в таком виде: сегодня по просьбе Астахова я был на прорыве у Щербакова...

— Да, Михаил Иванович уже доложил, как он лихо расправился со стихийным бедствием.

— Уж конечно, стихийное, если стихия у нас — Щербаков...— иронично сказал Беглов.— Лучше бы он вам доложил, как отстойники до такой кондиции довел.

— Дожди...

— Не дожди, Виталий Михайлович! Отстойники эти — каменный век... И вообще, по совести говоря, наш город — это позор.

— Позор? — возмутился Шевцов.— Да ты знаешь, как я строил его?! Они снялись мне — эти улочки! Как дрался за каждый микрорайон, чтобы не было типовых проектов, чтобы каждый дом отличался от следующего, чтоб у города было свое лицо!

— Но этим самым лицом город теперь лежит в грязи, и никому до этого нет дела. Вы третий год держите нашу кафедру на хоздоговоре, платите нам сумасшедшие деньги. А зачем?! Вы хотели от нас объективной информации, и мы вам ее даем — по всем предприятиям! Наши данные расходятся с комплиментарной информацией предприятий и санэпидемстанции. Ну и что? Всё течет, как текло. И Астахов... Он ничего не изменит... не сможет изменить,— устало закончил Беглов.

— Астахов — и. о. начальника. Лекарь с фельдшерским образованием,— опуская всё остальное, сказал Шевцов.— Его временно посадили, а замены нет. Если уж ты так болеешь,— бери это всё в свои руки и меняй.

— Я не за этим пришел.

— А за чем? О недостатках меня проинформировать? Такая, знаешь, позиция стороннего наблюдателя тоже, я тебе скажу, недостаток...

Шевцов прищурился и выжидательно посмотрел на Беглова.

— Идет! — прошелестело в коридоре института, и стайка студентов, завидев Беглова, поспешно скрылась за дверью лаборатории.

— Здравствуйте, Анатолий Иванович,— сказал Беглов, заглянув в кабинет заведующего кафедрой Бондарева.

— Здравствуйте,— сухо ответил тот.— После занятий зайдите ко мне, пожалуйста.

— Я хочу зайти к вам сейчас.

— Сейчас уже пятнадцать минут, как у вас должна идти лекция,— чуть повысил голос Бондарев, глянул на грязные брюки Беглова и тихо спросил: — У вас что-то случилось?

— Я хотел бы уйти...— плотно прикрыл за собой дверь Беглов.

— На сегодня? Пожалуйста.

— Вы меня не поняли, Анатолий Иванович... Я хотел бы уволиться из института. Бондарев пристально всмотрелся в лицо преподавателя.

— Третий год мы работаем над темой по охране среды,— продолжал Беглов,— а сегодня ночью по сборке Бассейнового управления я делал забор проб и впервые, как образно заметил инспектор Астахов, захлебнулся собственным дерьмом. Вот тут оно у меня было, понимаете? — Беглов задрал штанину.

— Ну и что тебя так потрясло? — откинулся в кресле Бондарев.— Ты ж не с Луны свалился, чтоб грязи дивиться. Ты, Дима, не мальчик из легенды, который может пальчиком заткнуть дырочку в плотине и спасти город от гибели.

— Мальчик или не мальчик — уже не важно. Нужно затыкать. Кто-то же должен!

— И ты хочешь лично заняться очистными, да? Из доцентов — в инженеры! На электромашзавод, например! Очистить мир от грязи — завидная миссия! А кто за Атланта подержит небо, покуда он Гераклом наймется к Авгию разгрести навоз? Ты педагог, твое дело воспитывать, прививать начатки экологической культуры молодым. Тем, кто завтра придет в школу и сможет учить детей беречь природу. А бросаться на амбразуру — это, знаешь, не по-государственному.

— Знаете, когда я еще пацаном впервые почувствовал, что что-то в мире меня шибко не устраивает, я честно сидел и думал, что же не устраивает меня больше всего. И нашел. Это ложь. Я стал думать, как сделать так, чтоб мир перестал врать. Подумал и понял, что с миром я ничего не могу поделать, а вот я сам — единственный человек, которого я могу попытаться заставить не врать...

Беглов медленно поднялся по скрипучим ступеням дебаркадера.

— Добрый день,— сказал он.— Я могу видеть товарища Астахова?

Три женщины подняли головы.

— Его сегодня не будет,— ответила беременная.

— Понятно ... А домашний адрес его не подскажете?

— А вы ему кто, простите? — справи-лась пожилая.

— Новый начальник. Как и вам всем. Фамилия моя Беглов. Зовут Дмитрий Николаевич.

В комнате наступила звенящая тишина. Беглов сел за свободный стол, открыл кейс, который оказался пустым, и попросил:

— Будьте добры, дайте мне всё, что у вас есть: методички, положения, решения...

Этого добра, я думаю, должно быть достаточно.

Первой очнулась самая молодая. Она прошла к застекленному шкафу и достала стопку тоненьких книжек.

— Зовут меня Марина. Можно Марья, Маша — как вам удобно, — небрежно сказала она, плюхнула стопку на стол, и Беглова обдало пылью.

— А как называл вас предыдущий начальник? — невозмутимо спросил он.

— Какой из трех?

— Уже три сменилось? — принялся упаковывать брошюры в кейс Беглов.

— Гораздо больше. Это при мне три. Последний называл «радость моя» и именем никогда не пользовался. К Астахову могу проводить.

— Спасибо, не надо.

— Тогда пишите: Ушакова, три, квартира семь. А вы к нам надолго?

— Сейчас не надолго, — поднялся Беглов. — А вообще — навсегда. Тронной речи не будет. Занимайтесь, чем занимались, а я постепенно буду входить в курс дел. Всего доброго.

— До свидания... — протянула Марина. А когда дверь за Бегловым закрылась, передразнила: — Сейчас не надолго, а вообще — навсегда! Навсегда — это значит, пока не снимут.

В запущенной холостяцкой квартире Астахов суетливо сгреб с дивана груды белья, освобождая Беглову место.

— Присаживайся, чайку попьем... — принялся он добывать чайник из горы грязной посуды. Задел под столом пустую бутылку, и та зазвенела, падая и увлекая за собой остальные.

— Здорово пьешь? — участливо спросил Беглов.

— Завязал. Не курю даже, — судорожно сглотнул Астахов.

— Давно это с тобой? — печально усмехнулся Беглов.

— Со вчера, — сказал Астахов, наливая воду в чайник.

— Будешь работать со мной?

— А ты возьмешь? — ошалело уставился на Беглова Астахов, и вода полилась из носика чайника.

— С одним условием, Иван: выпьешь — всё!

— Гад буду! — ударил себя в грудь кулаком Астахов.

Белые «жигули» въехали на территорию совхоза «Прогресс». Секретарши в приемной Щербакова не было.

— Ну, давай, а я по ходу дела втянусь, — подтолкнул Астахова к двери Беглов.

30

— Здравствуйте. Я из Бассейнового управления, — начал Астахов, войдя в кабинет.

— К главному инженеру, — не поднимая головы, откликнулся Щербаков.

— Голову хоть бы подняли, Михаил Иванович! — с укоризной вмешался Беглов.

— Что за шутки? — вскинулся Щербаков.

— Это не шутки, а страшная правда жизни, — подавая руку Щербакову, сказал Беглов. — Отныне в Бассейновом управлении начальник я. Фамилия моя Беглов. А товарищ Астахов — мой главный инженер, и отмахнуться от него вам больше не удастся.

— Очень приятно... — растерянно сказал Щербаков.

— Сомневаюсь, — усмехнулся Беглов. — Ибо я намерен не только добиться от вас ввода очистных сооружений в ближайшие пару лет, но еще и погашения всех задолженностей по штрафным предприятиям.

— Вы что, не понимаете, что это не реально?

— Нет. Нас заливают... И мы с вами сами имели возможность в этом убедиться. А очистку буду требовать с вас такую, чтоб вы воду из своих отстойников согласились пить.

Лицо Щербакова налилось кровью, но заговорил он неожиданно тихо:

— Вы разговариваете со мной, как со злоумышленником, а я не меньше вашего страдаю от отсутствия очистных, но есть государственный план, а экономика — вещь бесстрастная. Равнодушная к полям и рекам...

— Но вы-то человек, Михаил Иванович! — примирительно сказал Беглов. — На оформление всех бумаг вам потребуется две недели. На погашение штрафов — чуть больше, так как платить отныне вы будете только из собственной зарплаты. Всего доброго.

Астахов с восхищением следил за Бегловым.

— Это произвол! — подскочил Щербаков.

— Я с вами прощаюсь, — тихо сказал Беглов.

— До свидания... — сдерживаясь, процедил Щербаков.

Едва посетители вышли, Щербаков нажал все кнопки селектора разом и глухо спросил потрескивающее пространство эфира:

— Беглов — это кто такой?!

Беглов с Астаховым сидели в машине.

— С сорок шестого все предприятия шли без очистных, и ничего: купались, и ры-

балка была будь здоров,— говорил Астахов.— Море справлялось. А сейчас народу тьма понаехало, предприятия в городской черте... Как мы живы до сих пор — загадка... Эх, умел бы я фотографировать! — с досадой стукнул кулаком Иван по колену.

— Зачем?

— Мы бы сейчас фотографии щербаковских отстойников снесли в прокуратуру, и пусть бы он там объяснял, на что он деньги с очистных перебросил! Ты бы снес... — поправился Астахов.

— Ты считаешь действия Щербакова преднамеренными?

— С одной стороны... А с другой, Щербаков, если хочешь знать, в общем-то, не одинок. Многие у нас живут одним днем...

Утром Беглов шел вдоль причалов торгового порта. Щурясь от яркого солнца, читал названия судов на бортах, пристально вглядываясь в поверхность воды. Вздрыгнул, заметив пятно у кормы, на котором было выведено: «Альгамбра».

Беглов решительно шагнул к пограничнику у трапа. Предъявил удостоверение.

— Мне к капитану. Он на борту?

— У капитана комиссия.

— По отходу? — встревоженно спросил Беглов.

Пограничник неохотно кивнул.

Беглов озабоченно посмотрел на пограничника, на пятно, на часы и побежал в сторону морского вокзала.

...«Капитан порта В. М. Михайлов» — было написано на двери.

Коротко стукнув, Беглов стремительно вошел в кабинет. За столом сидели люди.

— Простите, но мне необходима ваша помощь... И немедленно! — твердо сказал Беглов, обращаясь к мужчине во главе стола.

— У меня диспетчерская,— недовольно откликнулся Михайлов, немолодой грузный человек с лохматыми бровями.

— А у меня... — Беглов извлек из кармана тонкую книжку инструкции, открыл на нужной странице и прочел: — «...важнейшим фактором при оценке размеров загрязнения нефтью является время».

— Не расходиться! — скомандовал собравшимся капитан порта, раздраженно выходя из-за стола.

Михайлов ступил на трап и строго сказал пограничнику:

— Доложи офицеру.

— Новиков! Доложи майору! — послушно крикнул пограничник.

Через секунду со второй палубы свесилась стриженная голова, а в следующую майор был на трапе.

— Здравствуйте, Владимир Михайлович,— приветствовал он капитана порта.

— Привет, Ковальчук. Тут вот... — Михайлов неопределенно кивнул в сторону Беглова.— Разлив у них вроде...

— Пропуск на иностранное судно есть? — строго спросил майор у пограничника. Тот кивнул и прижался к поручню, давая возможность Михайлову и Беглову подняться на борт.

— Я приостановлю комиссию? — спросил майор Михайлова.

— Да чего там! Пусть себе! — Михайлов махнул рукой.

— Нельзя при посторонних,— покосился в сторону Беглова майор.

— Я не посторонний,— сказал Беглов.

— Ждите,— предложил ему Михайлов и направился было назад к трапу.— Надеюсь, я больше не нужен?

— Ошибаетесь. Только сейчас и начнете быть нужным: задержание судна по инструкции осуществляет вы.

— Ишь, прыткий какой! Задержание! Вы еще докажете, что это его пятно.

— Прошу вас,— прервал майор, выходя на палубу.

Беглов с Михайловым вошли в каюткомпанию.

На полированном столике дымился кофе в тонких фарфоровых чашечках. Комиссия, в составе которой были пограничники, таможенники и молодая красивая женщина — врач по имени Юлия, расслабленно сидела в мягких глубоких креслах.

— Вы капитан? — решительно направился к молодому человеку в красивой форме Беглов.

— Ноу, сэр! — весело ответил тот, и Беглов несколько растерялся.

— Простите,— шагнул к Беглову худощавый подтянутый мужчина.— С кем имею честь?

— Вы капитан? — удивился прекрасному русскому Беглов.

— Представитель морского агентства «Инфлот» Орлов Игорь Николаевич. Как представить вас?

— Начальник Бассейнового управления по охране вод Беглов. У него разлив сзади... — добавил он, подавая Орлову руку.

— По корме,— укоризненно поправил Михайлов.

— По корме,— согласно кивнул Беглов.— Мне необходимо осмотреть судно, выяснить, откуда произведен сброс.

Орлов обернулся к маленькому неказистому человеку в футболке. Перевел. Тот что-то быстро ответил.

— Капитан говорит, что это не его пятно,— перевел Орлов.

— Дайте схемы судна,— сказал Беглов.— Я хочу проверить сохранность пломб.

— Вы оскорбляете капитана подозрениями,— переводил слова человека в футболке Орлов.— Он мог стать у причала в чужую лужу...

— Сообщить обязан был, если стал в чужую лужу,— сказал Беглов.

Орлов не перевел.

Молодой штурман «Альгамбры» внес пачку схем, положил на столик, и Беглов склонился над бумагами.

— Ну и что вы здесь видите?— насмешливо спросил Михайлов.

— Честно говоря, ничего...— стусевался Беглов.

— Хоть честно... Схему-то держите вверх ногами. Сухопутный, что ли?

— Вы идите, пожалуйста, капитан,— медленно проговорил Беглов.— Понадобитесь — я пришлю за вами.

Брови Михайлова взлетели. Ни слова не сказав, он решительно покинул кают-компанию.

Юлия с интересом следила за Бегловым, который медленно принялся поворачивать схему...

...В большом раздражении Михайлов перешел с трапа на трап, и вдруг из открытого люка машинного отделения долетели до него возбужденные голоса. Михайлов прислушался к чужому языку и изменился в лице. Бросился назад. Остановился. Вернулся было к трапу, но плюнул и решительно зашагал в кают-компанию.

— А ну, убирай всё это хозяйство! — зло сказал он Беглову.— Мне схемы осушительных балластных систем и журнал нефтяных операций.

Орлов перевел. Лицо капитана дернулось, как в приступе зубной боли.

Через минуту новая схема легла на стол, Михайлов удовлетворенно кивнул.

— Балластные воды откачивал? — спросил он тихо.

Капитан судна не задумываясь покачал головой — нет.

— А ну, покажите мне пломбы! — побегрел от гнева Михайлов.

Орлов перевел, и капитан послушно пошел к выходу.

— И ты иди, контролер! — прикрикнул на Беглова Михайлов, следуя за капитаном...

...Михайлов куда-то спустился, на что-то посмотрел. Беглов рванулся следом, но ничего не увидел, а Михайлов уже кричал на всё машинное отделение:

— А где пломбы, а?! А ну, давай качай балласт! Переведи ему, переведи! Оскорбили его подозрениями, видите ли!

Орлов изо всех сил старался сгладить интонации Михайлова, но — тщетно.

Вчетвером поднялись они снова на палубу, и капитан судна неохотно процедил сквозь зубы короткую команду. Прошла секунда, и вдоль борта растеклось огромное масляное пятно.

— Стоп! — крикнул Михайлов, и капитан сдублировал его команду.— Учись, пока я жив! — покровительственно сказал Беглову Михайлов.— У него судно старой постройки — балластная система проходит через танк с дизельным топливом. Там где-то и прорвало... Понял?

— Ничего, кроме того, что вы — бог,— искренне сказал Беглов.

— Да просто чуток язык знаю. Услышал, как они в машинном ругались, ну и решил этому подлецу всыпать. Брехунов не люблю... А ты не стой — меряй давай!

— Как? — тихо спросил Беглов.

— Шагами!

Пятно расплзлось по поверхности воды. Беглов старательно промерял его длину шагами по палубе.

— Ну, и в ширину столько же,— сказал Михайлов.

Орлов перевел, и капитан судна согласно кивнул, закусывая губу.

— Плюс то первое пятно...— подсказал Михайлов.— Пошли акт составлять.

Они вернулись в кают-компанию.

— Ну что? — заинтересованно спросила у Беглова врач.

— Его! — довольно кивнул Михайлов.— Качнул и снова напакостил...

Беглов быстро составил акт, передал бумагу Орлову:

— Сто восемь тысяч рублей.

— Ничего себе! — одобрительно крякнул Михайлов.

Орлов перевел текст акта капитану. Тот, не колеблясь, поставил свою подпись.

— Вы удовлетворены? — спросил Орлов.

— Вполне,— ответил Беглов.

— Ишь, и слова про сумму не сказал! — удивился Михайлов.

— А он вам ни гроша не заплатит,— тихо сказала Юлия.

— Как это? — не понял Беглов.

— Очень просто. Если он сейчас уйдет, денег вы не увидите. Они будут тянуть с оплатой, а апеллировать вы можете только в Международный арбитраж. Там и выяснится, что достаточных доказательств его вины у вас нет.

— А согласие капитана?

— Он скажет, что его принудили, что он пошел на всё, лишь бы скорее покинуть порт. Да мало ли что он может сказать! Вам нужен акт об идентификации состава нефтепродуктов.

— Орлов, он действительно может

уйти? — спросил озабоченно Михайлов.

— Такой вариант, какой предполагает Юлия Ивановна, не исключен,— подтвердил Орлов.

Капитан прислушивался к разговору.

— Ну-ка, ты, контролер,— по-хозяйски обратился к Беглову Михайлов.— Если так, садись и пиши... На мое имя. Я, начальник Бассейнового управления... Как тебя?

— Беглов.

— Так и пиши: Беглов... Прошу задержать судно до выдачи гарантий об уплате штрафа, наложенного мной за нанесенный стране ущерб... Или как там у вас формулируется?

Беглов послушно склонился над листом бумаги. Орлов принялся переводить, а капитан судна заметался по каюте, гневно что-то выкрикивая. Орлов в ответ только разводил руками.

— Товарищи, мне очень жаль,— сказал пограничник таможенникам,— но комиссия свободна. Судно задержано. О времени отхода я сообщу дополнительно. Всем спасибо.

Все, простившись, покинули кают-компанию, и только Юлия откровенно мешкала, снимая халат.

— Чего он кричит? — спросил Беглов, кивая в сторону капитана.

— Он приглашает вас пройти в «Инфлот»,— ответил Орлов.

Все вместе они направились к выходу.

— Думаешь, ты один умный? — шепотом спросил Михайлов.— Тут все не дураки! Ты решил лихо с горки сбежать и штрафнуть этого красавца, а не тут-то было!

— Отчего же...— мягко возразил Беглов.— Я теперь буду ходить к вам каждый день, и если понадобится, перештрафую тут все суда.

— А чего ты за море взялся? До тебя никто носа сюда не показывал...

— Моя бы воля — я начал бы с устья. С посошком вдоль по бережку... Да каждого мордой в его добро ткнуть. Глядишь, лет через сорок и сбежали бы в море чистые реки.

Юлия внимательно прислушивалась к разговору.

В уютной конторе «Инфлот» мерно постукивал телетайп.

Орлов поднял с пола ленту и принялся считать ему одному понятный текст. Дочитал, подвинул капитану стул и сел сам. К другому телетайпу. Капитан гневно принялся диктовать, а Орлов — стучать.

— Может, вы потрудитесь посвятить меня в происходящее? — спросил Беглов.

— Капитан жалуется на вас консулу.

Называет причины. Сейчас подождем ответа.

В соседней комнате зазвонил телефон. Орлов прошел и снял трубку. Коротко ответил что-то по-английски и окликнул Беглова:

— Товарищ инспектор, консул желает говорить с вами.

— Слушаю...— настороженно поднес трубку к уху Беглов.

На прекрасном русском, чеканя каждое слово, заговорил консул:

— Если вы сейчас же не отпустите судно, я немедленно свяжусь с Министерством иностранных дел.

— В данном конкретном случае,— медленно, взвешивая каждое слово, заговорил Беглов,— я выполняю свой служебный долг. Если я в своих действиях в чем-либо не прав, я готов принести извинения и понести заслуженное наказание. Но пока налицо виновность вашего капитана и мои действия вполне законны.— Твердой рукой он вернул трубку Орлову.

Орлов сказал в трубку несколько слов по-английски и опустил трубку на рычаг:

— Консул просит отпустить судно. Штраф переведут на наш счет во Внешторгбанк в Москве.

— Прекрасно. В таком случае инцидент исчерпан,— кивнул Беглов.

Орлов перевел его слова капитану, и тот крикнул что-то в лицо Беглову, потом Орлову и вышел, хлопнув дверью.

— Чем он так недоволен?

— Он возмущен тем, что с ним, капитаном дружественного государства, обращаются без должного доверия. Плюс — вы как человек сухопутный не понимаете, что для капитана задержка в одном порту — это опоздание в следующем, что, в свою очередь, чревато расторжением контракта, потерей работы...— с ноткой высокомерия объяснил Орлов.

— А что вы так за него волнуетесь? — подел его Беглов.

— Как житель нашего города,— ровным бесцветным голосом сказал Орлов,— я глубоко возмущен разливом. А как должностное лицо я представляю на нашей территории законные интересы иностранного капитана и судовладельца. И обязан их защищать.

— Странные, однако, у вас обязанности,— протянул Беглов.— Не находите?

— Нахожу. И понимаю: от того, как повязан мой галстук, зависит, что подумают о моей стране, а вот вы...

— Что я такого себе позволил?

— Вывились на борт, не имея элементарного представления об устройстве судна и правилах наложения санкций.

— Согласен,— кивнул Беглов.— Но

боюсь, вы сильно обольщаетесь, полагая, что хоть что-то зависит от того, как повязан ваш галстук...

В маленьком зале районного суда сидели за столом судья, два заседателя и секретарь. В нескольких шагах напротив сидели Щербаков с Астаховым и в дальнем углу — любопытствующая старушка.

Судья переворачивал бумаги на столе:

— Гражданин Щербаков Михаил Иванович обжаловал правомерность наложенного на него штрафа на сумму сто рублей. Он считает взывание не соответствующим степени его личной виновности. Гражданин Астахов, объясните суду, что в действительности произошло...

Астахов поднялся.

— Пятнадцатого июня, — тихо заговорил он, — на территории совхоза «Прогресс» произошел прорыв отстойников, приведший к сбросу в водоем неочищенных стоков. Руководствуясь Водным кодексом и Указом Президиума Верховного Совета СССР, я постановил директора совхоза Щербакова подвергнуть штрафу, так как он лично повинен в происшедшем. Штраф этот мизерная доля возмещения того ущерба, который Щербаков причинил своими действиями.

— Ясно... — сказал судья, выдержав паузу. — Вопросы к гражданину Астахову есть? — обернулся он к заседателям.

— Да, — кивнул заседатель слева. — Ранее вы предупредили гражданина Щербакова о том, что его действия чреватy административным наказанием?

— Только в нынешнем году я выписал двадцать два предписания прекратить сброс отходов в водоем, но Щербаков ничего не предпринимает. Строительство очистных сооружений так и не начато, а имеющиеся у совхоза отстойники своей задачи не выполняют.

— Садитесь, Астахов, — сказал судья. — Гражданин Щербаков, объясните суду, что произошло пятнадцатого июня.

— По причине обильных дождей, — с легкостью, неожиданной в грузном человеке, поднялся Щербаков, — отстойники совхоза действительно переполнились, и небольшое количество навоза вылилось на поля. Но испокон веку, сколько существует сельское хозяйство, навоз был удобриением...

— Пожалуйста, поближе к делу, — оставил его судья.

— Да-да, — охотно закивал Щербаков. — Главное, что статья предусматривает наказание за загрязнение водоемов, а мои стоки идут не в водоем, а в овраг, от которого до ближайшей реки километра три, а уж до моря и вовсе...

Астахов отчаянно стукнул себя кулаком по колену.

— Неужто прокол? — спросил Беглов, когда Астахов вошел в кабинет.

— Эту стену не пробить, — глухо отозвался Астахов. — Он их кормит своей свининой, а я пытаюсь им доказать, что Щербаков — преступник.

— Надеюсь, на суде ты этого не сказал?

Астахов в ответ только рукой махнул.

— Понятно... Значит, на днях получим частное определение суда в отношении тебя.

— Плевать!

— Знаешь что, Ваня, бери-ка ты пломбиратор и поезжай — перекрывай ему подачу воды. Я согласую это... — Беглов решительно снял трубку и крутанул диск.

— Да кто ж тебе даст закрыть свинокомплекс? — нажал на рычаг Иван. — У Щербакова государственная задача: выполняет Продовольственную программу!..

— А ты? — крикнул Беглов. — Ты не государственную задачу решаешь?

— Ну перекрою я воду, Николаич... Скотина окажется не напоенной. Да и проще может Щербаков — пробьет новую скважину на своей территории и будет всё, как было, только еще похуже...

— Тебя послушать, так этот порочный круг не разомкнуть!

— На то он и порочный, — усмехнулся Иван.

— Спокойно! — вдруг подтянулся в кресле Беглов. — Дом тот, новостройка... ну, где сортир во дворе, — дом этот чей? Щербакова?

Астахов кивнул.

— Вот теперь самое время им заняться. Поезжай и пломбируй.

— Один? — насторожился Иван.

— А чего там делать вдвоем? — искренне подивился Беглов. — Мне еще в «Инфлот» надо...

Беглов легко взлетел по ступенькам «Инфлота» и небрежно постучал в дверь Орлова.

— День добрый.

— Здравствуйте, — с непроницаемой любезностью откликнулся Орлов.

— Вот вам... — протянул сложенный четверо лист бумаги Беглов. — В свободное от капитанов время переведите, пожалуйста. Будете им вручать при входе в наш порт.

— Что это? — брезгливо развернул лист Орлов.

— Выписка из Правил поведения в наших водах и мерах наказания. Пусть подписывают, и я буду точно знать, что они ин-

формированы. Кстати, Москва получила перевод «Альгамбры»?

— Нет,— сказал Орлов, складывая листок.

— А когда же?

— Думаю, что никогда. Вам следовало держать капитала до подтверждения Внешторгбанком получения денег.

— Вы не могли мне сказать этого тогда?!

— Неужели бумагу не могли найти поприличнее? — не удостоил его ответом Орлов.— С иностранцами все-таки работаете.

— Бумагу? — звенящим шепотом переспросил Беглов.— Тут я целиком могу на вас положиться...

Астахов, ссутулясь, стоял на замусоренной стройплощадке возле нового дома. Посреди двора ревел бульдозер, нацелившись на маленький домик туалета.

— Стой! — окликнул бульдозериста Иван.— Он еще пригодится...

— А ты кто, чтоб указывать?

— Инспектор Бассейнового управления.

— А я подчиняюсь прорабу Ефимову.

— А он — мне.

— Дуришь! — протянул с улыбкой бульдозерист, но мотор заглушил и крикнул в сторону вагончика-прорабской: — Ефимов!

Астахов тем временем метнулся к дому. Поколдовав у двери подъезда, он запер ее и повесил пломбу.

— Чего тебе? — вышел из вагончика Ефимов.

— Вот этот не велит сортир сносить,— ткнул бульдозерист пальцем в сторону Астахова.

— А тебе что б ни делать, лишь бы ничего не делать,— цыкнул Ефимов.

Парень кивнул и тараном пошел на домик.

Астахов обернулся, качнул головой, поставил последнюю пломбу и уныло пошел со стройплощадки.

Ефимов подошел к дверям, повертел пломбу пальцами и даже зачем-то попробовал ее на зуб...

Возбужденный Беглов ворвался в приемную Щербакова.

— Будучи человеком интеллигентным,— едва сдерживаясь, сказал он,— ставлю вас в известность, что сегодня же передаю дело в прокуратуру. Но сначала навешу новые пломбы. И попробуйте их сорвать!

— Вот акт государственной комиссии о приемке дома,— ухмыльнулся Щербаков, протягивая Беглову лист бумаги.

— А я плевать хотел на бумагу, где нет подписи моего представителя!

— А это что? — с наслаждением проговорил Щербаков.— Вы думаете, я законов не знаю? Подпись Астахова видите?

— Он это подписал? Когда?!

— Давным-давно...

— Но дом же не подключен к городскому коллектору!

— Подключат! — бодро отреагировал Щербаков.— А пока — рабочим нужно жильё. Люди прежде всего, Дмитрий Николаевич! Вот о чем нужно думать, заботиться и что охранять. А море жило без нас и еще тыщу лет проживет.

— Без нас — да. С нами — нет...— Беглов побрел к выходу.

— К дому никого не подпускать! — жестко скомандовал кому-то в телефонную трубку Щербаков.

— Что ж ты сразу не сказал, что акт своей рукой подписал? — кричал Беглов.— На что ты рассчитывал, а?! Что я не узнаю? Хотя бы предупредить меня мог, чтоб я идиотом перед Щербаковым не стоял!

— Да ты знаешь, сколько крови было пролито из-за этих домов? — взорвался Астахов.— Еще при отборе земельного участка я категорически возражал: туда не доходит канализационная сеть. Нужно было тянуть десять километров труб, плюс — строить казнэс.

— Что это?

— Канализационную насосную станцию. А они заложили дом и казнэс одновременно. Но дом-то шел по типовому проекту — это быстро, а со станцией возятся до сих пор. Несмотря на возражения, горисполком решил, что строить можно. Я вообще не знал, что они строят, когда возвели уже пять этажей.

— Ну и что ты сделал?

— Написал письмо в областную контуру Стройбанка, чтоб не финансировали строительство. Меня вызвали...

— Куда? — напирал Беглов.

— В исполком...— с трудом сдавался Иван.

— Кто?

— Ясно, кто...

— Шевцов?

Астахов кивнул:

— Не отзовешь, говорит, выгоню с работы...

— И ты отозвал!

— Я надеялся, что потом, при вводе в эксплуатацию, своё возьму! — стал оправдываться Иван.— Ну, а настал этот самый ввод — всем выломали руки, и оказалось, что я один только не подписываю.

— Ну и прекрасно! — оживился Беглов.

— Опять меня вызвали: подписывай! Я говорю: дайте письменное указание...

— Правильно. А он?

— Только о твоём увольнении, говорит...

— И ты подписал!

— Мы жили в подвале, Митя! — взмолился Астахов.

— При чем тут это?

— При том, что мне давали квартиру...

— Сдрейфил, значит... Понятно... Никто б тебя не уволил, понимаешь? Если уж начал, нужно было идти до конца!

— Ты борец — вот ты и пойдешь, — горько усмехнулся Иван.

Беглов стоял перед Шевцовым в кабинете горисполкома.

— Как вы могли принять жилой дом без канализации?

— Я впервые об этом слышу, — удивился Шевцов.

— Как?! — растерялся Беглов. — И Астахов вам не говорил, что дом принимать нельзя?

— Нет, — развел руками Шевцов, глядя прямо в глаза Беглову. — Я видел только подпись Астахова в акте комиссии. У меня нет оснований не доверять ответственным работникам и нет возможности перепроверять работу каждого.

— Убедительно... — протянул Беглов. — В таком случае я информирую вас о том, что дом этот вводить нельзя.

— Теперь уже поздно, — возразил Шевцов. — О недостатках нужно информировать вовремя. Нас никто не поймет. Люди ютятся в коммуналках, а рядом современный жилой дом пустует... Твой предшественник проморгал!

— Насколько я знаю — под вашим давлением...

— Это не деловой разговор, — резко оборвал Шевцов и неожиданно спросил: — А при каком условии ты лично согласен на сдачу дома?

— Только при условии подключения казнэс!

— Вера Петровна, — нажал кнопку лектора Шевцов, — пригласите ко мне заведующего строительным отделом. Срочно.

Минута прошла в полном молчании. Без стука вошел в кабинет молодой мужчина.

— Лев Александрович, будьте добры, назовите мне день, в который возможно окончание работ по вводу в эксплуатацию канализационной станции.

— Три недели, — не задумываясь, ответил заведующий отделом.

— Вы можете дать в этом расписку?

— Пожалуйста! — заведующий отделом с готовностью взял лист бумаги и достал из кармана ручку.

— Видал, как с ними надо? — Беглов, с трудом скрывая ликование, протянул

расписку Астахову. — Через три недели!

— Это фиктивное решение, — пробежав глазами бумагу, грустно сказал Иван.

— Как это? — не поверил Беглов.

— Вот же написано: казнэс будет эксплуатироваться по временной схеме.

— Ну и что?

— А то, что ее подключат к ближайшему старому колодцу, чтоб не тянуть десять километров подземки. И тут же отключат. Потому что есть предел нагрузки на трубы, коллектор разорвет к чертовой матери. Вот и всё, что будет!

Беглов присвистнул.

— Что ж делать, Ваня? Я ж не могу вернуться к Шевцову и сказать, что эта бумага — фикция?

— Неужели? — с издевкой спросил Иван. — Ты же борец! Вот тебе замечательный повод идти до конца!

Беглов вошел в комнату санэпидемстанции и устало прислонился к косяку двери.

— Мне нужна ваша помощь, — тихо сказал он Юлии.

...«Жигули» стремительно вынеслись на проспект.

— Мне смертельно не хватает красивой женщины, — сказал Беглов.

— В жизни? — улыбнулась Юлия.

— Нет, в штате! В вас есть нечто такое, что заставит любого мужчину сдаться. А туда, где начальники женщины, буду ходить я.

— Вы полагаете, что вы красивый мужчина?

— Просто ни одна женщина мне не откажет.

— Есть опыты?

— Сейчас будет... Вы же даете согласие перейти ко мне в штат?

— Вы получили лабораторию?

— Получу, — уверенно сказал Беглов. — Странное в таком случае предложение...

— Закономерное, — ударил по клаксону Беглов. — Кстати, можете приступить уже сейчас. — Беглов въехал на стройплощадку. — Берите вот эту штуку, и вперед! Будем пломбировать двери подъездов.

Юлия вышла из машины и зашагала к дому. На стройплощадке было пустынно, но стоило Юлии приблизиться к первой двери, как из прорабской вышел Ефимов.

— Эй, дамочка! Вам чего?

Юлия не ответила. Ефимов направился к ней, но не успел подойти, как Юлия уже клацнула пломбиратором.

— Ах ты!... проглотил ругательство Ефимов. Попытался схватить ее за руку, но его мгновенно оттер Беглов.

Юлия добежала до второго подъезда и опломбировала следующую дверь.

Из вагончика выскочил паренек, кинулся на помощь прорабу. Беглов коротким ударом бросил его на капот.

— Что вы делаете? — истошно закричала Юлия, увидев, что двое бьют одного Беглова. Рванулась к нему, но замерла, услышав резкое:

— Работайте, Юля! Работайте!

К дому подкатил грузовик с мебелью. Знакомый былинный Добрыня бросился разнимать дерущихся.

— Этот... дом заселять не дает! — выпалил в свое оправдание Ефимов.

Беглов тщетно пытался нащупать хоть одну пуговицу у себя на рубашке.

Добрыня смерил Беглова снисходительным взглядом и дал знак грузчикам разгружать.

Беглов бросился к подъезду и, раскинув руки, распятием замер на двери.

— Ты же вместе со мной дерьмо разгребал! На отстойнике! — задыхаясь, проговорил он в лицо Добрыне. — Ты же сам!.. А теперь? Когда шкуры твоей коснулось, — плевать? Нельзя его заселять, пойми ты!

Добрыня помедлил, словно припоминая, а потом, легко прихватив Беглова, шарахнул его так, что Беглов отлетел к стене, оставив ворот рубашки в руке Добрыни.

Ефимов с парнем придержали его. Добрыня сорвал пломбу и дал вторую команду: — Заноси!

Беглова отпустили.

— Я буду с вами работать! — выпалила Юлия, вернувшись с дальнего конца дома.

Беглов вырвал из ее рук пломбиратор, что есть силы швырнул его о землю и судорожно дернулся, отворачивая лицо к стене.

— Ублюдок! Ничтожество! Я ни на что не способен! — голосил Беглов. Он лежал на диване, на разбитом лице белели примочки.

Юлия сновала по квартире, чем-то громыхала в кухне, то и дело меняла примочки.

— Ненавижу себя! Я ничего не могу сделать реально! Сопляк Орлов водит меня вокруг пальца, и я хожу! Трепло и демагог Щербаков уходит от ответственности, и мне не на чем его прихватить! А теперь эти двое!.. Да еще на ваших глазах...

— Пусть вас это не огорчает, — усмехнулась Юлия.

— Угу, — буркнул Беглов. — Вы еще утешать меня возьмитесь!

— Нет... Просто такова уж женская психология: мы всегда на стороне побежденного.

— Это я — побежденный? — как ужаленный подскочил Беглов.

В дверь позвонили.

— Открыть? — неуверенно спросила Юля.

— Конечно. Не волнуйтесь — это не женщина.

В дверях стоял понурый Астахов. Не взглянув на Юлию, он прошел в комнату.

— Я совершил первый в своей жизни поступок... — глухо сказал он. Вгляделся в лицо Беглова и усмехнулся: — Ты, по-моему, тоже...

— Первый был, когда ты из лекарей ушел, — улыбнулся Беглов.

— Я ходил к прокурору. Заявил на себя... Сказал, что я лично нарушил Водный кодекс и из-за собственной бесхребетности подписал акт комиссии, принимая заведомо негодный объект...

— Ты настоящий мужик, — серьезно сказал Беглов. — А тебя не того? Не посадят?

— Не тяну, Николаич! — развел руками Беглов. — Велели совестью угрызаться. И в исполком напишут... — хмыкнул он, подмигнув.

— Но дом опломбировали?

— Я просил, но прокурор говорит, что опломбировать на основании одних моих показаний они не могут. Вдруг я поклеп на себя возвожу? На выяснение обстоятельств, как это у них называется, положено десять дней. Вот на это время вселение будет приостановлено.

— Ай да Ванька! Ай да сукин сын! — хлопнул в ладоши Беглов. — Вы слышите, Юля, что он сделал?

— По этому поводу стоит выпить, — сказала Юлия, появляясь с подносом, на котором стояли чашки с чаем. — За победу!

Наутро Беглов с Юлией подъехали к дому Астахова. Беглов коротко просигналил, и из подъезда вышел Иван. В руках огромные авоськи, полные порожних бутылок из-под вина.

— И это ты всё один выжрал? — спросил Беглов, открывая багажник.

— Не-е... Я один не пью, — сказал Астахов и быстро поправился: — Не пил...

Машина пронеслась по городу и остановилась возле заводской проходной. Вошли в бюро пропусков.

— Я из Бассейнового управления. — Беглов протянул в щелочку удостоверение.

— Кто заказывал пропуск? — деловито осведомился репродуктор над окном.

— Никто. Мы имеем право осматривать предприятия с целью...

— Я никаких указаний по этому поводу не имею, — звонко оборвал Беглова репродуктор, и удостоверение вылетело на стойку.

— Так... — у Беглова на щеках обозначились скулы. — А к кому я могу обратиться?

— Звоните в отдел охраны природы, — хохотнул репродуктор.

Беглов еще мешкал у окна, а Астахов уже принялся вертеть диск внутреннего телефона.

— Пономарев? Это Астахов. Жду тебя на проходной.

— Ты его знаешь? — удивился Беглов.

— А ты думаешь, до тебя наша контора вообще не существовала? — усмехнулся Иван.

...В проходной появился Пономарев.

— Кто такие? — подозрительно спросил он Астахова, кивая на Юлию и Беглова.

— Начальник Бассейнового управления, — подал руку Беглов и представил Юлию: — Врач портовой санэпидемстанции Шептунова.

— Очень приятно! А что случилось?

— Вот у шефа подозрение возникло, что вы сбрасываете отходы в ливневую канализацию, — сказал Астахов.

— Ну что вы! Все промстоки идут на очистные. Контрольный колодец всегда в вашем распоряжении — за территорией завода! — решительно потеснил всех к выходу Пономарев.

— Я хочу проверить ливневые выпуски на территории, — придержал его за локоть Беглов.

— Ну-ну... Пожалуйста... Ваши удостоверения... — И Пономарев скрылся за дверью бюро пропусков.

— Сейчас по заводу будет объявлен аврал, — сказал Астахов со знанием дела.

Прошли на заводскую территорию.

— Ну, и куда теперь? — прищурился Пономарев.

— Пока — никуда, — жестко сказал Беглов. — Постоим, подышим воздухом. Подождем, пока вы принесете схемы ливневой канализации и пригласите слесаря.

— Зачем слесаря?

— Люки открывать.

— Понял, — кивнул Пономарев и почти побежал по центральной аллее.

По территории завода сновали машины, автокары. Где-то то и дело вспыхивал огонь электросварки. Грохот и лязг доносились из открытых окон цехов.

— К вам, что ли... — подошел к ним мужчина в грязной робе и с крюком, похожим на кочергу.

— Если вы слесарь, то к нам.

— Он самый... — кивнул слесарь.

— Тогда давайте смотреть ливневку. Вы знаете, где тут ближайший по трассе люк? — спросил Беглов.

— А как же! — Слесарь поддел чугунную крышку.

— Отойди, — заботливо отодвинул Юлию подальше Беглов.

Крышка громыкнула об асфальт, и Беглов заглянул в колодец.

— Замечательно! — удовлетворенно про-

тянул он.

— А что такое? — возник за его плечом Пономарев.

— Вода!

— Ну и что?

— Как — ну и что? Тут — сухо, — Беглов ткнул пальцем в небо. — И тут должно быть сухо, — указал он на колодец.

— Ничего подобного! Мы имеем право сбрасывать в ливневую канализацию условно чистые воды, — быстро отреагировал Пономарев.

— И что же вы сбрасываете сюда? — спросила Юлия.

— Зубной кабинет вывели на этот колодец.

— Угу... А на стенках — смотрите! — красно-бурый осадок... — сказал Беглов.

— Ну и что?

— У вас по химии сколько было в школе?

— Какое это имеет значение?

— Красно-бурий осадок — это железо, — наставительно сказал Беглов. — Пригласите, пожалуйста, представителя центральной заводской лаборатории.

— Будете пробы брать? — встревожился Пономарев.

— Конечно. Хотя и без проб ясно, что это железо. Но вы без проб мне не поверите...

— Да это просто ржавчина от крышки!

— Ну вот видите! Зовите представителя лаборатории. А ты, Иван, тащи бутылки... Иван направился к проходной.

— А что здесь? — ступил ногой на следующий люк Беглов.

Слесарь поднял крышку. Внизу плескалась вода.

— Здесь вода питьевых фонтанчиков. — Для достоверности Пономарев ткнул пальцем в схему.

— Этот зеленый мох на крышке люка — никель, товарищ Пономарев, — сказал Беглов. — Какой цех вывели на этот колодец?

Пономарев и слесарь откликнулись одновременно.

— Никакой! — сказал Пономарев.

— Десятый! — сказал слесарь...

...Беглов с Юлией решительно прошли в цех. У колодца остались Астахов с бутылками и молодая сотрудница заводской лаборатории.

— Кто такие? — загородил Беглову дорогу рослый мужчина в робе и с каской на голове.

— Бассейновое управление по охране вод. Хотим посмотреть, откуда и как идет у вас сброс никеля.

— Без начальника цеха ничего осматривать нельзя.

Пономарев за спиной Беглова сиял.

— Чему вы радуетесь? — обернулся Беглов. — Идите ищите начальника цеха.

Снова вышли на территорию завода.

— Как же попадают в ливневые выпуски промстоки? — спросил Беглов у лаборантки.

— Вот журнал забора проб из контрольных колодцев. По данным лаборатории, эта вода условно чистая...

— Можешь не смотреть, — заметил Иван. — Все данные — среднемесячные, а не за каждый день. Да плюс подчистки и исправления.

— Ладно... Осадок вы на крышках видели? — снова вернулся к допросу с пристрастием Беглов.

— Да...

— И что вы думаете по этому поводу?

— Да я вообще здесь неделю работаю! — покраснела девушка.

— Здравствуйте, — подошел к Беглову маленький коренастый мужчина. — Я начальник цеха.

— Очень приятно. Покажите нам, как и куда вы сбрасываете никель.

— На очистные, — пожал плечом начальник, но направился в цех.

Комиссия прошла вдоль ряда опорожненных и еще влажных металлических ванн, стенки которых были покрыты характерными для никеля и меди зеленым и голубым налетами.

— Слили! — зло сказал Астахов.

— Спокойно, — одернул его Беглов. — Колодец у двери ваш?

— Нет, — ответил начальник цеха.

— Пономарев! Схемы!

— Забыл! — растерянно сказал Пономарев.

— Где? — повысил голос Беглов.

— Не помню... Пока искал начальника цеха, где-то оставил...

— Хорошо... — с трудом сдержался Беглов. — Обойдемся без схем... Слесарь где?

— Ушел, — сказал Пономарев.

— Куда? — не выдержала уже Юлия.

— Обед! Рабочий класс, для него это дело святое...

— Ты что ж, задержать его не мог? — пошел на Пономарева Астахов.

— Вы что, не понимаете, что от вас требуется? Или вы скверный актер, который плохо прикидывается дурачком... Дайте мне крюк, — протянул руку Беглов.

— Слесарь унес, — жестко сказал Пономарев.

Беглов молча вышел из цеха и, ломая ногти, оторвал люк от земли.

— Видите? — крикнул он начальнику цеха. — Вы видите? И люк и стены колодца покрыты тем же налетом, что и ванны вашего цеха!

— Не вижу, — спокойно сказал начальник цеха.

— Астахов! Бери пробы, дели поровну — нам и ей. — Беглов показал на лаборантку. — Проверим, как работает ваша лаборатория.

— Да я вам голову даю, что нет здесь никеля, — чиркнул рукой по горлу начальник цеха.

— Если бы клятвы сбывались, быть бы вам уже без головы. — Беглов повернулся к Пономареву: — И не стыдно тебе? Питьевые фонтанчики!..

— Вы бы не тыкали, — холодно сказал Пономарев.

— Это невероятно! — Потрясенный Беглов оторвался от бумажной простыни, где в сотне квадратиков были проставлены цифры.

— Невероятно, но факт, — сказала Юлия, сворачивая бумагу в трубочку.

— Но был же налет на крышках! Ты же сама видела! Что теперь делать? — Беглов нервно зашагал по лаборатории, прихватив со стола бутылку из-под вина. — Я выписал им штрафное предписание, понимаешь?

— Не имел права, не дождавшись результата анализов, — спокойно отобрала у него бутылку Юлия и вылила остатки мутной жидкости в раковину.

— Откуда этот менторский тон?! — взвился Беглов. — Я не хочу, понимаешь, жить с прокурором!

— Ты привык быть непогрешимым, Митя. Это развращает.

— Замолчи!

— Не забывай — мы на работе. — Юлия плотнее прикрыла дверь лаборатории. — Ты должен сейчас позвонить, а лучше — поехать.

— Я сам знаю, что и кому я должен, ясно? — саданул дверь Беглов. — Са-ам! — И вылетел в коридор.

Белье «жигули» неслись по городу, задыхаясь в пробках у светофоров. Машина пошла ровнее, стояло Беглову выехать на загородное шоссе.

Он стоял на заводской проходной и что-то говорил в трубку, прикрывая ладонью рот. Повесил трубку и нервно заходил подле «вертушки». Мимо проходили люди в промсленных робах. Вскоре появился Пономарев.

— Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, — улынулся он.

— Простите, я даже не знаю вашего имени... — сбивчиво начал Беглов.

— Владимир Петрович.

— Угу... — кивнул Беглов, пожимая руку. — Я поступил недостойно. Простите меня... Штрафное предписание я аннулирую.

— Может, пройдем в отдел?

— Нет-нет, — поспешно отказался Беглов. — Я и вам-то не очень могу смотреть глаза... Простите мне мое... хамство. Не

каждый человек, знаете, имеет право быть следователем. Можно овладеть всеми премудростями юриспруденции, но нужно еще владеть чем-то сверх того, чтоб не видеть в каждом преступника...

— Ладно, чего там... С кем не бывает, — усмехнулся Пономарев. — Вы, может, боитесь, что я буду жаловаться. Не буду.

— Да ничего я не боюсь! — ударил кулаком по ладони Беглов. — Я сам себя видеть не могу, понимаете? Но скажите мне только одну вещь: откуда взялся осадок на крышках?

— Я искал и нашел, — с готовностью откликнулся Пономарев. — Не так давно случилась авария: забило канализацию, и протстоки пошли поверху. Могло залить крышки.

Беглов сидел в своем кабинете на дебаркадере, запустив обе пятерни в жесткий ёжик волос. Вчитывался в текст одной из методичек, что горой лежали перед ним на столе и на полу возле распахнутого книжного шкафа. Делал пометки, что-то выписывал.

Скрипнули половицы, и в двери вырос растерянный Астахов.

— Ты что, спятил? Я уже дозвонился до Михайлова! Он катер дает, а ты ехать не хочешь! У них разлив на внешнем рейде! И вообще они могут уйти!

— Я тоже могу уйти, — поднял глаза Беглов.

— Куда?

— Туда, откуда пришел. Хватит с меня, понимаешь?

— Да ты чего, Николаич? Испугался Орлова?

— Ничего я не испугался! А ты давай работай! Ты в сто раз больше меня знаешь. Дал тебе катер Михайлов — вот и плыви! Нет меня, понимаешь? Нет!

— Ты с ума сошел, Митя.

— Иди, иди, Иван... Гони на внешний рейд, бери пробы, вези Юлни, жди результатов анализа... Орлова не забудь пригласить... Короче, делай всё, как полагается.

— Но она же уйдет, эта «Саламандра»! — Уйдут — значит, уйдут. А мордой об стол я прикладываться больше не хочу. Удовольствие ниже среднего.

Астахов попятился к двери.

Беглов сидел в просторном читальном зале городской библиотеки, рылся в книгах, что-то выписывал. С трудом оттащил стопку книг к стойке...

...Чуть позже его можно было увидеть возле маленького особняка, у дверей с табличкой: «Юридическая консультация»...

...И снова — несласть по городу его машина.

На проходной порта вахтер поднес к козырьку руку, приветствуя Беглова.

Беглов вошел в кабинет Михайлова.

— Капитан, — устало опустил он в кресло, — объясните мне просто — своими словами, как для особо непонятливых, — в чем функции международной компании «Ллойд» и кто у нас на Руси может вступать с ними в контакт?

— «Корпорейшн оф Ллойд»... — с удовольствием протянул Михайлов. — А ты растешь!..

— Да уж куда там!

— А что? Уже знаешь, чего не знаешь! Это много. Правильно поставленный вопрос — половина ответа. Так вот. «Ллойд» — это международная страховая монополия. Все виды имущественного и личного страхования на море. Основана где-то...

— В семнадцатом веке, — подсказал Беглов.

— Да, но только с девятнадцатого, по моему, существует «Регистр судоходства Ллойда» — контроль за постройкой судов.

— Мне страхование! — поторопил Беглов.

Михайлов достал из ящика письменного стола брошюру.

— Все виды имущественного и личного страхования на море.

Беглов бесцеремонно отобрал у него брошюру, полистал, задержался на одной из страниц. Вдруг спросил:

— Сколько еще простоят «Саламандра»? Михайлов посмотрел на часы.

Красавец сухогруз «Саламандра» величественно снялся с якоря, и белый лоцманский катер последовал за ним позади справа, как пристыжная русской тройки. Немолодой советский лоцман стоял на капитанском мостике, пристально вглядываясь в туман над фарватером, и отдавал короткие команды на английском языке.

За кормой «Саламандры» тянулась маслянистая дорожка...

Беглов звонил по телефону из кабинета Михайлова.

— Алло! Это «Инфлот»? Игорь Михайлович? Это Беглов. Сухогруз «Саламандра» на внешнем рейде сбросил неочищенные стоки. Наш лоцман только что покинул борт. Я прошу вас связаться с ними. Не надо телексов, свяжитесь по радию!.. Что значит — не остановятся? Тогда пограничники откроют огонь!

Михайлов посмотрел на Беглова и покачал головой...

Беглов снова вертел диск аппарата.

— Погранпост? Инспектор Бассейнового управления по охране вод Беглов. Только что с внешнего рейда снялся сухогруз «Саламандра». За ним тянется нефтяной шлейф. Убедительно прошу оказать помощь в задержании. Спасибо... — Он положил трубку.

Михайлов сурово взглянул на него.

— Вы совсем зарвались. Огонь по иностранному судну! Думать нужно, прежде чем такое произносить!

— А что же, смотреть, как они гадят в наших водах?.. Впрочем, вы правы, существуют и другие методы. У меня к вам просьба, капитан: появится у вас мой помощник, Астахов, передайте — пусть возьмет результаты анализов и вместе с пограничниками мчится к «Саламандре».

— Если уж вы сделали меня своим порученцем, — усмехнулся Михайлов, — может, сообщите, куда сами-то путь держите?

— Я?.. В совхоз... — буркнул Беглов.

Михайлов вздохнул с видимым облегчением:

— Ну, в совхозе вы международного скандала не устроите...

Белые «жигули» стремительно пронеслись неподалеку от знакомого совхозного отстойника. Там пятеро мужчин с лопатами орудовали возле обвалования так, словно с той давней ночи никто и не раскопался...

...В кабинете у Щербакова шло совещание. Ворвавшийся Беглов, обойдясь без приветствий, перешел к делу:

— Михаил Иванович... Я никогда ни о чем вас не просил и клянусь, что не попрошу... Но сейчас... Вы можете дать команду взять меня на борт арендованного вами вертолета?

Щербаков прищурился и тихо спросил:

— А штраф скостишь?

Беглов отпрянул.

— Ты понимаешь, что ты делаешь? Мои рабочие, которые ни в чем не виноваты, третий месяц сидят без прогрессивки! А они трудятся, каждый день обвалование проверяют, с той поры на поле ни единой капли стоков не ушло.

— Я видел... Дайте сюда штрафное предписание, — глухо сказал Беглов.

Щербаков порывлся в стопке бумаг и протянул Беглову акт.

— Теперь звоните, — кивнул на аппарат Беглов.

— Алло, — сказал Щербаков, набрав номер. — Это Щербаков. Там моя машина шестнадцать — двадцать четыре. Отдайте ее в распоряжение товарища Беглова... Да... Приземлится и пусть сидит ждет...

Беглов медленно разорвал предписание о штрафе.

Беглов въехал на летное поле, хлопнул дверцей и побежал к вертолету, размахивая руками.

Пилот смерил Беглова долгим взглядом и спокойно сказал:

— Машину дальше поставь.

— Черт с ней! Давай заводи! ПВО предупредили, что идем в сторону границы?

— С борта разрешение прошу. А вы застрахованы?

— Издеваешься? Каждая секунда на счету, а ты вопросы задаешь...

— Мне-то что? Начальник авиаотряда велел без страховки на борт не брать. Авиация не гарантирует стопроцентную безопасность.

— Мы потеряли уже три минуты! Давай на взлет, камикадзе! Безопасность он мне не гарантирует!.. — возмущенно проворчал Беглов, забираясь в вертолет.

Взревел мотор. Лопасты вертолета неохотно крякнули и принялись размеренно и монотонно закручивать воздух в светлый тугой жгут.

Вертолет шел над морем. Белые гребешки волн с высоты казались морозным рисунком на заиндевавшем стекле.

Беглов с фотоаппаратом пристраивался у иллюминатора.

— Давай, парень, давай, — приговаривал Беглов. — Сделаешь мне круговой облет, чтоб я его со всех точек снять мог... Чтоб ни одна сволочь не сказала, что это фотомонтаж... И с пограникатером выходи на связь. Они должны быть уже в пути...

— Вижу цель! — весело доложил пилот, и Беглов прильнул к глазку фотокамеры.

Сухогруз шел на средней скорости. Вертолет завис над ним, и Беглов с разных точек торопливо сфотографировал нефтяной шлейф за кормой.

— Снижайся, парень, снижайся...

На пол падали снимки. Масляное пятно на цветных фотографиях играло еще ярче.

— Что пограничники?

— Бураны... Бураны... — повторял пилот. — Я шестнадцать — двадцать четыре... Не отвечаю...

— Почему отстаем от сухогруза? — Догоняй!

— Там внизу буй. Пошла последняя миля наших территориальных вод. Нужно запрашивать ПВО...

— Я не имею права выпускать его из зоны непрерывной видимости! Запрашивай кого хочешь, только вперед!

— Связь плохая на такой высоте! Низко иду! — огрызнулся пилот.

— Так возьми выше!

— Ты тогда ничего не обснимешь! — крикнул пилот и вдруг сник: — Как бы не

сбил он нас по служебной ретивости...

На вертолет сверху заходил истребитель.

— Шестнадцать — двадцать четыре, — раздалось в наушниках. — Возвращайтесь на аэродром вылета.

— Я шестнадцать — двадцать четыре! — закричал пилот. — Выполняя задание по преследованию судна, нарушившего Водный кодекс нашей страны. Иду на малой высоте, чтоб держать его в зоне непрерывной видимости. Запросите диспетчерскую — у меня связи с ней нет!

Беглов собрал снимки с пола и бережно спрятал во внутренний карман пиджака. Застегнулся на все пуговицы.

— Шестнадцать — двадцать четыре! — снова раздался в наушниках голос пилота истребителя. — Продолжайте выполнять задание.

— Есть! — обрадованно откликнулся пилот вертолета и выжал ручку вперед до отказа.

Истребитель сделал над судном предупредительный заход.

— Лестница у тебя где?

— Что вы хотите? — испугался пилот.

— Сейчас покажу... Давай снижайся...

— Чего он хочет?! — возмутился Орлов в кабинете Шевцова. — Скандала? А вы?! Как вы могли?! Такому... — Орлов с трудом подобрал слово: — Такому неуравновешенному человеку не только доверить руководящий пост, но еще и предоставить возможность вступать в контакт с представителями зарубежных стран! Это позор!

— Почему? — спросил Шевцов.

— Предложить открыть огонь по иностранному судну может только безумец!

— Но никто же не стрелял... И потом — почему вы сами их не остановили? Беглов же просил вас.

— Не имею юридического права! Существуют законы. А для вашего Беглова словно нет ничего! Один в чистом поле! Вот он сейчас угнал вертолет, и чем это кончится — неизвестно. Он не имеет права без меня вообще вступать с ними в контакт, вы понимаете?!

— Тогда почему вы здесь, а не там?

— Я пришел вас предупредить, что приму все меры для наказания Беглова.

Беглов соскочил на палубу сухогруза, отстегнул страховочный пояс, и лестница стремительно исчезла в чреве вертолета. Вертолет сделал круг над судном и ушел.

— Стоп, машина! — по-английски командовал капитан в маленькой рупор.

Беглов поднялся на мостик. Вынул из кармана пачку фотографий и предъявил

капитану. Тот внимательно посмотрел в лицо Беглову, перевел взгляд на фотообвинение, усмехнулся и тихо скомандовал в машинное отделение:

— Полный вперед!

Беглов вскинул брови.

— Что вы хотите сделать? — спросил он, старательно подбирая английские слова.

— Вы не имеете права задерживать меня в нейтральных водах. Это даже интересно, как вы теперь покинете борт моего корабля...

Беглов растерянно обернулся. На палубе не было ни души. Капитан рассмеялся и опустился в плетеное кресло на мостике. Беглов стоял перед ним с пачкой фотографий в руке, и ветер трепал полы его пиджака. На мостике раздался звонок. Капитан снял трубку и резко поднялся. Приложил к глазам бинокль, и улыбка слетела с его лица.

Вздымая гребень волны, к сухогрузу неся пограничный катер.

— Стоп, машина! — скомандовал капитан.

— Нарушаете, — с укоризной сказал Беглов пограничник, поднявшись по трапу с катера на судно.

Беглов взял капитана за локоть и подвел к борту, молча указав на маслянистое пятно.

Капитан развел руками.

— Вы можете определить, — повернулся Беглов к офицеру-пограничнику, — где мы сейчас находимся? Капитан говорит, что он уже в нейтральных водах.

— До нейтральных вод еще не меньше мили... — сказал пограничник. — Однако вы человек рисковый, — добавил он, качнув головой. — Сами решили, сами в погоню кинулись, ни с кем не согласовали. Так не положено. Там, на берегу, у вас могут быть неприятности, тем более кто-то уже шум поднял...

— Угу, — кивнул Беглов, свесился с борта сухогруза, попросил вахтенного матроса на катере: — Ведерочко дай, пожалуйста.

Тот подал ведро с длинной веревкой, и Беглов опустил его за борт, в центр масляной лужи. Вытянул ведро на палубу, сунул в воду небольшой прибор и предъявил показания капитану. Капитан кивнул, и Беглов аккуратно занес показания прибора в бланк акта.

— Закончили? — поторопил его пограничник. — Видите, он готов подписать акт. — Офицер кивком указал на капитана, который вытянул из кармана авторучку.

— Акт — это не все, — сказал Беглов. — Нужно течь искать, а то так наследит и в наших водах, и в нейтральных. — И он жестом пригласил капитана к машинному отделению...

...Беглов и капитан стояли у приборной доски. Стрелки на приборах подрагивали,

и только на одном стрелка застыла неподвижно. Беглов пальцем постучал по стеклу, и стрелка, дрогнув, пошла вниз...

— Нашли,— сказал Беглов пограничнику, вернувшись на палубу.— Дефект сальника.

— Опять пробы брать будешь?

— Нет. Капитан признает свою вину.

Беглов протянул капитану акт. Тот ткнул пальцем в строку, где были проставлены цифры, лицо его стало пунцовым от негодования. Взглянул на часы и... решительно подписал акт. Подав бумагу Беглову, театральным жестом предложил пограничнику пройти к трапу — на выход.

— Поехали? — спросил пограничник.— Нужно вызывать нефтемусоросборщики.

— Вызовем,— спокойно сказал Беглов, опускаясь в плетеное кресло.— Тут теперь всем работы будет: и нефтесборщикам, и морю гадость эту сплевывать не день и не два... Пляжи поди опять все в мазуте будут...

— Что вы расселись, Беглов? — нервно перебил его пограничник.

— Жду, куда капитан свяжется с агентом конторы «Ингосстрах». «Ллойд» есть такой, не слышали, в Лондоне? А у нас в порту мальчик ходит. Юра Батько. Он представитель этого самого «Ллойда». Радиограмма Юры — это печать на подпись капитана и единственная гарантия того, что штраф будет уплачен. Вот так-то...

Розоватая южная луна бесстрастно озирала безбрежную морскую гладь, черную в ночи. На горизонте замаячили огоньки, а вскоре и сам огромный, шевелящийся в лучах прожекторов порт приветливо раздвинул стену мола, впуская пограничный катер.

Катерок мягко ударился в резину старых шин, повдвинувшись вдоль пирса, и мотор смолк. В тягучей смоле ночи тревожно зазвучала четкая солдатская поступь. К катеру шел наряд пограничников.

— Инспектор Беглов, пройдемте...

— Извольте,— согласно кивнул Беглов и так уверенно шагнул вперед, что пограничники расступились, давая ему дорогу.

— Ну и наворотил ты дел! — в сердцах сказал Михайлов.

— Диванчик у вас там есть? — спросил Беглов.— Тогда ведите быстрее. Спать хочется смертельно... Пройдемте! — фыркнул Беглов.— Преступника нашли! А как вы хотите чтоб я боролся со всей этой мерзостью? Газетами, телевидением? Шиш меня кто услышит! Бумагой, что исписана, можно всё море профильтровать! Давно бы стало чище...

...В крошечной комнате Беглов устало опустился на промятый дерматиновый диван.

Орлов встал в дверях.

— О вашем поступке будет сообщено в министерство,— начал он звенящим голосом.— Вы самовольно остановили иностранное судно в нейтральных водах...

— Товарищ капитан,— обратился Беглов к Михайлову, расшнуровывая ботинок,— пригласите сюда, пожалуйста, командира погранкатера.

Михайлов кивнул, взглянув на пограничника, и тот вышел.

— Вы осмотрели судно без представителя «Инфлота».

— Да, но вы отказали мне в содействии,— пожал плечами Беглов.

— У них все разрешения на выход были на руках!

— Но они же нагадили у нас в порту, у меня в стране, наконец! Пришла пора и отвечать!..— Он снял ботинок, вытряхнул из него камешек.— А до нейтральных вод, кстати говоря, еще миля оставалась, к вашему сведению...

— Чуть меньше мили,— поправил Беглова вошедший командир погранкатера.

Орлов глянул на него исподлобья и, вновь повернувшись к Беглову, проговорил:

— Все равно вы будете нести ответственность по всей строгости закона...

Беглов наконец обулся. Встал. Прошел к окну и толчком распахнул его. Снял пиджак, повесил на спинку стула и достал из кармана пачку снимков и сложенный вдвое акт. Развернул и бережно разгладил на столе.

— Что-то я не припомню, чтоб победителей где судили...— сказал он.

Орлов бросился к акту и замер. Михайлов заглянул через плечо Орлова и присвистнул:

— Да за такую сумму штрафа судовладелец с твоего капитана... обшивку снимет!

Дверь комнатки неожиданно распахнулась, и ворвался растерзанный Астахов.

— Вот...— выговорил он, задыхаясь.— Не успел я к Беглову на «Саламандру»... А жаль! Если его задерживаете, то давайте и меня тоже!..

Неловко, боком Астахов шагнул к Беглову и встал рядом — плечом к плечу.

Беглов отвернулся к окну, не в силах сдержать ликующую улыбку. Долгим взглядом посмотрел на море. Туда, где металась над волной чайки и занимался новый день. Где-то далеко били склянки. Рама поскрипывала на ветру, и белая рубашка Беглова парусила на сквозняке сигналом бедствия, но не флагом капитуляции, не мольбой о пощаде.



ИРИНА БОРИСОВНА ВАСИЛЬЕВА окончила сценарный факультет ВГИКа. Дебют молодого кинодраматурга состоялся в 1985 году, когда по ее сценарию на Свердловской киностудии режиссером Виктором Кобзевым был поставлен фильм «Рябиновые ночи».

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА

В ПОИСКАХ ЛЮБВИ И ОТВЕТА

В полупустом станционном буфете демобилизованный солдат Иван Шилин, поставив под ноги картонный чемоданчик, поедал один за другим бутерброды, запивая их кофе с молоком.

Аппетит был зверский. Настроение — никакое. Он ехал домой уже который день и привык к дороге, к станционным буфетам в небольших городках, к расспросам и разговорам, и все притупилось, кроме желания очутиться дома, желания тишины и гражданской жизни.

Сквозь большое сводчатое окно он видел, как подъехал поезд, как из вагона выбежала проводница и стала торопить пассажиров:

— Три минуты стоим! Быстрее!

В ответ лишь ровный хор женских и мужских голосов выводил:

Мы все спешим за чудесами,
Но нет чудесней ничего,
Чем та земля под небесами,
Где крыша дома твоего...

Солдат принялся за очередной бутерброд, когда из вагона стали наконец появляться люди со счастливыми лицами в импортной броской одежде, почти все в «луноходах». Подбежали встречающие, одетые попроще, стали разбирать своих, целоваться. Тут же вынырнула гармонь,

и небольшого росточка ловкий российский мужичок-балагур начал играть, притопывая канареечного цвета «луноходами».

Шилин смотрел на туристскую группу, как смотрят на красивых рыбок в аквариуме.

Но вскоре он шел в их пестрой веренице по высокому ажурному мосту, спускавшемуся к автостанции, и слушал балагура:

— Что понравилось — как старушки одеваются. Хипповые там старушки! Что еще понравилось — как у них завернуто. Ничего нет внутри, если разобраться, а упаковочка — я тебе скажу... У меня такое мироощущение, — положив руку на грудь и как бы прислушиваясь к себе, сказал балагур Шилину, — наши бабы все-таки лучше.

На автостанции толпился люд с товаром в авоськах, корзинах, мешках. Все повернули головы к мосту, с которого уже спускались туристы.

— Ледиз энд джентльменз! — воскликнул балагур без малейшего посягательства на чужое произношение. — Ай лав ю!

Подбежали автобусы, со скрипом распахивали дверцы — таяла толпа туристов, сбившихся у своих чемоданов. Туристы, прощаясь друг с другом, снова целовались и едва не плакали.

— В следующем году... точно... Куда?

Решим. Главное, вместе.— И, подхватив чемодан, женщина в ярком шарфе бежала к автобусу.— На Лепетиху?

Автобус притормозил на пустой дороге. Кругом лежали поля, и кое-где деревья собирались в прозрачный перелесок.

Шилин расставался с попутчиком. Они было пожали руки, но подоидя к краю асфальта, постояли, посмотрели — один на желтые «луноходы», другой на надраенные сапоги — и сошлись опять.

— Это новый директор за границу мне сделал,— сообщил балагур.— Пробыл мною окно в Европу. Ты его не видел?

— Увижу — у матери моей стоит. Европу пробил, а дорогу нет? Что же дорогу не пробил? — с насмешкой спросил Иван.

— Сравнил! Давай пробивай. Тебе надо — пробивай,— воскликнул балагур, взглянул на небо, по которому двигалась угрожающая туча, и принялся разуваться.

— Мне — не надо. Мы с ребятами в Сибирь,— похвастал Шилин.

— Тогда не будь в претензии,— рассудил мужичок.— Зря я ботинки выбросил.

Он подобрал палку, повесил на нее за «ушки» свои желтые сапоги и отважно шагнул на разъезженную грунтовку.

Иван уже немало отмахал апрельской полусуши, когда его настиг мокрый снег, вилгу покрывший и зеленую озимь, и дорогу. Одинокая его фигура — солдата, спешившего к родным крышам,— чуть чернела сквозь белые хлопья. За перелеском открывался почти свободный ото льда большой пруд, он жадно поглощал снег. Шилин остановился.

Вдруг затарахтел и выскочил откуда-то сбоку тракторишко с прицепом, тормознул, и Шилин быстро залез в прицеп. Молодую женщину, что сидела на мешках, закрывшись от непогоды брезентом, Иван не знал. Она молча подвинулась, пуская его рядом с собой,— поехали. Солдат смотрел на женщину и ему становилось теплее, хотя снег бесился вокруг.

Иван попытался заговорить:

— Думал, заблудился. Уходил — пруда-то не было.

Женщина не ответила.

— Ты чья? Наша? — немного погодя спросил Шилин.

— Не твоя,— спокойно ответила она и отвернулась.

Тем временем трактор въезжал в деревню, которая начиналась со стайки свежих, только что отстроенных домов. Женщина стукнула по кабине: «Стой!» и собралась

спрыгнуть. Но Шилину вдруг словно бес в ребро — ловко поймал ее руку, взгляды их встретились. В них мелькнул какой-то вопрос, тревога, возможно, то, что называется «с первого взгляда», а может, что-то совсем без значения. И женщина вырвала руку.

— Мам! — позвал Шилин.

Мать сгребала в хлеву мокрую солому и, повернувшись, застыла, увидев в светлом проеме крепко сбитую фигуру сына. Медленно подошла и ткнулась головой в плечо. Руки были грязные, чтобы не испачкать форму, она развела их в стороны.

— Мне сон был — конь в избу зашел,— она счастливо засмеялась.

Иван сидел в предбаннике полураздетый, а мать выкладывала на лавку чистое белье и любовалась коренастой фигурой сына. Она вышла, постояла у дверей. Заглянула опять:

— Не угори!

Телега со стогом сена тащилась к ферме, а навстречу выходили доярки с вилами. Мужчины цепляли к трактору севший в грязь грузовик.

К серым, проморенным дождями и солнцем избам старого Китоя пристроились новые дома. У одного из них молодая женщина, та, что ехала с Иваном, сажала в свежерытую яму тонкое деревце, которое держала девочка лет пяти.

Лед на пруду, где не стаял, напитался водой, как синькой. Мутным дымом лес стелился под горизонт.

Иван, как в детстве оседлав крышу, любовался земным простором. Внизу мелкими заботами жила деревня. На все четыре стороны разбегались дороги, разоблачая обманчивость земного предела, очерченного горизонтом. От ощущения свободы, простора, бесконечных возможностей, от хмельного весеннего воздуха у Ивана и пела и радовалась душа.

«По Дону гуляет...» — разлились по дому голоса, то тесно сплетаясь, то отвлекаясь на житейский разговор, и тогда песня меле-ла, почти замирала.

Во главе стола сидел чистый и пообветрившийся Иван, а мать примостилась на краешке его табуретки, робко и радостно смотрела из-за сыновнего плеча.

— Постоялец-то ваш съезжать собирается? — спросила полногрудая женщина и кивнула в сторону стоящих особняком ве-

щей: чемодана, стопки бумаг, висевшего на стене парадного костюма.

— Я ему говорила: живите на здоровьице, но до Ванечки,— живо откликнулась мать и прижалась к рубашке сына щекой,— как он со службы воротится. Теперь выгоню.

— Так уж и выгонишь,— Иван косил на нее глаза.

— Попрошу,— уверила Антонина Филипповна.

— Куда попросишь? — усомнилась полногрудая.— Он, что строил, все рóздал.

— Пускай пока живет,— снисходительно разрешил Иван.

— Вот молодец рассуждает,— похвалила полногрудая.— Как двухъярусные квартиры отстроит, Ваньке же самую первую и отдадут — женись хоть на самой толстой, а, Ванюш? Чтоб сразу тройню родила.

— «По Дону гуляет!» — заголосил Иван, и все послушно подхватили, а Иван уже спрашивал у соседа: — В пруду рыба-то есть?

— Карпа он пустил. Только ловить нельзя — гоняют.

— Но ловят?

— Конечно, ловят, как не ловить.

— По ранжиру, весу и жиру — равняйся! — закричал с порога новый гость, дед Леня, и Иван вскочил, шутиливо выпячивая грудь.— От имени и лица с прискорбием поздравляю. Интересно получается, Вань, ты теперь старик и я старик. Оба старики?

— Я не старик, я дембель.

— А я пока еще старик, с дембелем мы погодим, так, Антонина? — шутил дед Леня, принимая от Антонины Филипповны тарелку с дымящимися картофелинами.— Тем более, жись — как до грехопадения Адама. К пенсии прибавку обещают. Дорогу поведут...

— Чьими же заботами? — иронично спросил Иван.

— Твоими! Чита-дрита! А ты думал. Садись на трактор! Из каждого цветка должна взойти ягодка. Или не хотишь?

— Он, может, еще не отцвел,— да, Вань? — заступился молоденький губошлеп, который все нянчил да примерял на лохматую голову военную Иванову фуражку, сам тоже Иван, Хараболкин-младший.

— Отстаньте от него,— оборвала мать.— В первый-то день.

— «По Дону гуляет!» — рванул Иван тот же куплет.

— Пели уж вроде,— припомнил кто-то, но уже подхватили, повели казака по Дону.

— Значит, не хотишь?! — не отставал от поющего Ивана дед Леня.— Чего же ты хотишь? Джинсов небось, джинсов?

— Джинсы — нет. Тильки чухасы. Ор лайт! — веселился Иван, довольный тем, что он дома, среди своих, свободный, желан-

ный и никому ничем не обязанный.

— Во-от,— ткнул ему палец в грудь Леня.— Выучили вас иностранному на свою голову. А на трактор не хотите.

— Леня, честно? — проникновенно сказал Иван.— Я бы мог сразу завербоваться. В Сибирь, на Север. А я вот домой. Может, останусь. Надо поглядеть, что за директор. Все обмозговать.— Иван повернулся к матери, обнял ее, а она сделала вид, что не слышала последних слов.

Опять стукнула дверь, и на пороге встала красивая, с веселой наглостью в глазах женщина, из тех, что себе цену знают. Оглядела застолье, будто отыскивая кого-то. Не переставая петь, все воззрились на нее, кто с любопытством, кто с удивлением. Антонина Филипповна поднялась за тарелкой:

— Присядь, Татьяна. Сын вернулся.

— Поздравляю,— механически, даже не взглянув на Ивана, сказала женщина и спросила: — А он? Будет?

— Не докладывает,— отвечала мать.— Садись.

— А что тебе до него? — спросил кто-то у Татьяны.

Разгулявшийся Иван опять попытался сбить поющих на первый куплет, но голос его теперь повис среди тишины. Все смотрели на женщину и ждали ее ответа.

— Увольняюсь,— сказала она и вышла.

— Не дожала все ж,— сказала с ехидцей ей вслед полногрудая.

— Ему нельзя.

— Почему нельзя? Всем можно,— сказал губошлеп в фуражке.

— Он директор.

— Ой, делов-то! С точки политики, толковый начальник должен, чтоб его бабы любили. Баба на градусе любви — гору своротит. При этом не обязательно аморальничать.

— А их видали.

— Ты, что ль, видал?

— И так подумать: жена-то к нему не больно разбежалась сюда. А Лаврова Танька завлекательная.

— Издалека красавица и стройных очертаний. Но вблизи у ней дефект.

— Что за дефект, Леня?

— Клык во рту,— Леня отвечал зловещим шепотом и согнул палец.

— Тьфу, к ночи нагородишь!

— «По Дону гуляет!» — рванул Иван, которому надоело слушать, и все дружно подхватили.

Над зданием райкома похрипывал, будто прочищал горло, репродуктор. Он то взрывался праздничным маршем, то замолкал.

— Привет, ребята,— крикнул Максаков рабочим, укрепляющим плакат.

— Привет труженику полей,— приветствовал его репродуктор и продолжал: — Раз, два, три, проверка: раз-раз...

В устланных дорожками коридорах райкома Максаков то и дело наткался на знакомых. Заглянул в одну из дверей — оттуда послышались радостные возгласы:

— Саша, заходи!

Он вытащил из портфеля буханку хлеба, оживления прибавилось. Появился чайник, хлеб в момент растащили по куску.

— Ух, свежайший!

— Пух!

— Только из печи.

Кто-то заглянул в максаковский портфель и извлек еще одну буханку.

— Женё вез! — пытался протестовать Максаков.

— Нечего баловать. Перевези в хозяйство — она у тебя каждый день будет есть такой.

— Слушай, Саш,— подошла девушка,— по старой памяти, выступи на митинге перед выпускниками. У нас тут класс в колхозе остается.

— Нет, нет! — Максаков схватился за портфель.— Я не могу.

— Кто, если не ты? — произнесла, как заклинание, девушка и встала перед ним.

— Кто угодно, только не я! — в тон ей патетически ответил Максаков и затопился.

— Кстати, мог бы и своих ребят на такое дело сагитировать. Тебе же люди нужны.

— Эх вы, формалисты, чиновники,— поддразнил Максаков беззлобно и уже из дверей добавил: — Сагитировать... Сами должны оставаться.

Когда за ним закрылась дверь, женщина у окна грустно сказала:

— Хороший парень. Жалко, ушел. Мог бы сделать красивую карьеру...

...В своем кабинете первый секретарь Акоев разговаривал по телефону:

— Он у вас в плане... Это ты брось — «мало ли что в плане»!

— Опять, что ли, на дорожников ссылаются? — усмехнулся Максаков, стоявший тут же у окна и наблюдавший жизнь улицы.

Жизнь улицы текла неспешно, подчиняясь общему дремотному ритму, присущему российской глубинке. Замедленность проявлялась даже в попытке догнать отходящий автобус. Замедленной казалась и любезность водителя, вдруг притормозившего среди площади перед райкомом, из окна которого глядел Максаков.

— Времена не те,— ругался у него за спиной по телефону Акоев.— Знаешь сам, что тебе будет за нарушение обязательству. А у него люди из совхоза уходят... Короче — когда? Летом?

— В прошлом году тоже говорил, летом, — вставил Максаков, не отрываясь от окна.

— Ты и в прошлый год говорил — летом. — Акоев замолчал — на том конце провода оправдывались.

Теперь он покупал пирожки, тот, что бежал за автобусом, много, сколько влезет в сумку; водитель, высунувшись, разговаривал со знакомым, а когда наговорился, тому, опоздавшему, крикнули, и он все-таки успел на автобус, уронив на площади пару пирожков к радости медлительных собак.

— Карьер, дорожники, железнодорожники — есть на кого пенять! — Акоев кричал в трубку.— Знаю твое положение с рабочими, знаю...

— Людьями я ему смогу помочь,— вставил Максаков.

— Людьями он тебе поможет... Ладно, он к тебе сегодня подъедет. Сами обо всем потолкуйте. Когда? — Акоев кивнул Максакову: — Когда?

— Во второй половине дня.

— Во второй половине дня. И будь сговорчивее.— Акоев положил трубку и сказа: Максакову: — Его понять можно. Ему у тебя строить — вострый нож. Дорога у тебя — как свернул, так утонул. Рабочие отказываются, не он. Поговорите по душам. Он мужик неплохой... Что тебе объяснять элементаршину. Надо крутиться. Должность у тебя теперь такая.— И спросил: — Скучаешь по кабинету?

Максаков не успел ответить. Зазвонил телефон. Акоев взял трубку.

— Конечно. Конечно, встретим. Пишу.— Записывая, он спросил у Максакова: — Карп у тебя как поживает?

— Еще маленький,— нехотя ответил тот.

— Хорошо, московским поездом. Понял.— Он повесил трубку и спросил: — Зайцы у тебя есть?

— Какие зайцы?

— Какие-какие... С ушами.

Иван попробовал струны — звук был дряблый. Он покрутил колки, и две струны лопнули одна за другой. Он оглядел рассохшийся корпус гитары, поиграл, не обращая внимания на мертвые струны, прикрыл глаза. Мать подошла к столу и выложила деньги:

— Тут тебе двадцать пять рублей,— сказала она и цапнула горстку воздуха, разжала ладонь: — Вот и муха оттаяла. Весна.

Она проследила за мухой и остановилась взглядом на настенном календаре, показывавшем двадцать третье февральское число. Подошла и стала обрывать листки.

Под высокой крышей мастерских звучали голоса: «Что, Вань, кончил свой университет?» — «Ух, там была одна, жила неподалеку с частью». — «Со всей частью?» — «Не скался, только со мной». — «Чего не женился на таком редком случае?» — «Еще, может, женюсь. Там места богатые. Вы-то тут как?» — «Воды на полях — хоть шапкой черпай. Диски уж отцепили. Давай нанимайся. Чего даром скучать?»

За полуразобранными машинами мелькали телогрейки, дымилась папиросы, звучал хриловатый смех.

Утром, когда Иван еще спал за печной занавеской, Антонина Филипповна кормила завтраком Максакова:

— Смотри, Александр Михайлович, и это называется яйцо! Я уж и гречкой подкармливаю, а не хотят работать. Курвы — вот курами их и зовут. На, съешь.

— Оставь сыну. Кстати, что у него на уме? Сколько времени — без дела.

— Я за него не знаю, спроси. Будет ему к тебе хотеться, я тебе спасибо скажу. Нет — еще лучше. Приедет меня в землю положить. Может, учиться станет. Он книголюб.

Вдруг скрипнула дверь и зашла Лаврова. — Все квартируете? — насмешливо обратилась она к Максакову.

— Лаврова?! — он смутился. — Что приехала? Передумала?

Антонина Филипповна поспешно вышла, оставив их вдвоем.

— Я думала крепко, уж не передумаю. Могу и тебя захватить. Местечко бы нашлось... для одинокого женатого мужчины.

— Хватит шутить, Таня, что у тебя?

— И правда, пошутили и будет. Вот, — она положила на стол лист бумаги, — подпишите характеристику, и будем прощаться.

Максаков подмахнул, не читая.

— Александр Михайлович! — привычно кинулся в дверь человек и тут же с порога на попятную — третьему не место. — Ой, извиняюсь!

Иван уже не спал, но не решался это обнаружить.

— Прощаться-то будем?

— Желаю удачи.

— Может, поцелуешь?.. А напутственное слово в жизнь? — вдруг разозлилась Лаврова. — Чтоб не оступилась, шла с гордо поднятой головой.

— Иди, Лаврова, с гордо поднятой головой, — согласился с напутствием Максаков.

— Да, что-то ты стал не речист, погас как-то. Кровь-то в тебе есть?

— Уж не зарезать ли меня собралась? — попытался пошутить Максаков и окликнул негромко: — Иван! Ты спишь?

Иван завозился, имитируя пробуждение, раздвинул занавески и спрыгнул с печи. Лаврова глянула, как на пустое место.

— У вас телохранильщик появился. Ничего парень.

— Вань, мне на планерку, возьми газик и подбрось даму до автобуса.

Иван в зеркальце изучал лицо сидящей на заднем сидении Лавровой, которая надменно и неподвижно смотрела на дорогу. Когда они доехали до перекрестка и газик выскочил на асфальт, Шилин заглушил мотор. Женщина, как бы очнувшись от своих мыслей, посмотрела в по-армейски стриженный Иванов затылок и посоветовала, открывая дверцу:

— Ты, паренек, тут не засиживайся. Директор жидковат мужик. Слишком правильный для этой грешной жизни. Так и будете в луже сидеть.

— Ладно, Кармен. — Иван криво ухмыльнулся. — Шалава.

Шилин смотрел ей вслед, пока не гуднул и не прошумел мимо дальнобойщик-рефрижератор.

На пруду — равномерно рассеянные по всему берегу, на мостках, под причудливо изогнувшейся ивой — стояли мальчишки с удочками. Прибежал еще один, обошел всех, заглядывая в банки с одной, двумя рыбешками.

— Слабая поклевка, — сообщил ему приятель.

Но мальчик выбрал место, закинул удочку, оставшись наедине с задумчивой водой, и не заметил, как к пруду подъехал газик.

— Директор! — разбежались мальчишки.

Но вышел Иван, ухватил удочку замешкавшегося мальчугана.

— Не реви, отдам, — и присел на корточки у воды с разбежавшимися от поплавок кругами.

Иван шел по улице, перед ним несколько женщин растянулись по дороге. Последней шла та, которая ехала с ним в прицепе. Платок сполз с волос, она устало сдернула его с шеи и несла так, что он едва не касался земли. Иван почему-то не мог отвести глаз от ее волос, от усталой руки с платком. Он прибавил шагу и почти поровнялся с ней, когда его окликнули. То спешила из проулка некрасивая, но гордая собой беременная женщина.

— Шепелкина, ты? — вопрос прозвучал немного пренебрежительно, но это не смутило ее.

— А ты думал, мы хуже всех! — она теперь не умела считать себя в единственном числе.

— За кого ж ты вышла?

— За приезжего,— засмеялась она.— За вас, что ли, шалопутных?

На ее смех оглянулись женщины. И та тоже. Это вдохновило Ивана.

— Как же ты меня не дождалась, а? — упрекнул он с наигранной досадой.— Неверная!

— Ой, лопну,— покатила со смеху Шепелкина, придерживая живот; как отсмеялась, ответила серьезно: — Долго ждать — больно красивый.

Шилин глянул на женщин. Та, с которой ехал,— уходила.

Лида, так ее звали, надела халат, повязала белую косынку и ушла куда-то в глубь пекарни. Иван стоял в дверях.

— Вань, Александр-то Михайлович все стоит у вас? Интересный он? — как-то стыдливо пыталась его Шепелкина.

Иван пожал плечами равнодушно.

— Беседуете?

— Чего мне с ним?

— Ой,— покачала головой Шепелкина.— Он про будущее совхоза рассказывал — я редела!..

— Будущее,— фыркнул Иван.

Опять подошла Лида, пошла к полкам с хлебом, Шилин вынул мелочь:

— Можно хлебушка?

— Ты, Ваня, недовер. Оттого ты недовер, что нету у тебя детишек,— ворчала в глубине пекарни Шепелкина.— Тебя надо перевоспитать.

Он ответить забыл, замороженно глядя на Лиду.

Вот она стояла перед ним — смотри не хочу. Была хороша тем, что и не знала как будто, что хороша.

В городе проявилась весна. По берегам раздавшейся реки лезли дети. Над ними, у самого обрыва, сидели на лавках старики, а дальше, наверху, казалось, испуганные половодьем, сгрудились домишки. Над всем этим высились купола церквей, деловито струились дымы из труб. На мосту стояли Шилин с Хараболкиным и высматривали девушек.

На щите был вывешен яркий плакат дискотеки. Значились пункты: «из истории музыки» и «для тех, кто любит танцевать».

Рядом — тут все было рядом — стоял магазин сельхозинвентаря, неказистое деревянное строение. Хорошенькая продавщица таскала к магазину мешки ядохимикатов, грабли, лопаты.

Шилин с Хараболкиным потащились вниз. — Помоги, что уставился? — сказала девушка, и Шилин покорно принял на плечи мешок.

—...Спасибо, мальчики,— сказала продавщица, когда мешки были в магазине.

— И все? — протянул Хараболкин разочарованно.

— А потанцевать? — предложил Шилин.

— Перетопчешься,— ответила девушка.

— Ах, так! — Он открыл дверь и схватил мешок, грозя его выкинуть.— Медведь в цирке, и тот конфету получает.

— Выбрасывай, если силы много,— и продавщица пошла за прилавок.

— Много,— со значением прихвостнул Шилин.— Девать некуда.

— Уха-аживает,— подмигнула пожилая продавщица, когда Шилин выбросил все-таки из магазина пару мешков.

Гремела музыка. Шилин с Хараболкиным протискивались сквозь толпу. Музыка кончилась, трижды вспыхнул свет: зеленый, красный, синий; вышла женщина с микрофоном. Одновременно раздалась торжественные звуки «Богатырских ворот».

— Здравствуйте, друзья! — начала женщина.— Вслушайтесь в эти могучие аккорды, в это высокое дыхание труб, строгое звучание фортепиано. Сегодня мы с вами заглянем в сокровищницу русской музыки. Это — «Богатырские ворота» из сюиты Модеста Петровича Мусоргского «Картинки с выставки».

Два Ивана уже начали искать выход, когда заметили двух девушек в одинаковых куртках. Одна из них была продавщица сельхозинвентаря. Парни прибились и, неизвестно чем обрадованные, спросили:

— Сестрички?

Продавщица была брюнетка, ее подруга светленькая и совершенно несхожая с ней. Они покосились на парней, и черненькая фыркнула:

— Сестрички твои, знаешь, где? — Она покрутила пальцем у виска.— За братишками ухаживают.

— Подумать, а мы решили, тут все наши «ку-ку»,— заигрывал Хараболкин.— Мы тоже обожаем под Мусоргского танцевать...

...Женщина-ведущая в небольшой комнате за сценой складывала в сумку пластинки и книги. Приоткрылась дверь, и в комнату как-то боком, сжавшись и втянув руки в рукава, протиснулся Максаков.

— Можно спросить? — очень серьезно начал он.— Где можно купить последний диск Могучей кучки?

Женщина улыбнулась, взяла пальто. Максаков перехватил, подал:

— Извините. Если не возражаете...

Женщина глянула через плечо. Максаков торопливо заверил:

— Ни боже мой, приставать не буду. Я чисто экономический, хозяйственный питаю интерес. Вы бы не побрезговали к нам в совхоз в целях просвещения масс? Извините, конечно.

— Заманчиво,— сказала женщина, нашивая рукава.— Школа музыкальная есть?

— Будет.

— А пока на ферму? Или просто женой директора?

— Наталья Ивановна, мне претит ваша выжидательная политика. Не люблю осторожных и равнодушных людей.— Максаков притянул к себе жену и положил ей голову на плечо.

— Смотри,— сказал Хараболкин, показывая на максакровский газик у клуба.— Знаешь, кто у него жена? Эта, Мусоргская.

Они стояли, облокотясь на мотоцикл у стены. Вышли Максаков с женой, сели в машину. Конус света от вспыхнувших фар выхватил из темноты двух парней у стены, мотоцикл. Они непризвольно отвернулись. Но Максаков не узнал их, давая задний ход. Шилин усмехнулся из-под руки:

— Она тут пластинки крутит, он там — любовь?

— Таких бабы любят, в шляпе-то,— пошутил Хараболкин.

Шкаф с книгами, стол, кровать, пианино — все нехитрое имущество Максаковых. Пили чай, а на столе щелкал метроном, заполняя ритмом паузу. Жена Максакова протянула руку и остановила стрелку. Максаков проследил за ее рукой, сказал:

— Я тебя жду, кажется, всю жизнь, а ты ближе не становишься.

— И я,— эхом отозвалась она.

— Парень вернулся.

— Какой?

— Из армии, хозяйкин сын.

— Слушай, Саша, может, напишешь заявление: погорячился, прошу снять с меня полномочия...

Максаков качнул стрелку метронома, встал:

— Так не бывает.

— Останови метроном, у меня голова — будто оттуда цыпленок хочет вылупиться... Тогда завали все, пускай уволят. Подтолкнули, пообещали помощи, а теперь что?

— Когда лошадь к упряжке подводят, ее глядят и уговаривают, а запрягли — бьют. Это нормально,— улыбнулся Максаков.

— Нормально, когда человек занимает свое место. Когда человек с лопатой рабо-

тает лопатой, человек со словом...

— Работает языком. Болтовней все засеяли. А что посеешь, то и пожнешь. Я как агроном знаю.

— Попросись в управление. Я думаю, они просто воспользовались твоей наивностью и твоей способностью зажечь людей...

— Оставь слова,— поморщился Максаков. Он опять тронул стрелку метронома.— Ваше время, сказали Золушке, истекло... К хозяйке сын приехал. Я уже говорил? Нужно, чтоб такие парни оставались.

— И ты не можешь его сагитировать?

— Не могу.

Прятели провожали девушек старым городским парком. Под ногами шевелились тени деревьев, все дышало настоящей весной. Сели на лавки друг против друга — сначала Шилин с Хараболкиным на одну, а на другую, показывая свою независимость, девушки. Потом поменялись — Шилин подсел к черненькой Свете, ее подруга ушла к Хараболкину. Рука Шилина опустилась на плечо Светы, она сказала:

— Руки!

— Руки мыл. Что руки?

— После свадьбы — то! Зачем мешки повывкидывал?

— Такой у меня характер, за «спасибо» не работаю.

— Только за конфету? — жеманясь, спросила Света.

— Только за шоколадную.— Шилин пронзительно глядел в глаза девушке.

— Я так и поняла, что ты в цирке работаешь.— Света расхохоталась.

Тут к скамейке приблизилась группа парней. Один спросил у Шилина огонька.

— Не курю, еще в школе бросил.

— В средней?

— В начальной,— нагло ответил он.

Кто-то из компании щелкнул зажигалкой, осветив по очереди лица Светы и Ивана. Потом они перешли к скамейке напротив, и там дважды зажегся огонек, осветив оцепеневшие от испуга лица.

Потом те гурьбой ушли по сухой траве и растаяли между черными силуэтами старых деревьев парка, сплетавшихся кронами. Из черной глубины еще пару раз мелькнул огонек, высветил какую-то парочку на скамейке.

— Свет, я пошла,— вставая, сказала подруга Хараболкина.

— Иван, проводи,— распорядился Шилин.— Я доберусь.

Света и Шилин, проводив взглядами тех двоих, молча посидели на скамейке.

— А ты смелый.— Света встала.

— Ты тоже.

— Но вообще-то надо расходиться. Нас засекали.

Они вышли из парка. Света сказала:
— Ну все, не провожай. Тут близко.

Шилин смотрел, как она уходила, лавируя между лужами, тускло блестящими в свете неярких фонарей. Потом нагнал в два шага и попросил:

— Свет, забыл. Откроешь магазин на минуту? Лето... Косить...

Шилин выдержал испытующий взгляд.

— Что, не веришь?

— С какой стати тебе верить? Трепался, что проездом в Сибирь, а сам деревенский.

— Ты что, боишься меня?

Света насмешливо смерила его взглядом. Вытащила связку ключей из кармана.

— И не трепался я про Сибирь... Письмо жду...

Клацкнул замок, дверь магазина чмокнула дерматиновой обивкой, и они зашли в помещение, прописанное ясной луной, как дотошным ретушером, до гвоздя.

Света стала оглядываться, отыскивая по углам, в нагромождении предметов, кося. Отыскивая или делая вид, что отыскивает. Шилин подошел, прикоснулся к ее плечу и вдруг обнял девушку. Она не сопротивлялась, зашептала:

— Ты мне тоже понравился...

Иван опустил на какие-то мешки, увлек Свету. Она уперлась ему в грудь, посмотрела испытующе в лицо:

— А ты думаю, я такая? Нет, просто ты мне понравился, честно. Я бы уехала с тобой. Взял бы?

Иван отвел глаза.

— Куда ты сел?! — вдруг ужаснулась Света, показывая на мешки. — Это же яд, ядохимикаты.

Иван инстинктивно ослабил объятия, и она вывернулась, метнулась за стойку, выхватила серп, холодно сверкнувший молодым месяцем:

— Без приколов. Сигнализацию включу.

— Свет, — силится придумать что-нибудь Иван. — Я из Сибири тебе письмо пришлю...

— Не пыхти, — оборвала она. — И я в слова не больно-то. Плакала по нему Сибирь, заждалась! Да тебе всю жизнь картошку копать...

Иван поднялся, сплюнул и вышел из магазина, прихватив косу.

К ночи подморозило. Под ногами хрустело. Иван уже и пригород миновал. За спиной чернели очертания домов, затихал, отдалялся собачий лай. Иван шел, неся косу на плече.

Движения на дороге не было. Вдруг звук мотора, попутный луч. Иван остановился. Машина притормозила, распахнулась дверца газика, выглянул Максаков:

— К сенокосу готовишься? Садись.

Иван бросил косу и полез в машину.

— Что завтра делаешь?

— Вроде ничего, — ответил Иван.

Шилин, Максаков и егерь сидели с ружьями в камышах и следили за продвижением по берегу двух фигур. Егерь объяснил Максакову:

— Ты не торопись, поперед батек не стреляй — им радости не будет.

— Который из них из управления?

— Тот, мелкий, вроде генерал. А второй, в шляпочке, знаю, из области, но откудава точно, не скажу. Дело к нему. Они мужики простые. Который человек на охоту ездит — значит, тоскует. Я при них даже матюгов подпускаю — вижу, им приятно в простоте. За что свой почет и получаю.

Шилин правил лодкой. Двое шли и шли по берегу. Останавливались, глядели в небо. Максаков с досадой заметил:

— Что мотаются?

— Еще ходят, — пообещал егерь. — Наслаждаются ж, едрена корень.

И опять шуршала по борту лодки трава, сухим звуком рождая в сердце пустоту. Снижаясь над рекой, тоскливо кричали утки. И двое на берегу поднимали стволы ружей, и тут же замирали в ожидании трое в лодке, чтобы ударить выстрел в выстрел с почетными гостями и не промахнуться, если промахнутся те.

...Приезжий спаниель подметал ушами первую нежную траву. Шли через лес все вместе. Шилин нес рюкзак с добычей. Максаков — ружья. Генерал собирал подснежники. Когда вышли к границе леса, человек из управления присел на пригорок:

— Погодите, что-то в сапоге неладно, — и стал переобуваться. — Что загрустил, приятель? — обратился он к приземлившемуся рядом генералу.

— Какая же все это красота, — сказал грустно генерал, нюхая цветы. — Я сына, Витальку, звал — не хочет. В библиотеке сидит. Я говорю, книжный ты червь. Жизнью не интересуешься, жизни не видишь.

— Ничего, нам больше достанется, — утешил человек из управления.

— Эй, дети, отчего вы такие? — оглянулся генерал на Шилина с Максаковым.

Егерь, зная свою задачу, ответил:

— Я скажу: раньше за столом лучший кусок кому надлежал? Старику. Теперь потяни в рот чего получше — свои же выделки ложкой по лбу: внуку отдай. Оттого и было, что родителя на «вы». А теперь только в таком сочетании: «А пошли вы, папаша...»

— Да-а,— вовремя остановил егеря генерал.— Субординация, конечно, нарушена.

— Потребители,— сказал человек из управления.— Все им даром.

Над их головами пролетела и села на вспаханное поле стая диких гусей.

— А ну, ружье...— забеспокоился человек из управления.

— Саш, быстро Дмитрию Николаевичу ружье! — подтолкнул Максакова егерь.

— Нельзя. Гуси.— Тот схватился за приклад.

Егерь шикнул на него и скинул свое ружье. Дмитрий Николаевич в одном сапоге пробежал по полю и прицелился. Вслед за ним стал целиться Шилин.

— Иван! — крикнул Максаков.— Не стреляй!

— Иван, не зевай, давай, Ванюша,— толкал егеря.

Иван засомневался, кого слушать, он догадался на оклик директора. Тогда Максаков выстрелил в воздух. Птицы взмыли.

Шилин помедлил — птицы уплывали в высоту на сильных крыльях.

— Иван! — опять крикнул Максаков.— Не смей! Приказываю!

Грянул выстрел Дмитрия Николаевича и, казалось, все было потеряно. Иван выстрелил.

Около егерского дома, в малиновых закатных лучах Шилин ощипывал птицу. Максаков чистил картошку, рядом сидели гости в добротных спортивных костюмах. Дмитрий Николаевич, в общем, всем довольный, объяснял Максакову:

— Охота. Азарт. Разве ты этого не понимаешь?

— Я сам из охотничьих мест, из-под Воткинска. Мы с отцом раз плыли по реке в такое вот время, в сезон. Над рекой утки летят — с одного берега стреляют, с другого стреляют — война. Мы грести бросили, на дно лодки легли, боимся пошевелиться, только кричим: «Люди здесь! Люди!» А они палят...

Все улыбались рассказу:

— Конечно, это же понятно.

— Понятно, конечно,— согласился Максаков.— Но все равно скотство.

— Согласен, нехорошо получилось,— разозлился Дмитрий Николаевич, взял из миски пулю, выпотрошенную Шилиным из гуся, рассмотрел ее.— Будем составлять акт. Эта пуля не моя. Стрелял Иван. Свидетели есть,— он оглянулся на генерала, егеря.

Шилин возмущенно посмотрел на Максакова:

— А я при чем? Я тут никто.

— При том, Ванька, что паны дерутся,— засмеялся егерь.

В печи шипело и потрескивало. По радио играл оркестр балалаечников. Максаков накрывал на стол. Гости слонялись по комнате, праздные и разморенные.

Генерал взвешивал на пальце свое ружье, демонстрируя Шилину точность центра тяжести. Иван взял ружье, тоже взвесил, прикоснулся щекой к инкрустированному прикладу, одобрил:

— Прикладистое!

— Голландское, брат ты мой, что хочешь!

Егерь тем временем обрабатывал Дмитрия Николаевича, кивая на Максакова:

— Молодой — не доехав, лапти сушит.

Первые шишки получает, а подстраиваться под общий шаг не умеет. Ну ничего, год-другой — оботрется. Его ж с кресла прислали. Районщик.

Максаков ухватом поднес на стол гусятницу, и все сели вокруг, вожаделенно глядя на дымящегося гуся.

— Жесткий,— нашего, видать, возраста,— разочарованно протянул егерь, откусывая.— Сам с испугу повалился, когда вы пульнули...

— Птица, которая может, вернее, могла подниматься на высоту шесть тысяч метров и пролетать без посадки сто пятьдесят километров. Тут не зубы, зубищи надо иметь,— заметил Максаков.

— Слушай, Саня, ты кто? — спросил достаточно дружелюбно Дмитрий Николаевич.— Директор. Тебе, душа моя, по должности не положено быть беззубым.

— Я не беззубый. Два года ругался, чтобы в план попасть да из плана не выпасть, а вы все переносите наши проекты, пропускаете.— Максаков заходил по комнате.

— Всем нужно, все ругаются,— спокойно отвечал ему Дмитрий Николаевич.— А ты был бы помудрее — сауну бы построил.

— При чем тут сауна?

— Дипломатия! — заметил егерь.— Один монах просил разрешения курить во время моления. Ему отказали. Другой монах просил молиться во время курения. Ему — разрешили. Пошли, монах, за самоваром...

— Есть такое общественное положение, при котором, чтобы быть хорошим, надо быть чуточку плохим,— грустно сказал им вслед генерал.

Максаков с егерем вышли.

А когда вернулись с дымящимся пузатым красавцем-самоваром, Дмитрий Николаевич, весело поглядывая на Максакова, сказал:

— Что же ты прибедняешься? У вас, оказывается, карп в пруду. Нас Иван вот на рыбалку приглашает.

Директор опешил:

— Иван приглашает? А кто такой Иван? Пруд мы без Ивана рыли, карпа без него пускали. Он пока для совхоза палец о палец не ударил, родной матери крышу не починил.— Максаков покраснел.— Кто он такой, Иван?

— Иван — это народ! — егерь патетически поднял палец.

— Наш народ в обед будет в столовой карпа в сметане есть. Я что-то не уверен, что Иван там будет.

— Полегче,— Иван сделал небрежное движение.— Я не уверен насчет карпа у нас в столовой. А из вашего «завтра» ухи не сварить. Всем сегодня надо.

— Ты это про что?

— А так.— Иван толкнул дверь ногой и вышел.

— Слыхал глас народа? — засмеялся Дмитрий Николаевич.

А егерь подвел черту:

— Думай не думай, как жизнь устроить, голова от думок лопнет, а жизнь не переменишь.

— Утки — глупый народ. Единственная птица, которая подманивается на куклу. От этого всякую вранину «уткой» и прозвали.

Утром Шилин и егерь зябли на крыльце. Иван, позевывая, гладил спаниеля. Егерь держал под мышкой пластмассовый муляж утки и продолжал рассуждать:

— А ружьишко у них видал? Знаешь, сколько денег стоит? Тебе без еды-питья — год. А подстрелил кто? Ты да я из своих берданок. Вот так-то.

Из дома вышли генерал с Дмитрием Николаевичем, скомандовали: «Вперед!» и растворились в утреннем тумане.

— А как же директор? — спросил Шилин, вешая на плечо ружье.

— Пускай спит,— раздался откуда-то из леса, сквозь треск сучьев, голос Дмитрия Николаевича.— Не люблю таких, лысых от рождения. Знаю я эту породу.

— Или с начальником останешься? — спросил егерь.

— Какой он мне начальник? — И Шилин пошел за охотниками.

Лида вынесла из пекарни мешок, набитый буханками, повесила на дверь большой замок и приладила бумажку: «Пекарня закрыта. Сев». Рядом вертелась девочка лет пяти, ее дочка, тихая, как мать.

Подъехал трактор с прицепной телегой. За рулем сидел Шилин. На лавочке у пекарни грелся на солнце дед Леня, спросил:

— Нанялся все-таки?

— На сев.

— И то деньги.

Шилин стал помогать Лиде грузить мешки и бидоны, в телеге уже была какая-то утварь, картошка. Среди всего этого скарба устроилась Лида с дочкой. Шилин спросил девочку:

— Ты чья?

— Не твоя,— отвечала она приветливо.

— Дочка? — удивился Иван.

— Чай не сынок, раз в юбке,— сказал Леня.

— Как же нам врозь, правда? — Лида прижала к себе девочку.

Лес уже покрылся первой листвой и был словно в зеленом пуху. На лесной дороге Иван оглядывался и видел две руки — женскую и детскую, отводящие ветки над головой. Временами ему чудилось, что за рокотом трактора прячется песня. Раз он специально заглушил мотор и прислушался. Песня, если и была, смолкла. Только птицы наполняли пением воздух.

На краю черного вспаханного поля стоял старый, наполовину осевший дом. За ним озерцо с мостками под ивой. Из дому выскочил блаженно-радостный, в одном сипоге, большущий мужик, отчего-то прозванный Карандашом. Он подскочил к телеге, на ходу надевая полотняную с пластмассовым козырьком и надписью «Tallin» шапочку.

— А вот они мы! — он снял с телеги девочку и, покружив, поставил на землю и принялся истово разгружать телегу.

Шилин переводил взгляд с Карандаша на Лиду, на девочку, и была в его взгляде то ли жалость, то ли тоска.

Трактора и сеялки оставляли у поля. От пота отмывались у озерца за полевым станом. Настроение после работы было слабое, дурашливое. Хараболкин совсем впал в детство: в грязный медицинский шприц набирал воды из лужи и гонялся за говарищами, пуская в воздух тонкую водяную струйку:

— Укольчик! Укольчик от всех болезней!

— Петрович, уйми своего дураля! — разбегаясь, просили мужики бригадира, отца Хараболкина.

Лаяла приблудившаяся к бригаде собака. С чердака выглянул Шилин:

— Тут и карты с уборочной остались. — Посмотрел и добавил: — Ни дам, ни тузов.

...Наевшись, рассаживались по койкам. Лида убирала со стола. Карандаш протягивал девочке конфету, но та лишь держалась за подол.

— Ешь, подрастай! — уговаривал Карандаш.— А то в космос не полетишь.

Рядом с Шилиным стояла собака и смотрела на него слезящимися глазами, ожидая ласки.

— Зря привадил,— предупредил Петрович.— Не отцепится.

— Пускай.— Шилин еще потрепал собаку.

— Лида, погадай! — взял колоду Карандаш.

— Без дам интереса нет,— отшутилась она и ушла на кухню.

Карандаш несколько раз сложил газету, разрезал, вложил в колоду и позвал:

— Теперь все, иди!

— Я не умею,— отвечала из кухни Лида.

— Ну хоть поври.

Лида вышла, вытирая руки, села за карты, сиюсазане что-нибудь вспомнить.

— Вот это, кажется, пустая дорога, это болезнь...

— Но только ты ври точно,— забеспокоился Карандаш.

Лида серьезно разложила карты, и все повернулась к ней.

— Пиковая дама, то есть пустота, ушла в прошлое. Закрывается она хорошим человеком, другом. И вокруг масть твоя, хорошие люди, значит. Письмо какое-то хорошее получишь. Приятные хлопоты по дому. Все красное, хорошее. Две дамы...

Карандаш сидел именинником, спросил сердечно:

— Поконкретнее бы?

Хараболкин схватил один из газетных обрывков, заменивших в колоде дам, и прочел:

— «...в том числе два миллиона вторичного сырья. Из отходов, конечно, тоже получаютс отходы. Как их свести на нет?..»

— Нет, Лидочка, что ж это за дамы? — отмахнулся от Хараболкина Карандаш.— У меня намерения...

— Женщина почти всякая будет добрая, если с ней по-доброму. Она как отражение в зеркале. Ты уж сам выбирай, какая в тебе лучше отражается,— ласково сказала Лида Карандашу и ушла на кухню.

— На другую посмотришь,— сказал скептически Шилин,— красивенькая, а глаза вообще ничего не отлунивают.

— Слепое дело,— сказал обреченно Карандаш, держа на коленях девочку.

— Три минуты горячки и вся жизнь медленного охлаждения,— со знанием дела сказал Хараболкин.

— А моя только в старости отражать стала,— вступил Петрович.— Когда очки прописали. И ничего, четвертого балбеса в жизнь выпускаем.

— Лида, может, и мне погадаешь? — крикнул в сторону кухни Шилин.

— Я правда не умею,— ответила она из-за перегородки.

Потом Карандаш сидел на крыльце, гладил собаку, наблюдая, как у пруда Шилин ополаскивал посуду и подавал ее Лиде.

В избе стояло сонное дыхание.

Карандаш лежал с открытыми глазами. Койка рядом пустовала.

Скрипнула входная дверь. За перегородкой послышался шепот и голос проснувшейся девочки:

— Мам, не уходи.

— Спи, доченька.

«Иди, не встанешь утром».— «Спать неохота».— «Иди, она проснулась».— «Пусть, я просто посижу».— «Неудобно перед ними, иди».— «Я думал сперва, Карандаш этот твой...» — «Он хороший».— «У тебя, гляжу, все хорошие».

— Мам, не уходи.

«Иди, иди, уходи...»

— Хочешь сказку? — предложил Иван.— Сейчас... Вот, жили-были два монаха.

— Кто такие монахи?

— Спи, не спрашивай. Были такие люди, богу молились, обманывали простой народ.

— Страшные?

— Закрой глаза. Слышишь, гуси кричат? Они летают высоко, шесть тысяч метров, выше неба, выше звезд. Далеко — над океаном, летят, летят и даже не садятся...

Утром все уже поели, а Шилин, заспанный, со спутанными волосами, только сел в постели. Плеснул на лицо холодной воды из ведра. Бригада встала из-за стола, лишь Хараболкин-младший дождался напарника, подливая себе чаю. Но Шилин сказал ему:

— Заводи и поезжай. Приду.

Хараболкин посмотрел на Ивана, на Лиду, торопливо отпил из кружки и пошел к дверям:

— Ладно, я поехал.

Пришла дочка Лиды и раскрыла перед матерью ладонь:

— Божья коровка.

Иван закрыл детскую ладонь и подвел девочку к дверям:

— Отпусти ее, хлебушка принесет.— Иван слегка подтолкнул ребенка и закрыл дверь на крючок.

Лида грустно улыбнулась, присев на стол: — Она все равно сейчас вернется.

Шилин подошел и тронул Лиду за плечо.

— Все работают. Нехорошо. Иди,— сказала она.

— Опять иди. За себя волнуешься?
В дверь постучала девочка, слабо, будто бы ладошкой.

— Приходи в поле. Придешь? — Шилин пошел открывать.

— Зачем?

Он задержал руку на крючке:

— Буду ждать, пока не придешь. Хорошо?

Закатное солнце клонилось к земле. Люди ушли с поля в соседнюю деревню. Остановились трактора. Петрович с Карандашом махали Шилину. Он вел свой трактор и все заглядывался на тот край поля, где виднелась крыша полевого стана, Хараболкин соскочил с запяток сеялки и забежал вперед.

— Шабаш! Пошли ужинать!

— Иди. Я солярку залью.

— Завтра зальешь, пошли.

— Я тебе сказал: иди!

Хараболкин постоял, глядя, как у края поля Шилин отцепил сеялку, и побежал догонять своих.

Иван же подогнал трактор к цистерне врытой в землю. Взял ведро, а сам все оглядывался в сторону, ждал Лиду...

Он сидел на земле неподалеку от цистерны. Закат разбросал огненные перья по небу, а Иван курил и смотрел не отрываясь в одну сторону.

Она не пришла.

Он подъехал к месту, где были свалены диски, плуги, прицепил их к трактору и повел его на соседнее, еще не паханое поле.

Плуг вошел в землю, пропорол ее и опрокинул кверху мякоть. Иван сидел в кабине голый по поясу, злой и веселый, азартно ворочал рычаги.

— Я с войны пришел, так устал, что ни к чему прикоснуться не мог. Не мог работать. Хотел, а не мог. Хоть в запой! — Шилин молча прошел в дом. Петрович продолжал вспоминать: — А единственный трактор мне — как мужику, говорят, и танкисту. Братишке, Ванюному дядьке, четырнадцатый шел. Я его посадил, все растолковал, сам пешком за трактором бегал месяца три...

Лида налила Шилину суп, но он демонстративно не подошел к столу, сел на койку, в оцепенении глядя на руки, стянул сапоги и опрокинулся на койку поверх одеяла. Лида молча сидела за столом. На крыльце бубнили мужики. Иван повернулся на бок и накрыл голову подушкой.

...Это было словно короткий, счастливый сон.

Шилин остановил трактор, спустился в

небольшой овраг, развернул газету, в которой был хлеб, и стал есть. В небе громыхнуло и, не успело спрятаться солнце, по земле ударили крупные капли дождя. Шилин поднял голову и увидел над оврагом Лиду.

— Дождь! — кричала она и махала руками, чтобы он шел.

Но Иван продолжал жевать, как ни в чем ни бывало.

Скользя резиновыми сапогами по грязи, она стала спускаться.

— Почему ты не идешь?

— Работаю, — улыбнулся Иван.

— Почему не ешь?

— Не нравится готовка. Пресно.

— Не грехи, — обиделась Лида.

— А ты не хитрая. — Иван встал и пригнул Лиду за шею. — Все-таки пришла.

Лида растерялась. Иван погладил ее по мокрым волосам.

— Смешная. Мокрая... Пришьешь мне пуговицу? — Одна петля на его телогрейке действительно была свободна, и он пристегнулся к Лидиной пуговице.

Она стояла неподвижно, не противясь ничему. Дождь лил стеной. Иван сказал:

— Пошли в трактор.

Лида вдруг отпрянула, затрещала ткань. Она подобрала пуговицу.

— С мясом, — огорченно сказала она.

...Гроза кончилась скоро и, как обычно, принесла острое ощущение перемены и новизны. Птицы пели громче. Видно было далеко. Трактор стоял в поле. Шилин и Лида брели куда глаза глядят.

Подожли к большому дереву, откуда был виден весь пойменный разлив. Кустарник сменялся кочками, постепенно уходившими под воду.

Лида с Шилиным переступали с кочки на кочку, уходя все дальше от земли, все меньше принадлежа ей. Но наступил предел — последние пучки травы торчали из воды — и они остановились чуть поодаль друг от друга.

Они забрали в заброшенную деревушку. Один дом сохранился хорошо, видимо, опустел недавно. В окнах еще держались стекла, хоть и помутневшие. В комнате был стол, шкаф, потерявший всякий вид диван. Иван разломал стул, растопил печь. Она изголодалась по огню, завывала, ожила.

У дома был колодец. Иван крутил ручку, смотрел на Лиду, которая ходила по огороду. Нагнулась, дернула из земли маленькую побуревшую морковь, показала Ивану:

— Летошняя.

Иван вытянул ведро. Сквозь ржавчину, как из решета, струилась вода...

...В стаканах был зеленоватый, с молодыми смородинными листьями кипяток.

Иван и Лида сдирали кожуру со сваренной в мундире вялой картошки.

Потом Иван лежал на диване, упершись поднятыми ногами в шкаф. Голова его покоилась на Лидиных коленях, и она гладила его по волосам. Волосы тянулись за ее ладонью.

— Руки у тебя сильные.

— От хлеба. Машина тесто рвет. Я руками.

— А я как увидел тебя — уже знал, что будет.

В печи потрескивал, догорая, огонь. Сгушалась тьма.

Кончался короткий, счастливый сон.

К возвращению бригады Лида торопилась с обедом. Шилин лежал на койке, глядя в потолок.

Открылась дверь. Петрович привел дочку. Она с порога кинулась к Лиде:

— Мамочка... Я на тракторе каталась.

Хараболкин-младший сел на койку напротив Шилина и, не решаясь заговорить, взглядом выражал свое участие.

— Ваня, прогул тебе, — сказал, усаживаясь за стол, Петрович. — Не обессудь. Мы за деньги работаем. Нахлебники не нужны.

— Я свою норму набрал.

— Ты не на заводе, тут досрочно не бывает. Скажите, напахал. На зерно время выходит, — он говорил спокойно. — Ты в коллективе работаешь или где?

— Я к вам в совхоз не нанимался.

— К себе. Ты здешний или кто? — не выдержал, взревел вдруг Карандаш, хмурый, как никогда.

— Заткни радиоточку! — Шилин лениво встал. — Надоело.

Нервничая, Карандаш вынул из бесформенных штанин сушеную рыбину, помял ее в руках и грозно — так вышло — трахнул по столу:

— Наймит! Пришел на родную землю разрушать и грабить!

Шилину сделалось смешно, он подошел к Карандашу, взял рыбу:

— Карп? Где взял, в столовой купил? Понятно, понятно!

— Что тебе понятно? Какой карп?

— Правильно, не подворуешь, не поешь. Все одно по началству разоидется. — Шилин смеялся в лицо Карандашу.

— Чего ты брешешь? — сказал Хараболкин-старший. — По какому начальству?

— Собаки брешут, а я говорю, что знаю.

— Что ты знаешь?

— Больше вашего — я с директором на охоте был, знаю, как они сговариваются. Своя земля, свой пруд! Гожа вам на дядя

дню пахать — пашите, а я пошел... — Он взял телогрейку и вышел, хлопнув дверью.

Хараболкин-младший воскликнул:

— У них тут свои дела, а нас штрафуют. Я тоже уеду. У меня армия на носу.

— Сядь. Под носом-то что? — оборвал его отец.

С улицы Иван постучал в окно кухни. Выглянула Лида. Иван смотрел на нее снизу и молчал.

— Когда ты работал, я думала, ты крепче. А ты еще совсем молодой, — в голосе ее прозвучала грусть.

— Что молодой-то, что молодой? — разозлился он.

— Не то худо, что молодой, то худо, что посторонний, — сказала Лида. — Зачем стравливаешь? И так Максакову трудно.

— А мне чихать. Его трудности. У нас своя жизнь, у них своя. Пойдешь со мной? — жестко спросил он.

Она только усмехнулась невесело.

— Ах ты!.. — Иван с досады размахнулся, но Лида отшатнулась, и его пальцы лишь скользнули по ее щеке.

Антонина Филипповна сошлась у колодца с сухопарой ехидной теткой. Та ждала, когда мать зальет ведро, и спросила:

— Свадьбу сыграют или по-современному будут?

— Кто? — не сразу поняла Антонина Филипповна.

— Как она с ним разделала! Так-то и женят тепленьких, после армии.

Мать не ответила, подхватила ведро и пошла.

В деревне были перемены. Несколько больших жилых фургонов пристроились к Китою, военные палатки. На бетонных плитах сидели солдаты. Двое весело катили по земле большую запаянную металлическую бочку. Она разогналась так, что солдаты едва поспевали ее направлять.

— Матушка, посторонись! — весело крикнули они Антонине Филипповне, она соступила с тропки, проводила взглядом этот молодой вихрь.

Дома был Иван. Он судорожно переодевался, причесывался, раздирая расческой волосы.

— Нашел телеграмму? — грустно спросила мать, ставя ведро. — Ну и ладно, найдешь еще муки на свои руки. Правильно, незачем с ребенком брать...

— Ну хоть двадцатку, — просил Иван в правлении у окошечка кассы.

— Посевная не окончена. Может, ты и пяти рублей не заработал, — игриво от-

вечала ему кассирша.— Пускай он наряды закроет, тогда...

Иван отошел, побродил возле максаконской двери, наткнулся на какого-то мужика:

— Кузьмич, дай взаймы двадцать пять рублей!

Тот постучал по лбу, и Иван вернулся к окошку кассы:

— А ссуда по демобилизации?

— Пиши заявление, оформляйся — выдам.

Шилин минуту колебался.

— Как оно там пишется?

— Я, такой-то такой-то, прошу принять меня на работу в совхоз...

Шилин взял бумагу и стал быстро заполнять ее.

Он примчался в город, и в негустой толпе маленького провинциального вокзала сразу приметил высокого стройного парня в не по сезону белых, ослепительных джинсах. Они встретились, встали друг против друга. Шилин разглядывал пиджона Сидоренко, тот дивился всклокоченному, серому, пропыленному Ивану, — и такая глупая, неудержимая смешливость нашла на них, скрутила, стала душить, что они сквозь смех едва выговаривали фамилии друг друга и приседали, показывая пальцами один на другого. Потом они обнялись.

— Ну что, в ресторан? Деньги есть, — предложил Иван.

— Какой ресторан? Через час поезд.

...На дальнем пустынном конце перрона они сидели на корточках и потягивали пиво прямо из бутылок. Сидоренко рассказывал:

— Итак, в общем и целом с Киева я сделал шесть остановок в различных пунктах. Гусев, деловой, хочет поступать. Петрухин пришел, открывает ему пацаненок и кричит: «Мама, мама, опять какой-то солдатик пришел» — разводится. Чикмарь — чудака, наоборот, женится. Смирнов на дальние рейсы устроился, по стране намотает чуток — загранка светится. Добрынина не застал, но сестренка у него — отдельный разговор. Пармонов — знаешь, на спорте сдвинутый — вот такую морду отъел и все время кулаком машет. На стройку, говорит, не поеду, там секций нет. А ты, значит, пашешь, сеешь?.. И в глазах твоих светит грусть. Хочешь, что-нибудь из устава я прочту тебе наизусть? — продекламировал он томно и обнял Шилина за плечо.— Решайся, не могу видеть, как в мирное время гибнут люди.

— А там что, ты узнавал? — вяло поинтересовался Иван.

— Чего узнавать? Мы везде нужны. Я пришел в наш комсомол, говорю: «Как

у вас насчет комсомольских путевок на Север, на передовую?» Он мне черканул, подъемные отстегнули, еще папахен мне подкинул. Поехали!

— Жалко, — вздохнул Шилин.

— Чего?

— Никуда не успели. Я тебя ждал, думал... пойдем, капитально погуляем...

— Совсем прижился? — махнул рукой Сидоренко, посмотрел на друга с сожалением и встал, разглаживая белые брюки. Шилин смотрел на него снизу вверх.

Уже объявили отправление поезда, и друзья бежали напрямик, по путям. Шилин подтянулся, вскарабкался на платформу и подал руку Сидоренко, мечущемуся внизу в своих белых узких брюках.

На ступеньки вагона тот взлетел за минуту до того, как поезд плавно заскользил вдоль перрона, обрывая прощальные реплики и недосказанное. Уже и проводница, молодая, веселая, прильнула к стенке тамбура, засматриваясь вперед... И Сидоренко — к ней. Как бы продлевая эту минуту, он протянул руку Шилину, стоящему внизу.

— Ну, решайся, жить или существовать! — А сам все держал и крепче сжимал его руку.— Поехали! Что теряешь? Ну, медведь! Не узнаю! Быстро вас жизнь обломала!

Сидоренко сжимал его руку и, красуясь перед молодой проводницей, позорил Шилина.

Тут поезд качнулся и мягко пошел. Шилин оглянулся на вокзал, сказал: «Ай, пропади оно все!» и оттолкнулся от земли.

— Ну, здравствуй, Иван, — принял его в свои объятия Сидоренко, стоявший на ступеньках вагона, а проводница, до сих пор с любопытством следившая за ними, запоздало попыталась воспрепятствовать:

— Билет, где билет?..

Куда там... Поезд набирал ход, ветер уплотнялся, Сидоренко обнимал проводницу и Шилина.

Поезд раскачивался на ходу. Сидоренко сунул голову в приоткрытую дверь своего купе и осмотрел попутчиков. Это были мужчина, читавший газету, и две женщины, обложенные узлами и сумками. Сидоренко задвинул дверь, сделал успокаивающий жест Шилину и проводнице и пошел дальше. В соседнем купе ему понравилось больше — на него воззрились четыре хороших женских лица, и он строго сказал:

— Здравствуйте, девушки. У вас есть ажепе?

— Что? — не поняли те.
— Активная жизненная позиция? — еще строго спросил он.

Девушки улыбнулись, Сидоренко присел.
— Тогда придется потесниться. Я тут одному человеку хочу показать, что такое настоящая, яркая, общественно полезная жизнь. Этого медведя нужно устроить зайцем,— Сидоренко кивнул на Шилина.

Спустя некоторое время Шилин сидел с гитарой и, стараясь вписаться в среду, задушевно пел: «Буду пить и гулять, буду женщин ласкать, будут службу свою вспоминать...»

— Пятнадцать дней бурить, пятнадцать — на материке. Вахтенный метод. Последнее слово прогресса. Вкалывать так вкалывать, дурака валять так дурака валять — и тысяча рр.

Кругом сидели девушки, и проводница с ними, все замороженные мощной жизненной перспективой, которую рисовал Сидоренко. Одна из пассажирок расстилала матрас на «пятой полке» и говорила:

— Ну тут и пылица!

— Иван! Может, ты пойдешь на мое место? А я тут, в окопах.

— А вы не боитесь? — лукаво спросила девушка у Сидоренко, он был активнее Ивана и, соответственно, нравился больше.

— Кхе-кхе! — молодецки покашлял он.— Это чего же?

— За брюки, за белые! — хохотали девушки.

...Шилин оставил смешливую компанию и стоял у окна, глядя на проносящиеся мимо столбы, поля, домишки. Дверь в соседнее купе была открыта. Там женщины на нижних полках распаковывали, пересматривали и опять запаковывали вещи из своих сумок, весело переговариваясь: «Слава богу, вырвались». — «Дядечка-то, на ногу мне встал, до сих пор болит». — «Ну? Так нам и надо, приедем».

— Вездеходы в тапочках,— проворчал мужской голос.

— А в чем еще бегать? — простодушно отвечали тетки.— Это вы там все друг перед другом на стенку лезете, то на финскую, то на арабскую. Нам хорошо! Вернемся — картошечка, селедочка, маслице подсолнечное. Все — меньше рубля. А у вас, горемык, индейки да бананы, и все хочется. Разоренье!

Вдруг возник Сидоренко:

— Иван, сходи в ресторан за пивом.

Шилину было все равно, он взял деньги и побрел. Пока открывались и закрывались за ним двери, пока миновал он вагон за вагоном, купе за купе, эту ячеистую,

будто данную в разрезе и кажущуюся одинаковой, монотонной чужую жизнь,— поезд замедлил ход и остановился.

Шилин вышел на перрон. Расторопные пассажиры кинулись к ларьку, выстроились в очередь и возвращались уже с пирожками, с мороженым, с бутылками воды. Шилин тоже купил несколько бутылок, тут же откупорил одну и стал жадно пить из горлышка, наблюдая, как чуть поодаль за киоском прощались двое: женщина смотрела вслед уходящему с чемоданом мужчине.

— Иван! — крикнула она так надрывно, что мужчина в последнюю минуту остановился, застыл.

Остановился и Шилин.

— Иван! — У Шилина за спиной тронулся поезд.

Посреди вокзальной площади рядом со своим мотоциклом стоял румяный и упитанный милиционер и зорко следил за тем, что происходило вокруг, а именно: как паслись на площади голуби и куры, как бабка наклеивала газету на стенд, как стоял, будто прирос, у расписания нездешний парень.

Шилин изучил расписание и, поймав взгляд милиционера, пошел к нему через кур и голубей.

— До утра ничего не пойдет?

— Почему? — флегматично возразил милиционер.— Проходящие.

— А в обратную сторону?

— Тебе, что ли, все равно, что туда, что обратно?

Иван неопределенно пожал плечами.

— Демобилизовался? — понимание появилось в глазах молоденького милиционера.

Иван кивнул и добавил:

— От поезда отстал.

Вдруг на груди у милиционера взволнованно заверещала рация:

— Самохвалов, ответь, я шестой!

— Самохвалов слушает.— Милиционер выпрямился, взгляд его затвердел.

— Выезжай срочно! Фестивальная, женское общежитие!

Милиционер Самохвалов оседлал мотоцикл и бил ногой по педали, но машина не шла.

Иван зашел сзади, толкнул, через несколько метров мотоцикл встал. Шилин подбежал, чтобы помочь еще раз.

— Давай прокачу,— вдруг предложил ему Самохвалов.

...Когда подъехали к общежитию, из темноты палисадника послышался громкий шепот:

— Самохвалов, сюда. Только тихо!

Инстинктивно пригнувшись, Самохвалов, а за ним Шилин полезли в сухие заросли — и вдруг выпрямились в изумлении. Перед ними предстал здоровяк в милицейской фуражке, закутанный в простыню.

— Что с тобой, Борисов?

Здоровяк распахнул простыню — он был в трусах, рация на голом теле, с пистолетом в руке.

Шилин, пытаясь подавить смех, отошел к заборчику. Самохвалов искренне возмутился:

— Честь мундира!.. Как ты можешь... во время дежурства!

— Ну, вздремнули. Я на ней женюсь. Слушай, Самохвалов, проведи там обыск среди подружек.

— Нет уж, мне форма не надоела. Выпутывайся сам.

— Холодно, — как-то жалобно сказал Борисов и поехал в простыне.

Шилин поднял голову на окна и почти крикнул, показывая на высокое дерево:

— Вот она!

На уровне третьего этажа на молодой листве тополя висел обесчещенный мундир. Дерево стали трясти. Брюки упали, а за рубашкой пришлось лезть Шилину. Зажегся четырехугольник света — окно общежития. На Шилина, висящего на ветке, пошла из окна швабра, посыпался смех, улюлюканье. Он висел, вцепившись в ветку, как кот, и всматривался в женские лица.

Вскоре сидели втроем в тихом месте в отделении милиции, пили чай и смеялись.

— От бабы! Встречают-то по одежке... — говорил Борисов.

— А провожают — без, — подхватил Шилин.

— Майор тебя проводит по уму, — грозил Самохвалов.

— Между прочим, ты еще ждешь своего бандита, а я уже... Ты, Вань, не думай, что я зря хлеб ем. И сплю не дома.

В коридоре тяжело зашкряпали полы. Милиционеры притихли и насторожились, узнавая шаги.

— Майор... Иван, спрячься от греха. — Борисов быстро открыл камеру, запихнул туда Ивана и повернул ключ, тот и опомниться не успел.

Вошел майор, грузный, хмурый человек, постоял, осмотрелся придиричиво.

— Что шумите?

— Проводим работу с задержанным, товарищ майор, — смиренно доложил Борисов.

— Правильно. — Майор подошел и заглянул через решетку в камеру, где Ши-

лин примостился на топчане рядом с раскинувшимся во сне человеком. — Не спишь?

— Не дают.

— Правильно. Дома будешь спать. А здесь подумай над собой. А заодно про мать с отцом, которые растили тебя в трудах, чтобы ты им радость приносил. А ты им горе. Вымахал! Я в твои годы уже детей имел.

— Дурацкое дело — нехитрое, — вдруг брякнул Шилин.

Майор отпер камеру, вывел Шилина, сам сел за стол, развернул журнал и вывел: «Воспитательная беседа».

— Фамилия?

— Шилин Иван.

— Не торопись, Иван. Имя-то какое прекрасное. Иван. За что попался?

— Не за что, — не хотел больше играть роль арестанта Шилин.

— Ну конечно, ошибка, — усмехнулся майор. — Вся твоя жизнь ошибка — молодой, а уже научился разговаривать.

— Я с года разговариваю, — начал заводить Шилин.

— Ух, какой ранний! А с работой как? Где работаешь?

— Нигде.

Самохвалов решил вмешаться — дело принимало затяжной оборот:

— Товарищ майор, тут случайность, в самом деле...

— Неправильно! — строго посмотрел на него майор. — Какая тут случайность? Ту-неядец! Какая от тебя польза обществу? Ты подумал об этом? Или ты решил дураком прожить, без цели, без смысла? Перед тобой сто дорог, а ты решил дураком.

— Дураки спят спокойнее, — огрызнулся Иван.

— Нет, зубастый, так не будет. Ты скрытый преступник. Тот в открытую, а ты тихом ворующий чужой труд. На пятнадцать суток я тебя трудоустрою, может, совесть твоя проснется. — Майор закрыл журнал. — Пошли.

— Никуда я не пойду! Парни, скажите ему, этому, вашему!.. — кричал Иван.

— Хватит! Шилин! Финита! Нам, Борисов, Самохвалов, зорче надо быть, не примериме. Распустили молодежь, — не давая вставить слова, говорил майор.

В смурной, не по-хорошему живописной компании небритых мужчин Иван попал на принудработу. Работа была знакомая, и он, при своем навыке, лихо наматывал на телеги старое сено вблизи какой-то тихой фермы.

— Вань, брось, не выпендривайся! — звали его снизу Борисов и Самохвалов. — Слазий.

Иван догрузил телегу, крикнул «Пшел!» и только после, передав вилы, прыгнул.

— С начальником поговорили — он за люди нам нужны, место в общаге найдется.

— Погоди, мне домой надо. Дела остались, — отверчивался Иван.

...Они сидели под навесом за длинным дощатым столом. Мрачный человек в цветастой рубаше, свесив голову, просил:

— Самосвал, позволь до дома добежать.

— Самохвалов моя фамилия, — поправил милиционер.

— Слушай, Самосвалов, я только посмотрю, одна она или нет.

— Иди работай... Хоть бы пришла к нему, стерва, — пожалел Самохвалов, когда мужик отошел.

... Далеко идти, — скептически усмехнулся Борисов. — Три улицы перейти.

— Декабристки в Сибирь шли.

— Дворянки были, жизни не знали. А наши жизнь знают, им в Сибирь не надо, у них все под рукой, незаменимых нет.

— Есть, — Шилин улыбнулся. — Вам не везло.

— По тебе тоже никто не скучает вроде. Болтаешься по тюрьмам.

— Мне только свистнуть, — разозлился Шилин.

— Свисти. У меня идея. Шлем твоей телеграмму: «Дорогая, любимая, прости за все. Следующей неделе суд. Приезжай проститься», — предложил Борисов. — Проверим.

— Нет, без «приезжай» — это пусть совесть ей подскажет, — поправил Самохвалов. — Просто — «я совершил тяжкое преступление».

— Иди ты, «преступление»! — пустился на попятную Иван.

— Ага! — злорадно закричали Борисов с Самохваловым. — Сомневаешься?

— Ладно, шут с вами, пишите что хотите.

И все троим они бодро направились к мотоциклу.

В знакомой комнате с зарешеченным окошком камеры Иван скучал с Самохваловым, когда распахнулась дверь, влетел Борисов и, дав смех, выкрикнул:

— Осужденный на пожизненную каторгу Иван Шилин. За тобой приехали.

Иван вздрогнул от неожиданности и волнения...

...Иван бежал по темному коридору и, выскакивая на улицу, на солнце, чуть не сбил Максакова.

— Вы? — он смотрел за спину директора, туда, где стоял газик. — А где Лида?

— На работе. Поедешь?

Лида сосредоточенно вымешивала тесто в большом чане. Спокойно, без выражения посмотрела на Ивана и опять склонилась над чаном.

— Директора послала, сама не подумала приехать, — упрек прозвучал в словах Ивана. — Что молчишь, я в чем-то виноват? Если виноват, скажи. Я по тебе с ума сошел... Поедешь со мной?

— Куда? Чего искать? — Лида улыбнулась улыбкой мудрой и чуть устало.

— Дорог много... Ты долго будешь месить, месить, месить, месить?! — в нетерпении крикнул Иван. — Бросай!

— Бросаю, лови! — Она взяла кусок липкого теста и швырнула в Ивана.

Антонина Филипповна чистила картошку, свесившись над тазом с обьедками, когда скрипнула дверь и заглянул Иван. Мать посмотрела на него через плечо, слезы брызнули у нее из глаз, повернулась за полотенцем.

— Не бивала я тебя, дура, не бивала! — Мать хлестнула, Иван едва успел загородиться рукой. — От всего берегла, чтоб мне радости не было, ох, виновата, дура старая, виновата! — Она тяжело махала полотенцем, преследуя Ивана по комнате, пока не налетела на стол, с которого посыпались директорские бумаги, журналы, сложенные горкой. — Чужой человек и тот ближе, — она тяжело нагнулась. — Иди хоть помоги ему с крышей.

Иван с Максаковым укладывали шифер на крыше.

— Я твое заявление пока не подписывал, — сказал Максаков.

— Какое заявление?

— О совхозе.

— А, — махнул рукой Шилин. — Подписывайте. Деваться некуда.

В доме Хараболкиных шли торжественные приготовления. Составили из нескольких один длинный стол, который вытеснил другую мебель, снесенную мужиками во двор. Мать застилала стол скатертью. Антонина Филипповна на свободном месте стригла «под нулевку» Ваню Хараболкина. Он, с полотенцем на шее, поднимал руки к голове, щупал бритое место и орал дурным голосом.

— Хорошая машинка, еще немецкая, — утешала Шилина. — Я и Ваню этой обривала.

Стрижка кончилась, Хараболкин-младший подошел к зеркалу и обхватил свою синюю, похожую на яйцо голову:

— Ой, страсть! Был бы в волосах, по-седел бы!

— Теперь полиролем пройтись и ушки маленько убрать.— Был тут, конечно, и дед Леня.

— А Максаков-то где? — спросила хозяйка у хозяина.

— Приедет. Он в райпо поехал, за машинами для рыбы,— сказал отец Хараболкин.

— Тю-тю наша рыбка, уплыла,— говорил Хараболкин, не отходя от зеркала.— Теперь в город поедете за ней, в очереди стоять.

А ветер к вечеру разыгрался. Он рвал белье с веревок, гнул кусты и траву, нес по небу птиц, гнал рябь по воде. У запруды возились двое мужиков. Это были Хараболкин-старший и Карандаш...

Ветер трепал кумач на клубе. У входа, на крылечке, молодежь стояла стенка на стенку — парни и девушки отдельно, опираясь о противоположные перила. Хараболкин в шилинской фуражке от мужского клана обращался к девушкам:

— Бабы, кто мне письма-то писать будет? Марин, ждать будешь?

— Это сейчас не модно,— хором весело отвечали девушки.

— Новожилова, может, ты меня ждать будешь?

— Ага, всю жизнь,— лениво ответила.

— Ой, а на пальце-то обновка, Мариночка. Мать небось купила. С камушком. Покажь. Да не бойся, не возьму.

Девушка смутилась, покраснела, но посмотрела на подруг и, заручившись их поддержкой, положила кольцо на ладонь Ивана.

— Золотое! — рассмотрел он, надел как раз на мизинец и завладел кольцом.— Теперь жди из армии!

Тотчас девичья гурьба отвалилась от своего перила и перекинулась на парней. Хараболкин, отбиваясь, перемахнул через перила, побежал вокруг клуба. Его быстро настигли, стали колотить, таскать за ворот рубахи, сбили фуражку с бритой головы. Он снял колечко с мизинца и проворно запустил его за щеку. Повалили, насели — визг, хохот.

— Рот ему разжимай, быстрее, девчонки!

Вдруг все расступились, а Хараболкин остался сидеть на траве, дергая длинной шеей в такт глотательным движениям, и с округлившимися от ужаса глазами наглаживал растопыренной ладонью по груди и животу.

— Жерех проклятый! — завывала Марина.— Что теперь делать-то?

— Оно хоть правда золотое? Теперь пиши — буду информировать.

Сгушались сумерки. Ветер к ночи становился слышнее. И смех, и разговор толпились в нем.

Народ набился в клуб. Даже сюда проникал вой ветра, так бился он в стену. Особенно прорывался он в паузы, когда жена Максакова на сцене останавливала музыку в проигрывателе и приступала к ее объяснению:

— Эпизод «Быдло» — да-да, так он называется у Мусоргского — вызывает представление о сельской природе. Слышен скрип повозки, вот крестьянин затянул заунывную песенку, она сродни его невеликим думам. И тут же следует полуфантастическое скерцо «Балет невылупившихся птенцов». В «Избушке на курьих ножках» появление народно-плясовых ритмов выражает разгулявшуюся силу. И финал сюиты «Богатырские ворота», воспевающий могучую силу народа. Гудят колокола, нарастает ощущение праздничности. Заключение полно яркого, мужественного жизнеутверждения...

Ее слушали тихо. Оттого ли, что устали с утра от выходного, оттого ли, что она была красивая, нездешняя, чужая и говорила горячо, оттого ли, что директорская жена, а может, оттого, что объясняла музыку, такую скучную и непонятную без этих объяснений.

Крутилась пластинка. Ликующие аккорды воспевали могучую силу народа, когда в дверь просунулась чья-то голова:

— Пруд спускают!..

Свирепой силы ветер нес по земле воздушные шары, оставшиеся от праздника. Газета, в сумерках как живая, пласталась, шагала, катилась и опять приникала к земле. Ее буквы растворились, слова пропали, она шипела и трепетала, обернувшись зверем, затеявшим охоту. И эта газета, и все предметы будто отбрасывали тень тревоги в полутьме. То ли не стемнело, то ли уже светать начало — короткая июньская ночь как бы отслоилась от земли и зарозовела снизу. В этой розовой утренней полоске — по одной и группами несло черные фигурки людей. Их несло к черной яме, как к огромной, сильной, всезаглатывающей воронке. На дне еще оставалось немного воды, отливающей стальной под ранним небом. Но пруд ухнул, и вода начинала шевелиться, закипать от рыбы.

— Ух ты, сколько ее! Наша рыба! — заорал кто-то восторженно и, содрав ру-

баху, выпутавшись из штанов, съехал по мягкому илистому обрыву на дно черного котлована.

— Бери!!! — закричал кто-то другой, безликий, и кинулся в пруд за первым.

И качнулся китоевский народ, стаскивали одежду, вязали рукава. Единая центростремительная сила скрутила, парализовала всякое движение, кроме одного — к пруду, в пруд!

Фигуры, которые попадались Шилину по дороге, казались ему пьяными, деформированными, поработанными какой-то злой страстью. На лицах было выражение слепцов, слышавших только зов вытекшего пруда, — меж собой не связанные, они были связаны только с ним. Они скользили друг мимо друга, не видя, не узнавая, отдельно. Но все вместе они составляли одну радостно несущуюся, охваченную страстью к поживе, хаотическую толпу. Казалось, разгулявшийся ветер гнал этих мокрых от ила, черных людей, подобно пеплу с какого-то далекого пожара. То, что притирало их в общей, тяжелой и кропотливой работе день за днем и весь век, сейчас вдруг распалось. Сообща, вместе со всеми, каждый брал для себя и старался взять больше другого. Откуда-то появились ведра, мешки. «Будет хапать-то, протухнет», — кто-то хватал кого-то за рукав. — «Не стыдно? А еще с образованием!» — «Не стыдно, у меня оклад маленький. А рыба — наша!»

Уже трещал чей-то воротник, кого-то разнимали.

Шилин подошел к пруду, его подтолкнули, нога заскользила вниз, он шлепнулся и поехал. Дикое веселье сообщилось ему, он закричал, шалея, схватил бьющуюся рыбу.

Когда он вскарабкался вверх с завязанной в узел рубахой, к котловану шли рабкооповские цистерны. Из первой машины на ходу выскочил Максаков. Иван пробежал мимо.

— Шилин, Иван! — окликнул его директор, догнал, схватился за узел. — Что творите?

— Как же насчет карпа в нашей столовой? — насмешливо крикнул тот.

— Рядовой Шилин! — рявкнул вдруг Максаков.

Шилин опешил от неожиданности.

— Вы сами говорили... — он сразу потерял запал.

— Рядовой Шилин, отставить разговоры! — еще больше внутренней энергии прозвучало в приказе, так, что Иван инстинктивно вытянулся, рубаха с рыбой упала на землю.

...Дома Иван снял со стены ружье и вышел из избы, на ходу щелкая затвором. Выбежав на улицу, он врзался в толпу, поднял в небо свою двустволку и пальнул. Воцарилась тишина, и остановилось движение людей, все замерли.

Рассвело стремительно, по-летнему. Утро было тихое и ясное. Ветер улегся, улетел. Розовый шарик увяз в грязи на дне котлована. В бывшем пруду, по пояс в грязи, от ила черные, как чертенята, шастали детишки, руками прочесывая жирную жижу. Директор отдавал последние распоряжения шоферам цистерн, к нему прицепилась шарушонка:

— А я и проспала, и не слышала, и не видала. Кабы у меня был кто, не оставили бы бабку без рыбки. Ревматизм у меня в ногах...

Максаков взял большого карпа и отдал старухе:

— Хватит?

Около грузовика, уже с чемоданами, стояли новобранцы, их родители и провожающие. Максаков говорил:

— Что вам сказать, ребята? Все вам, наверное, уже сказали. Матери, родня, подружки. Одно скажу: живите не по обиде, а по совести — будете счастливее. Ждем вас назад.

Вышла Лида, неся в руках нечто, накрытое холстом. Это был хлеб — большой такой кирпич. Его расщипали в минуту, и кто-то из остряков сказал:

— Маслица бы.

Все засмеялись, смешались меж собой. Была щемящая минута. Садись в грузовик. За Хараболкиным полезла Марина.

— Да здесь оно, здесь, — похлопал он себя по животу, — Ждать-то будешь?

— Нужен ты мне, — фыркнула она, все же прижимаясь.

Грузовик тронулся, качнулись головы, и понесла их дорога.

Через два года в какую-нибудь апрельскую полусушу сойдет Иван и будет жаль ему своих надраенных сапог, и пойдет он к дому...



ЭДУАРД ЯКОВЛЕВИЧ ВОЛОДАРСКИЙ (родился в 1941 году) окончил сценарный факультет ВГИКа. Член Союза писателей СССР. Э. Володарский автор киносценариев «Дорога домой», «Белый взрыв», «Емельян Пугачев», «Оглянись», соавтор сценариев фильмов «Люди в океане» — с П. Чухраем, «Риск», «Ненависть», «Свой среди чужих, чужой среди своих» — с Н. Михалковым, «Дым Отечества» и «Демидовы» — с В. Акимовым и др. Для театра драматургом Э. Володарским написано несколько пьес.

Фильм по литературному сценарию «Шантажист» ставит на киностудии «Мосфильм» режиссер Валерий Курькин.

ЭДУАРД ВОЛОДАРСКИЙ

ШАНТАЖИСТ

Окрашенные красноватым светом фонаря, со дна пластмассовой ванночки всплывали белые бумажные четырехугольники, на которых медленно проступало изображение. Руки заботливо, аккуратно взяли одну из фотографий, вынули из ванночки, поднесли ближе к свету фонаря, стоявшего на краю стола.

Шестнадцатилетний паренек Миша Рубцов, нахмурившись, сосредоточенно рассматривал фотографию. Теперь на ней хорошо виден четырехлетний карапуз, топающий по дорожке сквера и вцепившийся в сильную, жилистую мужскую руку. Самого мужчины не видно — только эта крепкая надежная рука, за которую ухватился карапуз.

Мишка положил фотографию в другую ванночку, с закрепителем, и вынул новую фотографию. На ней тоже четко проявилось изображение: голые деревья в парке, чахлый снег в аллеях. На лавочке сидят парень и девушка. Она плачет, закрыв лицо руками, а парень курит, отвернувшись в сторону. Так же хмурясь, Мишка долго рас-

сматривал фотографию, поворачивая ее и так и эдак. Из приемника, стоявшего рядом с красным фонарем, слышна была приглушенная мелодия, затем голос диктора произнес: «Московское время восемь часов утра. Передаем последние известия...»

Сидел Мишка Рубцов в маленькой темной каморке, какие стали делать в новых квартирах, — нечто вроде кладовки. Мишка оборудовал ее себе под фотолaborаторию. В дверь кладовки постучали, и женский голос произнес:

— Мишенька! Завтракать!

Мать Мишки, Аглая Антоновна, женщина лет сорока, в коротком халатике, растрепанная, торопливо ела яйца всмятку, прихлебывая из большой чашки чай, и краем глаза успевала заглядывать в раскрытый журнал. На противоположном краю маленького стола — тарелка с двумя ломтями колбасы, двумя яйцами, двумя кусками хлеба и чашка, полная до краев дымящегося чая. На кухню вошел Мишка, молча уселся за стол и принялся за еду. Мать оторвалась от чтения, громко вздохнула.

— Чего вздыхаешь? — между прочим спросил Мишка. — Книжка грустная?

— Да ну! — махнула рукой мать. — Деньги кончились, Мишка. До зарплаты еще четыре дня, а у меня всего два рубля.

— Первый раз, что ли? — философски заметил Мишка. — Перебьемся...

— Придется у кого-то стрелнуть, — мать снова вздохнула. — Прямо беда, Мишка, сколько раз даю себе слово жить экономно, и не выходит.

— Кому не дано — тому не дано, — тем же философским тоном ответил Мишка.

— И в кого я такая безалаберная? — на секунду задумалась мать.

— В деда с бабушкой.

— Не-ет, они бережливые были. Аккуратисты.

— А ты — антипод. В генетике так бывает.

— Знаешь, меня и отец твой, наверное, бросил потому, что я такая транжирка. Он ведь много зарабатывал, а я все успевала профукивать. И его зарплату, и свою... — Она взглянула на ходики на стене, испуганно вскопчила. — Ой, опаздываю! Сегодня генеральный прогон, главный велел всем пораньше быть.

И засуетилась на маленькой кухоньке: схватила с подоконника расческу, кофточку со спинки стула, юбку с гвоздя на двери и убежала в ванную. Скоро из-за двери послышался шум воды. Мишка продолжал спокойно есть. Потом поднялся, шагнул в коридор и постучал в дверь ванной: — Завтра родительское собрание. Тебе велели обязательно быть.

— Чего-нибудь натворил, Мишка?

— Ничего не натворил. Просто велели быть.

— Ой, Мишка, у меня же спектакль вечерний! И подменить некому — Клавдия Степановна гриппует.

— Мое дело передать.

— Ладно, что-нибудь придумаю!

Мишка неторопливо шел в школу. Сумка с книгами заброшена за плечо, на шее на тонком ремешке висит фотоаппарат. Он шел старыми, кривыми переулками, мимо длинного пруда, который теперь был превращен в каток, обвешанный гирляндами цветных лампочек, изрезанный причудливым орнаментом от лезвий коньков. Мишка жадно смотрел по сторонам, иногда вдруг останавливался, раскрывал футляр фотоаппарата и снимал.

Как раз когда он нашел интересный кадр и даже присел на корточки, приставив к глазу аппарат, за спиной раздался насмешливый голос:

— Едва утро — он уже щелкает, фанатик.

Мишка, не шелохнувшись, сделал два снимка, только тогда разогнулся. Сзади стоял рослый, крепкого сложения парень одного с Мишкой возраста — Генка Куликов. Поздоровались негромко, пошли рядом.

— Ты лучше поснимай, как я прыгаю, — сказал Генка. — Знаешь, какой класс может получиться? В любом журнале на первой обложке напечатают.

— Эту бодягу все снимают, — довольно равнодушно отозвался Мишка.

— Не у всех фирменно получается. Вот ты попробуй.

— Неинтересно.

— Ну и дурачок. Кому нужны твои пейзажи?

— А я их для себя снимаю.

— Ну и лопух, мог бы приличные бабки заколачивать.

— Сколько мне надо, я имею. Это ты привык у папашки выпрашивать, — сухо и независимо отвечал Мишка.

Они свернули в переулок, в глубине которого стояла красного кирпича старая шестизэтажная школа. Со всех сторон к ней стекались разновозрастные ученики.

— Мне тут полное снаряжение предложили — фирма, — с ноткой грусти сказал Генка. — Красота — застрелиться можно. А башлей — ни шиша... Опять придется у фатера кланчить, надоело...

— А сколько надо? — поинтересовался Мишка.

— Шесть сотен.

— Фью-ить! — присвистнул Мишка. — Каждый сходит с ума по-своему.

— Зато какая фирма!

— «Адидас»?

— Сам ты «адидас», деревня. «Адидас» формы для прыгунов с трамплина не делает. И лыжи не делает. Это шведская фирма. Олимпийские чемпионы в таких прыгают, — снова вздохнул Генка.

— Тебе до олимпийского чемпиона совсем немного осталось, — язвительно заметил Мишка.

— Ты свое остроумие для другого побереги, — разозлился Генка.

— Не злись, я — любя, — улыбнулся Мишка. — Достанешь ты башли на эту фирму, чего скукислся!

— Фатер не даст, черт бы его побрал.

— Через матушку действуй, — посоветовал Мишка.

— Матушка бессильна. Фатер, как узнал, что я этот дурацкий математический кружок бросил, совсем взбесился. Каждый день с душевными беседами лезет... А чё мне эта математика? Как козе баян.

— Мальчики, ку-ку! — раздался за их спинами веселый девичий голос.

Ребята разом обернулись — перед ними стояла белокурая, в дубленке и модных сапожках, смеющаяся Аня.

— Привет, неотразимая! — Генка сразу забыл свои горести, расплылся в улыбке. — На тебя глядя, ослепнуть можно!

— Дураки, для вас же стараюсь! Мишка, сфотографируй!

— Не стоит. На пленке хуже получится.

— Нет, сфотографируй! — Аня капризно топнула ножкой.

— Щелкни, козел, тебя леди просит! — Генка встал рядом, картинно обнял ее за плечи.

Они были под стать друг другу, оба рослые, красивые и жизнерадостные. Бело-зубые улыбки сверкали на их лицах.

— Жизнь из вас прямо фонтаном бьет, — с иронией произнес Мишка и щелкнул фотоаппаратом. Потом подумал и приложился к глазку еще раз, и в тот момент, когда раздался щелчок, Генка успел проворно поцеловать Аню, обняв ее второй рукой.

— Получилось? — засмеялась Аня, высвобождаясь из Генкиных объятий.

— Получилось... Детям до шестнадцати смотреть не разрешается. После сорока тоже.

— Значит, папе с мамой не покажем! — вновь засмеялась Аня. — А ты со мной не хочешь сфотографироваться, Мишка? Пускай Генка щелкнет!

— Это вам не игрушки. — Мишка закрыл крышку футляра, зашагал к школе.

— Слушай, почему ты всегда такой хам? — не обидевшись, спросила Аня.

— Без отца живет, сирота невоспитанная! — весело ответил Генка.

— ...Вот это здорово... И это... Где подсмотрел?

— У прудов, в скверике... случайно...

— Хорошо, Михаил, молодец. Настроенные есть... и характеры есть, судьбы. И схвачено точно, неожиданно... Ты понимаешь, о чем я?

— Понимаю.

— Из тебя толк может получиться, Михаил. Но быть настоящим художником — это бесконечная работа души и сплошные мучения, запомни.

— Вы мне об этом тыщу раз говорили.

— И еще тыщу скажу, не повредит.

Руководитель фотостудии Сергей Матвеевич, человек уже немолодой, лет пятидесяти, внимательно рассматривал фотографии, принесенные Мишкой, некоторые откладывал в сторону.

— И это снимок хорош. Когда снимал, утром?

— Нет, часа в четыре, еще светло было.

— Слушай, а почему ты так мало портретов снимаешь?

— Не люблю... — после паузы ответил Мишка.

— Почему? Что может быть прекраснее человеческого лица?

— Не люблю, — упрямо повторил Мишка. — Слишком много плохого я в них вижу.

— Ишь ты какой, — Сергей Матвеевич с любопытством взглянул на Мишку. — Плохое видишь, а хорошее нет?

— Очень мало...

— Даже у тех, кого любишь?

— Мне бы не хотелось отвечать на это, Сергей Матвеевич, — Мишка отвернулся.

— Как знаешь, не хочешь — не отвечай, — несколько растерялся Сергей Матвеевич. — Я без всякой задней мысли спросил. — Он сложил фотографии стопкой, вернул Мишке.

Фотостудия располагалась в одной из классных комнат школы, только не было парт — вместо них столы с фотоувеличителями, пластмассовыми ванночками, флаконами с химикалиями. Четыре кабины для зарядки и проявки пленки. На стенах, под стеклом и в самодельных деревянных рамках, висели многочисленные фотографии.

— А эти? — кивнул Мишка в сторону отложенных фотографий.

— Эти я буду рекомендовать на Всесоюзную выставку. — Сергей Матвеевич еще раз бегло просмотрел их.

— Но я ведь не член Союза журналистов. — Мишка даже испугался.

— Ничего. Порекомендуем тебя как способного и упорного любителя. Я ведь член жюри этой выставки, — улыбнулся Сергей Матвеевич. — Что, доволен?

— Спасибо, Сергей Матвеевич... — растерянно ответил Мишка.

— Не за что, заслужил. Слушай, Михаил, а ты кинокамерой снимать не пробовал?

— Нет. Откуда!

— Ну-ка, посмотри, что я достал! — не без гордости проговорил Сергей Матвеевич и достал из настенного шкафа большую картонную коробку, водрузил ее на стол и вынул черную аккуратную кинокамеру с длинной блестящей ручкой.

За дверью шумела большая перемена. Гул голосов, топот ног, крики, смех. В фотолaborаторию то и дело заглядывали взлохмаченные головы с блестящими любопытными глазами. Потом зашел один, видно, тоже фотолюбитель, за ним — другой.

— Нам пленки зарядить, — сказал первый парень.

— Заходите, ребята, заходите, — Сергей

Матвеевич торжественно показал им кинокамеру.

— «Пентака»...— прочитал вслух другой.

— Зубами вырвал, с боем! Специально для нашей фотостудии!

Тем временем зашли еще несколько ребят, окружили Сергея Матвеевича. Он вручил одному из них кинокамеру, и теперь ее передавали друг другу, осматривали, ощупывали.

— Дорогая, наверное, Сергей Матвеевич?

— В магазине полторы тысячи стоит!

— А кто на ней снимать будет? Мы же не умеем.

— У меня есть идея — будем снимать летопись нашей школы. Всякие знаменательные события, праздничные вечера, турпоходы. Будем учиться снимать. Замечательная может получиться картина, а? И с этим через год-полтора будем участвовать на всесоюзном фестивале любительских фильмов. Нравится идея?

— Роскошная идея, Сергей Матвеевич! — отозвался восхищенный голос.

— А пленка какая? — спросил другой.

— Попробую на киностудии достать «кодак». Немного, конечно. Будем и на нашей снимать...

В это время загремел звонок, возвещающий конец большой перемены.

— Марш на уроки. В пять часов начнем заседание фотостудии. Будем обсуждать последние работы наших студийцев.

Ребята гурьбой повалили к двери.

Родительское собрание проходило в классе. Родители, папы и мамы, сидели за партами, напряженно слушали классного руководителя Веру Николаевну.

— Я не знаю, что происходит с вашим сыном, Валерий Юрьевич, но учиться он стал значительно хуже. Вы хоть знаете, что он бросил математический кружок в МГУ?

Валерий Юрьевич при этих словах даже вздрогнул, пробормотал подавленно:

— Н-нет...

— Вот видите, — укоризненно проговорила Вера Николаевна. — Вы же совсем недавно говорили, что сын у вас под неусыпным контролем.

— Да... по крайней мере, мне так казалось...

— Значит, он стал вас обманывать.

— А что тут такого? — улыбнулась Аглая Антоновна, мать Мишки. — Мальчишки всегда обманывали. Я себя в детстве помню: такая врунья была.

— Слышите? — вдруг со злостью спросил Валерий Юрьевич. — Что я могу сде-

лать, когда кругом... — он посмотрел в сторону Аглаи Антоновны и осекся, будто проглотил слова.

— Что кругом? — спросила классный руководитель.

— Когда кругом... такие вот родители... и подобные им друзья. Тут уже все будут бессильны оградить...

— Я вас не понимаю, Валерий Юрьевич, — пожалла плечами «классная».

Родители заволновались, негромко переговаривались:

— Сколько этих хиппи развелось, кошмар.

— Целые компании с гитарами. Курят, выпивают...

— А теперь новые пошли — панки называются. Затылок и виски выстригают. Как после войны, помните? Под бокс...

— Во дворе чуть не каждый вечер драки...

— В кафе и рестораны шатаются, как взрослые.

— Да бросьте вы панику поднимать! С годами все выветрится!

— Простите, Валерий Юрьевич, — проговорила Вера Николаевна. — Вы тоже учились в школе, университете... тоже какую-то часть времени проводили на улице...

— Я никогда, простите, не шатался по улицам, — язвительно прервал ее Валерий Юрьевич. — Я учился. У меня была цель. А у этих никаких целей нет. Распустили мы их, жирно жить стали, на всем готовом...

— Не могу согласиться с вами. У многих... у большинства цель в жизни есть и мечты... Есть и озорство, и ветер в голове. В общем, как все было и у нас, — она примирительно улыбнулась.

— То, о чем мы говорим, — это уже не ветер в голове, Вера Николаевна! — с тем же раздражением возразил Валерий Юрьевич. — Я не хотел об этом говорить в присутствии матери Михаила Рубцова, но все-таки... потому что влияние этого дома и этой дружбы...

— Не понимаю, о чем вы? — встрепетнулась Аглая Антоновна.

— Все вы понимаете! Геннадий несколько раз являлся домой поздно. И на мои расспросы он говорил, что был у вас в гостях.

— Ну да... в театре была премьера... — Аглая Антоновна пожалла плечами. — У нас актеры собрались, мои друзья... А тут пришли Мишка с Геннадием...

— Вот-вот, — удовлетворенно закивал Валерий Юрьевич. — Актеры! Выпивки! Прочие разные вольности!

— Какие вольности? — уже с тревогой спросила Аглая Антоновна.

— Сами знаете, какие, не мне вам объяс-

нять. Свободная любовь и разное другое. Между прочим, во многом благодаря таким вот мамашам, как вы...

Мишка стоял под дверью в коридоре и все слышал и даже вздрогнул, когда раздалась последние слова Валерия Юрьевича. Он весь сжался, приникнув к двери, и лицо его окаменело.

— На что это вы намекаете? Как... как вам не стыдно?! — в голосе Аглаи Антоновны явственно послышались слезы.

— Если вы позволите себе в присутствии детей пьянствовать, курить и похабничать...

— Валерий Юрьевич! — раздался голос классной руководительницы.

— Вы все истоки дурных влияний ищите, а они — вот! — и Валерий Юрьевич ткнул пальцем в сторону Аглаи Антоновны.

— Да вы что, в самом деле... как же так можно?! — голос Аглаи Антоновны задрожал, казалось, она сейчас заплачет.

Опять заволновались, загудели родители.

— Успокойтесь, пожалуйста, Аглая Антоновна, — вновь попыталась вмешаться Вера Николаевна.

— Как только не стыдно... — дрожащим голосом повторила Аглая Антоновна и вдруг расплакалась и выбежала из класса, распахнув дверь. Мишка она не увидела — его закрыла распахнутая дверь.

— Аглая Антоновна! — Вера Николаевна выбежала следом за ней.

Мишка стоял за дверью, прижавшись к стене. В классе гудели родители.

— Мне лично понятно, почему у такого отца такой сын.

— Не ваше дело! — запальчиво отвечал Валерий Юрьевич. — У нее мужчины чуть не каждый месяц новые! Вам это нравится?

— Да ложь это на девяносто процентов! И сплетни!

— А вы сами у нее спросите!

— Я еще не потерял мужского достоинства! И не в милиции, слава богу!

— Подождите, дойдет дело и до милиции, — сказал Валерий Юрьевич.

— Все равно вы — хам и баба, хоть и доктор наук!

— От хама слышу!

Вера Николаевна вернулась в класс, захлопнув дверь. Мишка медленно пошел по коридору, опустив голову. Он шмыгал носом и сжимал кулаки. А в классе все еще бранились, спорили родители.

Мишка караулил их у школы. Родительское собрание затянулось. Все окна были черны, светились только четыре окна на третьем этаже, и освещен был вестибюль с раздевалкой.

Наконец на третьем этаже окна погасли, в вестибюле замелькали фигуры, и скоро из школы стали выходить родители. Мишка спрятался за решеткой школьного двора. Родители расходились поодиночке и парами, продолжали оживленно обсуждать происшедшее. Фигуру отца Генки Мишка узнал издали. Мимо Мишки прошли мужчина и женщина, и донеслись фразы:

— Если действительно мать себя так ведет, то можно понять и испуг этого Куликова...

— Какие они дети, дорогая, — устало ответил мужчина. — Они уже солдаты, мы все — дети, дети... Мой отец в семнадцать на фронт ушел. Действительно, разбаловали, а теперь виноватых ищем.

Мишка подобрал увесистый камень, закатал его во влажный снег и двинулся следом за Валерием Юрьевичем. Они миновали переулочек и пошли мимо прудов. Каток был освещен гирляндами цветных лампочек, гремела музыка, и на льду было тесно от катающихся.

Когда Валерий Юрьевич миновал пруды и приблизился к следующему переулочку, Мишка примерился к и с силой метнул снежок с камнем в отца Генки. Снежок пролетел рядом с головой и с глухим хлопком ударился в стену дома. Снег рассыпался, а камень покатился прямо к ногам Валерия Юрьевича. Тот подобрал его, повертел в руке, перепуганно огляделся по сторонам. Мишка успел спрятаться за дерево.

Когда Мишка открыл входную дверь, он услышал сочный и громкий мужской голос, доносившийся с кухни:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:

Смотри ж... Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен

А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навyleт в грудь
Я пулей ранен был,
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признайся, право, было б жаль

Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.

Соседка есть у них одна...
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит... все равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалея;
Пусть она поплачет...
Ей ничего не значит!

Мишка стоял в темноте прихожей не раздеваясь и слушал гулкие чеканные слова, наполненные вселенской печалью.

— Ну что, Глаша? — спросил мужской голос, перестав читать. — Разве плохо?

— Замечательно, Федечка, просто — великолепно! — горячо откликнулась Аглая Антоновна.

— А главный сказал, что нет никакого проникновения в суть произведения, — грустно ответил мужчина по имени Федя. — Я ему говорю, дайте мне роль Арбенина, я лучше Мордвинова сыграю! А этот мерзавец губами пожевал и говорит: «У меня с вами связаны другие планы...» Э-эх, Глаша, Глаша, жизнь чертова... ну за что такая невезуха?

— Не расстраивайся, Федечка, миленький, ты — большой талант, это все знают. Ну, бывает, не везет, что поделаешь...

Мишка с нарочитым стуком сбросил ботинки под вешалку, швырнул сумку с книгами.

— Ой, Мишка пришел! — Аглая Антоновна выбежала в прихожую. — Есть будешь, Мишка? Я хороший ужин приготовила. Борщ с бараниной и картошки с колбасой нажарила.

Мать улыбалась, глаза возбужденно блестели, словно и не было недавней горькой обиды, которую нанес ей отец Генки. И от этого Мишке сделалось еще неприятнее.

— Спасибо, не хочу, — буркнул он и достал из кармана курточки деньги. — На, возьми. Здесь тридцать рублей. До полочки хватит.

— Ой, Мишка, солнышко мое, где ж ты достал? — мать и смугилась, и обрадовалась, перебирая деньги в руках.

— За фотографии в детском саду получил.

— Ой, Мишка, какой ты молодец! А я в театре всего пятерку смогла стрелкнуть. Не умею занимать — хоть плачь.

— Приветствую вас, Михаил Владимирович! — Артист Федор Семенович церемонно протянул Мишке здоровенную ручищу.

— Приветствую вас, Федор Семенович, — Мишка с хмурым видом пожал руку и нырнул в свою кладовку, включил красный фонарь, закрыл дверь на крючок.

— Что-то не в духе нынче Михаил Владимирович, — прогудел Федор Семенович. — Пожалуй, мне пора, Глашенька. Посидел, поплакался в жилетку, пора и честь знать.

Они ушли на кухню. Федор Семенович плюхнулся на стул, навалился на шаткий кухонный столик:

— Ты-то как, Глаша? А то мы все к тебе жаловаться бегаем, а что у тебя на душе — по-хамски не спрашиваем.

— А что я? Живем с Мишкой, горя не ведаем, — Аглая Антоновна налила в чашку чаю, затем стала накладывать в тарелку со сковородки горячую колбасу с картошкой.

— Так уж и не ведаете? — усмехнулся Федор Семенович. — Володьку-то все еще ждешь или забыла?

— Что толку ждать, Федя? — с печальной покорностью отозвалась Аглая Антоновна. — Я ведь уже старая...

— Ну и он не шибко молодой, — вновь усмехнулся Федор Семенович.

— У вас, мужиков, ведь как? Седина в бороду — бес в ребро, — улыбнулась Аглая Антоновна и вышла с тарелкой и чашкой в коридор, осторожно постучала ногой в Мишкину кладовку.

Мишка открыл, и мать внесла и поставила на стол тарелку и чашку с чаем.

— Не сердись, Мишка, поешь. У тебя настроение плохое? Что-нибудь случилось?

— Да так... — Мишка отвел взгляд. — Ничего особенного...

— Ты сердись, что Федор Семенович в гости пришел? — Мать старалась заглянуть ему в глаза.

— Да нет... мне-то что? Он же к тебе пришел.

— Не сердись, Мишка. Он очень хороший человек. И очень добрый и порядочный. Неудачи у него... неприятности. Не сердись, он скоро уйдет. — Мать еще некоторое время потопталась на месте, ожидая, что Мишка что-нибудь ответит, и он наконец пробурчал:

— Да ладно, я ничуть не сержусь, с чего ты взяла?

В красноватом полумраке глаза у матери радостно блеснули, она быстро обняла Мишку, чмокнула его в щеку и вышла. Мишка придвинул к столу стул и принялся есть картошку с колбасой, одновременно проглядывая стопку снимков. За стеной были слышны голоса матери и Федора Семеновича.

— Полюбила бы ты меня, Глаш, — гудел Федор Семенович. — Ради тебя все бросил бы.

— Не могу, Федечка. Такое по приказу не делается, только по велению сердца. А просто так — зачем тебе?

— Брось ты, Глаша, эти антимонии. Думаешь, не знаю, каково бабе без мужика приходится? Это вы с виду такие эмансипированные, а копни глубже — баба и есть баба...

— По-всякому бывает, — отвечала она. — И плохо, и хорошо.

— Чаше — плохо. Зачем пятерку сегодня в театре искала?

— До зарплаты не хватало.

— Че у меня не спросила?

— Постеснялась, Федя. Знаю ведь, что ты тоже на мели сидишь.

— Я как раз за съемки получил, мог бы полсотни отвалить. Взаймы надо просить у бедных — богатые не дадут.

— Я и заняла у своих девочек в примерной. Мишка у меня теперь зарабатывает, что ты! — не без гордости проговорила Аглая Антоновна. — Детишек в детских садах фотографирует.

— Молодец, — прогудел Федор Семенович. — Серьезно на жизнь смотрит. Ладно, Глаша, пойду я. Спасибо тебе за уют и участие.

— Что ты, Федя, не стоит. Приходи, всегда тебе рада.

Она проводила Федора Семеновича в прихожую. Он долго одевался, пыхтел, сопел. Наконец нахлобучил мохнатую шапку, улыбнулся Аглае Антоновне, и она молча улыбнулась ему в ответ. И вдруг Федор Семенович облапил ее своими большими ручищами и поцеловал. Аглая Антоновна с трудом высвободилась из его сильных объятий, проговорила шепотом, и глаза у нее стали испуганными и огромными:

— Ты с ума сошел, Федя.

— Сошел...

— Уходи сейчас же.

— Пошел, пошел. — Он вывалился на лестничную площадку и оттуда помахал ей рукой.

Аглая Антоновна захлопнула дверь.

— «Гори, гори, моя звезда...» — негромко запел Федор Семенович, спускаясь по лестнице.

...Мишка проявлял фотографии. Пока белые прямоугольники плавали в ванночке с проявителем, он рассматривал свежую, еще мокрую пленку, кадрик за кадриком. Выражение лица у него было серьезное и напряженное. А в ванночке на фотобумаге медленно проступало изображение. Вот смеющаяся Аня в длинной дубленке с капюшоном, сверкающие волосы густо рассыпались по плечам. Вот Аня вместе с Генкой. Вид у Генки самоуверенный и нахальный. Вот полуразрушенный дом. Пустые глазницы окон, сквозь которые видны стены ком-

нат с оборванными старыми обоями. В углу кадра, рядом с грудой щебня и кирпича, — подъемный кран. На стреле висит круглая чугунная чушка, которой разбивают стены дмов. Вот пруд, покрытый льдом, исполосованный лезвиями коньков, и вокруг — ни души, и печальные голые кусты, деревья, и большущая ворона сидит посреди пруда на льду... Мишка посмотрел на часы — была половина первого ночи. Мишка стал подвешивать влажную пленку к веревке, протянутой через кладовку под потолок. Потом стал вынимать из ванночки фотографии.

...Аглая Антоновна лежала в кровати, закинув руки за голову, и широко открытыми глазами смотрела в окно, за которым синела ночь. В глазах медленно набухали слезы, стекали по щекам. Аглая Антоновна совсем по-детски шмыгала носом...

...Мишка наконец выключил свет в своей каморке и, стараясь не топтать, пошел в свою комнату. Она была как раз напротив комнаты матери. Мишка вошел к себе, включил свет. Маленький письменный стол завален учебниками, фотожурналами, фотографиями. Мишка обвел взглядом комнату, сбросил с кровати на пол журналы и начал раздеваться. И вдруг явственно услышал плач. Даже не плач, а приглушенные сдавленные рыдания.

Мишка на цыпочках вышел в коридор, приблизился к полуоткрытой двери и замер... Плакала мать... Мишка стоял, прикусив губу, зажмурившись и сжав до боли кулаки.

По большому трамплину стремительно скользил лыжник в ярко-оранжевом с синими полосками спортивном костюме. Вот трамплин оборвался, и лыжник взмыл вверх, прижав руки к бокам, наклонившись вперед. Он парил в воздухе, медленно планируя к земле. Вот он приземлился, спружинив удар, потом выпрямился и, победоносно подняв руки, катил по лыжне.

А наверху готовился к прыжку следующий спортсмен.

Мишка стоял внизу с фотоаппаратом и раз за разом щелкал, выбирая интересные ракурсы. Рядом с ним была Аня, с детским восхищением следила за прыжками.

— Генка сейчас прыгает! Ну снимай же, снимай, Мишка! — она запрыгала на месте. — Смотри, полетел!

Мишка быстро щелкал, переключив пленку, опять щелкал. Аня хлопала в ладоши, крикнула, когда Генка парил в воздухе:

— Молодец! — и глянула на Мишку восторженными глазами. — Фантастика, правда?

— Каждый сходит с ума по-своему, —
жал плечами Мишка.

Но приземлился Генка неудачно. Подпрыгнул, не удержал равновесия и, завалившись на бок, пропахал в твердом укатанном снегу глубокую борозду. Аня перепуганно вскрикнула и бросилась к нему.

Генка тяжело поднялся, морщась и вполголоса ругаясь. Мишка в это время успел снять его. Аня поддерживала Генку под руку. Он отстегнул лыжи и, прихрамывая, отошел к низенькому заборчику.

— Болит, да? Может, вывихнул? — участливо спрашивала Аня.

— Ерунда, сейчас пройдет... — хмурился Генка.

— Ой, Генка, какой ты бесстрашный! У меня даже внутри все затряслось... А ты смог бы так, Мишка?

— Только под расстрелом, — ответил тот, подходя, и на ходу еще раз снял их. — Как говорили древние римляне: лучше ничего не делать, чем делать ничего.

А рядом с ними с хрустом приземлился следующий прыгун, хлестко ударил по снегу задниками лыж и покатил, торжествующе подняв над головой руки.

Присев на корточках, Генка тер ушибленную ногу, морщился.

— Надо фирменные лыжи покупать, на этих далеко не прыгнешь.

— Трудно достать? — спросила Аня.

— За башли ничего не трудно. Только башлей таких нет. — Генка подобрал лыжи, стал очищать с них снег.

Подошел тренер в ярком костюме, себребристых бахилах.

— На сегодня хватит, Геннадий. Отдыхай.

— Плохо прыгал, Всеволод Артемьевич, — Генка удрученно опустил голову. — Лыжи вот... паршивые. Скольжения никакого, устойчивость — ноль.

Тренер осмотрел лыжи, весело хмыкнул, хлопнул Генку по плечу:

— Нормальные заурядные лыжи!

— Вот именно — заурядные...

— Первый разряд получишь — будут у тебя фирменные, шведские! Обещаю лично!

— Сколько?

— Что сколько? — не понял тренер.

— Сколько стоит будут?

— Да ничего! На общество получим сорок пар. Для мастеров и перворазрядников. Так что старайся: первый разряд, и сразу — лыжи фирма, усек?

— Усек, — вздохнул Генка.

— А это кто? Друзья? — тренер сперва оценивающе оглядел Аню, от удовольствия даже языком прищелкнул. — Болельщики? Или тоже хотят попробовать острых ощущений?

— Друзья, болельщики, — нехотя ответил Генка.

— Что ж, хорошие, значит, друзья, — тренер подмигнул Ане. — Приходите почаще! — и зашагал прочь, крикнув на ходу: — Голиков, твоя очередь, чего телишься? Или опять не слава богу! Ну, прыгай давай!

— Видали, как он на меня смотрел? — с торжеством констатировала Аня. — Завидно, да?

— Прямо подышаем от зависти. — Генка вскинул через плечо лыжи и зашагал первым. Аня и Мишка потянулись за ним.

Отсюда, с высоты Ленинских гор, была видна вся Москва, уходящая за дымный снежный горизонт. Взгляд притягивали сверкающие купола Новодевичьего монастыря, зубчатая кирпичная стена. Мишка невольно засмотрелся, замедлил шаги.

— Как проведем остаток воскресенья, дамы и господа? — спросил Генка, когда они вошли во двор своего дома.

— Что ты предлагаешь? — спросила Аня.

Генка выскреб из кармана две десятирублевки:

— Мишка, добавляй, и в кафе сползаем. Потанцуем.

— У меня тоже пятерка есть! — радостно подхватила Аня.

— Я не смогу. — Мишка повернулся уходить.

— Почему? — растерялась Аня.

— Денег нет. — Мишка неторопливо направился по утопанной дорожке мимо стоянки автомашин.

— У нас же есть деньги, Мишка! — крикнула ему вслед Аня.

— Извините, леди и джентльмены, на чужие не гуляю! — не оглядываясь, громко ответил Мишка.

Генка догнал его, остановил:

— Кончай выдрочиваться, пошли.

— Нет уж, хватит и того, что твой папаша заявляет, что я плохо на тебя влияю. Пусть на тебя влияют другие.

— Что ты несешь? — Генка с недоумением смотрел на приятеля.

— Ты лучше у своего папаньки спроси, — сухо улыбнулся Мишка. — Желаю приятно провести вечер.

Генка стоял и растерянно смотрел вслед уходящему приятелю.

— Ну и дурак... — он сплюнул. — Козел... строит из себя гения.

— Обиделся на что-нибудь? — подошла Аня. — На что?

— Не знаю... Про отца что-то молот...

— Про своего? — удивилась Аня.

— Да нет, про моего. Да ну его! Печорин паршивый. Пошли, Ань!

— Ты машину водить умеешь? — спросила вдруг Аня, бросив взгляд на автостоянку.

— Могу, только прав нету. А что?

— Ничего, — Аня улыбнулась. — А у меня ключ от отцовской машины есть. — Она вынула из кармана дубленки ключи, позвела ими в воздухе. — Хочешь, прокатимся? До кафе и обратно, а?

Генка некоторое время колебался, сообщая.

— Боишься? — насмешливо спросила Аня, и Генкиным колебаниям сразу пришел конец.

— Да ну, лабуда! Чего бояться! — он взял из ее руки ключи и зашагал к стоянке, обернувшись: — Какая?

— Третья справа! Желтая «шестерка»!

— О' кей! — Генка подошел к машине, открыл дверцу, забрался на водительское сиденье, крикнул: — Прошу, мадам!

— Ты сначала выведи ее!

Генка подтянул подсос, включил зажигание. Подождав немного, он выжал сцепление и включил первую скорость. «Жигули» медленно тронулись. От усердия Генка даже кончик языка высунул. Уже стемнело, и он включил габаритные огни, осторожно подрулил к воротам автостоянки, возле которых стояла будка сторожа. Окошко было освещено, но сторожа в ней не было.

— Ой, как здорово! — Аня плюхнулась на сиденье, глаза ее сияли. — Куда поедем?

— Куда прикажете, мадам? — нарочито равнодушным голосом ответил Генка.

— К цыганам! — дурным голосом пропела Аня и величественно взмахнула рукой.

— Цыган не обещаю, но дискотеку найдем, — Генка включил скорость, и желтые «жигули» покатали со двора.

— «Я ехала-а домой, я думала-а о вас, — запела Аня. — Невольно мысль моя и путалась и рвалась. Дремота сладкая моих коснулась глаз! О, если б я уж никогда не просыпала-ась...»

— Слова перевираешь, — сказал Генка, напряженно глядя вперед.

До дискотеки они не доехали. Генка оказался водителем никудашним. Он то и дело шарахался от попутных машин то в одну, то в другую сторону. Раздавались возмущенные сигналы, водители грозили Генке кулаками. Но главные неприятности были впереди. Когда Генка нахально пересек сплошную линию, перестроившись в крайний ряд перед самым носом у черной «волги». «Волга», взвизгнув тормозами, чуть не клонула желтые «жигули» в багажник, пронзительно засигналила. Произошло это недалеко от перекрестка, и постовой-орудо-

вец, заметив, засвистел и махнул полосатым жезлом, приказывая Генке выехать на нейтральную полосу и остановиться.

Генка прибавил газ, проскочил мимо орудовца на красный свет и погнал машину дальше по улице. Вслед неслась трель милицейского свистка.

— Труба, влипли, — сказал Генка, глянув в смотровое зеркальце.

Он увидел, как орудовец остановил белые «жигули», что-то сказал водителю и уселся рядом с ним. Белые «жигули» рванули с места, быстро набирая скорость.

— И цыган послушали, и потанцевали... — пробормотал Генка, снова глянув в зеркальце. — Догоняют, козлы чертовы.

— В переулок сворачивай, Генка, в переулок! — Аня даже за руку стала его дергать.

Генка быстро свернул, зад машины занесло на обледенелом асфальте, и машина ударилась колесами о бордюр тротуара, пошла юзом.

— Сюда, сюда! — снова затараторила Аня. — В этот переулок. Мы так к прудам выскочим, а оттуда — сразу к дому!

Генка опять резко свернул, и опять машину занесло, задние колеса вылетели на тротуар, и «жигули» гулко ударились задним крылом об угол дома.

— Ой! — вскрикнула Аня.

— Вот тебе и «ой»... — процедил Генка. — Догонят — хуже будет...

Подвывая двигателем, желтые «жигули» мчались по заснеженному переулку. Уже совсем стемнело, и Генка включил ближний свет.

— Сюда! Во двор! — снова скомандовала Аня. — Он сквозной!

Они влетели во двор, едва не сбив женщину с кошелками, — она буквально выскочила из-под радиатора, обогнула хоккейную площадку и выскочила через другие ворота. Женщина с кошелками долго ругалась им вслед.

Вот и пруды. Желтые «жигули» мчались по узкой аллейке вдоль прудов, обогнули их, перемахнули через трамвайные пути и въехали в другой переулок.

— Хорошо провели остаток воскресенья, — Генка усмехнулся. — Миша-а-козел как чувствовал, отказался.

Аня подавленно молчала. Они проехали мимо школы и скоро оказались во дворе своего дома. Здесь судьба уготовила им еще одну неприятность. Въезжая на автостоянку, Генка потерял наезженную колею, машину повело в сторону, и она ударилась передним левым крылом о металлический столб-тумбу, на которой крепилась створка ворот. Послышался звон разбитой фары, и свет погас.

— Ой! — опять вскрикнула Аня. — Какой

ты косорукий, Генка! А еще хвастался: водить умею! Водила!

Генка молчал, прикусив губу.

Наконец они поставили машину на место, выбрались из нее и осмотрели повреждения. Была разбита фара, сильно помяты переднее и заднее крылья.

— Что делать-то, Генка? — испуганно спросила Аня.— Через три дня отец из командировки приезжает.

— Тебе, между прочим, идея в голову пришла! — зло ответил Генка.— Прокачимся! Цыгане! Душа моя была полна! — пропел он.

Аня всхлипнула:

— Сам же сказал, что водить умеешь.

— Ну, сказал! Не умею, что ли? Я же сказал, что прав нету!

— Ой, Генка, отец так расстроится... у него три месяца назад инфаркт был. Он с машины каждую пылинку сдувает.— Аня заплакала и сразу из светской дамы, которую пыталась изображать, превратилась в жалкую несчастную девчонку.

— Когда он должен быть?

— Двадцатого у него командировка кончается. Телеграмма была.

— Сегодня шестнадцатое,— пробормотал Генка, еще раз обходя покалеченную машину.— Н-да-а, дела — полный атас.

— Что, машину разбили? — раздался рядом с ними сиплый голос. Из темноты вынырнул усатый пожилой человек в телогрейке, валенках и шапке-ушанке. Это был сторож автостоянки Григорий Кузьмич.

— Разбили-и... — громче всхлипнула Аня.

Григорий Кузьмич тоже осмотрел машину в тусклом свете фонаря, высморкался и изрек:

— Н-да, Борис Аркадьевич за это по головке не погладит. Ты, что ль, удосужился? — он глянул на Генку.

— Ну я! — нервно ответил Генка.— Какая теперь разница, кто?

— Мне тоже влетит, не углядел. Пока домой за чаем бегал — вы как раз и успели.

— Григорий Кузьмич, миленький, помогите, — плачущим голосом попросила Аня.— Придумайте что-нибудь!

— А че тут придумывать? — вздохнул тот.— Димку-жестянщика звать надо. Позвоню ему завтра, придет.— Он опять трубно высморкался в большой платок и потопал, хрустя снегом, по тропинке к своей будке.

— Когда он придет-то? — спросил Генка.

— Утречком будет. Часиков в девять,— отозвался сторож.

— А раньше нельзя?

— Почему нельзя? В восемь придет, если надо. Димка такой, ежели надо, когда хошь будет.

Аня продолжала тихо всхлипывать. Генка стоял рядом с хмурым видом, ковырял дутыми бахилами снег.

— Ладно, кончай,— наконец пробурчал он.— Починим тележку. Не плачь, Аня...

Димка-жестянщик — лихой парень лет тридцати, мордастый, в дубленке и пыжиковой шапке, с дымящейся сигаретой в углу рта — был быстр и точен. Осмотрел повреждения, постучал костяшками пальцев по заднему и переднему крыльям, выплюнул окурок и вынес приговор:

— Одно крыло можно выправить, другое надо менять. Фара новая нужна — дефицит. К «шестеркам» фары днем с огнем не найдешь.

— Как же быть? — робко спросила Аня.

— Как нам быть, как нам горю пособить,— усмехнулся Димка.— Доставать будем. За деньги все достать можно.

— За четыре дня не успеете? — опять робко спросила Аня.

— И за два дня успеть можно, если железки достанем.

Сторож топтался рядом, то и дело осматривал машину:

— Глянь, Димок, тут вот тоже царапина.

— Закрасим,— уверенно отозвался тот.

— Сколько стоит будет? — спросил Генка.

— Шас прикинем... Крыло, фара, покраска, работа... В общем, за все про все, чтоб вас не обижать сильно...— Димка секунду подумал.— Триста шестьдесят колов и ни цента меньше.

— Сколько? — у Генки отвалилась челюсть, округлились глаза.

— Триста шестьдесят,— жестко повторил Димка.

— Что-то много очень,— растерянно проговорила Аня.

— Крыло — семьдесят, фара — шестьдесят, покраска — сотня, за работу — сотня, скоростные — сорок целковых. Не хотите — на Варшавку езжайте. Недели три только в очереди простоице. И сделают — тяп-ляп, потом наплачетесь. Да еще справку об аварии спросят. А у меня качество гарантировано, фирма веников не вяжет.

Наступила тяжелая пауза. Димка-жестянщик закурил, проговорил:

— Ну, решайте, братцы, время — деньги.

Аня с надеждой смотрела на Генку. Тот молчал, опустив голову, ногой ковырял снег.

— Ну что, Ген? — робко спросила Аня.

— Ладно,— не поднимая головы, ответил Генка,— делайте.

— Сотня задатка нужна,— сказал Димка.— На рабочие расходы.

— У меня сейчас нету,— выражение лица у Генки было несчастным.

— Когда будут? — сухо спросил Димка.
— В-вечером,— Генка даже заикаться стал.— В-вечером достану.

— Добро,— кивнул Димка.— Техпаспорт и ключи?

— Техпаспорт в машине, а ключи — вот...— Аня протянула ключи.

Димка сел в машину, включил двигатель и выглянул:

— Где мой гараж, Григорий Кузьмич знает. К вечеру чтоб сотня была.— Взревел двигатель, дверца захлопнулась, и желтые «жигули» покатали к распахнутым воротам стоянки. Аня, Генка и сторож пошли следом. Сторож сказал:

— А гараж его тут недалеко. За новыми домами. Я покажу.

Аня и Генка вышли за ограду автостоянки.

— У меня есть пятьдесят рублей,— жалобно сказала Аня.— На туфли копила.

— Уже кое-что,— мрачно усмехнулся Генка.

— Может, я куртку свою замшевую продам? Итальянская... Галка Светлакова давно ее у меня спрашивает.

— Не надо,— Генка собрался с духом, поняв, что все же надо быть мужчиной.— Я машину разбил, я и башли доставать буду.

— Русско-японская война девятьсот пятого года показала всю гнилость и чудовищную отсталость России,— размеренно говорил историк Яков Павлович, расхаживая вдоль стены с черной доской.— Даже армия, на которую опирались царь, помещики и капиталисты, была поражена теми же смертельными недугами, что и весь царский строй...

Класс терпеливо и в меру внимательно слушал. Хотя кое-кто читал книжку, положив ее на колени, кто-то рисовал рожи на тетрадном листе, кто-то играл в «морской бой».

Мишка уже несколько раз пытливо смотрел на Генку, сидевшего рядом с ним, потом раскрыл толстый блокнот, написал на странице: «Что это ты сегодня такой задумчивый? Плохо провели остаток воскресенья?»

Генка прочитал записку, вздохнул, написал ответ: «Хорошо провели. Анькину машину раскокали».

Мишка прочитал, удивленно вскинул брови, написал: «Сильно?» и передвинул Генке блокнот. «Прилично»,— написал Генка.— «На триста шестьдесят колов».

«Кто разбил, ты?» — написал Мишка.
«Конечно. Мне, кретину, всегда везет»,— написал в ответ Генка.

«Где деньги доставать будешь?» — написал Мишка.

— Черт его знает,— шепотом ответил Генка.— У матери вымогать придется. Если фатер узнает — на стенку полезет.

— Несмотря на героизм и стойкость русских солдат, царская армия терпела поражение за поражением. Везде процветали воровство, коррупция, бесчеловечное обращение старших чинов с младшими,— заученно рассказывал историк и сердито посматривал в сторону Генки и Мишки.

— Сегодня вечером жестянщику сто рублей задатка отдать надо,— шепотом говорил Генка.— А денег — ни шиша.

— У меня есть двадцать пять, возьми,— предложил Мишка.

— Спасибо. Мертвому припарки.

— Куликов, выйди, пожалуйста, из класса,— проговорил историк.

— Почему? — нисколько не смутившись, спросил Генка.

— По полу, голубчик, по полу.

— Да за что, Яков Павлович?

— За дверь, голубчик, за дверь. И встань, когда со старшими разговариваешь.

Генка нехотя поднялся, подцепил с пола сумку с книгами и вразвалку вышел из класса, бросив на Мишку, а потом на Аню, сидевшую в другом ряду, удрученный взгляд.

— Надеюсь, Рубцов, ты понял, почему я и тебя не удалил из класса?

— Почему? — спросил Мишка.

— Чтобы вы не смогли продолжить в коридоре вашу увлекательную беседу,— историк посмотрел на часы.— Итак, продолжим разговор о русско-японской войне девятьсот пятого года...

...Генка побродил по пустым коридорам, почитал школьную стенгазету с карикатурами, спустился на первый этаж. Было непривычно тихо и пустынно. Вдруг послышались громкие шаги, и Генка нырнул в туалет. По коридору шла учительница. Генка подождал, пока стихнут шаги, вышел из туалета и двинулся по коридору в сторону вестибюля. И тут на противоположной лестничной площадке снова раздались чьи-то шаги. Генка испуганно оглянулся, увидел на двери черную табличку: «Фотостудия», дернул ручку, и дверь подалась. Генка юркнул внутрь, закрыл дверь. Шаги простучали по коридору, и снова наступила тишина.

Генка поставил сумку на стол, огляделся. Кабины для проявки и зарядки аппаратов, фотоувеличители на столах, разные химикалии, ванночки, пачки фотобумаги. А на стенах развешаны в рамках фотографии. Генка медленно прошелся вдоль стены, машинально отворил дверцы навесного шкафа — там было полно фотоаппаратов, отечественных, дешевых. Генка взял один, повертел в руках, положил обратно.

Открыл дверцу другого шкафа и увидел черный футляр кинокамеры, на которой блестящие тисненые серебристые буквы «Гентака». Генка осторожно взял футляр, вынул, осмотрел камеру. И тут его пронзила как током мысль, что камеру можно взять. Не украть — об этом он в первые секунды не подумал, а — взять! Генка облизнул губы, огляделся, будто кто-то мог его в это время видеть. Потом снова, уже опрометью, кинулся к своей сумке, стал торопливо записывать туда кинокамеру. Вспомнил что-то, вернулся к столу за футляром, положил туда камеру, а уж потом — в сумку. Застигнул молнию и тогда перевел дух. Осторожно подошел к двери, выглянул в коридор.

Мишка и Аня медленно шли по переулку. Скоро переулок кончился, и стали видны пруды, на льду которых, как в броуновом движении молекул, сновали на коньках мальчишки и девчонки.

— Куда он подевался, ума не приложу, — озабоченно проговорила Аня, зябко поживаясь.

— Деньги, наверное, ищет, — предположил Мишка.

— Нет, ну какие идиоты, а? Нашли на свою голову приключений, — с досадой сказала Аня. — Ох, Мишка, хоть бы сказал что-нибудь, утешил...

— Любое утешение — лекарство для слабеньких, — ответил Мишка.

— А я и есть слабенькая, — она грустно вздохнула. — Слабенькая и несчастенькая. Как я отцу в глаза посмотрю — не представляю.

— А Генка — тоже слабенький? — спросил Мишка.

— Генка тоже. С виду здоровый, а характера никакого, — даже с досадой сказала Аня. — Сам, что ли, не знаешь?

— Не ожидал, что ты разбираешься в людях, — удивился Мишка.

— Но парень он хорорший.

— А я? — подумав, спросил Мишка.

— У тебя характер есть, но ты... злой. — Аня задумчиво смотрела на пруды, на ребятню, носившуюся по льду.

— Почему злой? — в голосе Мишки недоумение.

— Не знаю, мне так кажется.

— Может быть, — неожиданно согласился Мишка. — В наше время добреньким придется плохо.

— И все-таки мне больше нравятся добренькие, чем злые.

— Мне тоже, — усмехнулся Мишка.

— Потому что можешь проехаться за их счет? — насмешливо спросила Аня.

— Этого за мной никогда не водилось, — нахмурился Мишка, затем достал деньги. — На, возьми. Здесь семьдесят рублей. Генке на ремонт отдашь. — Он сунул растерявшейся Ане в руку деньги и быстро пошел прочь.

— Подожди, Миша, ты обиделся? — с досадой и виновато спросила Аня.

— Ничуть! — издали ответил Мишка. — У меня дела!

Придя с работы, Валерий Юрьевич долго и тщательно мыл в ванной руки. Жена Лена постучала в дверь:

— Валерий, ужин на столе.

— Иду, иду, — отозвался Валерий Юрьевич, вытирая руки.

Генка валялся на диване в своей комнате, тоскливо смотрел в потолок, слушал музыку. На голове были укреплены большие наушники с толстыми резиновыми прокладками. На столе, посреди пластинок и спортивных журналов, лежала кинокамера. — Что, Геннадия до сих пор нету?

— У себя в комнате, — ответила мать, возившаяся у плиты. — Растроен чем-то. Я спрашивала — молчит.

— Двоек, наверное, нахватал, — Валерий Юрьевич пошел по коридорчику квартиры к комнате сына, постучался и открыл дверь.

Генка в той же позе лежал на диване. На голове — наушники.

— Пошли ужинать, — сказал отец.

Генка даже не взглянул на него. Тогда Валерий Юрьевич подошел к дивану и снял с его головы наушники:

— Я сказал, ужинать пошли.

— Спасибо, не хочу. — Генка хотел снова надеть наушники, но отец не дал, положил их на колени, присел рядом на диван:

— Случилось что-нибудь, Геннадий?

— Почему обязательно что-то должно случиться, — пробурчал Генка, отводя взгляд в сторону. — Просто плохое настроение.

Валерий Юрьевич помолчал, снова спросил:

— Так что все-таки случилось? Двоек нахватал? Морду набили? Девушка на свидание не пришла? — отец чуть усмехнулся.

— Сказал же, плохое настроение.

— В математическом кружке был?

— Нет.

— Почему? Ты же обещал, что начнешь снова ходить!

— Я не чувствую никакого интереса к математике.

— А к чему ты чувствуешь интерес? К этому? — Валерий Юрьевич взял спортивный журнал, лежавший на полу, поднял его.

На обложке был изображен парящий в воздухе прыгун с трамплина.— Пойми, если человек ничего другого, кроме этого, в жизни не умеет, он... бездумный кретин.

— Может, и я бездумный кретин.

— Послушай, Геннадий, я устал повторять — для мужчин в жизни главное — его дело. Которое обеспечит ему будущее, уважение окружающих и будет приносить ему духовное удовлетворение. Отец задумчиво пришелся по комнате.— Ты думал, что с ними потом бывает?

— С кем?

— С твоими чемпионами. С летающими лыжниками, боксерами, штангистами... Когда им, к примеру, перевалит за тридцать? Если они раньше не становятся инвалидами.

— А че тут думать. Живут, работают.

— Кем?

— Ну, мало ли... у нас безработицы нет.

— Не ерничай. Физкультурниками работают. При школах и домах отдыха. Это еще повезет, если тренером в какое-нибудь спортивное общество возьмут. На сто пятьдесят. До гробовой доски!

— Ну и что? — простодушно взглянул на него Генка.

— Ты женишься, заведешь детей. На что ты будешь содержать семью?

— На богатой женюсь,— усмехнулся Генка.

В дверь постучала мать:

— Ребятки, ужин стынет!

— Сейчас! — отозвался Валерий Юрьевич и вновь задумчиво заходил по комнате, снова заговорил устало: — Послушай, Геннадий... Мне сорок три, а я уже доктор наук. Ты хоть раз задумывался, чего мне это стоило?

— Ты талантливый, пап, а я — нет,— миролюбиво проговорил Геннадий и даже улыбнулся.— Ну, че тут сделаешь?

— Н-да-а, брат, переубедить тебя невозможно. Мне жаль тебя, честное слово. Жаль твою будущую скудную, тупую жизнь. Ты когда-нибудь спохватишься, но будет поздно...— блуждающий взгляд отца упал на стол, заваленный журналами и магнитофонными кассетами, и вдруг он увидел кинокамеру.— А это еще что?

Он взял ее, расстегнул футляр, смотрел с удивлением:

— Дорогая вещь. Откуда она у тебя?

— Да так... взял у одного кента.

— Как это взял? — Отец заметил, как смешался сын, как испуганно юркнули в сторону его глаза, и, почуввав неладное, переспросил: — Как это взял? Кто мог дать тебе такую дорогую вещь? Зачем?

— Нужно было...— промямлил Генка.

— Зачем? Что ты собирался снимать?

— Ну, это... тренер просил... сказал, что

будет снимать наши прыжки...— так же неуверенно проговорил Генка.

— Придумай что-нибудь поумнее,— сказал отец. Спросил после паузы: — Ну, придумал?

Генка молчал.

— Почему ты молчишь, Геннадий? — отец встревожился еще больше.

— А что говорить-то?

— Откуда у тебя эта кинокамера?

— Сказал же, взял у одного человека.

— Кто этот человек? Как его зовут? Телефон?

— Зачем тебе?

— Я ему позвоню. Потому что я тебе не верю.

— Да зачем, папа? — Генка поднял на отца умоляющие глаза.

— Я по глазам вижу, что ты врешь. Интересно все же знать, какой полоумный доверил тебе дорогую вещь? Даже на время. Генка упорно молчал. В дверь снова постучали:

— Валерий! Гена! Чем вы там занимаетесь? — Мать приоткрыла дверь, заглянула.— Ну что вы в самом деле? Все остыло давно.

— Сейчас, Лена, сейчас. У нас важный мужской разговор.

— А после ужина его нельзя продолжить?

— Нет,— отрезал Валерий Юрьевич.

— Что-нибудь случилось? — встревожилась мать и вошла в комнату.

Отец и Генка молчали, наконец Генка пробурчал:

— Да ничего не случилось... подняли панику...

Отец спрятал камеру за спину, обнял мать за плечо, мягко выпроваживая из комнаты:

— Леночка, дорогая, оставь нас, пожалуйста. Мы тебе все потом расскажем, не беспокойся.

Мать неохотно вышла, сказав:

— Господи, нужны мне ваши секреты. Я телевизор пошла смотреть. Ужин сами разогревайте.

— Долго молчать будем, Геннадий? — отец плотно закрыл дверь.

— А че говорить-то? — Генка изнемогал от собственного бессилия.

— Где ты взял кинокамеру? И зачем?

Генка до крови разодрал заусенец на большом пальце, но продолжал ковырять. Вдруг вскинул голову — в глазах стояли слезы:

— Ну, украл! Устраивает тебя?!

— Что? — отец даже пошатнулся, будто его ударили.— К-как? К-как украл? Что м-мелешь, Геннадий?! — в голосе был испуг.— Ты что, пьян, что ли?

— Ничего не пьян! — уже зло и с отчая-

нием отвечал Генка.— Украл, и все!

— Фу ты, черт...— отец обессиленно опустился на диван.— Кошмар какой-то... Где ты ее украл?

— В школе, в фотостудии,— от того, что правда наконец сказана, Генке стало легче. Будто каменная глыба свалилась с души.

— Зачем? — отрешенным голосом спрашивал отец. Генкино признание словно придавило его непомерной тяжестью. Он даже сгорбился, левой рукой взялся за грудь — закололо сердце.

— Деньги нужны были.

— Зачем?

— На ремонт машины...— Генка выдавал «по чайной ложке».

— Та-ак... кажется, у меня будет инфаркт. Какой машины?

— Я машину разбил. Аньки Чернышевой, одноклассницы. Вернее, ее отца машину.

— Чудесно. Каким же образом ты умудрился это сделать?

— Ну, мы захотели немного покататься.

— Немного... на чужой машине... Не имея прав... И что же?

— Что, что! Разбили машину, еще чего? Анькин отец в командировке. Нужно починить машину до его приезда.

— И ты решил украсть камеру в школе, чтобы продать?

— Да.

— Кто тебе это посоветовал?

— Никто.

— Говори правду, Геннадий! — повысил голос отец.

— Ну, сам...

— Молодец, хорошо голова работает. А говоришь, талантов нет. Есть талант! Талант вора! Наклонностей нет? Есть! Воровские! Только одно непонятно — почему все это у моего сына? Я уж решил, что ты просто потенциальный неудачник, а ты... удивил, ничего не скажешь, удивил.

— Ладно тебе, заладил,— прогудел Генка.— Самому тошно.

— Мучаешься, значит? Может, совесть заговорила? Удивительно! — Валерий Юрьевич хлопнул себя по коленям, поднялся.— То, что ты сделал, — страшная гадость. Что угодно я мог предположить, только не это! Боже мой! Бездарный, ничтожный человечешко и, вдобавок, вор... Вор! — закричал в гневе отец и тут же осекся, оглянувшись на дверь. Повторил свистящим шепотом: — Вор-р!

Генка еще ниже опустил голову, даже сгорбился. Отец некоторое время молчал, ходил по комнате, вдруг спросил:

— Сколько этот ремонт стоит?

— Жестящик сказал: триста шестьдесят рублей.

— Хорошо, деньги я дам. А сейчас ты оденешься и отнесешь эту проклятую кинокамеру в школу.

— Сейчас все закрыто.

— Значит, завтра утром.

— Не смогу. Фотостудия всегда закрыта. Мне тогда просто повезло, что кто-то забыл ее закрыть...— отвечал Генка и тут же смутился.— Ну, не повезло, а... так случилось...

— Значит, положи где угодно: в туалете, под лестницей, оставь в пустом классе... Ты меня понял?

— Понял...

Отец нервно заходил по комнате, раздумывал, вдруг остановился напротив сына:

— Нет, нельзя! Ты же неудачник, тебя обязательно кто-нибудь увидит. Ты представляешь, какой будет скандал? Сколько позора и унижений! Не тебе — мне! Матери! Э-эх, избить бы тебя до полусмерти! Если б только это могло чему-нибудь помочь. Ладно, одевайся.— Отец открыл дверь и шагнул в коридор.

— Зачем?

— Одевайся, я сказал!

Они шли темными переулками и молчали. В руке у Валерия Юрьевича портфель, а в портфеле злополучная камера. Генка держался чуть сзади, понуро опустив голову. Скоро вышли к прудам. В этот поздний час здесь никого не было. Валерий Юрьевич огляделся, дойдя до горбатого старинного мостика,— здесь не было льда, у каменных опор темнела стывшая вода.

— На...— отец достал из портфеля кинокамеру и протянул ее сыну.— Сам бросай.

— К-как? — опешил Генка.— Она ж дорогая... жалко...

— Бросай, говорю,— с жесткой властью приказал отец.— Хоть на это имей мужество.

— Может, лучше в школу отнести?

— И что будет? Скандал и позор? Дай сюда! — он почти вырвал камеру из рук сына и швырнул ее вниз.

Камера ударилась о край ледяной кромки, булькнула в черную воду.

— И запомни: чтобы подобное с тобой произошло в первый и последний раз в жизни,— отчеканил отец.— Первый и последний раз. И об этом никому никогда ни полслова.

После премьеры у Аглаи Антоновны собрались ее друзья — артист Федор Семенович и две артистки: Люба и Тоня. Они сидели на кухне, смеялись, разговаривали разом, перебивая друг друга, возбужденные после спектакля.

— Люба, золотце, ты так играла, так играла! — говорила Аглая Антоновна. Я два раза плакала, честное слово!

— Глашенька, милая, дай я тебя поцелую! Ты самый добрый человек на свете! — Люба тянулась к ней целоваться. Аглая Антоновна вежливо, чтобы ее не обидеть, уклонялась, тихо смеялась.

— Все это так, милейшая Аглая Антоновна, — вздохнул Федор Семенович и ущипнул струны гитары. — Да уж больно пьеска дерьмовенькая.

— Перестань, Федя, — сказала артистка Тоня. — Не можешь ты без гадостей.

— А что он на банкете говорил? Глаша, Тоня! — всплеснула руками Люба. — Что ты на банкете говорил, лицемер? Автору кланялся! Обниматься лез! Поздравлял!

— То на банкете, а сейчас мы в кругу друзей, и могу сказать откровенно: пьеса дерьмо, фальшь и словоблудие.

— А что ж ты к главному бегал и роль выпрашивал? — спросила Тоня. — И не стыдно?

— Нисколечко. А к главному бегал, потому что уже полтора года в простое, ничего не играю. Не хуже меня знаешь, какого это. — Он ущипнул струны, запел сочным баритоном: — «Гори, гори моя звезда-а...»

— Винегрет попробуйте, девочки, — угощала Аглая Антоновна. — И салат со сметаной...

— Глашенька, родная, дай тебе бог счастья и всего, всего... Ты в нашем гадюшнике — просто луч света в темном царстве.

— Откуда имя такое странное? — весело спросил Федор Семенович, перестав петь. — Аглая.

— Почему странное? Древнерусское имя. Вернее, греческое. Означает: блеск, красота.

— Ты понял, медведь? — сказала Тоня. — Блеск и красота!

— Папа мечтал, что я буду артисткой, три раза в театральное училище поступать заставлял... А потом до самой смерти не мог смириться, что его Аглая — простая гримерша в театре. Даже плакал по ночам. — Глаза Аглаи Антоновны сделались печальными, она вздохнула.

— Ты лучший в мире гример, Глашенька! — воскликнула Тоня. — Художник! Talent!

— Очень хорошие снимки, Миша, — говорила заведующая детским садом. Она сидела за столом в своем кабинете. На столе фаянсовый кувшинчик с тремя живыми гвоздиками, настольный календарь, небольшая стопка деловых бумаг.

— Я рад, — скромно ответил Мишка, стоя перед столом с сумкой через плечо и фотоаппаратом на груди.

— Вот деньги за снимки. Возьми, пожалуйста.

Мишка взял деньги, пересчитал, сказал: — Здесь больше, чем нужно, — и положил на стол десять рублей. — Мы договаривались по два рубля за снимок. Значит, пятьдесят рублей.

— Нина Сергеевна, мать Степы, черненького, была так довольна снимком, что добавила тебе еще десять рублей.

— Нет. Передайте ей спасибо, но лишних денег не надо, — твердо ответил Мишка. — Ну что ж... ты молодец, Миша. Завидую твоей маме. — Заведующая смотрела на Мишку с нескрываемым удовольствием и симпатией. — Скажи, а куда ты деньги деваешь? Прости за нескромный вопрос.

— Да расходятся... — вздохнул Мишка. — Матери отдаю... на пленку трачу, на бумагу, проявители... себе по мелочи.

— Ты молодец, — уже твердо сказала заведующая. — Где тебя искать, если опять понадобится? Я буду всем рекомендовать тебя.

— Запишите телефон, пожалуйста.

Долго он топтался у прилавка женской обуви, просил то одну пару туфель, то другую, рассматривал, шупал, откладывал в сторону. Две молоденькие продавщицы смотрели на него насмешливо.

— Девушка твоя блондинка, брюнетка?

— Черная.

— Высокая?

— Да.

— Тогда посмотри вот эти, — продавщица поставила перед Мишкой еще одну пару туфель, вишневы, остроносых, с тонкими низкими каблукками.

Мишка смотрел, мучительно раздумывал. Рядом женщины и девушки выбирали, примеряли разную обувь — туфли, сапожки, полусапожки. Советовались, переговаривались. Мишка наблюдал за ними.

— Ну что? — наконец спросила продавщица. — Не нра?

— А сколько стоят?

— Семьдесят пять.

— Не слабо, — улыбнулся Мишка и полез за деньгами.

— Выписывать? — спросила продавщица и взяла чековую книжку.

Мишка считал у кассы деньги — не хватало. Он обшарил все карманы, опять пересчитал — ровно семьдесят пять. Отдал деньги кассирше.

— Не горюй, чудак, — улыбнулась смешливая продавщица. — За такие туфли она тебя сразу полюбит. — И вручила ему коробку с туфлями.

— Если нет — обратно принесу, — в тон ей ответил Мишка.

Мишка осторожно открыл дверь и прощмыгнул в прихожую. С кухни было слышно, как мать возится с посудой. Шумела вода из крана.

— Мишка, ты? — спросила Аглая Антоновна.

— А что, кроме нас с тобой, здесь еще кто-нибудь живет? — спросил из прихожей Мишка.

Аглая Антоновна рассмеялась, сказала:

— Ты знаешь, премьера прошла чудесно! Столько хлопали!

— Я счастлива за вашего главного режиссера, — ответил Мишка и нырнул в свою каморку, включил свет. Достал из коробки туфлю, долго рассматривал ее, вертел и так и эдак.

— Есть будешь, Мишка? — из кухни спросила мать.

Мишка не ответил, вошел на кухню и поставил туфли на стол:

— Мам, это тебе. К премьере...

Мать обернулась от мойки, взглянула на Мишку, потом — увидела на столе туфли. И улыбка медленно сошла с лица, уступив какой-то беспомощной растерянности. Она вытерла руки о передник, взяла туфли и поднесла их ближе к лицу, словно не верила своим глазам.

— Вишневые... — прошептала Аглая Антоновна. Улыбнулась. А в углах глаз набухли слезы и поползли по щекам. Она обессиленно опустила на стул, положила туфли на колени и все смотрела на них, смотрела сквозь слезы.

— Ну че ты, мам? — встревожился Мишка и обнял ее за плечи. — Не нравятся, да? Ты померяй.

— Твой отец мне первый раз туфли подарил... тоже вишневые... лодочки... — Она всхлипнула и закрыла лицо руками.

Мишка не знал, что на это отвечать, и лишь молча гладил мать по плечу, по рассыпавшимся волосам. Наконец сказал:

— Ну и что? Значит, у нас вкусы одинаковые.

— Я и говорю, одинаковые, — она подняла к нему заплаканное улыбающееся лицо. — Ой, Мишка, голубчик ты мой! — И принялась иступленно целовать его в щеки, глаза, губы.

Вишневые туфли с глухим стуком упали на пол.

— Может, это не школьники сделали? — спрашивала директор Татьяна Ивановна, озабоченно глядя на молоденького лейтенанта милиции. — Может, кто-то посторонний... зашел и взял?

— Все может быть, — уклончиво ответил лейтенант и поправил ромбик Высшей школы милиции на груди. — А с другой стороны,

вы же только эту кинокамеру в школу принесли, не так ли? — он повернулся к Сергею Матвеевичу, сидевшему на стуле у стены.

— За день... Показал ее ребятам... — не сразу ответил тот.

— Кому показали? Конкретно, — тут же спросил лейтенант.

— Членам фотостудии... Я не помню точно, кто там был.

— Откуда же постороннему знать, что в школе лежит кинокамера стоимостью в две тысячи рублей? — взглянул на директора лейтенант. — Не-ет, Татьяна Ивановна, это, думается мне, не посторонний. А почему дверь была не закрыта?

— Да меня к телефону позвали, в учительскую, — развел руками Сергей Матвеевич. — Ну, буквально минут пять-десять меня не было.

— Это ужасно, — покачала головой Татьяна Ивановна.

— Ситуация, — согласился лейтенант. — Что ж, будем расследовать. Вы мне для начала список членов вашей фотостудии не дадите?

— Да, да, конечно, — кивнул Сергей Матвеевич.

— Тот, кто это сделал, не только бесчестный человек. Я не буду говорить, что эта кинокамера принадлежала всем нам, — печальным голосом говорил Сергей Матвеевич. — Этот подлый поступок пятном ложится на всех членов нашей фотостудии, на всю школу... В общем, любительский фильм-летопись мы теперь снимать не будем.

Ребят в фотостудию набилось много, и все подавленно молчали. А за столом сидели директор, учителя — Вера Николаевна, Яков Павлович и другие. У самого края примостился лейтенант милиции.

Директор добавила:

— Может быть, у того, кто это сделал, все же хватит мужества признаться? Тогда пусть придет ко мне в кабинет. Несмотря на то, что тут по долгу службы сидит наш участковый товарищ лейтенант Гуськов, я обещаю, что разговор останется между нами.

Вновь наступило тягостное молчание.

— Принимайте! Фирма качество гарантирует! — Димка-жестянщик уверенно похлопал по крылу машины.

Аня, Генка и Мишка осмотрели машину. От былых повреждений не осталось и следа.

— Ой, спасибо вам огромное, — прочувственно сказала Аня. — А вы обратно на стоянку ее не отгоните?

— Другу больше не доверяете? — усмехнулся Димка.

Он запер просторный гараж, сел в машину, жестом пригласил ребят:

— Прошу, друзья-приятели!

Димка пригнал «жигули» на стоянку во дворе дома, где жила Аня, отдал ключи и был таков.

— Где деньги на ремонт достал? — спросил Мишка, когда они пошли со стоянки.

— Отец дал... — после паузы ответил Генка.

— Отец? — недоверчиво переспросил Мишка.

— А что тут такого? — Генка увел взгляд в сторону, протянул Мишке семьдесят рублей. — Возьми. Спасибо за помощь.

— Генка, ты настоящий мужчина! Дай я тебя поцелую! — Аня обняла его и расцеловала в щеку.

— Скорей уж его папаша настоящий мужчина, — с иронией проговорил Мишка.

— А что? — усмехнулся Генка. — Мужик что надо!

— Хотел бы я посмотреть, как бы он запласал, если б денег на ремонт не оказалось, — презрительно процедил Мишка. — И что бы тогда сделал ты, настоящий мужчина... Все вы настоящие... На чужом горбу.

— Тебе чего надо, а? — рванулся к нему Генка. — Завидуешь, да? Я давно вижу, как ты от зависти сохнешь! Всем завидуешь!

— Генка! Мишка! Перестаньте сейчас же! — пыталась встать между ними Аня. — Друзья, а собачатся, как не знаю кто!

— Какие друзья? — усмехнулся Мишка. — Просто одноклассники.

— Ходит по детским садам, трешки сшибает, а гонору, как у академика! — оттолкнув Аню, выпалил Генка.

— Ну ты тоже академиком никогда не станешь, — парировал Мишка. — Даже если папаша за институт заплатит. Только платить придется подороже, чем за ремонт машины!

— Ты-ы... — задохнулся Генка и рванул Мишку за отвороты пальто. — Я тебе сейчас морду набью!

Аня вцепилась Генке в руки:

— Генка, дурак несчастный, перестань сейчас же! Мишка, уйди! Я прошу тебя, уйди!

Мишка вырвался из Генкиных крепких рук — пуговицы от пальто посыпались на землю. Поправив съехавший с плеча фотоаппарат и сумку с книгами, он быстро зашагал прочь.

Генка стоял, тяжело дыша, растерянно смотрел ему вслед. Злость обиды прошла, и теперь стало неловко.

— Догони его, слышишь? — потребовала Аня. — Извинись.

— Да пошел он! — вновь расвирипел Генка. — Он же нас за людей не считает — только себя! Козел закомплексованный!

— Хам ты! — сказала Аня. — Мишка прав — папенькин сынок.

— Да идите вы все! — сплюнул Генка и зашагал в другую сторону. — На себя посмотрите, чистоплюи паршивые!

В классе Мишка и Генка сидели теперь за разными партами и всем своим поведением подчеркивали, что не обращают друг на друга внимания.

— Рубцов, что это ты место жительства сменил? — спросил Яков Павлович.

Мишка не ответил, отвернулся к окну.

— Из-за чего хоть поссорились? — не отставал историк.

Аня оглядывалась то на Генку, то на Мишку, ей хотелось сказать, но она сдерживалась.

— Неисповедимы пути любви, — с громким вздохом проговорил в это время длинноволосый, узкоплечий парень и тут же «заработал» громкую затрещину от Генки.

— В чем дело, Куликов? — строго сказал Яков Павлович. — Опять удалить тебя из класса?

— Могу выйти, — зло ответил Генка. — Теперь знаю, за что и почему.

— Дурак и не лечится, — пробормотал длинноволосый.

— Закрой варежку, — угрожающе процедил Генка.

— Ладно, хватит вам, петухи, хватит, — сказал историк. — Тема сегодняшнего урока — начало революции девятьсот пятого года.

После школы домой возвращались поздно.

— Аня! Да подожди ты! — Генка догнал девушку. — Ты-то чего? Тебя, что ли, обидели?

— Отстань! — Аня вырвала руку. — Еще меня попрекни! Что тебе деньги пришлось доставать... что ты из-за меня пострадал...

— Ну, спасибо, Анна Борисовна... я вам это запомню. — Генка нахлобучил шапку, пошел вперед по переулку, обернулся. — Кретинка! Все вы — шизофреники!

Мишку Генка встретил вечером у прудов, недалеко от того горбатого мосточка, с которого Генкин отец бросил камеру. Подждал, сидя на лавочке, замерзал. Мишка узнал его издали, хотел пройти мимо. Над голубоватым пространством прудов

сияли гирлянды разноцветных лампочек, гремела музыка и кружились катающиеся.

— А я тебя жду...— Генка загородил Мишке дорогу.

— Чего надо?

— Ну, извини, что ли... Ну, честно, не хотел тебя обидеть. Ты же первый начал. Друзья мы или не друзья, Мишка? — И Генка обезоруживающе, добродушно улыбнулся.

— Были друзья,— отвернулся Мишка.

— Ладно тебе, не лезь в бутылку по новой. Давай пять,— он протянул Мишке руку.

Тот помедлил, потом пожал ее. Дальше пошли вместе, и Генка с облегчением загоровил:

— У меня даже самочувствие отвратительное, когда с кем-нибудь в ссоре, не могу... Ты это... ты поговори с Анькой, ладно? А то фыркает, как кошка.

— Не можешь без нее, что ли?

— Могу, конечно... Но вообще-то она мне здорово нравится... А тебе?

— Ни капли.

— Ладно врать-то. Чего ж тогда к ней клеишься?

— Я? — Мишка вскинул на него глаза. — С чего ты взял?

— Правда? — недоверчиво переспросил Генка.

— Да какой мне смысл врать?

— Ну, не знаю... — пожал плечами Генка. — Значит, поговоришь?

— Поговорю, поговорю. Мог бы и сам. Всегда у тебя так — сам натворишь, а другие расхлебывают.

— Ты опять, да? — набылчился Генка. — Опять, да? Сейчас снова поругаемся.

— Все молчу,— сказал Мишка, сдерживаясь.

Генка хлопнул его по плечу, и опять пошли вместе. Генка предложил:

— Пошли ко мне. Я пластинки новые достал, послушаем.

— Нет, — ответил Мишка.

— Чего? Опять в детский сад надо?

— Извини, но я к тебе больше никогда не пойду.— Мишка отвернулся.

— Почему? Из-за отца, что ли? Чем он тебе насолил, не пойму.

— Долго рассказывать...

— Ей-богу ты зря на него бочку катишь. Он правда — ничего мужик, все понимает...

— Ты извини, но я его... ненавижу... — с трудом признался Мишка.

— Опять его понесло,— поморщился Генка. — Ну, хочешь я тебе один секрет скажу, и ты поймешь, какой он мужик, хочешь, а?

— Да не надо мне никаких секретов...

— Только никому ни слова, ладно? Ведь

это я камеру украл... — бухнул Генка, и Мишка даже остановился, недоверчиво смотрел на приятеля.

— Как ты?

— Ну, так. Все ломал голову, где денег на ремонт достать, а когда из класса выгнали, я в фотостудию вашу случайно зашел — открыто было... Ну и... А фатер узнал. Два часа меня пытал. А потом камеру в пруд закинул и денег на ремонт дал. И матери — ни слова! Железный мужик, а ты говоришь... Другой бы на его месте... — Генка не договорил, потому что Мишка пошел вперед. Генка догнал его:

— Ты чего, Мишань?

— Ничего... — задумавшись, рассеянно отвечал Мишка.

— Ты только никому ни звука, слышишь?

— Слышу...

И опять лыжник в цветном костюме, в шлеме и очках летел по трамплину, присев на корточки. Вот он оторвался от трамплина, взмыл вверх, выпрямился, накренившись вперед и прижав руки к туловищу. Красивый, захватывающий дух полет и — приземление на утрамбованную лыжню. Еще некоторое время лыжник катил по земле, а на верхотуре вышки к прыжку готовился следующий спортсмен.

Тренер встретил Генку внизу, у самого заборчика, где толпились лыжники и болельщики.

— Ты сегодня просто молодцом, Геннадий! — Тренер хлопнул его по плечу. — Летел как птица. И посадка что надо, и длинная мастерская. Если так на соревнованиях — считай, первый разряд в кармане. Но лыжи в воздухе поровней держи, поровней!

— Спасибо... — Генка снял шлем и очки, глазами поискал Аню в толпе болельщиков.

— Дава-ай! — крикнул в мегафон тренер, и следующий прыгун полетел вниз по трамплину.

И все это походило на праздник — вокруг разноцветные флажки и транспаранты, весело гудящая толпа зрителей и спортсменов и белый-белый снег.

Из толпы к Генке подбежала Аня, сияющая, восторженная:

— Генка, когда ты в воздухе, я тебе все-все простить готова!

— Что все-все?

— Ну, что ты такой... обалдуй! — Она чмокнула его в щеку.

— Ладно,— снисходительно усмехнулся Генка. — Вся моя беда, что я обижаться не умею. Я еще раз прыгну, подождешь? — Конечно!

Генка взвалил на плечи лыжи и потопал к лифту на вышку.

Это было в воскресенье, и Мишка пришел в квартиру Куликовых. Позвонил. Дверь открыл сам Валерий Юрьевич, холодно уставился на Мишку.

— Я Рубцов,— коротко представился Мишка.

— К несчастью, знаю.

— Мне поговорить с вами надо. Наедине. Дело важное,— деловито и совсем по-взрослому сообщил Мишка.

— Говори, не стесняйся, дома никого нет.

— Я знаю.

— Специально, значит, выбрал время? — усмехнулся Валерий Юрьевич.

— Да, специально,— совсем не смутился Мишка.

— Тогда говори. И быстрее — у меня нет времени.

Они так и остались в прихожей. Валерий Юрьевич даже не предложил Мишке раздеться.

— Мне нужны деньги, Валерий Юрьевич.

— Та-ак... — несколько оторопел Генкин отец. — А почему ты решил с этой просьбой обратиться ко мне?

— Потому что вы мне их дадите. Двести рублей мне надо.— Мишка глаз не прятал, смотрел прямо и даже нагло.

— Ты, кажется, с ума сошел, Рубцов? Могу дать не денег, а по шее. Будешь лететь кувыркoм до первого этажа.

— Можно и по шее,— согласился Мишка.— Но деньги вы мне дадите. К тому же двести рублей не так много. Кинокамера, которую вы зашвырнули в пруд, стоила в десять раз дороже... И если я расскажу об этом в школе... вам эта история еще дороже будет стоить. Там сейчас даже милиция следствие ведет.

Валерий Юрьевич был ошеломлен и смотрел на Мишку со страхом.

— Ты... ты рехнулся... Какая камера? Нету никакой камеры...

— Это легко проверить, Валерий Юрьевич, с тем же ледяным спокойствием отвечал Мишка.— Там у мостика дно и галечника, и водолаз сразу найдет камеру. Представляете, какой будет скандал?

Валерий Юрьевич молчал, словно лишился дара речи. И Мишка молчал, ждал терпеливо, мая в руках шапку.

— Ты... ты н-негодяй... наконец выдал из себя Валерий Юрьевич.

— Может быть,— спокойно согласился Мишка.— Но не больший негодяй, чем вы, Валерий Юрьевич, когда вы оскорбляли мою маму на собрании... Или уже забыли?

— Ах, вот оно что,— выдохнул Валерий Юрьевич и вытер испарину со лба и опять не нашелся, что ответить.

Мишка подождал еще, потом нахлобучил шапку и повернулся к двери:

— Ну, я пошел, Валерий Юрьевич. Всего хорошего.

Валерий Юрьевич рванулся к нему и схватил за шиворот, пальцы правой руки сжались в кулак:

— Ты-ты... ты... Я тебя сейчас...

Взгляды их столкнулись в упор, и Генкин отец понял, что Мишка совсем не испугался. Наоборот, столько ненависти было в его глазах, что кулак Валерия Юрьевича опустился сам.

— М-мерзавец... — процедил он.— Подожди... Я дам деньги...

Он ушел в свою комнату, скоро вернулся и протянул Мишке тонкую пачку десятков. Мишка взял деньги и принялся неторопливо пересчитывать. Валерий Юрьевич задохнулся от гнева. Самым гадким было чувство бессилия перед этим подростком, перед этим маленьким мерзавцем. Пересчитав деньги, Мишка сунул их в карман и шагнул к двери.

— Надеюсь, теперь ты будешь молчать? — в спину спросил Валерий Юрьевич.

— Бойтесь? — Мишка обернулся с презрительной усмешкой.— Зато мою маму оскорблять не боялись... мразь! Мразь ты, няня! — последние слова Мишка почти прошипел по-змеинoму.— Еще только попробуй тронь ее... я тебе... — Он не договорил и побежал по ступенькам вниз.

Матери дома не было. Мишка разделся, прошел к себе в каморку, достал из-под стола маленькую картонную коробку и сложил туда деньги. Потом пошел в свою комнату и лег на диван, укрывшись курточкой. Его всего трясло, даже зубы постукивали. Мишка вдруг заплакал. Слезы текли и текли, и он никак не мог удержаться, только стучал зубами и приговаривал:

— Г-гад... г-гад... гад...

В прихожей зазвенел звонок. Когда няня, что звонят, прошло немало времени. Он с трудом встал, рукавом утер слезы с лица. Вид у него был измученный и больной. Он поплелся в прихожую. Звонок надрывался.

На лестничной площадке стояли Генка и Аня.

— Вот козел! Спал, что ли? — воскликнул Генка.— Нашел время спать!

— Мы же к Мазиковым на день рождения собирались, забыл, да? — спросила Аня.

— Я не пойду...

— Видала, Ань? Ну, не козел он после этого? — обиделся Генка.

— Подожди, Ген... Ты что, заболел? — женским нутром своим Аня почувала несчастье и инстинктивно встревожилась.— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось. Заболел. Извините.— И Мишка бесцеремонно захлопнул перед ними дверь.

— Что с ним? — с тревогой спросила Аня.

— Да ну его к лешему! Опять со своими фокусами!

Они медленно спускались по лестнице.

— А я думаю, он ревнует,— вдруг сказала Аня.

— Кого? К кому?

— Меня к тебе...

— С чего ты взяла? — с недоумением уставился на нее Генка.

— Мне так кажется...— вздохнула Аня.

— Да он мне говорил, что ты ему безразлична...— Генка даже рассмеялся.

— А ты? — вдруг остановившись, спросила Аня.

— Чего я? — не понял Генка.

— Тебе я тоже безразлична? — она смотрела на него прямо и серьезно.

— Ты про любовь, что ли? — смутился Генка.

— Да...— она чуть улыбнулась.

— Брось, старуха...— Генка испуганно отвел взгляд.

— Ну, говори, говори...— попросила Аня.

— Ну... по правде сказать, ты мне... всегда нравилась...

И обоим было непонятно, как они вдруг обнялись, и его губы осторожно прикоснулись к ее губам.

...А у себя в комнате, укрывшись курточкой, всхлипывал, стискивал зубы Мишка, и ругался шепотом, и сжимал кулаки.

До позднего вечера Валерий Юрьевич не находил себе места. Работа над рукописью не шла, и он со злостью закрыл книжки, бросил в ящик письменного стола исписанные формулами и колонками цифр листы. Вышел из кабинета в гостиную, где перед телевизором сидела жена Лена. Передачи закончились, и диктор сообщала программу на завтра.

— Геннадий еще не пришел? — зло спросил он.

— Еще нет,— глядя на экран, ответила жена.

— Начало двенадцатого! Где он шляется?!

— Кажется, говорил, что пойдет на день рождения.

— Тебе все в жизни кажется! Сын вырос бессмысленным оболтусом, а ей кажется!

— Что с тобой, Валерий? — удивленно взглянула на него жена.— Тебе только сегодня стало понятно, что твой сын оболтус?

— И твой! — крикнул отец.— Не строй из себя светскую даму, черт подери! — Он подошел и выключил телевизор.

— Не хами, пожалуйста, сейчас зарубежную эстраду передавать будут,— она встала из кресла и включила телевизор. И вовсе он не оболтус. Нормальный человек. Ты все из него гения математики хочешь сделать, а он просто нормальный.

— Идиот! — уже с гневом выкрикнул Валерий Юрьевич.

— Ты что, пьян? — глаза жены сузились.— Я не позволю оскорблений, слышишь? Эти свои словечки побереги для подчиненных на работе.

— Идиот,— повторил Валерий Юрьевич.— По его милости и я превратился... Всякая, понимаешь, мразь, всякая...

— Что с тобой? Что происходит? Объясни, пожалуйста.

— Что тебе объяснить? Что ты можешь понять, если судьба сына тебе до лампочки! Даже на родительские собрания хожу я, а не ты!

— Господи, один раз сходил, а крику...— поморщилась мать.— Ты, кажется, действительно нарезался. Ну-ка, дыхни...

— Прекрати паясничать, Лена! Или ты разучилась говорить о серьезном?!

— По-твоему, говорить о серьезном, значит, оскорблять и орать.

— Кто ты есть, скажи? Чего добилась в жизни?

— Во-первых, задавать мне такой вопрос, по крайней мере, бестактно. Во-вторых, я вырастила сына. Ты его сделал, а я растила.

— Результат — налицо!

— Не перебивай, хам! И в-третьих, доктором наук, как ты, я не стала! И не собираюсь, между прочим.

— Карточки переписывать в отделе информации лучше!

— Да, работаю простым программистом.

— Вот-вот, ты и Геннадия приучила ни к чему не стремиться! Ничтожный болтун! Тряпка! Я его... Я ему морду набью!

— Перестань бесноваться. Объясни по-человечески. Неприятности на работе?

— Я тебе о Геннадии говорю! — снова закричал Валерий Юрьевич.

— Доктором наук он не будет, успокойся.

— А кем он будет?! Лжецом? Вором?! Подлецом?!

— Ты действительно чокнулся. Каким вором?

— Каким?...— начал было Валерий Юрьевич и тут же осекся, будто слова застряли в горле, даже замычал и замотал головой. Быстро открыл крышку бара, откупорил минеральной воды, налил полный фужер и торопливо выпил.

— Каким вором? — уже с тревогой переспросила мать.— Он что, украл что-нибудь?

— Ладно, хватит,— резко ответил отец.— Слава богу, до этого пока не дошло...

— Я никогда тебя таким не видела, Валерий...

— Я сам себя таким не видел,— несколько успокаиваясь, пробормотал Валерий.

А с экрана телевизора гремело эстрадное шоу. Валерий Юрьевич ушел к себе в кабинет, долго сидел за письменным столом, задумчиво глядя в темное окно и барабаня пальцами. Он слышал, как жена выключила телевизор, потом шумела водой в ванной, потом раздался стук в дверь и голос жены:

— Ты идешь спать?

— Нет! — нервно ответил Валерий Юрьевич.— Я поработаю.

Жена ушла в спальню, и в квартире наступила тишина.

Валерий Юрьевич достал рукопись из ящика стола, начал ее просматривать. Но мысли были о другом, и он отодвинул рукопись, снова уставился в черное окно.

Раздался щелчок замка во входной двери, и Валерий Юрьевич вздрогнул, вышел в коридор, прошел в прихожую. Там раздевался Генка. Отец молча смотрел на сына тяжелым взглядом. Генка повесил дубленку в стенной шкафу.

— Ты чего не спишь, пап?

Валерий Юрьевич подошел к нему и сильно хлестнул ладонью по щеке. Голова Генки дернулась назад, глаза расширились от боли и обиды. Он даже слова не успел произнести, потому что отец повернулся и ушел в кабинет.

Пьесу играли современную. На сцене разговаривал Федор Семенович и артистка Тоня.

— «Я тоже приятно разочарована,— говорила Тоня.— Если честно говорить, я думала — вы пустельга. А вы — деловой человек, вам можно довериться. Славным не увлекайтесь. Тут еще бабушка надвое сказала».

— «Вы полагаете?» — спрашивал Федор Семенович.

— «Слишком высовывается...»

Зал слушал и смотрел в меру внимательно. А Мишка снимал за кулисами. Выбирал то одну, то другую точку, примеривался, сощурившись, словно оценивал будущее изображение, и прикладывал аппарат к глазу.

За кулисы вышел Федор Семенович, спросил шепотом:

— Как матушка?

— Тридцать восемь и пять, хрипит, кашляет...

— Сегодня навестим ее. Сними-ка и меня.— И он принял картинную позу, огладил

наклеенные усы и бороду.

— Так неинтересно. Лучше закурите, а я сниму.

— Ты что, здесь нельзя.

— Тогда просто в зал смотрите, на зрителей. Как они слушают...

— Я столько раз за этим наблюдал,— вздохнул Федор Семенович, но все же стал смотреть в зал, и Мишка несколько раз щелкнул аппаратом, меняя точки съемок.

— Мать меня не вспоминала? — будто между прочим спросил Федор Семенович.— Нет.

— Врать необязательно, Михаил Владимирович.

— Придете навещать — сами спросите...

— Ну что, так и будешь здесь сидеть? — спрашивала Аня.

— Так и буду.

— А ночевать где?

— Пока не знаю. Вчера в школе в котельной ночевал, а позавчера в спортобществе. Не бери в голову, Ань, что-нибудь и сегодня придумаю. У меня десятка есть, пошли в кафе посидим.

— Подожди ты с кафе! — сердилась Аня, стоя перед Генкой, сидящим на лавочке на берегу пруда.— Как ты дальше-то будешь?

— Сообразим что-нибудь,— слабо улыбнулся Генка, но уверенности в голосе не было, да и весь вид его был жалковатый.

— Не дури, Генка. Хочешь, вместе к тебе пойдем?

— Меня по морде лупить будут, а я туда пойду? Сенок ю вери мач.

А над прудом опять весело светили гирлянды разноцветных лампочек, гремела музыка, и парни, девушки летали на коньках по льду.

— Ох, Генка... Ну, хочешь пойдем ко мне?

— Да ну! — махнул рукой Генка.

— Ну, что мы будем делать, что? — Аня села рядом на лавочку, плечом притиснулась к Генке.

— Не знаю, Ань... не знаю...

Валерий Юрьевич долго топтался на лестничной площадке, не решаясь позвонить. Наконец надавил кнопку звонка. Дверь открыли не скоро. На пороге стояла Аглая Антоновна, неприбранная, в коротком халатике, шея замотана шарфом. Увидев Валерия Юрьевича, она от испуга даже отступила назад.

— Простите... — поперхнулся Валерий Юрьевич.— Вы... не позволите войти?

— Да, да, пожалуйста...

— Дело в том, уважаемая Аглая Антоновна,— входя, начал Валерий Юрьевич,— Геннадия уже два дня нет дома, не ноче-

вал и сегодня не появлялся. Я хотел справиться, поскольку он дружит с вашим сыном, он не у вас ночевал?

— Н-нет.. Боже мой, а почему он так? — перепугалась Аглая Антоновна.— Что-нибудь стряслось?

Валерий Юрьевич испытующе посмотрел на нее, но испуг женщины был искренним, тут сомневаться не приходилось.

— Долго объяснять. Я думаю, вы отчасти в курсе нашего, так сказать, конфликта.

— Вы разденьтесь,— спохватилась Аглая Антоновна.— Чаю хотите? Я тут заболела, третий день температуру, ничего не готовила. Но чай есть, хороший, индийский...

— Благодарю вас, вынужден торопиться. И еще, Аглая Антоновна... Я прошу извинить меня... ну, то, что произошло на собрании... Я вел себя ужасно... так что простите великодушно...

— Да что вы! — улыбнулась Аглая Антоновна.— Я уж и забыла, и вспоминать не стоит. Погорячились, с кем не бывает. Я иной раз тоже так, бывает, разойдусь... Может, все-таки чаю выпьете?

— Нет, нет, благодарю,— Валерий Юрьевич помялся, потоптался у двери.— И я надеюсь, визит вашего сына ко мне... надеюсь, подобного больше не повторится...

— Какой визит? — не поняла Аглая Антоновна.

— Видите ли... сам Михаил вряд ли решился бы на подобное...— Валерий Юрьевич с трудом подбирал слова.— Видно, кто-то ему посоветовал...

— Вы какими-то загадками говорите, Валерий Юрьевич...— Аглая Антоновна смотрела на него с возрастающей неприязнью.— Не хотите, чтобы он ходил к вам? Не будет, конечно, не беспокоитесь.

В голосе ее явственно прозвучала обида. Валерий Юрьевич несколько секунд вновь испытующе смотрел на нее, наконец шумно вздохнул:

— Еще раз извините, всего доброго, выздоравливайте...

— Спасибо, до свидания,— уже сухо ответила Аглая Антоновна.

Дверь за Валерием Юрьевичем закрылась. Секунду он постоял в задумчивости, потом стал медленно спускаться по лестнице.

— Я, знаете ли, Михаил Владимирович, в юности боксером был. И неплохо, скажу вам, боксировал. Первый разряд имел. Но потом — нокаут, сотрясение мозга, и вот в результате стал третьеразрядным артистом.

— Почему? — улыбнулся Мишка.— Вы сегодня очень хорошо играли.

— Правда? — по-детски обрадовался Федор Семенович.— Ну спасибо. У подростков, брат, самое точное чувство правды.

Они шли вечерней людной улицей из театра к Мишке домой. Витрины магазинов, кафе были ярко освещены. Возле гастронома они остановились. Вернее, остановился Федор Семенович:

— Может, заглянем? Купим чего-нибудь вкусенького? Матери приятно будет.

Валерий Юрьевич бродил по темным переулкам в поисках сына. Вот прошла развеселая компания подростков. Один играл на гитаре, и все с воодушевлением пели:

Я женщин не бил до шестнадцати лет,
В шестнадцать ударил впервые,

С тех пор на меня просто удержу нет,
Налево-направо я им раздаю чаевые-е...

Валерий Юрьевич пригляделся: Генки среди них не было.

Вот другая компания — парни и девушки с визгом и хохотом швыряли друг в друга снежки. Генки среди них тоже не было. Один из снежков угодил Валерию Юрьевичу в шапку, сбил ее с головы.

— Что за безобразие?! — крикнул Валерий Юрьевич, поднимая шапку.

Визг и хохот смолкли, потом мужской голос произнес:

— Извините, пожалуйста, нечаянно.

— Вы в зону обстрела попали,— весело добавил второй.

Валерий Юрьевич не ответил, побрел дальше.

— Ге-ен, мне домой пора,— жалобно протянула Аня.— Пошли, а? Погреемся. Есть хочется жутко.

— Иди. Верно, чего ты тут мерзнешь?

— Не-ет, не могу я тебя бросить. Потому что мы... товарищи.

— Ла-адно,— насмешливо протянул Генка.— Слыхали мы эти сказки для детей, по телеку каждый день передают.

— П-потому ч-то я т-тебя... люблю... — пристукивая зубами от холода, проговорила Аня.— Т-ты в-все д-дурака валяешь, а я т-тебе серьезно говорю.

— Мне сейчас только и осталось дурака валять.— Генка со вздохом обнял Аню, прижал к себе.— Может, к Мишке сходим?

— Даже не знаю.

— А что? Друг все-таки, кореш, кент, кунак... как там еще называется?

И в эту секунду они увидели Валерия Юрьевича. Он брел по аллее вдоль пруда прямо на них.

— Отец,— вздрогнул Генка и вскочил.

— Ты... ты что здесь делаешь? — задал он глупый вопрос.

— Гуляю, не видишь, что ли? — ответил Генка.— Это Аня...

— Пошли домой, Геннадий.

— Не пойду.

— Почему?

— Не хочу, чтобы меня били по лицу. Я не мальчик.

— Не мальчик? — Валерий Юрьевич взглянул на Аню.— Ну, хорошо. Ты помнишь, о чем я просил тебя, когда ночью зашвырнул кинокамеру в этот пруд?

— Какую кинокамеру? — едва слышно спросила Аня.

— Которую он украл в школе,— холодно пояснил Валерий Юрьевич.— Чтобы достать денег на ремонт, кажется, вашей машины.

— Гена... что ты...— охнула Аня.— Не может быть...

Генка молчал, глядя в сторону.

— Я тогда велел тебе никому об этом позоре не говорить,— с жестким спокойствием продолжал Валерий Юрьевич.— Но ты сказал об этом своему другу Мишке. Ведь он твой друг, так, кажется?

— Ну и что? — выдавил из себя Генка.

— А то, что он пришел ко мне и стал требовать денег, угрожая, если я не дам, рассказать обо всем в школе. И я эти деньги дал. Но совсем не исключено, что он придет снова.

— Ой, ну вас всех...— Аня всхлипнула, отвернувшись.— Какие вы... какие вы...

— Это неправда,— Генка поднял голову.

— Это правда. Спроси у него сам. Или у его матери. Думаю, она в курсе дела.

Аня негромко плакала, отвернувшись к пруду. Там по-прежнему играла музыка и переливались всеми цветами радуги гирлянды лампочек. Мимо прошла компания ребят, возвращавшихся с катка.

— Так я тебе и поверил,— криво усмехнулся Генка.— Врешь ты все.

— Это правда,— жестко повторил отец.

Генка взглянул ему в глаза и понял, что отец не врет. Он растерянно посмотрел на Аню, потом вдруг сорвался с места и побежал по аллее. Валерий Юрьевич и Аня остались на месте.

— Какие вы...— всхлипывала Аня.— Как только не стыдно...

Валерий Юрьевич стоял рядом, молчал.

— Я думал, иду к постели больного друга, а вижу — обман! — воздев руки к потолку, прогудел Федор Семенович.

— Как прошел спектакль? — весело спросила Аглая Антоновна.

— Вот Михаил говорит, что нынче играл я превосходно!

— Федечка, ты всегда играешь превосходно! Мойте руки — сейчас буду вас кормить.

Федор Семенович высыпал на кухонный стол из сетки несколько свертков, поставил две бутылки пива.

— Мишка, достань тарелки, ножи и вилки!

Мишка вымыл руки, следом за ним в ванную отправился Федор Семенович, негромко напевая:

— «Гори, гори, моя звезда-а...»

Мишка расставлял тарелки, когда мать так же весело сказала:

— А ты знаешь, приходил отец твоего Генки. Он меня обхамил на родительском собрании, а теперь извиняться приходил... Понял, Мишка, все-таки заела его совесть!

Мишка окаменел, уставился на мать неподвижными глазами, и лицо передернуло гримаса злости:

— Знаю, почему он приходил... Совесть...— Мишка усмехнулся.— От страха небось штаны мокрые...

— Почему? — с недоумением спросила мать.— Чего ему бояться?

— Что я в школе про кинокамеру скажу.

— Какую кинокамеру? Ничего не понимаю. Что ты загадки загадываешь?

— Трус он паршивый! Сильный со слабыми! Генка камеру в школе украл, а он узнал и закинул камеру в пруд, думал — шито-крыто. А Генка мне про это сказал. Ну, я и придавил его.

— Что значит придавил? — спросила мать.

— А пришел к нему и сказал: гони две сотни или все в школе расскажу. Он даже вспотел от страха.

— Зачем ты это сделал? — помертвевшим голосом спросила мать.

— Отплатить ему хотел! А то он думает, ему все с рук сойдет? Как бы не так! Я все тогда слышал, я за дверью стоял!

— Господи... какой ужас...— прошептала Аглая Антоновна.

Федор Семенович уже вышел из ванной, стоял в дверях кухни и слышал весь разговор.

— Тебе что, его жалко? — изумился Мишка.— А себя? Когда он тебя оскорблял?

— Про Генку ты подумал? Ведь он твой товарищ.

— При чем здесь Генка? Его это вообще не касается!

— Н-да-а, Михаил Владимирович,— про-

Аглая Антоновна жарила картошку, когда появились Федор Семенович и Мишка.

гудел Федор Семенович.— А ты, брат, оказывается... подлец...

— А вы не лезьте не в свое дело! — крикнул со злостью Мишка.— Кто вы тут такой?

— Я... друг твоей матери...— нахмурился Федор Семенович.— И старше тебя.

— Мишка, Мишка...— глаза у матери набухали слезами.— Разве я когда-нибудь этому учила?

— Чему, чему?! — чуть не закричал Мишка.

— Подлости...

— Я лучше пойду, мам.— Мишка хотел было уйти с кухни, но в дверях горой возвышался Федор Семенович.

— Нет, брат, не пушу,— качнул он головой.— Ты с матерью не договорил.

Генка бегом взлетел по лестнице, открыл дверь и в прихожей остановился, чтобы перевести дух. Свет везде был погашен. Генка включил свет и тихо двинулся к кабинету отца.

— Валерий, это ты? — послышался из спальни голос матери.

— Я... я...— приглушенным голосом ответил Генка.

— А Геннадия все нет... У меня такая головная боль — подняться не могу,— сказала из спальни мать.

Генка не ответил и вошел в кабинет отца, включил свет. Там, над диваном, на ковре, натянутом на стене, висело охотничье ружье отца. Генка снял ружье, потом выдвинул ящик письменного стола — там лежало несколько пачек патронов. Генка надорвал одну из них, вынул несколько штук и сунул их в карман дубленки. Потом спрятал ружье за полу дубленки, застегнул ее на все пуговицы, придерживая ружье левой рукой снаружи, и вышел из кабинета.

Он на цыпочках прокрался по прихожей, открыл дверь почти бесшумно и так же осторожно закрыл.

— Ты... шантажировал человека...— губы Аглаи Антоновны дрожали.— Подло шантажировал...

— Я за тебя отомстил, мама! — оскорбленно крикнул Мишка.

— Ты опозорил меня, неужели не понимаешь? — мать беззвучно заплакала.— Может, я плохая... может, я не так тебя воспитывала... Но я никогда... слышишь, никогда не учила тебя отвечать подлостью на подлость. Потому что это низко, это недостойно настоящего человека. Где эти деньги?

Мишка ушел в свою каморку, быстро вернулся с картонной коробкой и высыпал десятки на стол.

— Думаешь, мне эти деньги были нужны? Плевал я на них!

— Возьми их и отнеси Генкиному отцу,— сказала мать.

— Что? — Мишка задохнулся.— Никогда!

— Хорошо,— вздохнула мать, утирая слезы.— Тогда я сама отнесу эти деньги и попрошу за тебя прощения.

— Нет! — крикнул Мишка и стал собирать со стола рассыпавшиеся десятки, распахивать их по карманам.

Мать снова всхлипнула и отвернулась к окну. Мишка вышел из кухни. Аглая Антоновна тихо плакала. Федор Семенович понуро сидел на стуле, опустив голову. Было слышно, как в прихожей хлопнула дверь, и стало тихо.

Запихнув озябшие руки в карманы пальто, ссутулившись, Мишка быстро шел пустынными переулками. В домах почти все окна черны, лишь редкие, один-два в каждом доме, светились.

Он вышел к пруду. Гирлянды цветных лампочек уже не горели, и не было слышно музыки. Светились отдельные фонари, и в этом свете исполосованный лезвиями коныков лед отливал черным металлом.

Мишка решил сократить путь до Генкиного дома и спустился по лесенке к чугунной ограде, окаймляющей каток, пошел вдоль нее.

— Ну, ты-и... стой!

Он вздрогнул и остановился. Перед ним, шагах в десяти, с ружьем в руках стоял Генка. Пока ружье было опущено стволом вниз.

— Предатель...— выдохнул Генка и стал медленно поднимать ружье.

Мишка молча смотрел на него, подняв голову, и лицо его было каменным. Страшно медленно тянулись секунды. Генка прицелился, но нажать спусковой крючок не было сил.

— Гена-а! — послышался издали протяжный, истошный крик.

Это бежала по аллее Аня. Она бежала с другой стороны пруда, бежала изо всех сил. Вот поскользнулась, упала, растянувшись плашмя. Поднялась и снова побежала.

— Гена-а! — Она подбежала с другой стороны ограды, заметалась из стороны в сторону, дергая металлические прутья, будто пыталась раздвинуть их, и выговаривала лихорадочно:

— Геночка, миленький... мальчики... что

вы, мальчики... Не смей, Генка... Лучше в меня стреляй, Гена...

Генка тихо охнул, опустил ружье и вдруг с силой ударил им о дерево. Чуть погнулись от удара стволы, а Генка перехватил ружье с другой стороны и ударил прикладом. Брызнули в стороны крупные щепки.

— Чтоб ты... провалился, гад...— с ненавистью проговорил Генка и обессиленно опустился под деревом на снег. И вдруг заплакал, кулаком размазывая слезы по щекам.

Аня кинулась вдоль чугунной ограды, пытаясь найти лазейку...

Мишка все еще стоял, опустив голову, слушал, как негромко, сдавленно всхлипывает Генка. Потом медленно подошел и сел на снег рядом. И все так же молчал, опустив голову... Потом осторожно положил Генке руку на плечо, будто просил прощения...

Аня наконец нашла лазейку в заборе, протиснулась между погнутых прутьев и побежала обратно к тому месту, где были ребята. Издалека она увидела чернеющие на снегу фигуры. Двое ребят понуро сидели на земле под деревом. Аня с бега перешла на шаг... медленно приближалась к ним...



НАДЕЖДА ПАВЛОВНА КОЖУШАНАЯ окончила Уральский государственный университет, филологический факультет, а в 1984 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. Н. Кожушаная автор сценариев короткометражных фильмов «Бузкаши», «Нам не дано предугадать», «Мост», «Торо!». На Свердловской киностудии по ее сценарию ставится полнометражный фильм «Зеркало для героя».

НАДЕЖДА КОЖУШАНАЯ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

1.

— **И** не надо, не надо себе придумывать! — мама была расстроена, расстроена, больна от расстройства. — Больше тебя никто и ничем в школе не занимается!.. Кровь носом шла? Шла. У тебя кровь носом через день, а у твоих «бедненьких» здоровье — позавидуешь! Я верю, они хорошие ребята, но отдыхать когда-то надо, правда? Вырастешь большая — будешь делать всё, что захочешь, а сейчас тебе десять лет, и я твоя мама, и я тебе говорю: не будет здоровья — ничего не будет. Ты можешь маме поверить?

— Мы же ничего плохого... — пытается защититься дочь.

— А я не сомневаюсь. «Плохого»! Я тебе когда-нибудь не верила? Ещё не хватало плохого. Если бы было плохое, я бы не так разговаривала и не с тобой. Две четверки по арифметике есть? Есть. А если в четверти четверку выставят, тогда что?.. Я кого ни встречу, меня все знакомые спрашивают: «А как Наденька? Опять отличница?» А что я скажу?

Это для Нади аргумент.

— Я исправлю, — говорит она.

— Я знаю, исправишь, не в этом дело.

Они выходят во двор пятиэтажного жёлтого дома с высокими подъездами. Они идут до конца дома, и нужно расходиться: маме с папой на завод, Наде — в школу.

— И главное, о чём я тебя прошу, это, пожалуйста, не пытайся меня обмануть. Потому что я всё равно всё узнаю. Поняла?

Надя кивает неуверенно, потому что знает: обмануть придётся.

— Беги! — мама толкает дочь в плечо.

— А кого она водит? — это уже отец.

— Кого... Всех, кого не надо. Всяких «бедненьких», второгодников. Кого обидели, кого бесплатными завтраками кормят. А откуда я знаю? Квартира свободна с восьми до вечера. Учит, кормит. Развлекает. Я вчера пришла: обеда нет. И почему-то нормальные дети к нам не ходят. А в школе, знаешь, кто только ни учится... А Артамониха, — мама спохватывается, оглядывается, хихикает над своим страхом, — мне каждый день докладывает: «Ах, я боюсь за вашу дочь!» Я ей хотела сказать, что не ваше дело, но как-то неудобно: она всё-таки, действительно, председатель родительского комитета. Я ей сказала: «Вы лучше снимите с Нади хотя бы часть обязанностей.»

— А она что?

— Что... «В этом я не властна!» Знаешь, как она. «Это вопросы пионерской организации!» Фу, не люблю старых женщин.— Мама сконфуженно смеётся и опять возвращается к главному: — Нет, но я уже второй день забываю позвонить домой днём. Так не привыкла к телефону!

— Позвонишь — она же тебе не скажет.

— Скажет. Она, слава богу, пока не врёт. Правда, не договаривает уже, но пока не врёт... Слушай, а как здорово: у нас — телефон!

Папа украдкой обнимает маму, но их нежность всё равно замечают идущие к заводу:

— Ой, Василий Иванович, отобью!

— Здравствуйте!..

Лестница чистая, широкая.

— Не стесняйтесь! Родители на работе... А Пряхин почему не пошёл? — Надя Андреева останавливается перед квартирной дверью, снимает с шеи ключ на веревочке, оглядывает гостей, улыбается, чтобы гости не боялись.— А Валера разве первый раз? А Люда уже давно ходит, да?

— А Пряхин пошёл ходули куздрять,— с опозданием докладывает Елунин.

— Не куздрять, а делать,— поправляет Надя.

Они входят в квартиру, Надин портфель летит в угол, она ведёт гостей к телефону: учить звонить.

— Значит, так. Снимаешь трубку и набираешь номер. Скажи какой-нибудь номер.

— Пять,— говорит Людка, вертящаяся с короткой шеей и железными серёжками в ушах.

— Нет,— Надя смеётся.— Надо много цифр. Например, пожарная: ноль один. Набираешь ноль... один...— водит пальцем диск, не снимая трубки.— Набери.

Людка набирает.

— Правильно. Теперь Елунин.

Маленький-маленький Елунин набирает тоже.

— Теперь Лухин... Правильно. Теперь наберите сложный номер. Например, наш. Тридцать девять, семнадцать, восемьдесят. Только тридцать девять надо набирать не сначала тридцать, а потом девять, а сразу: три и девять. Как пишется. А то Пряхин набрал сначала тридцать! Я ему сказала, а он обиделся. Все по очереди научатся и будем читать.— Она убегает в маленькую комнату сменить фартук на белый, кричит оттуда: — А зачем Пряхин ходули делает?

— Чтобы Фиделя видно было! — кричит Елунин.

Людка трещит телефоном, Елунин приподнимает крышку пианино и нажимает чёрные клавиши.

Надя выходит из маленькой комнаты,

отодвигает Елунина, отстукивает любимую «Куба — любовь моя», без стеснения пользуясь педалью.

Елунин молча смотрит на кружева на её фартуке.

— Вечером в парке выступаем.— Надя закрывает пианино.— Каждую субботу: шефство, музыкалка и ещё концерт. А ты никогда не выступал? Нигде? Жалко,— вздыхает, усаживается с книжкой на диван, оставив вокруг себя место для гостей с таким расчётом, чтобы они могли сидеть удобно, опираясь локтями на валики.— В прошлую субботу танцам аккомпанировала, сегодня — Кривошееву. Так устаёшь! А всё равно лучше. Когда никуда не идти, так скучно сразу. Я вообще ненавижу воскресенье. А ты?

Елунин на всякий случай кивает.

— Ну всё, садитесь. Почитаем и будем уроки учить. Если быстро поучим, можно поиграть. Мы с Пряхиным в Зиганшина играли.

Людка, привыкшая слушаться, оставляет телефон и садится к Наде.

— А Лухин-то где? Лухин!

Лухина нет: он забрёл на балкон.

— Ладно,— решает Надя.— Посмотрим сначала на балкон, а потом будем читать.— И к Людке: — У Лухина тоже нет балкона?..

Они стоят на балконе, и всякая охота читать, думать, разговаривать — отпадает, потому что тепло, потому что весна и солнце. Птицы орут, отогревшись, с крыши быстро-быстро-быстро, звонко, непрерывно долбит каплями по перилам вода, под неё можно подставить ладошку. Можно сощурить глаза и полсекунды смотреть на солнце. Можно высунуть ногу между балясинками.

С балкона видно завод, парк, новостройку: пятиэтажные красные дома стайкой на окраине.

— Ладно,— опять сдаётся Надя.— Будем читать на балконе. Хотите?

Хотят.

Они устраиваются на балконе, Надя торжественно водит перед носами гостей обложкой красивой яркой книжки.

— Фу, Буратино, я читал! — разочарованно скулит Елунин.

— И не Буратино! — радуется Надя: сюрприз удался.— Все думают, что Буратино, а это Пинокио! Ну тоже Буратино, только по-итальянски. Здесь только сначала похоже, а потом совсем другое. Например,— открывает страничку, где нарисована красавица-фея, тычет Елунину.— Кто вот это?.. Не знаешь. А говоришь, читал. Приготовились?

Людка усаживается как следует и заранее открывает рот. Лухин, плотный второгодник с чёлкой, на полголовы выше остальных гостей, сидит неудобно, боком, на торце

фанерного ящика, но тоже не сопротивляется.

— Может, не ходить выступать? — думает вслух Надя в предвкушении замечательно проведенного времени.

Компания молчит: выступать — это что-то чужое, значительное.

— Ладно, поживём — увидим. Глава первая.

— Стучат,— говорит Лухин.

— К нам? — Надя теряется.

Компания прислушивается и, действительно, слышит стук в дверь.

— Родители? — шепчет Лухин.

Надя растерянно пожимает плечами, бежит в прихожую:

— Кто там?

— Наталья Аркадьевна и Коля Артамоновы,— раздельно отвечают за дверь, чтобы Надя не боялась открывать.

— Артамоновы! — Надя бежит в комнату.

— Какие? — шепчет Лухин.

— Наш! Коля с мамой! Прячьтесь!

— Артамониха! — Елунин вытягивает лицо, Людка ахает.

Гости мечутся по комнатам и наконец устраиваются на балконе. Прятаться тоже интересно.

Артамоновы живут напротив. Дверь их квартиры распахнута, оба — в тапках, мама — в шапке чернобурой лисы, с кастрюльками, тарелками, взмокшая от напряжения:

— Надюшечка!

Надя вздыхает и пропускает гостей в квартиру. Они входят и, кажется, заполняют её всю, до отказа.

— Решили сегодня опять попросить Надю... Никак Коля без Нади не кушает. «К Наде и к Наде!»...— мама ставит на стол обеденный прибор сына, уходит запирать свою квартиру.

— Я-то чо? — говорит Коля громко, чтобы было слышно на балконе.— Сама сказала: «Пошли к Наде!»

Мама возвращается, суетится и говорит, говорит беспрерывно, паузы в движении и разговоре воспринимая как незаслуженный и неожиданный отпуск для себя:

— Оторвали Надю от дела!.. Наденька нарядная... Выступает, наверное? В парке? Вот какая молодец. И папа с мамой будут Надей гордиться!.. Вот, Коля, у Нади папа и мама на работе, а Наденька сама кушает и сама уроки учит.

Колян стоит посреди комнаты, вытянув вперед руку, на которой сияет на ремешке настоящий трофейный компас, такой большой и красивый, что его невозможно не заметить даже с балкона. Он знает, что гости обычно прячутся именно там.

— Уже достали цветную? — мама видит

на стене фотографию Гагарина, ахает.— Папа, наверное, принёс? — смотрит на Гагарина нежно, влюблённо, сразу становясь моложе, беззащитнее, повторяет, наверное, в сотый раз.— Всё-таки я думаю, что его специально выбрали такого... с такой улыбкой! Всё-таки первый человек в космосе должен быть необычным человеком!

— Про Тёркина скажи! — подталкивает Колян.

— Что, Коля?

— Про Тёркина!..

— А...— мама вспоминает.— Да Надя уже знает, наверное. Уже все знают,— ей не очень хочется откровенничать с ребёнком, но сын! — Как за границей накануне полёта объявили... не прямо двенадцатого, а накануне, что в Советском Союзе будет запущен в космос первый космонавт Василий Тёркин. Не помню, кто рассказывал.

Колян удовлетворен.

Надя садится за инструмент, открывает ноты:

— Каватину?

— Ага, как обычно,— мама опускается на стул.

Колян садится тоже и берется за ложку. Лицо у него ничем не примечательное, только нижняя губа толстая и треснутая пополам.

«Губку!» — показывает ему мама пальчиком.— «Губку поближи!»

И Колян облизывается.

Надя отстукивает каватину, Колян ест ритмично, аккуратно, под та-та-ти-та-та, та-та-ти-та-та. Мама замирает на некоторое время, глядя на сына так же нежно и удивленно, как на Гагарина, успокаивается, снимает со взмокшей головы чернобурку и подпевает каватине высоким дрожащим голосом, «под Орлову», не видя, что сквозь тюль с балкона корчит ей в спину страшные рожи Лухин.

Людка дергает его за рукав, волнуется: шуметь нельзя — увидят.

— Пряха! — шипит Елунин, нависая на перила.

Все трое шипят и машут руками, не решаясь вслух позвать Пряхина — в белой рубашке с тремя красными нашивками на рукаве. Он бежит в сторону парка.

— А пошли? — неожиданно решается Лухин.

— А эта? — кивает Людка на маму Артамонова.

— А!...— Лухин машет рукой, и компания бежит через комнату к выходу.

Вскрик!.. Ах!..

Каватина — к чёрту!..

Парк в сто раз больше, чем квартира. Суббота, вечер, весна, поэтому публика

входит и входит непрерывно в деревянные, крашенные зелёным, ворота. Габардиновые пальто, крепдешиновые платья. Музыка из репродукторов с детским хором с эстрады попеременно.

Публика гуляет по кругу.

Все знакомы, все здороваются и смеются от того, что утром уже виделись и опять встретились, и опять поздоровались!..

— Ложись! — командует Пряха, и Елунин с Лухиным с удовольствием кидаются на землю. — Вперед на кирху!

— На что? — не понимает Лухин.

— Вон! — Пряха показывает на старое заброшенное строение внутри парка. — Это кирха! Там расстреляли нашего радиста! Из десанта! Мы должны доставить труп! Не наследи!.. — Бежит по кустам, стреляя по сторонам деревянным пистолетом. — Гады! Наши не сдаются! Вы его и мёртвым не получите!

Лухин и Елунин бегут рядом, перебежками. Свет в парке ещё не зажжён, поэтому обстановка что надо: полутемно, таинственно, свободно. Людка бежит за мальчиками расчёсывая на ходу исцарапанные кустами колени.

Чтобы попасть к «кирхе», надо перебежать аллею, по которой идут гуляющие. Компания прячется, перебегает с места на место и не видит, что у ворот стоит Надя Андреева. Рядом с ней виолончелист Кривошеев с виолончелью. Надя видит предавших ее гостей, игру, нашивки. Ей обидно.

Она подходит к завучу, которая медленно, нарядно идёт по кругу в общем плавном движении, и докладывает ей:

— А почему Пряхин только звеньевой, а нашил три нашивки? Вон!

Завуч выслушивает, не останавливаясь, не отвечая даже кивком, плывёт дальше.

— Ту-дух!.. Ту-дух!.. Ту-дух! — Пряхин отстреливается по сторонам и решается наконец перебежать аллею.

Завуч едва заметным движением останавливает его — и тут, как назло, в парке зажигается вечерний свет, и парк сразу становится нарядным от полупрозрачной, по-весеннему редкой зелени.

— Это кто у нас председатель совета дружины? — громко, нараспев спрашивает завуч. — Вова Пряхин? А как это я ничего не знаю? Наверное, мне не успели доложить, а, Пряхин?.. Здравсте, Елена Александровна! Ой, виделись!

— И опять поздоровались! — смеется учительница.

— А у нас с вами, оказывается, новый председатель совета дружины, — докладывает завуч.

— Пряхин? — и учительница смотрит в лицо Пряхе.

И ее муж тоже смотрит на Пряху: он

муж, ему интересны дела жены.

— А что, Пряхин, — продолжает завуч громко, для всех, — твой папа тоже носит чужие ордена, да? Чужие грамоты себе присваивает, да, Пряхин?.. Нет, уж ты не убегай. Раз уж ты присвоил себе такое высокое звание, так, наверное, чтобы все полюбовались, а, Пряхин?

— Он не подумал, наверное, и пришел, — предполагает учительница.

— Мы ждём, — завуч не шевелится.

Пряха молчит, не видя — чувствуя на себе взгляды гуляющих, среди которых наверняка есть знакомые. И гуляющие приостанавливаются вокруг, потому что аллея занята... На глаза Пряхи быстро-быстро набегают слёзы.

— ...исполняют! — кричит с эстрады белый фартучек. — Виолончель — Вова Кривошеев! Аккомпанемент — Надя Андреева!

— Сначала нашивки нашил, а теперь плачет. Иди, герой! — усмехается завуч.

Пряхин несётся к выходу, и завуч, чтобы поставить точку, кричит вслед:

— И до понедельника нашивок, пожалуйста, не снимай! Пусть вся школа полюбуется! Слышал меня?!

Виолончелист Кривошеев бьёт смычком по струнам, Надя — по клавишам, и уверенный энергичный Черни заполняет раковину эстрады.

— Они после Гагарина все команды! — смеётся кто-то.

Нашивки срезал отец. Ножницами, большими, портняжными. Одну, вторую, заодно и третью.

— А если в понедельник опозорят, я приду и скажу спасибо! — голос у отца оглушительный. — Заработаешь — пришьёшь! Или вообще не лезь. — Бросил ножницы на стол, сунул руки в карманы, расстроился. — Но чтобы моего сына склоняли на весь посёлок — не было такого! А извиняться перед ней будешь!.. Потому что раз это не твоё звание, значит, есть люди, которые заслужили!.. — совсем расстроился, посмотрел на сына. — Понял меня?

Пряха молчал.

— Я спросил: понял меня?!

Пряха молчал. Он знал, что будет завтра.

Завтра было воскресенье.

— А Коля дома? — На пороге квартиры Артамоновых стояла Людка. Лица в темноте подъезда не видно, только серёжки сверкают.

«С добрым утром, дорогие товарищи!» — ласково приветствует радио.

Наталья Аркадьевна бросила тряпку в таз, вытерла руки о фартук, помолчала:

— А зачем тебе Коля, здрассте, во-первых.

Колян выбежал на разговор и тоже удивился. Людка молчала, Колян понял:

— Чо встала? — вытолкал мать в комнату.— Иди отсюда!

— А на маму можно кричать? — возмутилась мама.

Колян вышел к Людке, закрыл за собой дверь.

— Пряха сказал, чтобы ты компаса дал,— доложила гостья.

— Зачем?

— Он из дома убегает. Только матери не говори.

— Сейчас! — Колян побежал в комнату.

— Куда, куда?! — Мать понеслась следом, стукнула в дверь к отцу.

— Отвали! — крикнул ей Колян, побежал с Людкой, на ходу одеваясь.

— Коля, я не разрешил!..— вдогонку донёсся голос отца.

— Его вчера отец выдрал,— рассказала Людка на ходу.— Он в Африку бежит. Потому что на Кубе революция уже была! А компаса нет!

Во дворе ждал Лухин:

— Принёс?

— Я сам! — Колян зажал компас в кулаке.— Я ему покажу, как пользоваться, он же не знает! Компас-то трофейный!

— Сначала будем пистолеты перезакопывать,— сообщал на бегу Лухин.— А еду уже собрали.

— Уедет — и Фиделя не увидит! — переживала Людка.

— А за что его?

— Завучиха поймала. Он нашивки нашил, как у председателя!

— И затмение солнца не увидит! — переживала Людка.— Уже через два месяца!

— Он такой бинокль куздрял! — восхитился Лухин.— С закопченными стёклами, специально для затмения! Потому что когда затмение, если на солнце посмотришь — ослепнешь!

— А я ему адрес напишу, он приедет — и компас вышлет! — радовался Колян.— Когда ему уже не нужно будет! — Его несло и подбрасывало от счастья: он бежал к самому Пряхе, он участвовал!..

Пряха рыл новую яму, чтобы перепрятать туда из старого тайника сделанные когда-то или же просто необходимые вещи: деревянные пистолеты, автомат, ракету с надписью «Гагарину», железяки на всякий случай, замки...

Колян помог перенести и перезакопать арсенал.

Посмотрел в колодец, сказал туда «Ух!», и колодец отозвался.

Проскакал через грядки специально так, чтобы не наступить ни на одну.

Потрогал еду, которую Пряха брал с собой,— и сборы кончились.

Пряха сидел за домом, с рюкзаком у ног, с компасом на руке — и не уходил.

— Ну что? — спросил Лухин.— Пора?

Пряха молчал.

— Завучиха дура! — сказала Людка с сердцем.

Бесполезно.

Колян напрягся и тоже придумал:

— А если бы он с завучихой в одной квартире жил, можно было бы нитку под простыню подложить, а когда она ляжет — тянуть!

— Ну он же не живёт! — возмутилась Людка.

К дому пошла мать с ведрами, облила себе босую ногу в тапочке, остановилась, сморщилась от холода и тяжести. Увидела сына из-за угла дома, сощурилась на солнце, и было непонятно: щурится она или улыбаётся. Позвала:

— Иди исть-то, Вова!

Пряха отвернулся, раздул ноздри. Ещё секунда — и придётся уйти обязательно, чтобы не плакать на виду.

— Может, за Елуниным сходить? — наконец правильно придумал Лухин.— А то он даже не простился! Сходить?.. Пять минут! — И побежал по огороду на улочку, свернул — мимо бани, мимо деревянных лотков на углу.

А Елунин был в бане. Он был очень маленького роста, поэтому мама до сих пор мыла его в женском отделении. Они уже помылись и одевались теперь красные, мокрые, оба — в платках, сосредоточенно, молча, стараясь не оглядываться по сторонам, успеть уйти незаметно.

— Чо копанся?! — прошипела мать.

Напротив, на деревянной подставке, подпирая мощным телом дверцу шкафчика номер восемь, накрыв голову чистым широким полотенцем, сидела та самая завуч, что вчера при всём народе так опозорила Пряху. Сидела уставшая, помытая, счастливая, сдувала, оттопырив верхнюю губу, воду с носа, скатывала по ногам катышки из слезшей от бани кожи, шевелила пятками по деревянной, тёмной от воды решетке. Отдыхала. Лениво вертела головой по сторонам и довертелась-таки:

— Накупались? — узнала маму Елунина.

— Ой, здрассте! — «удивилась» мама.

— Какое всё-таки блаженство,— прого-

ворила завуч и даже хихикнула от того, что так прекрасно себя чувствовала.— Все недельные грехи — долой! За что я люблю воскресные дни... — и не договорила, потому что в щуплой ребячьей фигурке узнала Елунина, ученика четвертого класса «Б» своей школы.

— Как с отцом мыться пойдут, — объяснила Елунина-мама, увидев завучев выпученный взгляд, — или трусы оставят, или чо!.. Вот и моё! Одедся?

Елунин получил тычок в плечо, застегнул боты и пошёл, вежливо кивнув: до свиданья! завучу, которая так и осталась сидеть, подпирая мощным телом дверцу шкафчика номер восемь.

Они быстро-быстро вышли из бани, завернули за угол — и мама выпустила руку сына, согнулась пополам и присела, и закатилась от беззвучного хохота... Разогнулась, набрала воздуху и опять присела и закатилась.

— Чего, Тань? — остановилась около неё подружка, такая же плечистая и румяная, и готовая присесть и ухахатываться.

Когда Лухин вернулся к Пряхиным во двор и пожал плечами: «Не нашёл!..», и Пряхе ничего не оставалось больше, как взять в руки рюкзак, с улицы раздался победный вопль:

— Пря-а-а-а-ха!!! — Со всех ног к нему бежал Елунин, ещё красный, ещё мокрый, в платке и ботах, прямо из бани, с рассказом и показом про завучиху, после которых можно было запросто отменить побег. Кто же теперь будет боятся завуча?

Елунин отдышался — и повторил! Ещё отдышался — и повторил, уже преувеличив, и сразу стало видно, как высоко небо над картофельным полем, какой чёрный свежий лес за дорогой... и оказалось, что ничего нет лучше, чем пинать пустую консервную банку по дороге, падать и убежать от соседки, которая кричит из-за забора:

— Сколько раз на дню вас гонять?!..

Колян Артамонов пришёл домой поздно, грязный и счастливый, и перед тем, как уйти к себе, пнул ногой в дверь Надиной квартиры, откуда неслись вечные дурацкие гаммы.

— ...потому что она обзвонила весь посёлок! — кричал Коляну отец.— И если твои одноклассники не уважают ни родительского комитета, ни его председателя, то ты должен усвоить, что мать для тебя — главный и единственный авторитет!

— Они сами зазвали! — защищался Колян.

— Ну всё, всё.— Наталья Аркадьевна

уже отплакалась и была довольна, что и сын дома, и муж заодно с ней.— Ну-ка не ругаться! Кто тут кричит на ребёнка? — Вытолкала отца из комнаты, стала строга к сыну.— Спокойной ночи не говорю, потому что нельзя так папу расстраивать.

Вышла к отцу, и Колян услышал шепот:

— Главное: не надо обсуждать и напомирать! Он сам всё забудет. Чья тут вина, я прекрасно догадываюсь и не беспокоюсь, потому что эти люди у нас давно на заметке. И на Лухина есть материал, и у Елунина рыльце!.. Я молчала, потому что до поры!.. Давление померим? Ой, губу не помазала!

Она возвращается к Коляну с вазелином для губы и через минуту поёт ему высоким голосом Моцарта:

Спи, моя радость, усни!

В доме погасли огни...

2.

Утро было обычное — и не похожее ни на какое другое.

Потому что на каждой улице, у каждого дома чувствовалось сегодня, что у посёлка есть центр, и центр этот — площадь, на которой стояли каменные трибуны и прикрытый деревянным ограждением строящийся фонтан.

«Уралмаш» шёл на площадь. Нарядный, радостный, на праздник. С площади нёсся шум-пение из репродукторов, люди перекликались через улицу. Те, кто вышел с ночной, домой не торопились. Вторая заводская смена оказалась удачливее: отоспалась, нарядилась.

Пряхин уже был в школьном дворе, разматывал газеты с ходулей. Людка притащила старое отцовское пальто, шапку. Пряха оделся, встал на ходули, оглянулся на друзей: как?

— Хорошо! — сказала Людка.— И ходуль почти не видно!

Лухин обошёл кругом, восхитился:

— А сзади вообще, как взрослый!

— Можно даже к трибуне не подходить: с любого места видно! — радовался Пряха.

— А нас по классам поведут или сразу всех?

Надя Андреева шла к школе молча, совсем не глядясь в зеркала, хотя зеркала и стёкла попадались на каждом шагу. Одета она была обычно, только под формой топорщилась огромная накрахмаленная нижняя юбка.

Она подошла к слепому, который, как обычно, сидел на углу на деревянной катапочке, бросила ему в фуражку на земле де-

нежку, закрыла глаза и сказала что-то про себя: загадала.

Из школы донёсся звонок. Пряха соскочил с ходулей. Пальто, шапку, ходули спрятали в лопатах, побежали к крылечку, едва-едва успели заскочить в дверь — и поняли, что попали в ловушку: школу за ними закрыли на засов.

— На урок! — сказала гардеробщица и встала спиной к двери.

Все, кто учился в первую смену и пришёл сегодня в школу, стояли возле учительской, ждали. Улица за окнами гудела непрерывно, даже с какой-то угрозой. Пряхин толкался по лестнице вверх, слышал:

— ...потому что сказала, что весь завод придёт и кого-нибудь раздавят!

— Прямо «весь»! И не весь! Первая-то смена работает!

— А Сысоев не пришёл!

— Конечно, Сысоев не дурак! Они с Утей на деревьях сидят, он говорит!

— Первая-то смена работает!

— Да слышали!

— А двадцать восьмую тоже не пустили?

— А я не пойду на уроки, я не дурак!

— Да подумаешь, что там смотреть?

Я бы и так не пошла.

— Ну дайте пройти!..

Пряхин пробился к учительской, где на дверях уже висел Елунин и докладывал:

— Кричит... Ну тихо!.. Кричит...

Директор в учительской говорила резко, категорично, стучала костяшками пальцев по столу, потом, оборвав фразу, вышла в замолчавший коридор и выкрикнула:

— До конца уроков ни один ученик из школы не выйдет! — И пошла вниз, к входной двери.

— А ты сама?! — за ней выскочил седой физик без ноги, с красным, как свекла, лицом. — Не бегала?!.. А Папанин?!.. А победу мы?!.. А этих — скальпировать?!.. — Его тронули за рукав. — Плевал я на твоё рено!.. — Он не умел вести себя педагогично, поэтому стукнул костылём по стене и приказал: — Восьмой «Г», пожалуйста, на урок! Штаны протирать! Вам учиться велено! — И школа взывала возмущённо, нагло, обиженно.

— Никаких! Ни-ка-ких! — кричали учителя, расталкивая учеников по классам.

— Наврала, да? — орал на Елену Александровну Лухин. — Наврала и рады, да?!

— Кто тебе врал?! — надрывалась учительница. — Ты кто такой?! Тебе кто давал права так со мной разговаривать?!

— Тиха-а в лесу! — орал кто-то истошно. — Толь-ка не спит барсук!..

Уборщицы закрывали фрамуги в классах. Пряха с Елуниным сорвались вниз, пронеслись по первому этажу, где директор, как будто не надеясь на засов, держалась за него одной рукой и говорила старшеклассникам то, что должна была ответить физике без ноги:

— Потому что я отвечаю лично! За каждого! За тебя! За тебя! За него!..

Старшеклассники ели её ненавидящими глазами, не оглядываясь на окна, за которыми шли и орали возбуждённые люди, перекрывая вопли репродукторов.

Пряхина с Елуниным поймали в туалете, повели наверх, по пустому уже холлу второго этажа, втолкнули в класс, где Елена Александровна стучала по доске указкой и не могла начать урока, потому что с Надей Андреевой случилась истерика. Она лежала головой на парте и рыдала навзрыд. Колян Артамонов сидел рядом с Надей и хихикал на всякий случай, чтобы показать, что он не при чём, что он не понимает, как можно!..

— Приготовились, — каменным голосом объявила Елена Александровна.

И вдруг в класс вошла мама Коляна Артамонова. В классе сразу стало тихо, шум за окнами звучал сладко.

— Сидите-сидите! — сказала она, не давая классу встать, пошла к учительнице, пригнувшись, как ходят в кинозале, по пути покачала головой на Пряхину. — А Вова Пряхин опять провинился!.. Я хочу Колю забрать, здравствуйте, Елена Александровна. Заболела тётя мужа, и некому отвезти продукты. Коля, иди!.. А я поехала по делам родительского комитета, у нас, знаете, и председатель, и курьер! Извините, ради бога: лежит одна, плачет... Какие сегодня все нарядные! — вставила, чтобы не дать учительнице опомниться.

— Ну неужели было нельзя?.. — учительница покраснела. — Я недовольна!

— Ой, я так разволновалась. — Артамонова пошла на выход, не стараясь даже врать как следует, просто скорее уйти. — Спасибо, Елена Александровна!.. Сидите-сидите! — И Пряхину: — Нельзя баловаться!..

Колян ушёл, не увидев, с какой ненавистью смотрит ему вслед Пряха.

— Бегом! — шепнула мама.

Колян шел по пустому коридору и слышал, как бунтовали внутри классов запертые ученики. Только в кабинете физика было тихо и слышно было только физика:

— И закон Ома! Дает нам возможность!.. — он говорил резко, отчётливо, вколачивал, как будто закон Ома был сейчас единственно существующим законом.

Они с мамой прошли милицейский заслон, показывая направо-налево пропуск. Мама

цепко держала сына за руку, он так же цепко отвечал ей, потому что площадь уже приближалась, репродукторы пели громче, люди вокруг были радостнее, краснее, возбуждённее.

Им с мамой были отведены места на нижней трибуне, почти рядом с толпой, но всё-таки на трибуне! Колян смотрел на кипящее перед ним море голов и не мог выдохнуть: такое это было горячее и восторженное море. В школе, в парке — нигде он ещё не видел так много людей. Он сам был трибуна, головы улыбались и ему тоже.

Мама стояла за ним, и лицо у неё было такое, как под Новый год, когда раздавался звонок в дверь и на пороге показывался кто? Дед Мороз! Ещё кто? Снегурочка!.. Колянчик, к тебе гости!

— Что? — кивнул Коляну кто-то, кому было всё равно, кому ещё кивать.

— Что? — так же кивком ответил ему Колян.

Тот засмеялся, показывал почему-то назад, Колян не слышал, не понимал, не шевелился, только улыбался во весь рот и ждал, ждал...

Он не успел увидеть, как именно Фидель взошёл на трибуну, он увидел и услышал только яростно-восторженный крик, перешедший в слово «Вива-а-а!!!», он развернулся назад и сам заорал, и поднял вверх согнутую в локте руку, как Фидель, и орал ему снизу: «Вива! Вива!» И впервые в жизни ощутил жгучий восторг от слияния с толпой, и его не унизило это слияние, потому что Фидель вскинул руки и кричал с ним, с Коляном, вместе, и Колян чувствовал животом, волосами на голове, что он — каждый, что он — есть, что он — не один...

Мама стояла за ним и плакала, как будто была сейчас на другом празднике, где надо было плакать.

— Кричи! — дёрнул её за руку Колян, она закивала, зажала рот рукой и качала головой в стороны, захлёбываясь слезами...

Её не было слышно.

Потом они шли по пустой площади. Мама шаркала ногами, как старушка. Папа, маленький и толстый, ещё ниже и толще жены, относил папиросу далеко в сторону, стряхивал пепел. Глаза его покраснели, губы тряслись:

— У нашей мамы погибли все, Коля, все!.. Ты ещё мальчик, но когда-нибудь она расскажет...

— А что сейчас-то плакать? — возмутился Колян.

— Она вспомнила.

— Не говори... — Мама дёрнулась, не обернулась, опять заплакала.

И ему опять не рассказали чего-то главного, во что верили, за что страдали...

Он увидел, как Пряхин с одноклассниками жгут ходули в школьном дворе, и выдернул руку из руки отца: ему стало неприятно, что его ведут, как маленького.

Пряха на Коляна не смотрел, не оглянулся, никому ничего не сказал, не крикнул. И никто ничего не сказал, только один, незнакомый, самый маленький пацан сел на велосипед и, с трудом раскрутив педали, не доставая до сиденья, враскачку, переваливаясь всей тяжестью тела из стороны в сторону, отъехал от костра куда-то во дворы — и вдруг неожиданно оказался сзади Коляна, пронёсся мимо, шаркнув его велосипедом по штанине. И уехал, тоже не оглядываясь и даже как будто нарочно замедлив ход.

А в воскресенье у Надиной мамы собрались сослуживцы. Пришли днем, пели «Геологов», шумели, смеялись.

Надя стояла на балконе не двигаясь. За балконом всё было как всегда, только без солнца, и потому серо, мерзко. Убого.

— Нет, я без музыки не могу! — говорили гости.

— Разбаловала нас Надюша.

— А мы всем своим КБ споём!..

— А Надя сегодня, перед тем как поиграть, — объявил мамин голос, — прочитает нам свои стихи, которые она написала специально к приезду Фиделя Кастро!

— Да ты что?! Что называется: ни в мать, ни в отца!

— А что: будет свой заводской поэт. Нет, какая молодец!..

Мама вышла на балкон:

— Надик, все готовы, — присела около дочки. — Пошли? Я уже объявила.

Надя отвернулась.

— Просим! Просим! Просим! — скандировали гости.

— Ты что, стесняешься? А там все свои: Харитоновы и тётя Тамара с Валерой. И папа... Ну хочешь, я сама почитаю? Почитать? Как там начинается? «Фидель! — гремит газета», да?.. Надя! Специально в воскресный день пришли гости...

— Стихи-то плохие! — сказала Надя шёпотом.

— Что, Надик?

— Плохие стихи-то! — повторила Надя с раздражённой улыбкой.

— Ну вот, — мама растерялась. — Когда писала, были хорошие, а теперь плохие? — Не сообразила, что ещё сказать дочке, высунула голову в комнату. — Поэтесса сказала, что стихи плохие!

— Вот это самокритика! — заговорили гости. — Сама сказала?

— Лучше Пушкина не напишешь.

— Да мы же свои!..

— Давайте попоём пока?

— Надя, — мама опять присела. — А я хотела своей дочкой похвастаться. Голова не болит? — потрогала лоб. — Кровь больше не шла носом?

Молчание.

— А мальчики к тебе больше не ходят? Что-то я давно никого не вижу.

Бесполезно.

— А вот ты с ними дружила, — мама нашла нужный тон, понизила голос, — а они, знаешь, что делают? Они над Колей Артамоновым издеваются. Да. Он тебе не говорил? Ручки об него вытирают, дразнят, тетрадки вчера вытащили из сумки.

Надя слушает внимательно, оживает.

— Я тебе не говорила, но на Петю Лухина уже целое дело заводят. Давай: я тебе разрешу их пригласить, и ты с ними поговоришь. Давай? Всё, я тебе разрешаю. Но только для разговора, да?.. Поиграешь нам?

И «Геологи» теперь поются под аккомпанемент Надиного инструмента, сдобренные щедрой педалью.

3.

На балкон не выйдешь — на улице дождь. А дом занят. В большой комнате гости: виолончелист Кривошеев и Людка. Кривошеев играет Людке на виолончели эстрадные мелодии, Людка не слушает, думает, что бы заказать следующее.

— А руды-руды-руды-рык можешь?

Кривошеев думает секунду, кивает и подбирает «руды-рык», исправляясь на ходу.

Надя сидит в маленькой комнате, переживая бешеное раздражение против гостей: она не понимает, почему эти чужие люди ходят именно к ней и занимают всю её квартиру.

Людка заходит к Наде, присаживается рядом, чувствует неладное, косится на Кривошеева:

— Надоел со своей пилой!.. Ну где парни-то?

Надя вырывается, идёт на кухню.

Из ванной комнаты вываливается завуч, красная, мокрая, с выстиранным бельшком:

— Накупалась, настиралась, вот спасибо. — Садится на табурет, не решаясь развешивать бельё, прячет его в сумку, расчёсывает мокрый перманент. — Всё-таки была бы моя воля — я бы дала медаль тому, кто изобрёл стиральную машину!.. И чай готов. Маму, наверное, не дождусь, передай спасибо большое. Как мама? Работает?

Надя кивает: работает.

Завуч кладёт в стакан сахар: один, два, три, четыре, пять кусков. Разговаривает

лениво, расслабленно:

— Какая радость была, когда карточки отменили! Вы не знаете, у вас другая жизнь. Вам надо учиться, и всё у вас будет... — Разворачивается к окошку так, что табурет под ней трещит. — Опять дождь. Наверное, маму дождусь... Хлебушка подай!

Надя идёт в комнату. Кривошеев, покраснев от напряжения, остервенело выводит какую-то трель очередного музыкального номера.

Надя выходит на лестницу, с силой хлопнув за собой дверью.

На лестничной клетке — Колян Артамонов пинает в дверь своей квартиры.

— Ты что? — спрашивает Надя.

— Ушла — дверь закрыла. — И Колян вдруг выкладывает сразу всё: — А чо Пряха компас не отдаёт? Я ему давал, когда он из дома убежал. Я ему сказал: отдавай компас! А он говорит: я Лухину отдал. А Лухин говорит: иди, мамаше жалуйся. Говорит, я с предателями не говорю!.. А чо я сделал? Что ли, на Фиделя ходил? Нам пропуска дали! А Елунин деньги отбирает! А компас-то трофейный!..

Надя, не дослушав, заскакивает в квартиру, хватая с вешалки пальто и, не заботясь о гостях, летит на улицу:

— Пошли! — У неё появилось дело, она нужна, она может помочь!

Колян бежит следом, с каждым шагом обретая уверенность в собственной оскорбленности:

— И главное, говорят: «Маменькин сынок!».. Им школа бесплатные завтраки назначает, а они?..

Вот они уже в слесарной мастерской. Надя гневно, убежденно говорит что-то Пряхину, показывает на Коляна. Пряха слушает, бросает нехотя на верстак деревяшку, обитую железом, идёт за Надей.

— Он же тоже человек! — Надя говорит убежденно, как надо, и от присутствия Пряхи как будто успокаивается. — Надо же извиниться хотя бы! Ты знаешь, где Лухин живёт? Пошли, если компаса не найдём, придется деньги собирать, хотя бы часть! Это же чудое!

На улице дождь, весенний, дурной, буйный от собственной силы, но дело есть дело, идти надо! Они перебегают от подъезда к подъезду, они держатся за руки, когда перепрыгивают через лужи, они прижимаются к стенам домов, чтобы не вымокнуть насквозь, они не разговаривают — кричат, потому что плохо слышно из-за дождя и бега.

— А ты что сейчас делал в мастерской?

— Да это замок! Замок хотел на кирху навесить!

— На что навесить?

— На кирху! В парке!.. Агас!

Грузовик съезжает в лужу и поднимает вверх целое море воды. Вода падает на них, они кричат, смеются. Бегут дальше.

— А что можно сделать в мастерской за деньги?

— Чо?

— Например, если всем классом что-нибудь делать, чтобы продавать, чтобы деньги отдать за компас?

— Чо?.. Вон кирха! Отсюда плохо видно. Такая, деревянная! Ты видела, просто не помнишь!

— Ну! — кричит сзади возмущённый Колян: его забыли.

Они смеются и возвращаются, и помогают ему перебраться через воду.

— Чуть не утонул! — Надя счастлива, дыхание свободное, полное. — А ты когда-нибудь тонул? Я не тонула!

— Не-а! А тонут не от усталости, а от холода! Или от судорог! Надо с собой булавку брать и втыкать, если сведёт. Я на Балтыме видел, как один мужик тонул!

— Не мужик, а мужчина!

— Во, уже повесили! — Пряха бежит к стенду с фотографиями, радуется. — Новая модель! Наши ремесленники придумали!

Они смотрят на фотографии новой модели шагающего экскаватора.

— Сами ремесленники? Это тебе папа сказал? А я не знала!

Они подпрыгивают и видят в окне ремесленного модель шагающего экскаватора и Пряхиного отца, который смеётся о чём-то с другими мастерами, они фыркают и убегают от окна, чтобы их не заметили.

Они идут спокойнее, потому что дождь перестал сыпаться с неба и катится теперь по канавам между дорогой и тротуаром. Они забывают про Коляна и слушают друг друга. Они воодушевляются, захлёбываются, потому что их переполняют открытия и проблемы, и так похоже они думают, и так много успели накопить, как будто специально для сегодняшней встречи.

— Я тоже думал, что слепой, а один раз проверил: встал рядом и стоял. А он мне сказал: иди, что встал!

— Потому что они чувствуют!

— Да у него глаза дрожали, я смотрел!

— А я маленькая думала, что он волшебник!..

— Волшебников не бывает.

— А ещё, знаешь, я заметила, вот словарь! Французское слово одно, а наших на него несколько! Понимаешь: у них всего одно слово, а у нас так богато словами!

— А в прошлом году бабка приезжала, меня в церковь водила!

— Ты что, верующий?!

— Ты что! Она силой!

— Я ненавижу верующих, а ты?!

— И я!..

Выдохнули.

— А если бы ты жил в войну, ты бы кем был?

Помолчали перед уралмашевской гостиницей, потому что гостиница называлась «Мадрид».

Зашли на площадь, где уже закончили, но ещё не открыли каменный фонтан сразу за трибунами. И фонтан вызвал восхищение:

— ...потому что вот за школой ещё лесопилка, а здесь уже каменный фонтан!..

А когда кончились слова, они просто пели «Бухенвальдский набат», а когда Колян запел тоже, они вздрогнули и оглянулись, и удивились, что он здесь... И Надя сказала только:

— Оближи губу! — и счастливо улыбнулась.

Они поднялись по лестнице двухэтажного деревянного дома, в котором оказался ещё один, чердачный, этаж с косым потолком — там жил Лухин.

Они застали дома Лухина и его старшего брата, которому Надя выложила историю с компасом.

— А ещё,— она не отошла от восторга и воздуха, поэтому говорила с праведным восторженным гневом,— у Коли компас взял, а сам его обзывает маменькиным сынком! Он же не виноват, что у него такая мать!.. — И не закончила говорить, как старший Лухин встал с табуретки и ударил брата так резко и оглушительно, что тот отлетел за кровать, хватился за лицо, завизжал.

— Будешь ещё обзываться?! — крикнул старший Лухин, пошёл на него.

Табуретки, консервы, бутылки посыпались под ноги на грязный пол, и захотелось крушить и бить ещё, ещё...

— Пошли! — Пряха тянул Надю на улицу.

Они выкатились наружу.

— Что ты лезешь?! — кричал Пряха. — Я сказал: если пьяный! — не лезь!

Из подъезда выскочил младший Лухин:

— А чо?! Он сам компас взял — и бьёт! — плюнул, вспомнил. — Артамонов, сука!.. — поискал Коляна глазами злобно, обещающе.

— Я не заметила! — сказала Надя.

— Иди, больная! — Лухин развернулся, ушёл с Пряхой.

Наде было страшно: она хотела добра, а получилось страшно, дико, несправедливо.

Кусты за ней зашевелились — выскочил Колян. Он тоже впервые в жизни видел, как били человека. Он побежал к дому, задел

головой подстриженный куст акации, ша-
рахнулся в сторону, толкнул кого-то, обер-
нулся.

Колян чувствовал затылком, спиной, что
на него смотрят, обернулся.

Класс писал. Елунин с Лухиным сидели
тихо, согнув головы над партой.

Он посидел немножко над тетрадкой и
обернулся ещё. Лухин с Елуниным увлечен-
но шептались между собой, не глядя на
Коляна.

— Да Коля же! — удивилась Елена Алек-
сандровна.

Он понял, что надо бежать домой, и быст-
рее, потому что Елунин открыл после уроков
перед ним дверь и пропустил вперед:

— Пожалуйста, выходите!

Он шёл по коридору, чувствуя Елунина
за своей спиной. Его остановила Елена
Александровна:

— Ой, Колючка, забыла: а Надя где се-
годня? Не заболела? Коля!

Колян не отвечал, смотрел на учитель-
ницу бессмысленно и тупо, потому что Лу-
хин с Елуниным обошли их и побежали
вниз по лестнице.

— Ты зайдёшь или мне звонить? — удив-
лялась Елена Александровна. — Зайдёшь?
Или звонить?

Колян кивнул и пошел, потом побежал,
не заходя за пальто в раздевалку, куда
рвалась первая отучившаяся смена.

За ним никто не гнался, но теперь он
точно знал, что его будут бить.

Поймали его во дворе — он не успел.
Бил Лухин.

Бил молча и точно, как его самого —
брат. Много, через почти равные паузы,
как будто в голове у него играло какое-то
та-та-ти-та-та, только замедленное.

Колян вскакивал, кидался на Лухина —
и опять улетал в ящики. Его били в узком
пространстве между трансформаторной
будкой и пустыми деревянными ящиками
из гастронома. Гастроном занимал весь
первый этаж, и во дворе поэтому всё время
ездили грузовики «Молоко» или торговали
ящиками продавщицы в белых замасленных
халатах. Сегодня было пусто.

Елунин стоял на стрёме, а когда понял,
что хватит, сказал:

— Пряха сказал, не бить. Пошли.

— Ах вы! — к ним шла кладовщица из
гастронома.

— Атас! — крикнул Елунин, они побе-
жали.

Кладовщица нагнулась к Коляну:

— Чей-то? А... Паразиты! А чо мамаша
не смотрит? Ни одного дня в жизни не
отработала, а за ребёнком смотреть не-
кому?..

Колян оттолкнул её, выкрикнул ей руга-
тельство, побежал домой.

Он умылся под краном, сел в кресло.
Дома было тихо, красиво, темно от крас-
ных плюшевых занавесей на окнах. Он си-
дел под трофейной картиной, не плакал.
Он заметил, что наследил на ковре, тоже
трофейном, спохватился, вытер ногой пятно.
Пятно стало ещё темнее.

Он побежал на кухню, схватил бутылку
из-под шампанского, набитую гривенника-
ми, бросился из дома, оставив дверь откры-
той.

Он побежал к тем, кто его бил: сначала
к Елунину, потом вместе с ним — к Лухину.
Елунин выслушал недоверчиво, не пони-
мал, а когда понял — восхитился, поверил
сразу, переспросил:

— А какая кладовщица? Которая к нам
подходила?

Колян кивал, звенел бутылкой.

— А когда взяли? В детстве? Бежим
к Лухину!.. А отец тоже не родной?

— Конечно!

Они пришли к Лухину.

— Луха! — сказал Елунин. — Он детдо-
мовский! Деньги есть! Идёшь?

Колян стоял за Елуниным и умоляюще
смотрел на Лухина.

Они ответили Коляна в «кирху», закрыли
снаружи палкой.

— Пряхе скажи: пусть рано не прихо-
дит! — крикнул из «кирхи» Колян. — А то
увидят!

Пряха, мокрый от ботинок до затылка,
«куздрял» насадку для фонтана на площади.

— Пряха! — заговорили вместе. — Арта-
монов из дома убежал!

— Он думал, что он родной сын, а он
детдомовский!

— Ему, знаешь, кто сказал? Кладовщица
из гастронома!

— Его взяли, когда он ещё ничего не пом-
нил, потому что у Артамоники все погибли,
а она старая, и рожать не может!

— А денег навалом! — уже от себя доба-
вил Елунин.

— Он в кирхе будет жить, сказал, рано не
приходить, а то увидят!.. Чо куздряешь?

— Да насадку! На фонтан! На пло-
щадь. — Пряха был разозлён неудачей с
новой затеей. — Фильтры вставить — и вода
будет разноцветная! А стёкла от напора
вываливаются!

— А гвоздями?
— И так гвоздями! Не видишь? Напор, знаешь какой!
— А ты на чём пробуешь? На колонке?
— Ну. Подержи.

Колян ждал.

Он был счастлив, как изголодавшийся влюблённый, которому предстояло сладкое свидание.

Чтобы понравиться Наде Андреевой, надо было стать несчастным. Чтобы победить Пряху, надо было стать героем. Он стал и тем, и другим. А от того, что он живёт именно в «кирхе», придуманной Пряхой, он ждал ещё большего уважения к себе. Кроме того, теперь-то его уже точно больше не будут бить.

Он порвал ботинок о гвоздь в полу, поднял воротник у курточки, сунул руки в карманы, сел на пол, плюнул — сделал всё то, чего было делать нельзя. Его ещё немножко трясло от неожиданности, но чувствовал он себя почти свободно. Он посмотрел через дырку в стене на мороженщицу и передразнил:

— Сама жри! — и засмеялся.

Вернулись Лухин с Елуниным.

— Куда идёте прямо через кусты! — зашипел Колян.— Милиции навалом!

— Пряха не может. Он насадку куздряет.— Лухин пошёл по «кирхе».— А чо здесь есть?.. А мы играли, как будто здесь покойник лежит.

— Еды надо купить! — озабоченно сказал Елунин.— На, как одеяло,— сунул Коляну тряпья.

— Надо деньги посчитать,— предложил Колян.— На сколько хватит.

Высыпали из бутылки десятикопеечные монетки, считали, откладывали в сторону старые, прошлогодние деньги.

— Жалко, надо было с собой, знаешь, что взять? — подумал Лухин.— Велосипед! И фотоаппарат!

— «Взять!» — возмутился Колян.— Я бегом! Ещё хорошо, её дома не было, а то как бы я? Она бы увидела!

— Ещё старый... — считал Елунин.

— А старыми звонить можно,— предложил Лухин.— Мы новые заберем, на еду.

— Только быстро! — приказал Колян.— Жрать охота.

— Семь рублей девяносто копеек без старых,— сосчитал Елунин.— По-старому восемьдесят почти!

— Значит, колбасы,— заказал Колян,— ситра, яблок. Спички.

— Спички на,— Елунин бросил Коляну спички.

— Ну, чо есть, то и купите,— решил Колян.— А потом можно позвонить и выкуп потребовать!

— Пошли, гастроном закроют! — всполошился Лухин.

— А Пряха что, ночью придёт?

Лухин с Елуниным уходили.

— Луха, Луха! — вспомнил Колян.— Андреевой не говорите! А то заложит!

— Ладно,— согласился Лухин.

— А Пряха пусть оружия принесёт!..

Он хотел узнать, сколько времени — искал удобную щель в стене, чтобы увидеть часы на столбе. Были уже сумерки, и часы всё равно были отвёрнуты от него в сторону — времени он не узнал...

Он исчирикал все спички, пытаясь поджечь бревно на полу. Не поджёл...

Погазли фонари, наступила крошечная тьма. Он послушал ночные звуки, ему стало страшно, он вылез из «кирхи», нашел, тыкаясь в деревьях, телефон-автомат, позвонил старой десятикопеечной монетой. Услышал мамин вопль «Алло!!!» Пискнул в трубку «Помогите», бросил трубку и убежал обратно, и заснул почему-то сразу, спокойно...

На следующий день была суббота. Он понял это по тому, как пробовали репродуктор:

— Раз, два. Раз, два. Сегодня, в субботний вечер!.. Нормально. Гаси.

Колян полежал с открытыми глазами и вскочил, потому что вспомнил, где он.

При дневном свете внутренность «кирхи» оказалась совсем неприглядной: мусор, доски, куски штукатурки. Щели между досками были до смешного широкими: видно было почти весь парк.

Колян помочился в угол, вздрогнул, обернулся: ему показалось, что на него смотрят. Он сделал вид, что сидит здесь случайно, пошвыстел, пооглядывался, как будто только что зашёл. Потом не вытерпел и урядкой оглянулся туда, откуда смотрели. Подошёл ближе.

Смотрел Фидель. С фанерного плаката, вывешенного на столбе около пешеходной дорожки. Улыбался.

Колян подумал немножко и опять завалился спать.

Уже почти стемнело. Заговорили репродукторы, зажглись лампочки на деревянных воротах вокруг красного матерчатого приветствия «Добро пожаловать!», и приветствия стало совсем не видно из-за лампочек.

В парк опять сходился народ на вечернее субботнее гулянье. Опять ходили по

кругу, смеялись и здоровались. На танцевальной площадке настраивали инструменты духовики.

На площадку, однако, никто не торопился, потому что в парк пришёл стилига. В узких брюках и жёлтой рубашке, с маленькой бородкой под круглыми щеками — совсем как на картинке в «Крокодиле». Это было поинтереснее танцев.

Поначалу его не заметили. Стилига сидел на скамеечке недалеко от «кирхи». Сидел независимо, но ходить по кругу пока не решался. Крутил головой и делал вид, что не слышит разговоров.

— Смотри-смотри!.. Пальцем нельзя показывать!.. Страсти господни,— говорили те, кто шел по первому разу.

— У сидит!.. Ну зоопарк, и всё. Что же он, совсем себя со стороны не видит?.. Вася, во как надо наряжаться!..— говорили те, кто шёл по второму.

— Ты не из тюрьмы, э? — крикнул толстый, с женой, приостановившись около скамеечки.— А то мы боимся! Вон какую щетину отсидел. А то тут дети!

— Вам-то что? — не выдержал стилига.— Вы идете и идите.

— О, и разговаривает! — засмеялся толстый.

Движение по кругу застопорилось. Стилига напрягся и покраснел.

— Слушай, может его за деньги показывать? Богатые будем! — продолжал толстый.— Борода-то настоящая? Или в цирке взял напрокат?

Публика собиралась молниеносно. Те, кто не знал, в чем дело, тоже шли, пошел и Пряха, сразу, от ворот, побежал, толкался через людей.

Толстый и стилига уже стояли друг против друга, красивые, заведенные.

—...потому что нельзя трогать за лицо! — говорил стилига.— Если вы человек! Вы гуляли — я вас трогал?

— Ты еще помашись! — Толстый запыхтел.— Я тебе тогда помашу.

— А что вы не даете человеку спокойно сидеть?

— А я не считаю человеком такого тунеядца, как ты,— ответил толстый.

— А почему это я тунеядец? Вы что, меня знаете? — взвился стилига.

— А я тебя знать не хочу,— ответил толстый.— Потому что всех вас под одну гребенку вымести и выбросить на помойку, чтобы не засоряли!

Колян метался от щели к щели, чтобы рассмотреть скандал получше, и увидел Пряху. Обрадовался, стукнул по стене. Пряха не услышал. Колян решился: вышел из «кирхи», осторожно, мимо милиционера, пробивавшегося через толпу, пошел за Пряхой, поднимаясь на цыпочки.

—...потому что другое время! — кричал стилига.

— Это какое другое? — цедил сквозь зубы толстый.

— Не ваше!

— Не наше! А чье?

— А наше! — Если стилига и стеснялся поначалу своего стилижьего вида, то теперь держался насмерть.

— А ты кто? — спрашивал толстый.

— А вы мне не тыкайте!

— Да пусть гуляет! — крикнул из толпы какой-то военный.

— А я вас не спрашиваю! — завертелся стилига.

— А меня спрашивать не надо, я сам скажу! — сказал военный.

— Ой, извините! — Стилига разглядел военного.— Извините, я не понял, кто говорит. Я против вас ничего не имею!.. Мне вот этот сейчас договорится!..

— Так, товарищи,— сказал милиционер.

— Пряха! — Колян добрался наконец до Пряхи, прыгнул ему на спину, прорычал заготовленное.— Я покойник!!!

— Чо, совсем, что ли? — Пряха дернулся от неожиданности, потом от неприязни, когда узнал. Ушел вперед, ближе к скандалу.

— Я всю войну на заводе! — кричал толстый.— От звонка до звонка! Чтобы каждое мне!..

— А что я ему сделал?! — кричал стилига.

— А ты мне не тыкай! — кричал толстый.

— А я тыкал? — возмутился стилига.— Я сказал ему, а не тебе! Вы не слышите, так не говорите!

— Прекратить! — гаркнул милиционер.— Устроили тут скандал!..

Стилигу вывели дружинники, движение восстановилось, духовики возвращались на танцплощадку, в парке зажегся вечерний свет.

— Я в сорок четвертом,— говорил толстый, держась за военного и отмахиваясь от жены, почти плача от неблагодарности, несправедливости и от того, что не может словами выразить, что болит.— Я от истощения лежа работал!.. И я был его моложе! — и он был прав, хотя и не умел сказать.— И если бы мне тогда сказали: «Все, время вышло, все!..» Почему?!.. Обезьянам? — Он и вправду заплакал.

Колян сидел в «кирхе» и плакал тоже от ненависти к Пряхе, который сначала не пришел, а потом отмахнулся. Колян цедил сквозь зубы «Ничо!.. Увидишь!...» впервые в жизни, может быть, переживая бессилье.

— А Луху милиционер остановил! Навер-

ное, думал, ты! — В «кирху» ввалились Елунин с Лухиным, с едой, с новостями, такие же, как вчера,— и потому необходимые как воздух.

Елунин посмотрел Коляну в лицо, увидел слезы:

— Ты что?! Мы вчера не могли! Только еды купили — бум! Андреева пришла, с отцом! Говорит: «Честное слово: мы не пойдем в милицию, только скажите, где Коля, а то его мама плачет!..» А я говорю: «А я-то чо?!»

— Андреева приходила?! — Коляну стало жарко, как будто ему вкатили хлористого кальция: его искали!

— А Артамониха телефон раздала,— Елунин вытащил скомканные бумажки с номерами телефона квартиры Артамоновых,— чтобы звонили, если тебя увидят. А завучиха с девками на вокзал ездили. Я у парней телефоны забрал, а девки не дали. Ешь!

— Только колбаса, наверное, испортилась,— сказал Лухин.

Колян ел. Не ел — жрал, глотал колбасу кусками. Не смеялся, а жрал, орал во весь голос, не думая о том, что их могут услышать из парка. Он был счастлив, он чувствовал себя почти так же, как Надя Андреева, когда говорила про словарь и фонтан, потому что он ощущал свою значимость и значимость момента, в котором живет сейчас.

На танцплощадке заиграли фокстрот, оглушительно, зажигательно.

— Главное,— кричал Колян,— надо придумать, как Андрееву вырвать! Чтобы она молчала! Все равно, если ее расколют, она начнет вспоминать и вспомнит! Все равно могут докопаться! Как же, как же...— он взялся за голову руками, мучился.— Можно, знаешь, сказать, что я уже уехал! В Африку! Или в детдом! Я уехал, а вы меня проводили, а какой поезд — не помните! А?!

Репродуктор разразился неожиданно каким-то своим музыкальным номером.

— И еще! Вчера ушли — дверь бревном не заперли! Надо закрывать, чтобы думали снаружи, что никого нет!

— Ты все не ешь,— предупредил Лухин.— Тут на два дня. Завтра фонтан открывают на площади, завтра мы не сможем.

— Плохо, что у девок телефон есть! — сказал Колян.— Вдруг случайно увидят — и позвонят! Все тогда?!

Елунин полез по балке к потолку, Лухин приоткрыл дверь, смотрел в парк:

— Ну где Пряха-то?

— Ложись!

Лухин отпрыгнул от неожиданности, Елунин сорвался с балки, Колян вздрогнул всем телом.

На пороге стоял старший брат Лухина, тот самый, который бил. С пистолетом в руке.

— Дурак! — в сердцах сказал Елунин.

— Чо орешь? — возмутился младший Лухин.— Милиция навалом.

— Испугались? — обрадовался старший Лухин. Прошел в «кирху», выпрямился, ударился затылком о потолок.— Блин!.. Фу, вонища... Серега, иди! —

Впустил в «кирху» еще кого-то, друга. В «кирхе» стало совсем тесно.

— Покажь! — Елунин восторженно смотрел на пистолет.

— Настоящий! — Лухин не дал пистолет.

— Прямо! — засмеялся Елунин.

— Спроси! — старший Лухин кивнул на Серегу.— Давай стрелъну. Знаешь, чо будет? Полпарка перемрет... Стрелънуть?

— Не надо,— улыбался Елунин.

— Серега вчера на Сортировке бабахнул — а там курица в кустах! Все, напололам,— рассказал старший Лухин.— Спички есть? — Прикурил, сморщился, разглядывая Коляна, придвинулся ближе.— Кто? Пряха, ты?

— Артамонов, который из дома убежал. Из нашего класса.

— А...— Старший Лухин был не пьяный, следовательно, добрый. Он отодвинулся от Коляна, сразу забыл о нем.— Ну чо, зови Пряху, пусть посмотрит. Он такого не видал,— покрутил пистолетом.

— А, это у которого отец полковник? — вдруг скопился на Коляна Серега.

— Был! В войну. А он и не отец оказался! — сказал Лухин.

— А точно! — решил Елунин.— Пряху позовем, пистолет покажешь, он скажет: настоящий или нет! На спор! Пошли! — И Елунин с младшим Лухиным выскочили из «кирхи».

Колян остался наедине с Лухиным и его другом. Друг тоже был не старый, но с тонкими волосатыми руками, и это почему-то было страшно.

— Ха, сосунки, да? — засмеялся старший Лухин, когда ребята ушли.

— Зачем рассказываешь? — поморщился Серега.

— Не, Пряха сечет. Куздряльшик. Чо стоишь? Сядь. не люблю, когда стоят.

Колян сел и увидел на руке старшего Лухина свой компас.

— Сегодня Горячева встретил,— сказал Серега.— Говорит: все, с учета снимаем.

— Да ты что?

— Правда,— сплюнул тонкой стружкой, затоптал.— А я думаю: ладно, благодетель.

— Нормально,— успокоил старший Лухин.— Тебе не все равно?.. Чо молчишь? — неожиданно повернулся к Коляну.

Колян замер. Его оглядели внимательно.

— Ой, у пахана плечо болит! — вспомнил у своим Серега. — Такая дыра! Пулю вытащили, а дыра во! Так мучается. Кость задета. Врачи сказали: все, ничего не поможет. Кость гниет. Жалко! — опять сплюнул, затоптал. — Я бы этих фашистов, сука...

На эстраде начался концерт, духовики заиграли следующий фокстрот. Старший Лухин собрал в ладонь остатки колбасы, съел. Коснулся локтем пистолета, испугался:

— О блин!..

— Выложи, а то бабахнет по ребрам, — сказал Серега. — А точно, за такой запросто срок дадут.

— Пфу! Огнестрелка!

— А они точно не протрепятся? — спросил Серега.

— Ты чо?!.. А ты чо молчишь? — опять повернулся к Коляну.

— А еще, — сказал Колян, — Елунин рассказывал, как он в бане мылся, и завуч пришла.

— Да зна-аем, — потянул Лухин, опять внимательно оглядел Коляна. — Ну где они? — вытаршился сквозь щели в досках.

— Сейчас на танцы с пушечкой зайти, да? — засмеялся Серега. — Писку будет!

Они сидели в «кирхе» и занимали ее всю. Пистолет лежал на бревне, а они смотрели в щели.

— Раз завантажировал, но спрятать я не смог! — заорал вдруг Серега, и девушка, шедшая мимо, шархнула от неожиданности.

Колян дождался, когда они забудут о нем, взял пистолет и вышел из «кирхи».

Он верил, что пистолет настоящий.

Он постоял у дерева, дожидаясь Пряху. Стоять было невозможно: его колотило от перенапряжения. Он пошел к аллейке, по кустам. Он поводит дулом пистолета, поднять не посмел. Присел — и тогда только прицелился. В лбы. В затылки. Перебежал в другие кусты и еще прицелился. И замер от неожиданного ощущения того, что, если захочет, сможет убить, ранить. Напугать. Он уже не приседал.

Он увидел на эстраде Надю Андрееву. Она аккомпанировала ансамблю народного танца. Аккомпанировала добросовестно, как будто не играла, а преодолевала инструмент, ритм, гармонию и одновременно отвечала и за инструмент, и за гармонию, и за того, кому аккомпанировала.

Колян подкрался к эстраде и прицелился в Надю. Но ее все время заслоняли танцующие, поэтому ему пришлось подойти совсем близко.

Она подняла глаза, увидела его, ахнула, не поверила. Еле-еле доиграла танец до конца, сорвалась с эстрады — за ним.

Он уже почти дошел до «кирхи», когда Надя догнала его:

— Коля, ты жив! Тебя все ищут!

— Настоящий! — Колян пугнул ее пистолетом и еще раз прицелился.

Она опять ахнула, выдернула у него пистолет и замахнулась, чтобы выбросить его в кусты.

Он вцепился ей в руки, понял, что не справится, толкнул дверь в «кирху»:

— Она пистолет забрала!

Брат Лухина, за ним его друг выскочили из «кирхи». Надя увидела и узнала того, кто бил Лухина, крикнула изо всех сил:

— Товарищи!

Колян успел увидеть, как ее ударили по руке, по лицу, повалили на землю, как она укусила Лухина в руку, как тот заорал, — и Колян со всех ног побежал прочь.

Сердце билось жутко, страшно.

Он прыгал через кусты, расталкивая людей.

Он скакал вверх по лестнице через одну-две ступени.

Он забил кулаками в дверь.

Мать с криком открыла и не дала разговаривать, и не подпустила отца, который ушел на кухню, царапал, тряс клеенку на столе.

— Господи, господа, господа, господа!.. — говорила мать. Лицо у нее было старое.

— Меня били! — Колян дал себя обнять, обнял сам.

Потом она кричала:

— Слава богу, есть закон!.. И я прекрасно знала, что Андреева водит к себе эту подзаборную дрянь! А кто она сама такая — еще надо разобрататься! И я рада, что все определилось, и эти подонки, все эти подонки получат!.. Я терпела, я ждала!.. А если еще и оружие?!..

— Да их вообще надо гнать! — кричал Колян.

Потом отец закрыл мать на кухне, подошел к сыну, аккуратно проговорил, сдерживая ярость, которая только завтра найдет выход:

— Бить тебя больше не будут, это я тебе обещаю. Если можешь — забудь, — сжал плечо, как товарищу. — Сейчас отдохни, а завтра воскресный день, пойдём на открытие фонтана, потом возьмем такси и поедем по городу. Попутешествуем.

Потом Колян сидел в кресле, укутанный в одеяло, с обедом, чаем, зефиром. Смотрел в телевизор, где выступал девичий ансамбль. Девочка, которая аккомпанировала, была старше Нади Андреевой и играла лучше, чем Надя, но тоже очень старалась. Колян смотрел на нее и так и не сказал, что где-то кому-то грозит опасность.

Он сидел взрослый, уверенный.

Вот теперь можно было рассмотреть его

лицо. Ничего особенного, только нижняя губа толстая и треснута пополам.

Он облизнулся.

«Зараза!..» — подумал он. Ругаться теперь не составляло труда, хотя и про себя.— «Зря сказал про кладовщицу... Что кладовщица сказала. А!.. Скажу, что это была другая кладовщица, а лица не помню. Ладно, завтра воскресенье, завтра никто не будет разбираться...»

Он размяк и прикрыл глаза.

Фонтан, который должны были всем «Уралмашем» открывать завтра, был уже готов и даже работал, если включить краны.

Пряха подвел Надю к фонтану, открыл воду. Вода медленно пошла, скашиваясь на сторону.

— А чо ты полезла? Мойся.

— Я думала... настоящий...— Надя подставила под воду разбитое лицо, распухшую руку.

— Да!.. Он пробочный, видно же! Там, в принципе, можно под пистоны переделать...— ему было неудобно смотреть на Надю.

Он подождал, пока она умоется, отключил воду, вытащил из кармана насадку, закрепил ее проволкой, опять вполсилы включил

фонтан. Вода теперь светилась бледно-желтым и розовым цветами.

— Нормально,— сказал Пряха.

Надя кивнула.

— В воскресенье открывать придут, а вода такая!..— Спихватился: так неуместна была его радость сейчас.— В смысле, завтра...

Надя опять кивнула.

— Фильтры слабоваты.— Пряха засветил модную в то время песню:

Есть в Индийском океане остров,
Название его Мадагаскар...

Надя молчала. Она отупела от боли. Ей хотелось сидеть так долго, все время.

— А!..— Пряха махнул рукой и опять полез к кранам.

И врубил фонтан на всю катушку.

Вода выпрямилась — и ударила, толстая, свежая, живая. Асфальт вокруг потемнел и задышал чисто, весело.

Пряха подставлял лицо под водную пыль.

Он не стал ждать воскресного дня. Он открыл фонтан на день раньше, чем это сделает завтра весь город.

Он смотрел, чтобы Надю сильно не забрызгало, и молчал, хотя ему очень хотелось поговорить с ней о том, сколько всего еще можно будет «накуздрять» в этом мире.



ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КУНИН (родился в 1927 году) участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР. Автор книг «Настоящие мужчины», «Лицо одушевленное», «Пилот первого класса», «Багаж срочной отправки». По литературным сценариям В. Кунина поставлены художественные фильмы: «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Удар! Еще удар!», «Разрешите взлет», «Дела сердечные», «Горожане», «Воздухоплаватель», «Старшина», «Трое на шоссе» и др.

ВЛАДИМИР КУНИН

КЛАД

По советскому законодательству, клад считается государственным достоянием. Лицо, обнаружившее клад, обязано указать или передать его органам Министерства финансов, которые выплачивают наследнику клад вознаграждение в размере 25 % стоимости клада. Присвоение клада карается в уголовном порядке.

Была ранняя промозглая весна с нескончаемыми дождями.

Неподалеку от проезжего грейдера, в жутко раскисшем поле, безнадежно сидели в грязи три самосвала ЗИЛ-130. Они ссыпали в мокрое месиво подкормочную известь и теперь безуспешно пытались выбраться на проезжую часть.

Собственно говоря, выбраться на дорогу пыталась только одна машина. Хозяйева двух других самосвалов — шестидесятилетний кряжистый Петрович и сорокалетний тощий Михаил, скользя пудовыми от грязи сапогами, тупо толкали самосвал в задний борт. Колеса крутились в глянцевиной липкой колее, но машина не двигалась с места.

За рулем этого самосвала сидел третий герой нашей истории — шофер Генка. Генка был втрое моложе Петровича, вдвое — Михаила и имел от роду двадцать лет

сознательной жизни. В отличие от Петровича и Михаила, одетых в обычные замасленные телогрейки, свитера и сапоги, Генка был в сторублевых западногерманских вельветовых джинсах, в модной четырехсотрублевой английской кожаной куртке, купленных в родном сельпо. На ногах Генки были роскошные «адидасы», приобретенные по случаю за две трети Генкиной зарплаты.

Вертелись на месте колеса ЗИЛа, багровели от натуги Петрович и Михаил, под сапогами чавкала жижа, лил нескончаемый дождь.

— Не газуй, Генка! Стой! — закричал Петрович. — Вылезай к чертовой матери! Михаил, садись за руль, а то он машину по самый кузов закопает!

Генка достал из-под сиденья кирзовые сапоги невероятного размера, вытащил чистенькие портяночки и ловко обмотал ими «адидасы». Натянул сапоги и выпрыгнул

прямо в непролазную грязь, под мелкий холодный дождь.

— Цыгане шумною толпою пихали задом паровоз... — усмехнулся он. — Петрович, все, чем мы сейчас занимаемся, — нерационально и нерентабельно, что категорически идет вразрез с сегодняшним основным экономическим направлением. Надо сходить в поселок, попросить у них нормальный тягач.

Петрович был рад возможности передохнуть:

— Ну что с тобой делать, Генка? Посмотреть издаля — современный человек. А подойти ближе — неандерталец, извини за выражение. Тебе газеты, радио, телек каждый день о внутренних резервах талдычат...

— Обижаете, начальник. Я с генеральной линией иду нога в ногу, — холодно ответил Генка. — Во-первых, как вам известно, я не пью. Во-вторых, я постоянно и неуклонно повышаю свое благосостояние. А в-третьих, где вы видите внутренние резервы?

— Внутренние резервы — это ты, Мишка и я. А пять верст шлепать за тягачом, потом опять обратно, потом неизвестно, есть ли свободный тягач... И где твоя рентабельность, рационалист хренов?

— Ну чего, пробуем, Петрович? — крикнул Михаил из кабины.

— Давай, Мишаня, раскачай ее как следует! Пошел!

Генка и Петрович уперлись руками в задний борт самосвала, а Михаил на малом газу стал попеременно включать то заднюю, то переднюю скорости.

Машина стала раскачиваться все больше и больше и вдруг, пробуксовывая в липком и вязком месиве, тихонько двинулась вперед.

— Хорош! — завопил Генка хриплым от напряжения голосом.

— Давай, Мишаня! Давай, родимый! — в восторге Петрович даже запел песню своей юности: — «Гремя огнем, сверкая блеском стали...»

— Неактуальная песенка, Петрович, — хрипел Генка, налегая всем телом на борт самосвала. — Не ко времени. Ваша политическая слепота...

Что дальше хотел сказать Генка Петровичу, осталось неизвестным, потому что из-под буксующего колеса вылетело что-то маленькое и блестящее и с силой ударило Генку по верхней губе.

— Ой! — только и успел взвизгнуть Генка, как из-под другого бешено вращающегося колеса в Генку и Петровича веером полетели маленькие, твердые кружочки, облепленные грязью.

— Ой! — Петрович схватился руками за левый глаз.

А самосвал, выбравшись из гибельной колеи, все уверенней и уверенней набирал ход к грейдеру.

— Стой! Стой! Мишка!.. — заорал Петрович дурным голосом.

Они стояли под дождем и растерянно разглядывали друг друга. У обоих были сжаты кулаки. Верхняя губа Генки уже приняла неправдоподобные размеры, а левый глаз Петровича, окрашенный в нежно-фиолетовые тона, почти заплыл опухолью.

— Батюшки!.. — тоненько, по-старушечьи запричитал Михаил. — Да вы что, мужики?! С ума сошли, что ли?! Генка, мерзавец! Как же ты мог на Петровича руку поднять?! — Он бросился между Генкой и Петровичем и с неожиданной силой разбросал их в разные стороны. — И вы, Петрович, тоже хороши... Поглядите, что с пацаном сделали!

Петрович и Генка молча стали приближаться к Михаилу с кулаками. Михаил не на шутку испугался, выхватил из земли бесцельно торчавшую лопату и взмахнул ею над головой:

— Не подходи, психопаты чертовы! Совсем чокнулись!

Но Генка и Петрович медленно надвигались на птившегося Михаила. Петрович разжал кулак и сипло проговорил:

— Гляди, Мишаня...

Генка тоже разжал кулак. В ладонях у них лежали грязные золотые монеты.

— Чего это? — опасливо спросил Михаил, не опуская лопату.

— Клад... — в один голос выдохнули Петрович и Генка.

— Чего-о-о?!

— Ну, золото... Золото! — почти шептал Генка.

Михаил опустил лопату, отер мокрое от дождя лицо, поглядел на грязные золотые монеты, на запыленный глаз Петровича, на вспухшую губу Генки и спросил печально:

— И вот из-за этого... вы так друг дружку поуродовали?

В том месте, где еще недавно буксовал самосвал, теперь была вырыта огромная яма. На брустверах ямы валялись три лопаты, а на дне ее сидели чудовищно грязные и измученные Петрович, Генка и Михаил, пили горячий чай из кружек. Рядом стоял большой китайский старый термос, расписанный разноцветными колибри. Тут же на газете лежали бутерброды с колбасой.

На расстеленном ватнике высилась внушительная кучка грязных золотых десятирублевиков и черепки глиняного горшка, в котором эти монеты хранились.

Генка прихлебывал чай и что-то быстро подсчитывал на маленьком ученическом

электронном калькуляторе. Стараясь не смотреть на золото, Петрович и Михаил вели светский разговор:

— Вот все-таки молодцы китайцы, хорошие термоса делали,— говорил Михаил.— Теперь такой не достанешь.

— Тридцать пять лет он у меня. С целины. Мы тогда были «русский с китайцем — братья навек». Так нам этих термосов на целину завезли — пропасть! Помню, в Акмолинске женился на Ксюшке, этот термос купил и костюмчик чешский. Чистая полушерсть, и шит — будь здоров! И все за пятьсот рублей старыми. Вместе с термосом.

— А сейчас поди-ка купи костюм импортный за полсотни! — сказал Михаил и чихнул.

— Да замолчите вы! Мешаете же,— цыкнул на них Генка.— Я из-за вас третий раз пересчитываю. Что за манера у вас, у стариков: все, что было раньше,— все прекрасно, все замечательно! Вас послушать, так в вашем прошлом даже куры соловьями пели!

— Пели,— подтвердил Петрович.— Просто ты этого не мог слышать, потому что прошлого-то у тебя нет.

— Все! Все! Кончили базар! — прикрикнул Генка и снова взялся за калькулятор.— Значит, так, сто девяносто две монеты по девять граммов. Следовательно, общий вес нашего клада...

— Тысяча семьсот двадцать восемь грамм,— тихо сказал Михаил и чихнул.

— Точно! — удивился Генка.— Ну, ты даешь! Идем дальше. Один грамм золота по госцене — сорок три рэ...

— Семьдесят четыре тысячи триста четыре рубля,— сказал Михаил.

Генка глянул на калькулятор и воскликнул:

— Вот это цирк! А разделить на три?

— Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь рублей.

Генка лихорадочно защелкал клавишами калькулятора, и на маленьком световом табло появились цифры — 24 768.

— Давно это с тобой? — спросил Петрович.

— С детства,— скромно ответил Михаил.

— «Все могут короли, все могут короли...» — запел Генка.— Куплю «волгу», видеосистему!..

— А я кооператив однокомнатный,— сказал Михаил.— Дров не нужно, вода горячая.

— Бери трехкомнатную — закричал Генка.

— Одинокому трехкомнатную не дадут,— сказал Михаил и опечалился. Но не потому, что не дадут трехкомнатную, а оттого, что одинокий.

106

Петрович допил чай и обстоятельно утер рукавом рот:

— Стойте. Я чего-то никак врубиться не могу. Что у вас в итоге-то получилось?

— Без малого по двадцать пять тысяч на брата,— улыбнулся Михаил.

— Это как минимум, Петрович! — в восторге зашептал Генка.— А если подключить к этому нескольких зубных техников, можно взять вдвое больше. Получится куча денег!

— Сейчас я вам эту кучу несколько иначе раскассирую,— пообещал Петрович.— Про зубных техников, Генка, ты сразу забудь. Это раз. Второе: мы сейчас соберем всю эту шелупонь,— Петрович показал на грязную кучку золота,— и законно сдадим ее в государственную казну. А потом будем ждать награды — двадцать пять процентов от стоимости клада. Ну-ка, Мишаня, прикинь, по сколько на нос?

Михаил поднял глаза к серому дождливому небу, подумал и выдал:

— По шесть тысяч сто девяносто два рубля шестьдесят три с дробями копейки...

— Вот видишь, Генка, даже с дробями! — с удовольствием сказал Петрович.— Очень даже неплохо! А иначе возьмут тебя за шкирятник и: «До свидания, мама, не горюй...», а там до встречи через пять лет.

Михаил грустно оглядел яму:

— Уродовались, уродовались...

— Жизнью рисковали,— потерянно произнес Генка и потрогал вспухшую губу.— «Волгу», дурак, хотел купить...

— «Запорожец» купишь,— успокоил его Петрович.

— Видал я его в гробу и в белых тапочках!

— Ну, «жигули».

— На «жигуля» теперь не хватит.

— На «жигуля» я тебе из своих добавлю. Без процентов, с рассрочкой на пятнадцать лет. Устраивает?

— Вам же это невыгодно.

— Это мне куда выгодней, чем потом тебе пять лет передачи носить. Михаил, цепляй трос к Генкиной лябке. И по очереди друг дружку вытащим...

Все три самосвала стояли на твердом грейдере. Михаил отцеплял буксировочный трос, Петрович отверткой соскребал с сапог налипшую грязь, а Генка бережно прижимал к груди старый китайский термос Петровича.

Генка уже оправился от потрясения, вызванного суровой необходимостью соблюдения социалистической законности, и теперь прочно взял нить разговора в свои руки:

— Итак, золото поедет с Петровичем. Петрович — участник войны, он точно

знает, как нужно вести себя в боевой обстановке, а обстановка должна быть максимально приближена к боевой. Мы с Михаилом сопровождаем этот ценный груз на своих тачках, тщательно оберегая Петровича и его машину от любой нештатной ситуации.

— Это еще чего такое? — спросил Михаил.

— Что угодно! Поломка, наезд на препятствие, столкновение...

— Типун тебе на язык... — Петрович суверенно трижды сплюнул.

— Петрович, вы гарантированы, что вам навстречу не попадется какой-нибудь колхозник на своем «газоне»? Он, вопреки Указу о мерах борьбы с этим делом, — Генка пошелкал себя по воротнику, — с вечера сильно набрался, а утром опохмелиться негде. Представляете, в каком состоянии он будет?! Опохмелиться же негде.

— Что ты... Кошмар! — проговорил Михаил. — Вот я про себя скажу...

— Погоди, — сказал Петрович. — Где золото, черт бы его побрал? Вы его в яме-то не оставили?

— Золото здесь, и я вам его торжественно вручаю при свидетелях! — Генка протянул Петровичу термос.

Петрович чуть не лопнул от возмущения и злости:

— Ты что же наделал? Чего ж ты мне термос изгадил! Не мог в тряпку какую-нибудь завернуть! Вот я тебе...

Генка отскочил на безопасное расстояние и нагло сказал:

— Спокуха, Петрович. Только без рукоприкладства, потому что впоследствии это может быть неверно истолковано соответствующими органами. Вы не трясите его, как грушу, и ничего с вашим термосом не случится. Зато никому в голову не придет, что золото в термосе.

— А кого бояться-то? — спросил Михаил.

— Не скажи, — Генка зловеще понизил голос. — Я в одном заграничном фильме видел подобную историю. Там все это кончилось кроваво.

— Да что ты! — Михаил испуганно огляделся.

— Вот именно. Поэтому двигаться по шоссе мы будем так...

Надо сказать, это было красиво! По пустынной дороге сквозь нескончаемый дождь мчались, занимая всю проезжую часть, борт о борт, три самосвала, фары их горели среди бела дня тревожно-торжественным дальним светом. Они летели вперед навстречу своему законному счастью.

Районные городки замечательны тем, что все их управленческие органы обычно сосредоточены в одном месте. Как правило, главная улица такого городка вспухает небольшой чистенькой площадью, где райком партии стоит бок о бок с исполкомом; прокуратура соседствует с райсобесом; ЗАГС примыкает к районному отделению милиции; а сберкасса и почта традиционно сосуществуют под одной крышей. Любую жгучую проблему районной важности можно разрешить буквально не сходя с места.

Три самосвала, заляпанные грязью, влетели на площадь райцентра, с ходу развернулись, сдали назад и почти одновременно затормозили напротив стоянки служебных машин.

Генка, Петрович и Михаил выпрыгнули из кабин. Через площадь протянулись невидимые враждебные нити. Местные шоферы смотрели недобрым, настороженным взглядом.

Михаил достал из кабины тяжеленный разводной ключ и демонстративно засунул его за голенище. Петрович крепче прижал к груди термос. Генка презрительно оглядел строй надраенных машин и на глазах у всех стал стаскивать с себя свои огромные сапоги.

Учрежденческие шоферы переглянулись с ухмылкой, дескать, «деревня-матушка». Однако когда Генка размотал портянки и под ними оказались роскошные «адидасы», шоферы легковых машин откровенно сглотнули слюну зависти.

— Кончай возиться, — нервно сказал Петрович Генке.

Генка выпрямился, бросил сапоги в кабину и, придав своему голосу максимально легкомысленный оттенок, спросил:

— Что, действительно идем отдавать наше золотишко?

Петрович посмотрел на него таким взглядом, что Генка тут же отступил:

— Ну шутка такая! Шутка. Неужели не понятно? Просто полное отсутствие чувства юмора!

— Ты даешь, Генка... — испуганно сказал Михаил.

— Становись! — сказал Петрович. — Шагем марш!

— Кому сдавать-то будем? — прошептал Михаил, печатая шаг.

— Государству, — сурово ответил Петрович. — Держи ногу!

Перед ними в тесном сомкнутом строю стояли райком, исполком, райсобес, прокуратура, ЗАГС, милиция и почта со сберкассой.

— Государство — перед нами, — напряженно сказал Генка. — Страна ждет своих сыновей. Конкретней. Кому?

— Мы кто? — спросил Петрович.
— Водители,— одновременно сказали Генка и Михаил.
— Правильно! Кто для нас государство?
— Милиция,— хором ответили они.
— Правильно! Для нас с вами государство — это милиция! Значит, клад сдаем в милицию!..

— Ох, не погорячились ли мы? — покачал головой Генка.

— Не бойсь, Генка! — с веселой бесшабашностью воскликнул Петрович.— Ты сейчас увидишь, что будет! Корреспонденты из области саранчой налетят! Из президиумов вылезать не будем! Ты этот день на всю жизнь запомнишь. И внукам своим будешь врать, что в твоей молодости даже обыкновенные куры соловьями пели!..

У самых дверей милиции Михаил вдруг оживился, ткнул заскорузлым пальцем в термос и торопливо зашептал:

— Слушайте, мужики! А мне за это не могут там талон предупреждения поменять? А то у меня уже две просечки!..

В одном из кабинетов райотдела милиции восседал суровый дознаватель Генкиного возраста в форме младшего лейтенанта. Напротив него сидела запуганная старушка.

— Приметы? — вкрадчиво произнес младший лейтенант, вонзая в старушку всевидящие голубые глаза.

— Чо? — пролепетала старуха.

— Как выглядел, во что был одет?

— Дак темно ж было, ночь. А я со страху была под кроватью, притаивши...

— Что заметили, слышали?

— Сильно матерился и, видать, был очень даже выпивший!..

— Это не примета. Ночью был пьяный, утром стал трезвый. И протрезвев, мог спокойно раствориться в общей массе сознательных граждан.

— Значит, и кроликов моих теперя не сыщете?

Но тут зазвонил телефон. Младший лейтенант схватил трубку:

— Слушаюсь, товарищ майор! — Положил трубку и приказал старушке: — Выйдите в коридор. Посидите, повспоминайте. Скоро вернусь.

— А кролики?

— Я кому сказал, гражданка? Выйдите в коридор. Меня вызывает сам заместитель начальника райотдела, а вы... Давайте, давайте!..

— Входи, входи, Белянчиков! — радушно пригласил младшего лейтенанта майор лет пятидесяти, чем-то неуловимо похожий на Петровича.

На майорском столе, на расстеленной газете высилась куча золотых десятирублевиков, перемазанных землей и глиной. Тут же стоял старый китайский термос.

Петрович, Михаил и Генка сидели вдоль стены.

— Слушай, Белянчиков. Я чего тебя вызвал — почерк у тебя замечательный! Садись-ка, набросай акт приемочный.

— Слушаюсь, товарищ майор! А на что акт?

— Ты посмотри, чудо-то какое! — майор был в восторге.— Вот товарищи из Прохоровки в поле нашего района обнаружили... Колесами самосвала, можно сказать, вырыли из земли такое богатство для всей нашей Родины!

Майор был счастлив и горд за свой район, за его людей, за себя, за всю страну.

— А чего оно все такое грязное и липкое? — без интереса оглядел кучку золота младший лейтенант.

— Ну, в земле ж, говорю, было!

— Та-а-ак...— протянул Белянчиков и посмотрел на Петровича, Михаила и Генку.— А это что у них? — Он показал на вздутую Генкину губу и заплывший глаз Петровича.

— А это...— майор даже прослезился от веселья.— Слушай, ну, умора! Это их золотом, когда из-под колес вылетало! Представляешь себе? Давай, садись за стол, бери бумагу!..

Но младший лейтенант не разделял хорошего настроения своего начальника: — Фантастика. Прямо братья Стругацкие. Кого вы слушаете, товарищ майор? Не поделили заначку, вот отсюда и бланжи на физиономиях. Считаю необходимым обыскать всех троих.

— Это зачем? — удивился майор. Ему было очень жалко терять свое хорошее настроение.

— Золото липкое. Может, у них где еще с десяток монеток прилипло,— со значением произнес младший лейтенант.

— Вот я сейчас засвечу тебе между глаз! — заорал Петрович и вскочил со стула.

— Сидеть! — рывкнул майор.— Ишь, нервные какие... А ты, Белянчиков, не превышай. И вы себя в руках держите. Это наш молодой товарищ. Как сотрудник покамест неопытный. А вы позволяете всякие слова, когда он при исполнении и при форме. Не положено.

— Ничего,— сказал Генка.— Я его как-нибудь в Доме культуры на танцах отловлю, когда он без формы будет. Он у меня быстро опыта наберется!

Но младший лейтенант был не такой уж неопытный — спросил майора ров-

ным, спокойным голосом, будто предлагал чаю попить:

— Может, в КПЗ всех троих, товарищ майор? И по разным камерам.

— Да уймись ты, Белянчиков! — майор даже побагровел от стыда.

— А потом по одному на допросик выдерживать, — спокойно продолжал младший лейтенант. — Расколются как миленькие. КПЗ — великая штука!

— Слушай, Белянчиков!!! — заорал майор. — Иди-ка ты отсюда подобру-поздорову! А то я сейчас тебя самого в КПЗ наляжу!..

Белянчиков моментально исчез, а майор продолжал бушевать:

— Сыщики сопливые! Начитаются разного дерьма детективного, а потом от них спасения нету! Мужики, вы уж простите его, дурака!..

— Ладно тебе, не психуй, — сказал ему Петрович. — Давай акт стряпать. Вон у Генки у нашего почерк тоже — будь здоров!

Как только Белянчиков подошел к своей двери, со скамейки поднялась старушка:

— Сыночек, как же с моими кроликами?

— С какими еще кроликами?

— Ну, которых сегодня ночью у меня украли. Ты сказал: сиди, вспоминай!..

— Вспоминайте, куда вы этих кроликов сами подевали. Подарили, съели, продали? А то, чуть что, сразу в милицию: «Украли!» Откуда в вас всех такая подозрительность?! — И он захлопнул дверь перед самым старушечьим носом.

Генка заканчивал писать акт. Петрович и Михаил ссыпали золотые монеты обратно в термос.

— Все, — сказал Генка.

Майор заглянул ему через плечо, в умилении погладил Генку по голове:

— Во, молодец! Действительно, почерк — прямо заглаживание! Куда нашему Белянчикову. Подписывайте.

— А когда мне термос вернут? — спросил Петрович.

— Вернут, — коротко ответил майор. — Не на базаре. С государством дело имеешь. Подписывай.

Все трое подписали акт. Майор тоже расписался. Напоследок полюбовался документом, запер его в сейф и радостно потер руки:

— Вот теперь — порядок! Теперь берите свой драгоценный груз и в областной центр. В ювелирный магазин «Сапфир». Там все это оценят, примут и выплатят вам положенное. Только не загуляйте от

дурных денег! А то не посмотрю, что вы герои!..

— Братцы! Да что же это!.. — ахнул Михаил. — Еще сто тридцать верст пилить?!

— Слушай, командир, в какой еще областной центр? — возмутился Петрович. — Какой «Сапфир»? Мы тебе золото сдали!..

— От чудак! — искренне развеселился майор. — Ну, дают славяне! Вы мне акт сдали, а не золото. А золото я у вас принять не имею никакого права. Акт — пожалуйста, а золото — ни-ни. Вот ежели бы вы его, так сказать, того... Вот тогда мне пришлось бы с вами разбираться. А пока вы проявили себя как честные, сознательные граждане, настоящие патриоты. Короче, берите термос!..

— Нам известь на поле возить надо! — заорал Петрович. — Нас управляющий «Агропромом» за невыход на работу схарчит и сапог не оставит!

— А на это есть закон, — легко парировал майор. — Я вам повестки выпишу на два дня, и пусть он только посмеет... Закон есть закон!

Майор выписал три повестки и вручил каждому, будто грамоту, с пожатием руки.

— И в путь-дорогу. Бон вояж, как говорят французы. Дескать, всего хорошего!

— А если в дороге что случится? — слабо выкрикнул Генка.

— Тоже читаешь какую-нибудь муру собачью? — спросил майор и тут же добавил, лучезарно улыбаясь: — А если что-нибудь случится, если хоть одна монетка из ста девяносто двух пропадет — я вам по шесть лет гарантирую. И называться это будет уже не обнаружение клада, а его сокрытие. Всем все ясно?

В коридоре районного «Агропрома» у дверей управляющего толпился рабочий люд. Все были в крайнем возбуждении.

— Ну, чего он говорит?..

— А они?

— Да тихо вы!.. Говорят, что им уже и повестки милиция вручила!..

Толпа сочувственно затахла. Здесь хорошо знали, что такое повестка из милиции. И вдруг из кабинета, во внезапно наступившую в коридоре тишину, понеслось громовое:

— Да я на его повестки!.. Пусть он этими повестками себе!..

Дальше уже ничего нельзя было расслышать, потому что коридор восхищенно заржал:

— Ну, мужик!

— Руку на отсечение даю, его от нас скоро в Москву заберут! Сейчас там, будь здоров, команду собирают!..

...Петрович, Генка и Михаил стояли у стола управляющего и тупо разглядывали кучку грязных золотых монет.

Управляющий прошелся на высоких каблучках по кабинету, сел за стол и уже спокойнее сказал:

— Ему главное — спихнуть с себя. Он первый раз в жизни в своей милиции столкнулся с честными, порядочными людьми и ничего лучше не придумал, как повестки им выписать! А отпустить вас не только на два дня — на два часа я не имею никакого права!.. Господи боже мой! Да кому я это все рассказываю?! Были бы вы прохиндеи-сезонники, но вы же волки! Асы! Вы же сами не хуже меня понимаете, что такое для нашей страны будущий урожай! И в самый критический момент, в дожди, когда у нас до посевной осталось всего несколько дней...

— Все,— твердо сказал Петрович.

Он первый проник ответственностью за выполнение плана по вывозу удобрений на родные поля и стал собственноручно записывать золото в термос.

— Нет вопросов,— сказал Генка и взялся помогать Петровичу. Ему очень понравилось, что управляющий назвал его волком и асом.

— Надо — так надо...— тихо согласился Михаил.

— Значит, мы сейчас погоним машины под погрузку,— сказал Петрович.— А эти несколько дней, от греха подальше и чтоб душе было спокойней, нехай золотишко полежит у вас в сейфе. А когда напряженка с удобрениями спадет, мы его у вас заберем и съездим в область. Там его сдадим...— И Петрович протянул управляющему термос.

— Молодцы! — торжественно проговорил управляющий и вышел из-за стола.— Очень правильное решение! Я в вас и не сомневался. Мыслите истинно по-государственному! — Он с чувством пожал руку каждому и мягко отстранил от себя термос:— А вот это уже совершенно ни к чему. Сами говорили, что майор вам по шесть лет заключения пообещал, если хоть одна монетка пропадет. Как же я могу брать на себя ответственность за свободу моих лучших водителей?! А не дай бог, кто-нибудь залезет в сейф? Вам по шесть лет, а я потом всю жизнь себе этого не прощу! Встаньте на мое место...

— Вот это да-а-а-а...— протянул Генка.

— А ты как думал? — сказал управляющий.— Я руководитель и не имею права рисковать свободой личности своих подчиненных. Мне обо всем думать надо.

— Здесь же ценностей на семьдесят четыре тысячи...— хрипло выдал Петрович и протянул вперед термос.

Управляющий «Агропромом», словно тореадор, увернулся от термоса и сказал:

— Ты меня только цифрами не пугай. У меня удобрений на миллион лежит под открытым небом, я и то не пугаюсь. Так что давайте по машинам и... я на вас очень надеюсь! — Он внимательно оглядел их и, указывая на заплывший глаз Петровича и вздутую верхнюю губу Генки, спросил: — А это что?

Петрович с ненавистью ответил:

— Золотишко делили!

В коридоре Генку, Михаила и Петровича встретила тихая, угрюмая толпа. Запахло кровью... Все трое вжались в стену. Петрович прижал термос к груди.

Самый жуткий тип из толпы тихо сказал им:

— А ну, выходи на волю. Двигай, двигай.

Страшные, злобные лица, грязные спецовки, пудовые кулаки окружали Петровича, Генку и Михаила. Казалось, пришел последний час. Их вывели в серый от дождя двор автостоянки.

— Ну-ка, прикрой дверь,— приказал главарь шайки одному из своих вассалов.

Тот прыгнул в самосвал с работающим двигателем, развернулся и мгновенно прижал дверь конторы задним бортом машины.

— Ничего, отмахнемся...— неуверенно прошептал Петрович.

Не сводя глаз с толпы, Генка нагнулся и нашарил обломок кирпича. Толпа молча стала надвигаться.

— Не подходи! — звенящим от напряжения голосом проговорил Генка.

— Точно, ребята. Лучше не стоит...— Михаил вытащил тяжелый разводной ключ из-за голенища.

Темные силы остановились. Главарь оглянулся по сторонам, негромко спросил:

— Где золото?

— Здесь,— Петрович тряхнул термосом.— Здесь и останется. Зубами буду грызть!

Михаил и Генка выдвинулись вперед, прикрывая Петровича. Жить оставалось совсем немного.

— Погоди ты грызть. Тоже мне, грызун старый,— презрительно сказал главарь.— Вот что, мужики. Мы там все слышали. Вы плюньте на него, езжайте в область, сдавайте эту хреновину, действительное, от греха подальше. Свобода дороже.

И тут вся толпа задвигалась-заговорила: — Он, вишь, боится к себе в шкафчик это барахло запереть...

— Пока люди на него же вкалывать будут...

— Людям срок корячиться, а он их под погрузку ставит!

— Не думайте ничего, уезжайте, и дело с концом,— сказал главарь.— Мы ваши тон-

ны на несколько машин разбросаем и вывезем, и пусть он потом попробует чего-нибудь вякнуть.

Генка выронил обломок кирпича. Михаил тщетно пытался закинуть разводной ключ обратно за голенище сапога. Петрович прослезился...

Уже позже, когда счастливые и вдохновенные народными массами на продолжение подвига они ехали на мотоцикле по проселочной дороге, Михаил растроганно сказал:

— Во люди... Никогда не подумаешь!

— Какой коллектив! — шмыгнул носом Петрович.

Генка выдержал паузу и, глядя через плечо Михаила в серую пелену дождя, странным голосом произнес:

— Да. Такое возможно только у нас.

При въезде в поселок Генка снова потянул режиссуру на себя:

— Теперь, пока мы от золота не избавимся, мы ни на минуту не должны расставаться друг с другом. Всё — только вместе!

— Правильно, — согласился Петрович. — Теперь мы повязаны.

— Мне это лично даже лучше, — улыбнулся Михаил. — А то я все один и один. К кому первому, Гена?

— К тебе.

Михаил покати́л к дому бабы Шуры, где снимал комнатенку.

Кровать была не застелена. Над ней висели вырезанные из журналов фотографии Пугачевой и Гурченко. На столе — грязная посуда, закопченный чайник, варенье в дешевой стеклянной вазочке. И на всем этом лежала печать холостяцкого убожества и тоски.

Петрович с термосом в руках сидел на колченогом стуле, Генка брезгливо оглядывал жилище Михаила.

— И сколько ты за эти хоромы бабе Шуре платишь? — крикнул Петрович Михаилу, который стоял в коридоре.

— Да нормально... — ушел от ответа Михаил, и стало понятно, что баба Шура дерет с него втридорога.

Михаил появился в новом костюме, полуботинках и клетчатой рубашке с желтым галстуком. На голове у него был мотоциклетный шлем. Еще два совершенно новых шлема он держал в руках.

— А я все думал, куда я их подевал... — Он протянул шлемы Петровичу и Генке. — Это для вас. Без шлемов в области на каждом углу тормозить будут. Там ГАИ — жуть!

— На кой ляд тебе столько шлемов? — удивленно спросил Петрович.

— Почему «столько»? Всего три. Один мой... — Он снял с гвоздя плащ на подстежке. — Думал, женюсь когда-нибудь, ребенок родится, вырастет, захочет на мотоцикле покататься...

Генка жил в доме своей разведенной тетки Веры. У Веры дочь Юлька шести лет. Да и самой тетке — всего тридцать два.

Тетка красивая. Она в джинсах, в японской куртке-дутике и обычном бабьем платке.

Юлька в фирменном комбинезончике. На голове у нее деревенской вязки розовый капор с бомбошками.

Когда мотоцикл с Генкой, Петровичем и Михаилом подъехал к дому, Вера и Юлька запирали дверь, собирались уходить.

— Не запирай, тетя Вера! — крикнул Генка. — Я ключи в машине оставил!

— Что это так рано? — удивилась Вера. — Здравствуйте, Петрович. Здравствуй, Миша...

— Здорово, Верочка, — сказал Петрович, вылезая из коляски. — В область едем.

Но Вера не услышала Петровича, не заметила ни его распухший глаз, ни разбитую губу Генки. Она смотрела на Михаила. Смотрела с такой нежностью, что скрыть этого было нельзя. Да Вера и не скрывала.

Генка открыл входную дверь:

— Поросятка кормили?

— Я кормила! Я кормила! — закричала Юлька.

— Молодец. — Генка погладил Юльку по голове, увидел на ней капор и возмутился: — Тетя Вера! Что ты ей на голову надрючила! Я шустро по району, вещи покупаю, а они ходят, как две цыганские потеряшки! Чтобы в таком виде на улицу больше не выходить! Айда, Петрович! Михаил, проходи.

— Хозяин, — ласково сказала Вера про Генку, а сама еле удержалась, чтобы не погладить Михаила по плечу. Уже даже руку занесла.

В прихожей Петрович и Михаил разулись. В комнату вошли в одних носках.

— Что за азиатчина?! — закричал Генка. — Зачем разулись?

— Ладно тебе. Разорался. Бери паспорт и чего там тебе нужно, и поехали. У меня пообедаем перед дорогой, — сказал Петрович.

Генкина комната уставлена старинными деревянными прялками и прочей резной русской утварью. Было два самовара начала века, деревянный раскрашенный ангелок, наверное, выломанный из деревенского цер-

ковного аналоя; три иконки мирно соседствовали с цветными фотографиями американских автомобилей. На телевизоре «Юность» стояло католическое распятие, на собственноручно сработанном стеллаже — все пятьдесят два тома Большой Советской Энциклопедии и стереомагнитофон с небольшими колонками. В отличие от комнаты Михаила у Генки чисто, прибрано.

— Ты никак в бога веришь? — спросил Петрович, разглядывая иконки и распятие. — Это предметы искусства и старины. Антиквариат. Так сказать, наследие предков, — холодно ответил Генка.

— Чего ты мне мозги пудришь? — усмехнулся Петрович. — Что я, твоих предков не знал? У них отродясь такого не было.

— Я не о своих предках, а о наших общих.

— У нас с тобой общих предков ни хрена не было. Не вклучивай.

В комнату влетела маленькая Юлька. Теперь у нее на голове красовалась замечательная спортивная шапочка для горнолыжников.

— Так хорошо, Ген? — закричала она с порога.

— Теперь порядок. И кончай с этой безвкусицей! Поехали. Я готов!

Когда все вышли из комнаты, оказалось, что Вера сидит в прихожей и ждет их. Вместо бабьего платка на ней была такая же, как у Юльки, горнолыжная шапочка.

— Другое дело, — сказал Генка. — А то черт-те что напялят на себя!.. Что из города привезти?

— Михаила, — Вера загадочно улыбнулась, глядя Генке в глаза.

— Я серьезно, тетя Вера!

— Я еще серьезней, — ответила Вера и долгим нежным взглядом одарила прифранченную, чуточку нелепую тощую фигуру Михаила.

Михаил стоял, боясь пошевелиться. Петрович с уважением посмотрел на Веру. Генка ничего не сообразил:

— Тьфу! Живет, как на облаке. Ее иногда совершенно не понять!

— Почему же! — вдруг развеселился Петрович. — Очень даже все понятно! Вперед, орлы!

Все трое двинулись к выходу.

— Мишенька... — тихо окликнула Вера.

Михаил остановился как вкопанный, испуганно повернулся:

— Чего?..

— Ты бы полуботинки-то надел, — ласково посоветовала Вера. — Что же ты в одних носках на улицу! Холодно, дождик...

«Чао, бамбино, сори...» — пела Мирей Матье. Ее голос несся из открытого окна

единственного в поселке трехэтажного дома, где жил Петрович.

«Чао, бамбино, сори...» — вторил знаменитой француженке не лишенный приятности другой женский голос, под аккомпанемент баяна.

Петрович неловко вылез из мотоциклетной коляски, с гордостью прислушался: — Ксюшка репетирует. С пластинки учит. Любую мелодию на лету ухватывает.

Он тряхнул термосом с золотом, смущенно добавил:

— Если нам за эту штуковину чего-нибудь отвалит, — сразу же ей аккордеон справлю и пианину куплю.

— Не пианину, а пианино, — поправил его Генка.

— Все равно куплю, — упрямо сказал Петрович. — Сейчас переоденусь, порубаем и двинем. Ксюша беляши делает — пальчики облизете! — Петрович открыл своим ключом дверь и с порога заорал: — Ксения! Мечи на стол! В область едем!

Музыка разом оборвалась. Из комнаты выскочила жена Петровича с баяном в руках, в стареньком синем тренировочном костюме. Она была чуть моложе Петровича и сохранила на своем широком добром лице пятидесятипятилетней казашки следы веселой, разгульной степной красоты.

— Здравствуйте, Ксения Мухаммедовна, — церемонно поклонился Генка.

— Привет, ребята! — счастливо улыбнулась Ксения Мухаммедовна и рванула на баяне какой-то дурашливый проигрыш. — Петрович, солнце мое! Как здорово, что ты пришел так рано. Приготовь чего-нибудь пожевать. Я просто с голоду умираю.

Петрович поскреб в затылке, осторожно покосился на Генку и Михаила:

— А что, обеда нету?

— Миленький! Ну откуда ему взяться! — рассмеялась Ксения Мухаммедовна. — Я же еще никуда не выходила. Зашиваюсь! Мне к завтраму нужно чуть ли не всю Мирей Матье выучить. Будь друг, сделай чего-нибудь перекусить!

— Нет вопросов, — легко сказал Петрович. — Репетируй, репетируй. А чего сделать?

— Да брось яички на сковородку, колбаски порежь, лучку с маслицем постным. Пошуруй, может, банку какую-нибудь консервную найдешь... Чайку завари, — весело посоветовала Ксения Мухаммедовна и запела: — «Чао, бамбино, сори...»

Спустя час Генка, Петрович и Михаил в оранжевых шлемах катили на мотоцикле в направлении областного центра. Петрович с термосом в руках сидел в коляске. Генка хоронился от мокрого встреч-

ного ветра за спиной Михаила. Ехали молча. Наконец Генка не выдержал, сказал с неодобрением:

— Ни черта не понимаю! Как можно так жить в вашем возрасте?

— А как? — лекомысленно спросил Петрович.

— Семья все-таки. Без обеда, без хозяйства, без мысли о завтрашнем дне. Студенты!

Наверное, Петровичу это никогда не приходило в голову, поэтому он только недоуменно пожал плечами. Михаил чихнул и, стараясь преодолеть шум мотоцикла, прокричал:

— Любить надо, Гена!

— Что любить?! — не понял Генка.

— Не «что», а «кого», — сказал Петрович. — Мишка прав — нужно просто любить. Тогда на все наплевать — есть обед, нет обеда. Не из борща же с котлетами состоит семья, не из поросенка твоего. Семья должна состоять из любви, Генка. Тогда ни черта не страшно! Тогда, чтобы не сказать хуже, море по колено!.. Правда, тебе, Генка, это дело еще рано, а вот Мишке — в самый раз!

— А я и не собираюсь! — кричал Генка.

Областной центр был одним из древнейших русских городов. Начиная с весны, в нем не переводились экскурсии — от родных месткомовских до интуристовских, чуть ли не из всех стран мира.

Вот и сейчас к ювелирному магазину «Сапфир», около которого уже стоял мотоцикл наших героев, подкатил роскошный «Икарус». Из автобуса разноцветной цепочкой к магазину потянулись ухоженные веселые старички и старушки иноземного происхождения.

Последними вышли шофер, смахивающий на министра, и гид-переводчик — молоденькая девушка с усталым озабоченным лицом.

— Здесь, как обычно, не меньше часа, — быстро сказала девушка.

Водитель-министр высокомерно кивнул головой. Девушка закричала по-французски:

— Дамы и господа! У нас только двадцать минут! Впереди собор, музей и обед. У нас только двадцать минут!

В магазине «Сапфир» директорствовала могучая женщина с высоченной прической. Перед ней лежала кучка грязных золотых монет. Директриса брезгливо указала пальцем на кучку золота:

— В таком виде принимать не буду. Золото грязное.

Петрович и Михаил растерянно переглянулись, а Генка тут же деловито предложил:

— У вас, наверное, есть туалет и раковина? Дадите кусочек мыла — я вам их через пять минут в лучшем виде представлю.

— Соображаете, что говорите? — обиделась директриса. — Это вам не овощная лавка. Не петрушкой с морковкой торгуем. Здесь ювелирный магазин. И в подсобное помещение посторонним вход воспрещен.

— Где же мыть-то? — спросил Михаил. Петрович прижал термос к груди:

— Мы не здешние. Мы черт-те откуда...

Директриса с трудом подавила глухое раздражение. Она презрительно оглядела Михаила, вспухшую губу Генки, заплывший глаз Петровича и сказала:

— Прежде чем пригласить эксперта из краевого музея и товароведа «Росювелирторга» для оценки и взвешивания, сдаваемое изделие должно быть очищено и не содержать посторонних примесей. А здешние вы или не здешние, это никого не касается. И как вы его будете мыть и где — нам тоже не важно. Существует утвержденная соответствующими органами инструкция. Закон есть закон!

Река, опоясывающая старый город, была полноводная, с обрывистым берегом. Наверху проходила окружная дорога. У самой кромки воды стоял мотоцикл Михаила. Закавав рукава и оскальзываясь при каждом движении, три соискателя официального вознаграждения за найденный клад зубными щетками и куском мыла, приобретенными в галантерейной лавке, мыли золото. Мыли молча, сосредоточенно, складывая каждую вымытую монету в термос. Вода была ледяная — мерзли руки, немели пальцы. Время от времени приходилось согреть их дыханием, засовывать под мышки.

Генка опустил очередную монету в термос и сказал:

— Сто четыре.

— Смотри, Генка, не ошибись в счете, — крикнул Петрович. — А то нам потом долго придется разглядывать небо в крупную клетку!

Михаил тоже хотел что-то сказать, но тут лицо его исказилось, глаза зажмурились, и он оглушительно чихнул! Маленькая, намыленная золотая монетка выскользнула из его пальцев, взлетела в воздух и... булькнула в воду! Все трое потрясенно посмотрели друг на друга, а потом уставились на то место реки, где теперь расходились концентрические круги от утонувшей золотой монеты. И представилась всем

троим одна и та же, леденящая душу картина:

К зданию районного суда подъезжает «черный ворон» — милицейский фургон для перевозки арестованных. У дверей суда собралась скорбная толпа — водители, слесари и грузчики из «Агропрома», Ксения Мухамедовна с баяном, Вера с дочерью Юлькой, майор милиции, смахивающий скупую мужскую слезу, горестно растерянный управляющий «Агропромом», директор магазина «Сапфир» с непроницаемым лицом...

Открывается фургон, и оттуда, потирая руки, выскакивает радостный младший лейтенант Беляничков. Он делает приглашающий жест, и вооруженные автоматами милиционеры выводят из «воронка» наголо обритых Петровича, Генку и Михаила. Руки заложены за спины, головы опущены. Их ведут в суд.

А вокруг все плачут... Только один Беляничков посмеивается и что-то говорит и говорит рыдающему майору милиции. Наверное, про то, что он был с самого начала прав — нужно было этих трех прохиндеев еще тогда отправить в КПЗ!..

По шоссе катил интуристовский «Икарус». Водитель-министр в ослепительно белой рубашке и похоронно-черном галстуке мрачно смотрел на дорогу. Переводчица уставшим голосом рассказывала в микрофон все, что положено рассказывать иностранцам. Старички и старушки дисциплинированно вертели головами, шелкали фотоаппаратами.

Вдруг одна из старушек восторженно взвизгнула, вскочила со своего места и зааплодировала, тыча сухоньким пальчиком в окно. Все туристы посмотрели в окно и тут же потребовали остановить автобус.

Девушка глянула в окно и сказала водителю тусклым голосом:

— Остановите на минутку.

Водитель затормозил. Двери «Икаруса» распахнулись, и шустрая гурьба иностранцев высыпала на твердую русскую землю.

Внизу, на узенькой полоске суши, где стоял мотоцикл Михаила, валялись разбросанные одежды наших героев... А сами они — Петрович в пестрых трикотажных кальсонах, Генка в белоснежных трусах и Михаил в черных сатиновых «семейных» трусах бултыхались в ледяной воде.

Двое из них поочередно скрывались под водой на время, недоступное нормальному человеку, а третий плавал на поверхности, не спуская глаз с мотоцикла, на котором стоял термос с вымытым золотом.

Закутанные в шубки и теплые куртки экспансивные старички, стоя на краю обры-

ва, кричали: «Браво!», «Фантистик!», «Оля-ля!..» Стрекотали любительские кинокамеры.

Переводчица бесстрастным голосом давала пояснения:

— Еще в глубокой древности в Советском Союзе... Простите, в России, существовал народный обычай — купание в проруби. Происходило это в дни зимних престольных праздников. Купание в ледяной воде всегда символизировало могучий физический потенциал и неукротимость чистоты русского народа. Сегодня же у нас в России... Простите, в Советском Союзе, этот обычай принял цивилизованный спортивный характер. Клубы так называемых «моржей» разбросаны по всей нашей стране. Мы с вами наблюдаем одну из плановых тренировок спортсменов при подготовке к зимнему сезону. Недалек тот день...

Но тут из-под толщи воды вынырнул околоченный Петрович, победно потряс кулаком в серое дождливое небо и заорал:

— Нашел, мать его в бога, в душу так!!!

Сверху обрушились бурные аплодисменты. Один аккуратненький старичок прослезился и сказал своей пестро одетой старушке:

— Да... Этот народ непобедим!

Стуча зубами, дрожа от холода, Михаил, Генка и Петрович подъезжали на мотоцикле к ювелирному магазину «Сапфир». Генка выглянул из-за плеча Михаила и вдруг закричал:

— Смотрите! Смотрите! Она уезжает!..

До магазина «Сапфир» оставалось совсем немного, когда все трое увидели, как директорша магазина садится в черную «волгу» и отбывает в неизвестном направлении.

— Гони, Мишка! Все штрафы плачу из своей доли! — закричал Петрович шальным голосом и от возбуждения чуть не выпал из коляски.

Мотоцикл взревел, мигом настиг «волгу» и поехал впритирку с ней всего лишь в нескольких сантиметрах.

— Товарищ директор, мы его вымыли! — кричал Генка, чуть ли не всовываясь внутрь «волги» и стараясь говорить вежливо. — Как вы сказали, так мы и сделали!

— А вы уезжаете! Совесть есть?! — орал Петрович.

— Нехорошо, — укоризненно сипел Михаил.

Шофер «волги» испуганно косился на мотоцикл с тремя отчаянными седеками в одинаковых оранжевых шлемах.

— Немедленно оставьте нас в покое! — грозно распорядилась директорша. — Я еду на срочное совещание в облторг.

— Вы у нас примите золотишко, и потом поезжайте хоть в Сочи! — елейно уговаривал ее Генка.

— Просто наглость! Я должна все бросить и заниматься только вами и вашим золотом!

— Это государственное золото! — заорал Петрович. — Было бы оно наше — хрен бы я с тобой разговаривал!..

— Потрудитесь выбирать выражения! — возмутилась директорша.

— Он как раз и выбирает. А то б вы такое услышали, — ласково сказал Генка.

Словно сямские близнецы, «волга» и мотоцикл мчались по городу вопреки всем правилам дорожного движения. Встречные машины в панике сворачивали в ближайшие переулки.

— Не, мужики, на нее надо в Москву написать, — просипел Михаил.

— Что же это за бандитизм?! — испугалась директорша. — Чуть что, сразу в Москву! Приезжайте в начале будущего месяца, создадим комиссию... В этом месяце у нас план по товарообороту уже выполнен, а в следующем месяце...

— В следующем месяце мы, может быть, вообще уже в тюрьме сидеть будем! — выкрикнул Генка.

— Вот там вам и место, — обрадовалась директорша.

— Ох, был бы я сейчас на танке! — мечтательно простонал Петрович.

Директорша тихо сказала своему водителю:

— Только посмотрите на эти ужасные лица. Такими типами должен заниматься по меньшей мере Комитет государственной безопасности...

Но тут мотоцикл начал терять скорость и, проехав немного, остановился.

— Горючее кончилось, — виновато просипел Михаил.

В поселке Прохоровском темной ночью светились только одно окно, в кухне Петровича. Мотоцикл Михаила был прикован к дереву цепью с большим замком.

В кухне Ксения Мухаммедовна с Верой мыли и перетирали посуду. На столе стоял старый китайский термос. Рядом, на небольшом керамическом блюде с казахским орнаментом, лежали сто девяносто две золотые монеты.

На разные голоса храпели в соседней комнате наши герои.

Ксения Мухаммедовна негромко рассказывала Вере:

— Приехали грязные, злые, замерзшие... Мы, говорят, теперь одним делом повязаны, и пока все не выяснится, будем жить вместе, на казарменном положении. Я говорю —

живите, мне-то что. А как увидела, что мой перед сном этот термос под подушку пихает, так сразу поняла — или с ума сбрендил, или еще чего хуже. Дождалась, когда они все задряхли, термос потихоньку вытащила, и вот... пожалуйста!

Вера горестно покачала головой и сказала:

— Ну откуда?! Откуда у простого советского человека может быть столько золота?! Ведь потом всю жизнь жалеть будут.

— Уже жалеют, — сказала Ксения Мухаммедовна. — Как я поняла из их намеков, они с утрачка собирались по начальству идти — сознаваться. Все спорили, с кого начать. Мой-то партийный, так он уговаривал прямо в райком податься, а Генка твой просил райком напоследок оставить. Дескать, когда уже деваться будет некуда. А сначала, говорил, надо в исполком и прокуратуру...

— Господи, спаси и помилуй. А Мишка?

— Мишка все помалкивал. Ты ж его знаешь.

— Знаю, — всхлинула Вера. — Я на него с детства глаза пялила.

— Интересно, и на сколько же их могут засадить за это?

— Если нет жертв...

— Сомневаюсь, — сказала Ксения Мухаммедовна. — Это вряд ли. Мой Петрович — ужас какой здоровый! Вот ему шестьдесят, а он ведь, совестно сказать, ко мне по этой самой части каждый день претензии имеет!..

— Да что ты... — с нескрываемой завистью сказала Вера.

Ксения Мухаммедовна ногой прикрыла кухонную дверь, взяла баян, осторожно тронула пальцами клавиши и негромко запела старую известную песню:

— «Тюрьма Таганская — все ночи, полные огня, тюрьма Таганская, зачем сгубила ты меня?.. Тюрьма Таганская — я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в стенах твоих...»

Рано утром Генка, Михаил и Петрович ехали на мотоцикле. Навстречу им показались четыре груженых самосвала из их конторы. Самосвалы посигналили светом и притормозили. Остановился и мотоцикл.

— Ну как, ребята, сдали? — спросили водители.

Генка одной рукой ткнул Михаила в спину, второй ушипнул Петровича.

— Сдали, сдали! Еще вчера сдали. Оформлять едем!

— Вас там управляющий уже оформил, — хохотал один из водителей. — Вот такенный приказ со строгочом и лишением квартальной премии каждому за невыход на работу!

— Ничего, — сказал Генка. — Переживем.
— С вас причитается! — намекнули водители.

— Само собой, — ухмыльнулся Петрович. И они разъехались в разные стороны.
— Ты зачем наврал, что мы уже сдали золото? — спросил Михаил.

— Трепло несчастное, — проворчал Петрович.

— Так спокойней, — ответил Генка. — Рули прямо к исполкому.

В приемной председателя райисполкома молоденькая секретарша, с интересом глядя на Генку, сообщила:

— Ну никогошеньки нет! Все на приемке стройобъекта родильного дома. И председатель, и оба его зама, и все, все, все... Ждут госкомиссию, а там чепа. И туда лучше не соваться. Это я вам чисто по-человечески скажу.

— Кажись, у меня уже ничего человеческого не осталось, — недобро покрутил головой Петрович.

— Елки-моталки, когда ж это кончится? — вздохнул Михаил.

— А вот мне ничто человеческое не чуждо! — весело сказал Генка, чем еще больше понравился секретарше. — Где этот родильный дом построили?

На огромном щите, укрепленном на двух сваях, было написано крупным красивым шрифтом: «Ударное строительство родильного дома Ляминского районного отдела здравоохранения. Срок сдачи объекта I квартал 1984 г. Подрядчик «Межколхозстрой». Прораб»

Фамилии прораба не было. Как, впрочем, не было и самого родильного дома. Только фундамент и проросший бурьяном незаконченный первый этаж...

Вокруг щита стояли машины: «волга», три «москвича» и два УАЗа. У края фундамента, словно у могилы, молча собралась группа людей одинакового вида — председатель райисполкома, два его заместителя, начальник отдела капитального строительства, заведующий райздравотделом с помощниками и не похожий на них представитель «Межколхозстроя», именуемый подрядчиком.

Эта картина напоминала похороны. Та же скорбная тишина, неподдельная печаль и искренняя растерянность. Ощущение трагической непоправимости было столь велико, что когда Михаил, Петрович и Генка подкатили сюда на своем мотоцикле и присоединились к стоявшим, на них никто не обратил внимания.

Наверное, самый тяжелый разговор уже состоялся, потому что председатель райисполкома, тяжко вздохнув, снял почему-то шляпу и дрогнувшим голосом произнес:

— Товарищи...

Глядя на него, все тоже сняли шляпы.
— Товарищи, — повторил председатель. — Один из передовых районов области без родильного дома — это средневековье. Как будем дальше рожать, товарищи? Опять за тридевять земель?! Жду ваших предложений. Что скажет представитель «Межколхозстроя»?

— Если мне добавят средства, я постараюсь сдать объект к концу четвертого квартала. Это будет новогодний подарок трудящимся.

— Сколько вам требуется для завершения работ по роддому? — спросил один из замов.

Представитель «Межколхозстроя» отвел свои вороватые глаза в сторону и сказал: — Тысяч семьдесят, семьдесят пять...

Прошел гул возмущения.

— Это несерьезно, — сказал председатель. — Таких денег вам никто дать не сможет.

— Это почему же?! — неожиданно громко сказал Михаил. — Мы можем дать!

Весь райисполком повернулся на голос Михаила.

— Ай да Мишаня! — восхищенно ахнул Петрович. — Прорезался!

— Только не семьдесят! — в панике закричал Генка. — Только не семьдесят! Там восемнадцать тысяч пятьсот сорок восемь рублей наших собственных! Мишка, быстро: сколько остается?

— Пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей, — мгновенно ответил Михаил.

— Молодец, Генка... — Петрович показал на представителя «Межколхозстроя». — Глянь на его рожу — он и миллион схапает — не подавится. Так вот, граждане! — сказал он уже громко. — Пятьдесят пять тысяч семьсот с копейками можем отстегнуть наличняком, чтобы вам было где рожать. Устраивает?

— Вполне, — немедленно ответил представитель «Межколхозстроя». — Ужмемся, справимся и к Новому году...

— Минуточку! — закричал председатель райисполкома. — Да кто вы такие?!

Спустя некоторое время на черном капоте председательской «волги» стоял старый китайский термос, а на расстеленном чистом носовом платке лежали золотые монеты.

Генка, Михаил и Петрович растроганно принимали поздравления и с максимальной деликатностью оберегали золото от возмож-

ных посягательств. Только один раз, когда подрядчик из «Межколхозстроя» потянулся, чтобы взять монету и разглядеть ее поближе, Генка жестко сказал ему:

— Руки!

— Так вот вы какие...— председатель исполкома ласково разглядывал Генку, Петровича и Михаила.— А мне еще вчера про этот случай докладывали — и ваш управляющий, и милиция. И с самой лучшей стороны. Так что район может по праву вами гордиться.

— А золото может район принять? — спросил Петрович.

— И выплатить нам положенные двадцать пять процентов,— добавил Генка.

— А то уже просто сил нет,— пожаловался Михаил.

— Ну конечно! — улыбнулся председатель.— О чем вы говорите? И прессу подключим, и законное вознаграждение вручим в торжественной обстановке. Немедленно все это организуем. Ну-ка, где наш начальник райфо?

— В отпуске,— доложил председателю его первый зам.

— Когда вернется?

— Через восемь дней,— подсказал второй зам.

— Вот и хорошо,— мягко проговорил председатель, обращаясь к Михаилу, Генке и Петровичу.— Приезжайте со своим богатством через восемь дней и прямо к начальнику районного финансового отдела. А мы к тому времени уже дадим ему команду...

— А золото?...— потерянно просипел Михаил. От горя он снова потерял голос.— Где золото держать?

— Я же сказал — к начальнику райфо,— терпеливо объяснил ему председатель райисполкома.— Деньги — это его епархия. И мы призваны для того, чтобы каждый на своем месте занимался своим делом и с полной ответственностью.

Сея ужас и панику на дороге, мотоцикл с тремя нашими героями мчался с чудовищной скоростью.

Он напрямую проскакивал дворы и палисадники, перелетал через заборы, врезался в огромные лужи, вздымая стены грязной воды, и вообще совершал невероятные мотоциклетные чудеса, которые не снились чемпиону. Ибо отчаяние, движущее нашими героями, намного превышало технические возможности этого транспортного средства.

— Прокурора! — яростно хрипел Михаил.

— Требую прокурора! — явно подражая кому-то, вопил Генка, стоя в полный рост за спиной Михаила.

— Только к прокурору!!! — злобно рычал Петрович из коляски, прижимая к груди старый китайский термос с отвергнутым золотом.

— Ваша жалоба совершенно обоснована,— сказал им районный прокурор и потряс большим, густо исписанным листом бумаги.— Если факты, указанные здесь, подтвердятся, виновные получат очень строгие взыскания, невзирая на занимаемые должности и прошлые заслуги. Как сказал Петр Великий: «Прокурор — око Государево». Перед законом все равны.— Райпрокурор оглядел термос, золото на столе и добавил: — Кстати, по закону вы были обязаны сдать государству найденные ценности в течение двенадцати часов с момента их обнаружения. Однако, руководствуясь тем, что ряд ответственных лиц создали вам невозможные условия для соблюдения сроков сдачи, мы вас к ответственности привлекать не будем.

— И на том спасибо!..— поклонился ему Петрович.

— Не за что,— сказал прокурор.— Я руководствуюсь только законом. Жалоба ваша будет рассмотрена в установленные сроки.

— Это когда? — спросил Генка.

— Обычно все зависит от существа дела. В данном случае проверка фактов и выводы займут не более десяти суток. Случай, честно говоря, примитивный: бюрократизм, бездушие и безответственность.

— Я хочу умереть...— тихо сказал Михаил.

— Что? — не расслышал прокурор.

— Ничего, ничего. Все в порядке,— улыбнулся прокурору Генка и обнял Михаила за плечи.

— А как быть с золотом? — наливаясь гневом, спросил Петрович.

— Беречь как зеницу ока! — строго сказал районный прокурор.

— Я хочу умереть...— стонал Михаил, пока Генка и Петрович бережно усаживали его в мотоциклетную коляску.

Они застегнули его клеенчатым пологом по самую грудь. И в нерешительности встали у мотоциклетного руля.

— Ты умеешь? — спросил Петрович, указывая на мотоцикл.

— Не боги горшки обжигают. Попробую,— ответил Генка.

— Нет. Тогда давай уж лучше я буду пробовать,— решительно сказал Петрович.— Я когда-то на целине ездил на этой хреновине. Лет тридцать пять тому назад...

Тридцатипятилетний перерыв в вождении мотоцикла оказался ощутимым, скорость их движения была не более семи километров в час.

Генка сидел за широкой спиной Петровича, а одной рукой заботливо поддерживал голову Михаила.

— Мишку надо срочно к врачу. Он совсем погибает! — шептал Генка на ухо Петровичу.

— С божьей помощью привезем его ко мне — позовешь свою тетку Веру.

— Тетя Вера счетовод, а не врач! А в Мишкином состоянии...

— В его состоянии счетовод нужнее. Позовешь Веру. Понял?

Петрович сказал это так сурово и непреклонно, что Генка только плечами пожал.

В квартире Петровича на высокой кровати лежал Михаил с компрессом на лбу. Около него сидела Вера, гладила его и ласково шептала:

— А мы уж с Ксенией Мухаммедовой прошлой ночью ужас что себе вообразили...

...За кухонным столом распаренный Петрович глушил третью бутылку пива, а Генка держал на коленях маленькую Юльку и поил ее чаем.

— Поросятка кормила? — тихо спросил он ее.

Рот у Юльки был набит тортом, и она только утвердительно кивнула.

Петрович посмотрел на пустые кухонные полки, на два туго набитых чемодана, стоявших на полу, и спросил:

— А это что?

— Собрались мы с Веркой за вами ехать, — объяснила Ксения Мухаммедовна. — В Сибирь или куда теперь душегубов-то отправляют?..

— Декабристки. Дурищи стоекосовые, — сказал Петрович.

Ксения Мухаммедовна рассмеялась и поцеловала Петровича в лысину.

Генка вытер Юльке физиономию и невесело усмехнулся:

— Интересное кино. Пойти Мишке рассказать, что ли...

— Сиди, — не пустила его Ксения Мухаммедовна. — Он еще в себя не пришел.

— Вот у меня теория есть, — сказал Генка, засовывая огромный кусок торта в рот. — Эти сорокалетние, или около того, они вообще слабые сейчас. Все.

— Это еще почему? — недовольно спросил Петрович.

— Объясню. Вот у вас, Петрович, уже все было — и война, и целина, и любовь... жизнь — будь здоров! Вас ничем не напугаешь. У нас, молодых, все впереди. Мы сегодня четко знаем, чего хотим — чтобы

нам не врал! А вот такие, как Мишка, которым по сорок — они слабоваты. Они вашей жизни не нюхали и в нашем возрасте свою жизнь проморгали да промолчали. Всего боятся, интересы ерундовские, хватки никакой. У кого всякие там инфаркты, язвы желудка, склонность к этому делу? У сорокалетних! И одиноких среди них больше всех. У них нет четко выраженных позиций, и вообще...

— Ну нахал! — в одно слово хором сказали Петрович и Ксения Мухаммедовна.

Юлька захохотала, захлопала в ладоши. Понравилось, что говорят хором. В кухню вошли Михаил и Вера. Вера смущенно улыбалась. Михаил, вопреки Генкиной теории, был настроен довольно агрессивно:

— Ну, вот что. Мы тут с Верой кое-что решили. Она вам потом скажет. А вы, Петрович, и ты, Генка, кончайте расслаиваться. Раз договорились — ни шагу назад! Закопать его — и дело с концом. Хватит мучиться! Подъем.

Завывал ветер. Почти в чернильную темноту Генка, Петрович и Михаил вышли из дома с небольшим рюкзаком и двумя лопатами.

Генка привычно направился к мотоциклу, но Михаил перехватил его, притянул к себе и сказал на ухо:

— Не трожь мотоцикл. Пешком и тихо. Хватит. Пошумели.

Неожиданно Генка и Петрович почувствовали железную командную руку и покорно последовали за Михаилом.

— Куда? — позволил себе спросить Петрович.

— К Генке. У них там хозяйство, огород, поросянок. Найдем место.

Хоронясь от тусклого света редких фонарей, они нырнули за дом Веры и Генки, а оттуда — прямо в сарай. Шуршала солома, завозился поросянок.

— Петрович, давайте свой фонарик. Только аккуратней, чтобы снаружи ничего не было видно, — распорядился Михаил. — Генка, выбирай место.

С великими предосторожностями Петрович включил ручной фонарь и в ужасе отпрянул от загородки — там весело похрюкивала и шумно дышала огромная свиная килограммов на двести.

— Господи!.. — только и сказал Михаил.

— Это что?! — тыча фонариком в свинью, еле вымолвил Петрович.

— Поросянок. — Генка безмятежно почесывал чудовище за ухом.

— Это «поросянок»?! — Петрович был потрясен.

— Да. Я его вот с таких вынянчил, — Генка показал руками что-то очень малень-

кое. — Он для меня всегда поросенком остается.

— Пошел ты знаешь куда!.. — взъярился Михаил. — Если здесь закопать, этот хряк все перероет! Тушите свет, Петрович. Я знаю место. Айда за мной!

За поселком на пустыре росла одинокая яблоня. В ночной темноте только верхушка кроны выделялась на фоне ночного неба. Слышалось хриплое дыхание, звяканье лопат и шорох сыплющейся земли.

Где-то далеко, на другом конце поселка, заиграла гармошка. Все звуки под яблоней сразу же прекратились. Несколько секунд томительного выжидания, и снова работа началась.

— Чего вы детектив-то устраиваете? Не видно же ни черта. Включите фонарик, — слышался раздраженный шепот Генки. — Я тебе сейчас дам фонарик. Копай! — тихо рявкнул Михаил.

И Генка, как ни странно, ничего не ответил. Зато голос Петровича спросил:

— Тебе не кажется, что у Мишки очень даже четкая позиция? А, Генка?..

Яркое весеннее солнце заливало кабинет председателя райисполкома. Но сидящих за столом заседаний это не радовало.

Очень растерянно выглядел веселый и добрый человек — майор милиции, заместитель начальника райотдела МВД. Нервно подергивал головой худенький управляющий «Агропромом». Такой справедливый и мужественный в своем кабинете, здесь он чувствовал себя крайне неуютно. И первый, и второй заместители председателя райисполкома старались не поднимать глаз на своего шефа и задумчиво рисовали на бумажках разные закорючки...

Несколько неожиданным было присутствие в этом кабинете директорши ювелирного магазина «Сапфир». Вызов в отдаленный район из центра был для нее оскорбителен, и она не пыталась этого скрывать.

Сильно отличался от всех собравшихся дочерня загорелый человек с живыми, блестящими глазами. Это был начальник райфинотдела. Он только сегодня вернулся из отпуска и все еще не мог настроиться на деловой лад.

Сам председатель райисполкома — чуткий и мягкий человек, рачительный хозяин, сумевший добиться замечательных показателей, сохранял на лице выражение достоинства и готовности отвечать за все, что произошло в его районе.

И был районный прокурор. В полной форме советника юстиции соответствующего ранга. Несмотря на свое серьезное служеб-

ное положение, районный прокурор был не лишен юмора и начал свою речь почти классическим заявлением:

— Я пригласил вас, товарищи, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие...

— К нам едет ревизор! — рассмеялся загорелый начальник райфо.

— Отнюдь, — строго сказал прокурор. — Гораздо хуже. Восемь дней назад ко мне поступила жалоба...

На голове Михаила была теперь модная шерстяная горнолыжная шапочка, а из-под ворота грязного ватника выглядывал краешек пестрого кокетливого шарфика. Он стоял вместе с Генкой и Петровичем во дворе «Агропрома». Крановщик засыпал удобрения в их машины.

— Сегодня у Ксении в клубе вечер французской песни. Придете? — спросил Петрович.

— Об чем речь, — сказал Михаил.

— Нет вопроса, — поддержал Генка.

Крановщик засыпал последний ковш в кузов и заорал:

— Эй, миллионеры! Все! Поехали!..

— Петрович! Мишаня! Умоляю!.. — быстро проговорил Генка. — Махнем через район! Всего лишних три с половиной кмэ. Мне вот так надо! — И Генка полоснул ребром ладони по горлу.

— Во, нашего прихватило! — заржал Петрович. — Аж трясется!

Три груженных самосвала ЗИЛ-130 вкатились на центральную районную площадь и остановились напротив стоянки служебных машин.

Генка выскочил из кабины, быстро скинул сапоги, размотал портянки и оказался в тщательно начищенных модных туфлях.

— Я сейчас! — крикнул он Петровичу и Михаилу и побежал через площадь прямо к дверям райисполкома.

— Привет, Гена! — закричали ему водители легковых машин. — Чего-то ты зачастил к нам?!

— Привет, привет, мужики! — ответил им Генка.

Генка пробежал по широкому коридору, распахнул дверь приемной самого председателя.

Увидев Генку, хорошенькая секретарша засветилась радостью.

— Натуля, зайчик... Я на секунду. — Генка положил перед ней плитку шоколада и венгерский кубик Рубика.

— Ой, Геночка... Спасибо!

На ее столе, у пишущей машинки, лежала красивая южная ракушка.

— Еще вчера не было, — ревниво заметил Генка. — Откуда такая?

— Презент. Заврайфо сегодня из Пицунды вернулся.

— Уже?

— Да. А что?

— Нет-нет, ничего. Когда освободишься?

— Ой, Геник... Понятия не имею. Сегодня такой трудный день! Из области приехали, наши все там... — Наташа показала на дверь кабинета председателя.

— Что стряслось?

Наташа оглянулась, плотно прикрыла дверь приемной:

— Девочки говорили, что какой-то дядька нашел клад в три миллиона рублей. Хотел его сдать, а у него нигде не приняли. Теперь ни клада, ни дядьки... С утра сидят, выясняют — кто виноват и что делать.

— Тяжелая история,— посочувствовал Генка.

С площади слышались сигналы самосвалов.

— Жду тебя у клуба! — заторопился Генка.— Договорились?

— Обязательно постараюсь.— И Наташа поцеловала Генку в щеку.

Поздно вечером, когда в зале сельского клуба шел концерт, к зданию с разных сторон почти одновременно подъехали несколько милицейских УАЗов и один желто-синий «москвич» с мигающим фонарем на крыше. Операция по захвату началась.

Из машин выскочили милиционеры, один даже с собакой, и сразу перекрыли все входы в клуб. Этим с упоением руководил младший лейтенант Белянчиков.

Из «москвича» вышли майор милиции, начальник райфо и сухонькая пожилая женщина с большим портфелем. Майор дал им знак оставаться у машины, а сам в сопровождении двух милиционеров пошел к центральным дверям клуба. Здесь висело объявление: «Сегодня, 3 апреля, вечер французской песни. Исполняет коллектив художественной самодеятельности поселка Прохоровский Ляминского района. Начало в 20 часов. После — танцы!»

Белянчиков рванулся было за майором, но тот оставил его на улице. Белянчиков обиделся и на всякий случай расстегнул кобуру пистолета.

На сцене стоял небольшой хор девушек от шестнадцати до шестидесяти лет. Все они были в длинных белых платьях и красных фригийских колпаках.

Впереди, прямо на авансцене, стояла Ксения Мухаммедовна с баяном в руках. На ней тоже был красный фригийский колпак и длинное белое платье, но в отличие от рядовых хористок у нее оно было расшито

золотыми аппликациями с мотивами казахского орнамента.

«Чао, бамбино, сори...» — гремело со сцены.

Первые пять мест в седьмом ряду занимали Петрович с Юлькой на коленях, Наташа с Генкой и Михаил с Верой.

Майор с двумя милиционерами незаметно появился у запасного выхода, расположенного чуть ли не у самой сцены, и стал внимательно вглядываться в лица зрителей. Увидев Петровича с Юлькой, пригнулся и на цыпочках прошел к седьмому ряду. Наклонился к Петровичу и сказал ему шепотом:

— Пройдемте.

Петрович усмехнулся, Юльку передал Генке и встал со своего места.

— И вы тоже,— прошептал майор Генке.

Генка успокоил встревоженную Наташу и передал Юльку Михаилу.

— Вас тоже попрошу,— тихо сказал Михаилу майор.

Тот отдал Юльку Вере.

Зал заволновался. Ксения Мухаммедовна прервала французскую песню и громко сказала на чисто русском языке:

— Наконец-то! Спохватились!..

Хор растерялся, умолк.

— Петрович! — крикнула Ксения Мухаммедовна.— Если вернешься раньше меня,— котлеты на подоконнике в кухне.— Она посмотрела в зал и весело сказала: — Все в полном ажуре! Продолжаем вечер французской песни! — повернулась к хору и скомандовала: — Раз, два, три! «Чао, бамбино, сори...»

И вслед уходящим — Петровичу, Генке, Михаилу и сопровождающему милицейскому конвою — хор грянул шлягер Мирей Матье.

Генку, Петровича и Михаила вывели на улицу. По мановению руки Белянчикова они были сразу же окружены милицией. Служебная собака доверчиво потерлась о ногу Михаила и радостно завиляла хвостом.

— Вот это наши герои,— благодушно сказал майор.— А это наш начальник районного финансового отдела. И старший кассир исполкома... Извините, как ваше имя-отчество?

— Им это не обязательно,— женщина с портфелем зло поджала губы.

Начальник райфо шепнул майору:

— Как к ним обращаться?

— Нормально.

— Я в смысле «товарищи» или «гражданин»?..

— Пока «товарищи», а там посмотрим.

Начальник райфо откашлялся и торжественно произнес:

— Товарищи! Районный исполнительный комитет поручил мне...

— Документы,— прервал его Генка.

— Что?!

— Предъявите документы,— жестко повторил Генка.

— Ну, ты бюрократ!..— изумился майор.— Такой молодой, а уже... Покажите, покажите ему удостоверение. А я ему потом покажу акт, который он сам подписал.

Начальник райфо вынул красную книжечку, протянул ее Генке. Генка внимательно сличил фотографию с оригиналом и передал удостоверение Михаилу. Михаил сделал то же самое и отдал книжечку Петровичу. Тот похлопал себя по карманам:

— Очки забыл дома...

— У тебя сколько? — спросил майор.

— Плюс три.

— Держи,— майор протянул Петровичу свои очки.

Петрович надел очки майора, прочитал удостоверение от корки до корки и вернул его растерянному владельцу:

— Теперь — порядок. Поехали.

Уже садясь в машину, Петрович заинтересовался у майора:

— Где такую оправу достал?

— У нас в районе были в прошлом месяце.

— Что ты говоришь?! — удивился Петрович.

Одинокая яблоня на темном пустыре, освещенная фарами милицейских автомобилей, стояла как в сказке.

Генка, Петрович и Михаил — ошеломленные и униженные — потрясенно смотрели в пустоту вырытой ямы. Клада не было!.. Несколько милиционеров с лопатами в руках стояли рядом.

На одной из машин работала рация. Сержант милиции что-то негромко говорил в радиотелефонную трубку.

Вне себя от огорчения, майор стоял на коленях у края ямы и сильным фонарем истово шарил по ее дну. Но ничего, кроме разрыхленной земли, не было видно! Над ямой склонился и Белянчиков.

— Ну, и где же ваше золото? — злорадно спросил он.

— Да погоди ты,— примирительно сказал майор и поднял глаза на Петровича, Генку и Михаила: — Может, вы закопали клад под какой-то другой яблоней?

Не в силах вымолвить ни слова, Генка, Михаил и Петрович отрицательно покачали головой.

— Точно здесь зарыли?

Трое утвердительно кивнули.

— И где же оно? — усмехнулся Белянчиков и передвинул кобурку на живот.

Видно было, что майор нервничал не меньше Михаила, Петровича и Генки. Не вставая

с колен, майор снова поднял на них глаза:

— Ну, может быть, кто из вас пошутил и вырыл этот термос? Вы уж скажите — остальных-то двоих товарищей зачем подводить? Ну, просто так, в шутку?..— пытался майор трое спасти хотя бы двоих.

Все трое отрицательно зачали головой.

— Может, обмолвились кому, где зарыли? Женам, девушкам, родственникам? Всякое бывает...— майор бросил последний спасательный круг.

И снова они отрицательно покачали головой.

— М-да...— майор поднялся с колен и отряхнул с себя землю.— Тогда только на саперов надежда.

Он подошел к начальнику райфо и старшему кассиру.

— Я же сам это золото видел! Сто девяносто две монеты. У меня даже акт есть!..— проговорил он в отчаянии и вдруг гневно закричал: — С саперами связались или нет?! Где они, черт бы их побрал?!

Сержант у рации отнял от уха телефонную трубку, вытянулся:

— Так точно, товарищ майор. Я с ними на связи. Уже на подходе!..

— Доигрались с золотишком? — спросил Белянчиков.

Несчастные Петрович, Михаил и Генка стояли перед ним раздавленные, растерянные, ничего не понимающие... Стояли, словно перед казнью. Казалось, они уже попрощались друг с другом, с жизнью, со всем на свете, и единственное, что сейчас терзало их души,— то, что через несколько секунд они погибнут, так и не сумев доказать свою невиновность!..

Мощно рокоча двигателем, подъехал военный ГАЗ-66. Из кабины выскочил старший лейтенант. Из-под брезентового фургона соскочили на землю три солдата с миноискателями и еще какими-то мудреными приборами. Старший лейтенант тут же подбежал к майору:

— Товарищ майор! Старший лейтенант Пилипенко прибыл в ваше распоряжение. Какие будут указания?

— Голубчик...— чуть не плача, совсем не по-военному взмолился майор.— Пошуруйте своими этими штуками под яблонькой!.. Христа ради! Может, чего и сыщете...

— Что предположительно искать? — спросил старший лейтенант.

— Сынок, ты, главное, ищи... Я тебе потом скажу. Тут дело тонкое.

— Ориентироваться на взрывчатку?

— Сохрани бог! Кой-что металлическое. Понял?

— Так точно! Масленников, Хамраев, Кульбицкий! Приступить к выполнению задания! — скомандовал старший лейтенант.

Солдаты надели наушники, изготовили свой радионструмент и осторожно стали окружать яблоню. Генка, Петрович и Михаил собрались было уступить место солдатам, но Белянчиков мгновенно выхватил пистолет из кобуры и прокричал победным голосом:

— Стоять! Не двигаться!

Пожилая кассирша закатила глаза, выронила портфель. Начальник райфо кинулся за милицейскую машину...

— А ну, перестань оружием баловать! — заорал на Белянчикова майор. — Спрячь немедленно! И вообще геть отсюда! Отстраняю!!!

Солдаты внимательно посмотрели на своего командира, тот вопросительно на майора.

— Давайте, давайте, ребята, — успокоил их майор с вымученной улыбкой. — Не обращайтесь внимания. Наше внутреннее дело...

Солдаты склонили к земле миноискатели и стали медленно продвигаться вокруг яблони.

Старший лейтенант взял какой-то прибор со стрелкой, подсоединил его к пульта в кузове грузовика и аккуратно повел прибор над землей.

Майор нервно сглотнул, рукавом вытер пот с лица. Начальник райфо все пытался прикурить — ломались спички.

Саперы уже были в стороне от яблони, как вдруг один из солдат остановился и негромко сказал:

— Есть сигнал.

Старший лейтенант метнулся туда с прибором, приложил его к земле. Стрелка заплясала как сумасшедшая!

Ни Генка, ни Петрович, ни Михаил этого не видели. Они стояли как изваяние, как памятник.

— Зафиксировать место раскопа по краям предполагаемого залегания, — распорядился старший лейтенант. — Начать раскоп. Пожалуйста, свет на ту сторону, — попросил он майора.

Два милицейских УАЗа съехали яблоню и фарами осветили солдат-саперов. Помимо фар, водители включили сильные «поисковые» фонари, и место раскопа засияло в ночи сказочным светом...

Под тремя ловкими и осторожными солдатскими саперными лопатками яма углублялась и углублялась. Неожиданно лопатки замерли в воздухе.

— Предмет раскопа, — доложил солдат. — Осторожно, — предупредил старший лейтенант и командовал: — Отойти на безопасное расстояние! Пока предмет неизвестен.

Он вынул из полевой сумки садовый совочек, широкою плоскую малярную кисть с короткой ручкой и стал осторожно окапы-

вать предмет со всех сторон. Сначала показались брезентовые ремешки, затем весь рюкзачок.

Старший лейтенант лег на землю, свесился в яму по пояс и приложил ухо к рюкзаку. Послушал, встал:

— Все нормально. Вынуть предмет!

Два солдата вытащили рюкзачок, открыли. Там лежал старый китайский термос с разноцветными колибри.

— Сто девяносто две, — бесстрастным голосом доложила старая кассирша исполкома начальнику райфо и пересыпала золото в инкассаторский мешок.

Начальник райфо опломбировал мешок и пожал майору руку.

— Я-то тут при чем? — раздраженно заметил майор милиции. — Вон кому руки жать надо.

И он показал на обессиленных Генку, Петровича и Михаила. Они сидели прямо на сырой земле и безразлично смотрели в черную даль.

Саперы уже уехали, фары милицейских машин были переключены на ближний свет, поисковые фонари погашены.

— Правильно, товарищи! — воскликнул начальник райфо. — Мы должны поздравить наших товарищей! И поблагодарить их за честность и мужественность, за высокую сознательность и непримиримость...

— Ну, будя, будя... — остановил его майор.

Он первый подошел к Михаилу, Петровичу и Генке. Все остальные, кроме женщины-кассира, потянулись за ним цепочкой.

Петрович, Михаил и Генка увидели, что к ним направляется целая делегация, с трудом поднялись с земли, помогая друг другу.

Майор пожал им руки и укоризненно сказал:

— Как же вы сторону-то спутали? Я чуть инфаркт не получил!

— Темно было, — хрипло сказал Петрович.

— Фонарик боялись зажечь, — еле выдавил из себя Генка.

— Чтобы никто не увидел, — объяснил Михаил.

Они стояли и отвечали на рукопожатия всем подходившим. Последним шел младший лейтенант Белянчиков. Майор вовремя позвал его к себе:

— Белянчиков! Ну-ка, поди сюда!

Белянчиков подбежал к майору.

— Слушай, — задумчиво сказал майор. — У тебя до школы милиции какая была гражданская специальность?

— Пэтэу окончил. Слесарь по ремонту подъемных механизмов.

— Это что?

— Лифты в городе обслуживал.

— Замечательно! — обрадовался майор.— Очень нужная людям специальность! Так ты давай, освежай в памяти свою профессию. Думаю, что она тебе уже через месяц очень пригодится. Зачем тебе милиция?

Еще за несколько часов до встречи Нового года покрытые снегом Генка, Михаил и Петрович возили зольные удобрения.

На этот раз в глубоком снегу увязла машина Петровича.

Генка и Михаил — каждый за рулем своей машины — на тросе пытались вытащить Петровича на укатанный грейдер.

У всех трех машин крутились колеса, ревели двигатели, но усилия были тщетны. Самосвалы все глубже и глубже зарывались в снег...

Чертыхался в своей кабине Петрович — ему казалось, что Генка и Михаил все делают не так как нужно. Рядом с ним на сиденье стоял старый китайский термос и лежала большая коробочка с новогодним тортом.

Генка поддавал газу и нервно поглядывал на часы. На его сиденье стоял огромный Дед Мороз, валялись какие-то подарочные сверточки.

Михаил открыл водительскую дверь, высунулся и что-то кричал Петровичу. В его кабине стояла небольшая пушистая елочка.

Петрович сердился, кричал в ответ, но двигатели шумели так сильно, что слов, к счастью, разобрать было невозможно.

Из-под колес машин Михаила и Генки летела грязная земля со снегом. И тут что-то с силой ударило по лобовому стеклу машины Петровича. Стекло мгновенно покрылось густой сетью трещин. Петрович ахнул и в ярости нажал на сигнал.

Генка и Михаил перестали газовать и высунулись из своих кабин. Увидели разбитое лобовое стекло на машине Петровича и тоже ахнули.

Они выпрыгнули в снег и побежали навстречу разъяренному Петровичу.

— Кто ж так тянет?! Кто ж так тянет!..— с ходу заорал на них Петрович.— Сапожники! Ни хрена не умеете!..

Генка и Михаил виновато почесали в затылке и принялись осматривать задние колеса своих машин — насколько глубоко они засели сами. И вдруг Михаил увидел под задним колесом раздавленный ларец с драгоценностями!!!

Золотые монеты, бриллиантовые диадемы, рубиновые браслеты, кольца сверкали в грязном месиве земли и снега! А длинная нитка крупного жемчуга просто намоталась на ступицу заднего колеса ЗИЛа!..

— Генка!..— в ужасе прошептал Михаил и потерял дар речи.

Генка заглянул под колесо и тут же сел на снег, бессмысленно поводя глазами.

— Чего вы там устались? — закричал Петрович.

— Клад!..— еле вымолвил Генка.

— Чего? — не расслышал Петрович и подошел ближе.

— Клад!..— дрожа, произнес Михаил и глазами показал под колесо.

Петрович увидел драгоценности и пошатнулся:

— Еще один?! Нет! Нет! Не-е-ет!!!

Он попятился, упал в снег, вскочил и побежал назад!..

Генка и Михаил в дикой панике, в кошмаре бросились по своим машинам.

Все трое одновременно вскочили в кабины. На предельных оборотах взревели три двигателя, и три, казалось бы, намертво засевших самосвала, поднимая тучи грязи и снега, рванулись и, набирая скорость, помчались по снежной целине в разные стороны!..

Сам по себе отцепился трос, и теперь они, влекомые паническим ужасом и какой-то высшей силой, мчались с чудовищной быстротой в совершенно разные стороны света — лишь бы подальше убраться от того проклятого места, где в грязном снегу лежал раздавленный ларец со вторым кладом!

Мощно вступил могучий оркестр, и потрясающий голос великого русского певца загремел:

Люди гибнут за металл,

Люди гибнут за металл.

Сатана там правит бал!

Там правит бал!..

А три самосвала уже перекрыли пределы возможных земных скоростей, оторвались от снежного наста и, словно три сверхзвуковых истребителя, круто набирая высоту, взмыли в синь морозного неба.

В воздухе они разошлись веером и, оставляя за собой белый инверсионный след, стали исчезать в вышине и вскоре превратились в три сверкающие серебряные точки на фоне яркого безоблачного зимнего неба...



ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ РОМАНОВ (родился в 1949 году) окончил сценарный факультет ВГИКа. Автор ряда сценариев документальных фильмов, пьес, повестей на современную и историческую темы. На Свердловской киностудии по сценарию В. Романова создан трехсерийный телевизионный фильм «Покушение на ГОЭЛРО». Литературный сценарий «Если не я, то кто?» — дебют автора в художественной кинематографии. Сценарий удостоен третьей премии на конкурсе сценариев для детей и юношества, проведенном Госкино СССР, и готовится к постановке на киностудии им. М. Горького.

ВЛАДИСЛАВ РОМАНОВ

ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО?

Они забрались в самую чащу. Продираясь сквозь сухой ельник на поляну, Аня расцарапала себе лицо.

Бочаров взглянул на небо. Лилово-черная туча наполнила на лес. Аня Летунова повалилась было на мхи, но тут же вскочила: под мхами была вода.

— Я больше не могу! — Аня умоляюще посмотрела на Бочарова. — Неужели мы никогда не выберемся отсюда?!

Треснула ветка, и Аня вздрогнула.

— Давай кричать! Вдруг кто-то услышит!

— Кто? — спросил Бочаров. — Надо ждать вечера.

— Что?.. Ты что, с ума сошел?! Да я умру от страха!

— Разве от страха умирают? — улыбнулся Колька.

— Умирают! — зло сказала Аня. Ее раздражало его спокойствие. — У папы на работе бухгалтер умер, когда ревизия пришла. От страха, между прочим!.. — Снова треснула ветка. — Тебе не кажется, что за нами кто-то наблюдает?

— Нет, — сказал Бочаров. — Это просто тишина такая.

Он снял полукед. Носок был мокрый. На подошве зияла дыра.

— А зачем ждать вечера? — спросила Аня.

— Чтобы по звездам найти дорогу.

— По звездам?

— Над твоим домом висит ковшик Малой Медведицы, мы на него и пойдём...

— Откуда ты знаешь, что висит над моим домом? — удивленно посмотрела на него Аня.

— Знаю. — Бочаров, смутившись, отвернулся.

Зазвенел звонок, и все эти видения мигом улетучились.

— К пятнице «Мон эколь» знать наизусть, — сказала француженка Нина Михайловна, и все недовольно загудели.

— А можно пока на русском? — спросил Воронцов, и все засмеялись.

— Хорошо, — Нина Михайловна улыбнулась. — Но с тем условием, что к следующему уроку вы выучите по-французски.

— Ура! — заорал Гвоздев. — Вив ла коммюн!

— Аленз анфан дё ля патри! — запела Нина Михайловна, и все подхватили «Марсельезу».

Бочаров пел вместе со всеми. Покосился на Аню. Та молчала. Будто стена отгораживала ее от всего происходящего в классе.

Шумел ливень, сверкала молния, грохотал гром.

Аня и Бочаров стояли, прижавшись к старой сосне. Аня вздрагивала от каждой вспышки молнии. Изредка тяжелые капли дождя проникали сквозь ветви, и тогда Аня передвигалась поближе к Бочарову. Незаметно они придвинулись друг к другу — настолько, что их руки касались.

Бочаров сжал ее руку. Лицо Ани было бледным и напряженным.

— Тебе не страшно? — спросила она, вывобождая руку.

— Нет, — ответил Бочаров.

Бочаров медленно шел по школьному коридору, прислушиваясь к странной, точно изломанной музыке, доносившейся из актового зала.

Он тихоенько приоткрыл дверь и увидел Аню. Она сидела на сцене перед роялем, брала отдельные аккорды, но руки ее точно мерзли, и она отогревала их у рта. Бочаров незаметно вошел в зал и сел в последний ряд.

Стемнело, и крупные звезды выпали на небе.

— Ну, ты видишь свою Малую Медведицу? — нетерпеливо спросила Аня.

— Вижу, — тихо ответил Бочаров.

— Где она?

— Вон видишь, маленький ковшик... А вот большой. — Он очертил созвездие руки. — А вот Полярная звезда...

— И куда нам идти?

— В ту сторону, — Бочаров махнул рукой.

— Пошли! — скомандовала Аня, и тотчас послышался далекий протяжный вой. Аня от страха прижалась к Бочарову. — Это... кто?

— Похоже на волка. Но он на людей не бросается.

Помолчали. Аня, немного успокоившись, отстранилась от Бочарова.

— А почему говорят «мой звездный час»?

— Раньше все делали по звездам, — подумав, ответил Бочаров. — Если плохое расположение звезд — не пускались в плавание, не начинали сражений...

— А сейчас какое расположение?

— Такое, что надо идти!..

Он вдруг заметил, как в зал вошел Гвоздев, и замер. Гвоздев прошел сразу к сцене, и Бочаров тотчас сполз вниз, на пол.

— Здравсьте, а ваша тетя, я приехала из Киева! — недовольно заговорил Гвоздев. — Мы сидим, ждем как идиоты, а вы тут изволите играть!

— Я забыла... — прошептала Аня.

— Счастливые часов не замечают, — примирительно пробурчал Гвоздев. — Мы уже провели комитет, я сказал, что тебя Антонина вызвала...

Аня молчала.

— Ну, как тебе наш гений Бочаров? — продолжал Гвоздев. — Лобанов его наддресировал и теперь показывает всем, как подопытного кролика!..

Бочаров побледнел, напрягся как струна. Аня не ответила. Она взяла несколько аккордов, вздохнула и стала сворачивать ноты.

— Слушай, в воскресенье вечер бардов в двадцатой школе, есть два билета!.. У них там столики, тесная компашка, избранные люди...

— Я не могу. — Аня поднялась. — Я физико совсем запустила!..

— Попроси Бочарова. Он, по-моему, в тебя...

— Я сама разберусь, — оборвала Аня.

Они прошли мимо Бочарова, но Гвоздев вдруг вернулся и в упор посмотрел на него.

— Кого мы не заметили! — язвительно пропел он.

Бочаров поднялся, покраснел. Он готов был провалиться сквозь землю.

— Ты что, подслушивал? — спросил Гвоздев.

У Бочарова потемнело в глазах.

— Дурак ты! — еле сдерживая боль и обиду, проговорил он.

— Я еще и дурак! — обрадовался Гвоздев возможности поехидничать. — Он тут подслушивает, а я дурак! Ну ты даешь, Бочаров! — ухмыльнулся Гвоздев и побежал догонять Аню.

Бочаров, не выдержав напряжения, сел и закрыл лицо руками.

Они не бежали, а летели по ночному лесу. Светила полная луна, и он шептал: «Ж'эм ля люн, кант эль эклер лё бо визаж», — и шорох, шепот, цоканье копыт неслось вслед...

«Люблю луну, когда она освещает красивое лицо»... — кажется, шептал весь лес, и она смотрела на него нежно и влюбленно.

Они остановились передохнуть, и Бочаров стал согревать ее озябшие руки.

— Мне совсем не страшно, хотя ночь и мы в лесу, — сказала Аня. — Здесь так красиво! Я и не думала, что может быть так красиво...

Бочаров оглянулся. У старой ели стояли трое: Фикса, Малыш и Хомка. Они появились так неожиданно, что он даже не успел испугаться. Огромный, с угреватым черным лицом Фикса. Коренастый, белообрый, с тонкими злыми губами Малыш. И щуплый

невзрачный Хомка... Аня, заметив зловещую троицу, растерянно посмотрела на Бочарова...

Все трое — Фикса, Малыш и Хомка — сидели в летнем павильоне на высоком, поросшем соснами берегу реки, и Бочаров, увидев их, застыл как вкопанный.

Первым его заметил Хомка. Он махнул рукой, и Бочаров нехотя зашел в павильон.

В окне буфета маячила застывшая фигура буфетчицы. Торговать было нечем: заохотились бутерброды с сыром, жареная рыба.

За столиком рядом с Фиксой сидел рыжий парень с гитарой. Нацепив темные очки, он хриловато пел под гитару о лихих парнях, которым все нипочем, даже смерть. Под столом стояла пустая бутылка из-под водки. Фикса курил, подливая себе пиво из трехлитровой банки. Малыш уже скис, и голова его плохо держалась на плечах.

Хомка налил пива и Бочарову. Тот попробовал, но покривился и отодвинул стакан.

С противоположного берега реки, на котором стояли буровые вышки, плыл легкий катерок, перевозивший буровиков в поселок. Под берегом стояла тихая пристанька, и волна била в почерневший от времени борт дебаркадера. Старик в кителе речника прилаживал к окнам ставенки.

Хомка предложил Бочарову сигарету. — Не хочу! — поморщился Бочаров. — Не выпендривайся, не в школе! — огрызнулся Хомка, и Колька сдался.

Хомка дал ему прикурить. Бочаров стал попыхивать сигаретой, чтобы она побыстрее кончилась.

— Чо, не умеешь? — презрительно скривился Хомка.

Бочаров отрицательно покачал головой.

Малыш полез за бутылкой, но та оказалась пустой. Малыш недовольно хмыкнул.

— В себя затягивайся! — Хомка показал, как это делается.

Бочаров попробовал, и слезы выступили у него на глазах.

— Голова кружится, — признался он. — Ничего, привыкнешь, — пробормотал Хомка.

— Хватит курить! Накурили уж! — высунувшись, рывкнула буфетчица, и Бочаров тотчас спрятал сигарету.

Хомка засмеялся:

— Кури, не бойся!

Фикса допил пиво, поднялся и сказал Хомке:

— Не задерживайся. — Он взглянул на Бочарова, и Колька поежился от недоброго взгляда.

Фикса, а за ним Малыш и Рыжий вышли из павильона.

— Он у вас живет? — спросил Колька.

— У нас, — допивая пиво, кивнул Хомка. — В папаше решил записаться!

— Ну, а ты?

— А чего я? — удивился Хомка. — Тебя твоя мамаша спрашивала, когда отчима заводила?

— Спрашивала, — помолчав, ответил Бочаров.

— Ну и что? — усмехнулся Хомка. — Золотой попался? Этот хоть насчет уроков не зудит и вообще мужик что надо! За меня глотку перегрызет!.. И потом он тихий, если не пьет. — Хомка вдруг вздохнул и замолчал.

Бочаров шел по берегу, застроенному деревянными домами, вздыхал, морщил лицо, точно негодуя на кого-то...

Заскрипела дверь в одном из дворов, послышался шум возбужденных мужских голосов. Бочаров спрятался за сосну.

Он увидел, как на крыльцо вышли Фикса и Лобанов, учитель физики, оба воинственно настроенные. Физик даже размахивал руками. У Фиксы перекосилось лицо от злости. Рядом с Фиксой, удерживая его, стояла Хомкина мать.

Наконец Лобанов двинулся со двора, и Фикса, не выдержав, догнал его, схватив за отвороты плаща, притянул к себе. Лобанов вырвался и быстро зашагал к калитке.

— Я тебя еще поймаю! — выкрикнул Фикса.

— Идиот! — выругался Лобанов, не оглянувшись.

— Что?! — Фикса рванулся, но Хомкина мать повисла на нем и, уговаривая, увела домой.

Когда Бочаров заглянул во двор, Фикса сидел на крыльечке, а рядом, обняв его, сидела Хомкина мать, заискивающе улыбалась и гладила его по спине.

Уже подходя к своему дому, Бочаров увидел Лобанова.

— Я тебя жду, — сказал учитель физики. — Завтра контрольная. Тебе это, конечно, не грозит, но я хочу тебя спросить: не помогай никому. Никому, слышишь! И особенно Хомякову...

Лобанов вдруг задумался. Потом грустно посмотрел на Бочарова и попытался улыбнуться, но улыбка вышла неуклюжей.

— Пойдем ко мне, чайком побалуемся! — Физик подмигнул Бочарову. — Я твоему родителю сказал, что ты у меня позанимаешься. — Лобанов по-отечески взглянул на Бочарова и обнял его за плечи. — Ты что, курил? — неожиданно остановившись, спросил он.

— Попробовал, — покраснел Бочаров.

— Не стоит. Если ты хочешь стать ученым, физиком, здоровья надо много.

Там, в лесу, он все еще неподвижно стоял перед теми тремя, не зная, что предпринять. Малыш вдруг ухмыльнулся:

— Ты можешь идти, а девочка пусть останется!..

— Нет! — прошептала Аня и схватила Бочарова за руку.

— Ну, что я сказал?! — Малыш вразлочку подошел к Бочарову. Колька попятился.

— Коля, не уходи! — отчаянно выкрикнула Аня.

Бочаров остановился. Малыш вытащил финку.

— Ты сам уйдешь или тебе помочь?

Бочаров не сводил глаз с финки, вспыхивающей в лунном свете.

— Ха! — выкрикнул Малыш, сделав резкий выпад в сторону Бочарова.

Колька рванул с места, бросился прочь сквозь кусты, зацепился за сучок, упал. Сзади смеялись.

— Ну дак что, развлечемся? — хохотнул Малыш.

— Не надо, не надо, не надо! — заговорила Аня.

— Будешь кричать — будет бобо! — предупредил Малыш.

— Не надо! — закричала Аня.

Бочаров усилием воли остановил это жуткое видение. Он был бледен, губы дрожали...

— Что в школу не идешь? — слышался за спиной гнусавый голос отчима. И Колька вздрогнул. — Опоздаешь, двадцать минут осталось.

Отчим засеменил к остановке. Подошел автобус.

— Айда! — крикнул отчим.

Бочаров не двинулся с места. Двери автобуса с шумом захлопнулись.

Колька вытер рукой лицо. Послышались торопливые шаги.

— Ты почему не в школе? — строго спросил Лобанов, но, увидев растерянное лицо Бочарова, тут же смягчился. — Черт! Пропал! Бабка у меня в бане угорела, заспалась! Надо будильник покупать!.. Ты что такой испуганный?!

— Да так... — протянул Колька.

— У меня урок, в «Д», — вздохнул Лобанов. — Как и вам, контрольную намечал... На головах, наверное, ходят от радости. — Лобанов нетерпеливо расхаживал по остановке, смотрел на часы. — И автобуса как на зло нет! Выговора не миновать. — Он с грустью посмотрел на Бочарова.

В школе уже шла перемена.

Хомка, перехватив Бочарова в коридоре, потащил его к запасному выходу. Дверь эта обычно была закрыта. Хомка, оглядевшись по сторонам, достал связку ключей и, выбрав один, открыл дверь.

Они вышли на лестничную площадку.

— Откуда? — Бочаров кивнул на ключи.

— От верблюда, — жуя резинку, ответил Хомка и спрятал ключи в карман. — Дело есть. Твой Лобанов вчера домой ко мне приперся! Сказал, что если еще одну пару схлопочу, он отправит меня в интернат. Мне наплевать и растереть, но мамаша волнуется! Сегодня опять контрольная, так что соображай побыстрее и мне передашь, понял?

Бочаров не ответил.

— Чо, оглох?!

— Меня... освободили от контрольной... — соврал Колька.

— И ладно! Решись одну, мне и одной хватит, лишь бы трояк!

— Я не хотел идти... — пробормотал Бочаров.

— А чего пришел?

— Так... — Бочаров пожал плечами.

— Ладно, не финти! — обрезал его Хомка. — Для тебя это семечки, а мне мамашу жалко. Если меня отправят в интернат, Лобанову не жить! Понял?!

Бочаров не ответил.

— Пораскинй мозгами, — съязвил Хомка. — Я тут ничего не смогу сделать. Он дурной, а если поддаст, его никто не остановит... Ладно, пошли!

Они выскользнули в коридор. Увидели, как из кабинета завуча вышел Гвоздев.

— А, товарищ гений! — повернулся он к Бочарову. — Почему уроки пропускаем? — Тебе какое дело? — огрызнулся Бочаров.

— Такое! Мы за каждый пропуск по неуважительной причине получаем два штрафных очка. И так уже с первого места скатились!

Хомка вдруг, ни слова не говоря, отвесил Гвоздеву солидный пендель. Гвоздев подскокил от неожиданности.

— Ты что?! Белены объелся?!

— Чего? — загнусавил Хомка. — Чего ты провакал?!

— Да ничего, — храбрясь и бледнея, говорил Гвоздев. — Ты не у себя в клубе!

У Хомки от такой наглости даже челюсть отвисла. Он изобразил на лице недоумение, оглянулся на Бочарова: мол; посмотри, как распустились, и что есть силы влупил Гвоздеву по заду.

— Мало?! — выгибаясь, процедил Хомка. — А ну, иди сюда!

Гвоздев стоял перепуганный насмерть, не в силах сдвинуться с места.

Бочаров увидел Аню. Она стояла у окна в конце коридора и настороженно наблюдала за происходящим.

— Кончай,— заканючил Гвоздев, отступая, но Хомка уже вошел в раж:

— Я тебе покажу клуб, рожа твоя конопатая!

— Ладно, кончай! — оборвал его Бочаров.

— Скажи ему спасибо, а то бы я тебя разукрасил! — процедил Хомка.— Ну!

Гвоздев с ненавистью взглянул на Бочарова.

— Ладно, кончай,— миролюбиво повторил Бочаров.

— Я что сказал! — снова ощерился Хомка.

— Спасибо...— выдавил из себя Гвоздев и, резко повернувшись, ушел.

— Не любит он тебя, не любит! — ухмыльнулся Хомка и, обняв Бочарова, вдруг резко сдвинул ему горло. Бочаров дернулся, и Хомка отлетел в сторону.

— Слушай, Бочара, а ты здоровый мужик! — запел Хомка.— Мог бы всех одной левой, ты смотри-ка, ну ты даешь!

Бочаров пожал плечами, искоса взглянул на Аню. На ее лице мелькнула презрительная гримаска, и она отвернулась.

Колька нахмурился. Его лицо вдруг стало тихим и печальным. Хомка еще что-то говорил, щупая его мускулы, хлопал по спине, зло щурясь и приторно улыбаясь, но Бочаров уже не слушал его, раздумывая о своем.

Восьмой «Б» писал контрольную. Условия задач были написаны на доске, класс дружно шелестел страницами учебников — Лобанов разрешал. Бочаров сидел уже с готовыми ответами, но делал вид, что упорно что-то решает. Сзади сидел Хомка в напряженном ожидании.

Лобанов читал книгу, изредка поглядывая на притихший класс.

У Летуновой от усердия даже растрепались волосы, Гвоздев грыз ручку, Зобачева изредка поглядывала на Бочарова, удивляясь, что он все еще сидит с ручкой. Перехватив ее взгляд, Бочаров не выдержал и положил ручку, дабы его авторитет первого ученика не был поколеблен.

Сзади вдруг резко толкнули ногой. Бочаров нахмурился, но не оглянулся. Толчок повторился.

— Чо зажал! — прошипел в спину Хомка.

Бочаров взглянул на Лобанова. Тот сидел, склонившись над книгой.

Колька помедлил и под партой передал тетрадь. Лобанов успел перехватить происшедшее взглядом, но сделал вид, что ничего не заметил. Потом вдруг закрыл кни-

гу и, пройдя в конец класса, молча забрал у Хомки обе тетради.

— Чего? — недовольно промычал Хомка.

Все подняли головы.

— Пишем! — успокоил класс Лобанов. Хомка зло посмотрел на физика, усмехнулся.

— Можно домой идти? — нахально стросил он.

— Можно,— кивнул Лобанов.

Хомка с шумом поднялся, вытащил из парты свой потрепанный портфель.

— Пошли! — толкнул он в бок Бочарова и поплелся к двери.

— Можешь идти, Бочаров! — сухо обронил Лобанов.

Бочаров не двинулся с места.

— Тебе чо сказали? — поторопил Хомка.

С первых парт стали оглядываться. Оглянулась и Летунова. Душная жаркая волна накатила на Бочарова. Он вдруг резко поднялся, взял портфель и, ни на кого не глядя, вышел из класса.

Сверху домик казался маленьким, даже игрушечным.

В ночи светилось одно окно второго этажа.

Лобанов хохотал, что-то рассказывая, и нарезал в тарелку помидоры, лук, яйца, колбасу, огурцы... Потом он мученически морщился, вытирая слезы, но продолжал упорно нарезать лук...

Бочаров грустно улыбался.

— Эйнштейна как-то спросили,— рассказывал Лобанов,— почему один из его учеников подался в писатели? «У него не хватает воображения, чтобы стать физиком»,— ответил Эйнштейн. А потом признался, что создал свою теорию относительности не без влияния «Братьев Карамазовых» Достоевского. Так что все противоречиво, друг мой, все изменчиво, и то, что вчера было истиной, сегодня кажется банальностью...

— Но ведь есть же что-то постоянное? — с горечью воскликнул Бочаров.

— Хм... Что-то, может быть, и есть...— пожал плечами Лобанов.

Урок физкультуры проходил во дворе школы. Сдавали стометровку.

— На старт!.. Вни-ма-ние...— кричал у финишной черты маленький, с небольшим брюшком физрук Голиков и выразительно поднимал вверх руку с секундомером.— Марш!

И первая двойка — Гвоздев и Пепеляев — сорвались с места. Пепеляев мчался как метеор, и коротышка Гвоздев, несмотря на отчаянные попытки идти вровень, отстал наполовину.

— Толя, на разряд идешь! Ну, еще! Молодец! На первый вытянул!.. Хорошо! — Голиков похлопал себя по животу. — А Гвоздев чуть-чуть на третий не вышел. Отдохни немного, еще пробежишь! Так, пошли дальше. Кто там у нас? — спросил Голиков у толстухи Куделиной, бессменной секретарши Голикова на подобных занятиях.

— Летунова и Зобачева, — записывая в журнал, подсказала Куделина.

Бочаров с Хомкой сидели на камнях за школьным забором и слышали почти каждую реплику. Хомка курил, а Бочаров наблюдал за уроком в щель.

Летунова была в тонких шерстяных гамашах и черном свитерке, который еще больше подчеркивал ее стройную фигурку. Зобачева из-за маленького роста казалась толстоватой. Было прохладно, и Аня с Зобачевой, чтобы не замерзнуть, подпрыгивали на месте. Аня улыбалась, что-то шептала Зобачевой и, на секунду вдруг повернувшись, подозрительно посмотрела в сторону забора. Бочаров резко отпрянул от щели, а Хомка тотчас выбросил сигарету:

— Идет кто-то?

— Нет, — вздохнул Бочаров.

— Идиот! — проворчал Хомка, поднимая окурки.

— На старт... Внимание!.. Марш! — выкрикнул за забором Голиков, и кеды зашуршали по асфальту.

Закричали, загалдели на разные голоса одноклассники.

— Пошли в кино? — предложил Хомка. — «Три мушкетера» в клубе дают.

— Мне домой надо, — пробормотал Бочаров.

— Я сказал «пошли», значит, пошли! — отрезал Хомка, поднимаясь.

Бочаров нехотя двинулся вслед.

— Выбрось ты эту Летунову из головы, — вдруг сказал Хомка. — И вообще от этих баб одно несчастье!

Кровь прилила к лицу Бочарова, он даже споткнулся о кирпич и чуть не упал.

— При чем здесь Летунова? — пробормотал он.

Бильярдная во Дворце культуры речников размещалась на втором этаже. Дверь комнаты напротив была открыта, и оттуда доносились рев вокально-инструментального ансамбля. Шла репетиция, и среди гитаристов можно было узнать Рыжего. В белом костюме и черной рубашке, он стоял у микрофона и пел, стараясь подражать модным певцам: «Выбери меня, выбери меня! Птица счастья, выбери меня!..»

На бильярде играли Малыш и Фикса. Фикса ударил, и два шара легко вкатились в Альманах «Киносценарии» № 4

в две лузы: в угол и в середину. Вокруг восхищенно загудели.

Фикса выпрямился, насмешливо посмотрел на Малыша.

Вошел Хомка, швырнул свой портфель в угол.

— Физик снова мне пару влепил! — раздраженно сообщил он Фиксе. — Теперь уж точно в интернат отправят!

Фикса даже головы не повернул, прицеливаясь бить «своего» в середину. Наконец ударил. Шар в лузу не пошел.

Бочаров стоял у балюстрады второго этажа и смотрел на прибывающую на киносеанс толпу. Вдруг увидел Лобанова. Тот рассматривал фотографии актрис, развешанные на стенах фойе. Бочаров заметил и Малыша с Хомкой, наблюдавших за Лобановым. Хомка, обнаружив Бочарова, вдруг встревожился, и из узких щелок глаз брызнул недобрый холодок.

Бочаров подошел к бильярду.

Фикса спокойно натирал кий мелом. Рядом готовился матрос в бушлате. Он ударил, но мимо. Рев гитар оборвался... Появился Рыжий. Он закурил, жадно затянулся и стал наблюдать за игрой. Фикса ударил, и снова два шара вкатились в лузы. Матрос помрачнел, достал трояк, протянул его победителю. Фикса сунул деньги в карман, стал собирать шары.

— Пошли! — Хомка подтолкнул Бочарова, и тот заспешил вслед за ним.

Они прошли фойе второго этажа, свернули в коридор и, пробежав его, спустились вниз по лестнице, очутившись перед запертой дверью. Хомка для проверки несколько раз дернул ее, потом достал ключ и открыл дверь. Они вошли в темноту.

Послышались шаги на лестнице. Хомка приник к стене, сжал плечо Бочарова. Кто-то спустился вниз, дернул дверь. Удостоверившись, что она закрыта, удалился.

Бочаров стоял ни жив ни мертв. Они ошупью выбрались из темноты в светлый коридорчик и добрались до сцены. Перед ними висело полотнище экрана.

— Теперь надо незаметно выбраться в зал, — шепнул Хомка. — Лучше сейчас, пока старуха занята!

— Какая старуха? — не понял Бочаров.

— Билетерша. Выходи как ни в чем не бывало, садись на первый ряд, я за тобой. Если засекут — про ключ ни слова! Скажешь, что остался с прошлого сеанса, понял? Поплачешь — тебя отпустят. — Хомка подтолкнул Бочарова.

И тот шагнул на свет. Ноги подгибались в коленях, он торопливо пересек сцену и, скатившись по узкой лесенке, плюхнулся на сиденье первого ряда. Хомка скатился тотчас за ним.

— Кажется, не засеки! — разваливаясь рядом, вздохнул Хомка.— Теперь посмотрим!..

...Драки мушкетеров на экране разворачивались одна за другой. Падали слуги кардинала и короля, мушкетеры дрались на шпагах, на кулаках — зал ревел от восторга.

Бочаров с Хомкой, раскрыв рот, смотрели на экран.

На улице стемнело, когда сеанс окончился, и народ выходил из клуба прямо в парк. Фонари еще не горели.

— Ну ладно, пока,— буркнул Хомка и исчез в темноте.

Бочаров двинулся было вместе со всеми на освещенную улицу, но, заметив высокую фигуру Лобанова в плаще и замшевой кепочке, отступил в сторону. Физик прошел совсем рядом, и Бочаров, посмотрев ему вслед, направился в противоположную сторону.

Парк был огорожен ветхим заборчиком, и Бочаров, найдя дыру, пролез в нее и оказался на пустыре. Впереди чернели дома поселка речников.

Бочаров шел вдоль улицы с деревянными тротуарами и свернул в один двор. Здесь в несколько рядов висели простыни, и Бочаров запутался в них.

Когда он выбрался, то услышал шум, возню, глухие удары... Кто-то вскрикнул. Бочаров оцепенел от неожиданности. Он увидел, как Фикса и Малыш пинали ногами лежащего на земле человека.

Раздался свист, и оба негодяя скрылись в темноте. Человек остался лежать на тротуаре и, вглядевшись, Бочаров по светлой замшевой кепочке и плащу узнал Лобанова.

Выбежала из дома женщина в халате, подбежала к Лобанову. Мимо Бочарова просеменила старуха, за нею — бородатый старик в кителе речника. Стал собираться народ.

Бочаров нырнул обратно под простыни и побежал. Не помня себя, он снова очутился на пустыре, а оттуда через лазейку вернулся в парк.

У Дома культуры из приоткрытой двери киномеханика доносились хрипы, стоны, победные вопли и скрежет мушкетерских шпаг...

...В фойе Дома культуры толпился народ, ожидая начала следующего сеанса, и Бочаров нос к носу столкнулся с француженкой Ниной Михайловной.

— Здравствуй, Коля! — улыбаясь проговорила она.— Ты что это занятия стал пропускать?

— Здравствуй,— пробормотал Бочаров и тут же поспешил наверх.

И остолбенел — на бильярде играли

Фикса и Малыш. Рядом болтался Хомка. Увидев Бочарова, бросился к нему:

— Ты чо?

— Я портфель оставил,— пробормотал Бочаров.

Хомка подозрительно посмотрел на него.

— Вон, в углу валяется,— процедил он.

Бочаров подобрал портфель и двинулся к выходу.

— Ты чо такой испуганный? — остановил его Хомка.

— Я испугался, что портфель оставил.

Хомка презрительно хмыкнул.

— Ну, я пойду,— заикаясь и ощущая на себе пристальный взгляд Малыша, проговорил Бочаров.

— Давай,— равнодушно сказал Хомка и, отвернувшись, снова стал следить за игрой.

— Чего он? — услышал Бочаров за спиной голос Малыша.

— А, портфель оставил,— отозвался Хомка.

Утром Бочаров стоял на остановке, неподвижно глядя в одну точку, точно прислушиваясь к чему-то...

Подожел автобус. Двери открылись, но Бочаров не двинулся с места. Послышались торопливые шаги, и в открытые двери запрыгнул отчим. Обернувшись, он увидел Кольку и оторопел. Двери захлопнулись, автобус тронулся, но отчим затарабанил по стеклу, и они снова открылись. Автобус остановился.

— Колька! — закричал отчим.— Пять минут до начала урока осталось!

Бочаров не шевельнулся. Двери с шумом захлопнулись, и автобус уехал. Мелькнуло сквозь заднее стекло недоуменное лицо отчима. Бочаров постоял немного и зябко поежился. Потом зашел под навес и сел на лавочку. С навеса капало.

Неожиданно Колька почувствовал, что что-то раскрылось в нем, и он услышал... звук капли. И шум сосен...

Был вечер, горела настольная лампа на подоконнике. Стояла полная луна за окном, и на реке плескалась лунная дорожка.

На столе стояли чашки с остывшим чаем, варенье из крыжовника. На реке, разукрашенной огнями, прогудел пароход, и они оба, соскочив с дивана, долго смотрели на него...

— Я уже трижды вижу этот пароход, и каждый раз к сердцу подкатывает такое радостное чувство, будто я женюсь!..— сказал Лобанов.

Бочаров рассмеялся.

— Чего ржешь? — весело спросил Лобанов.— Ты влюблен уже?

Бочаров смутился.

— Влюблен, значит? — с прищуром спросил Лобанов. — В Легунову?

Бочаров пожал плечами.

— Она хорошая девочка, но мне больше нравится Люся Зобачева. В ней, знаешь, душа чувствуется, доброта. Впрочем... — он махнул рукой. — Я и сам влюблялся в таких же!

— И что?

— Что, что! А они влюблялись в других! Ну, посмотри на меня! Разве я похож на человека, в которого влюблены все женщины мира? А?

— Зачем все женщины? — удивился Бочаров.

— Нет, нет! Непременно, чтоб все женщины мира! Вот был Пушкин. Низенький, ничего особенного, а его любили все женщины России!.. Помнишь, я тебе рассказывал об Анне Петровне Керн, как они скакали летней ночью в Михайловское, при луне, и Пушкин воскликнул — что?!

— Ж'эм ля люн, кант эль эклер лё бо визаж! — отчеканил Бочаров.

— Люблю луну, когда она освещает красивое лицо! — кивнул Лобанов. Он поднялся, подошел к окну. — Разве Пушкин любил луну? Разве не он писал: «Глупа, как полная луна!»? Пушкин этой фразой говорит: я люблю вас, вы прекрасны! — но говорит по всем правилам куртуазного искусства, то есть искусства ухаживания за дамой, и женщине приятно играть в такую вызывающую волнение игру. Пушкин! А что я? Здрасьте, вы мне нравитесь! Какая чудесная погода! А знаете ли вы второй закон Ньютона и любите ли вы Блока? Скука! Мы не умеем разговаривать с дамой, проникнуть в ее сердце, стать ее поклонником, обожателем, мы только хотим быть счастливыми! А этого мало. Как много дано для счастья и как мало, чтобы стать счастливым!.. — Лобанов обернулся и загадочно посмотрел на Бочарова. — Когда трижды мимо твоего окна проплывет ночной парход, освещенный огнями, и при этом не расплещет лунную дорожку, тогда непременно что-то случится!

Бочаров стоял в школьном коридоре на втором этаже и смотрел, как во дворе школы другой класс сдавал стометровку.

— Здравствуй, — услышал он за спиной и, обернувшись, увидел Зобачеву с венником и совком.

— Привет, — без особой радости ответил Бочаров.

— Физика должна быть, но Андрей Николаевич почему-то не пришел, — сообщила Зобачева. — Сейчас французский идет...

Бочаров нахмурился и пошел к дверям класса.

По рядам пробежал смешок, и Нина Михайловна, оглянувшись, увидела Бочарова.

— Ты что, Бочаров, решил на мои уроки не приходить?

Бочаров молчал.

— Что ж, садись, — Нина Михайловна пожалала плечами.

Хомка, сузив глазки, подозрительно смотрел на Бочарова.

Вернулась Зобачева, стала протирать доску.

— Э бьен, ассейе-ву! — прервала ее Нина Михайловна.

Зобачева положила тряпку и села на место. Половина доски так и осталась грязной.

Нина Михайловна склонилась над журналом.

Хомяков достал трубку и, взяв в рот ягоду рябины, залепил ею в ухо Воронцову.

— Кончай! — завопил тот.

— Воронцов! Кэс кё сэ? — раздраженно проговорила Нина Михайловна.

— А чего он? — выковыривая из уха ягоду, пробурчал Воронцов.

Пепеляев захихикал. По классу пробежал смешок.

— Да что с вами сегодня? — с болью в голосе проговорила Нина Михайловна. — Что происходит? Может мне кто-нибудь объяснить?

В классе повисла пауза.

— Воронцов, «Мон эколь»! Быстро!

— А мы на пятницу договаривались!

— Я сказала: к доске! Плю вит! — сорвалась на крик Нина Михайловна.

— Дак мы на пятницу... — уныло поднялся с места Воронцов.

— Иди! — подтолкнула его в спину Зобачева.

— А чего! — отмахнувшись, прошипел Воронцов и демонстративно сел на место.

Нина Михайловна побледнела. В классе наступила тревожная тишина. Даже Хомка прижал голову.

В дверь постучали, и в класс заглянула вахтерша тетя Маруся.

— Нина Михайловна, вам из больницы звонят, от Лобанова, — прошептала она.

Нина Михайловна растерянно посмотрела на притихший класс.

Бочаров сжался, точно сейчас должны были назвать его фамилию.

— Я сейчас, вы посидите. — Нина Михайловна выбежала из класса.

— Ура! — крикнул Воронцов. — Отдохнем от физики. Лобаныч воспаление легких схватил!

— Откуда ты знаешь? — спросил у него Пепеляев.

— Я — медиум.

Пепеляев открыл рот и странно посмотрел на Воронцова, но переспросить не решился.

Летунова достала из парты ноты и стала переписывать.

— До конца урока осталось десять минут,— сообщила Куделина.

Хомка достал из кармана пригоршню рябины и стал обстреливать Воронцова. Несколько ягод попало на ноты к Летуновой.

— Что, делать больше нечего?! — обернувшись, гневно высказалась Летунова.

— Заткнись! — пробурчал Хомяков.

— Идиот! — огрызнулась Летунова.

— Чево? — возмущенно промычал Хомка и перевел «огонь» на Летунову.

— Дурак! — уже зло, во весь голос бросила Летунова.

Хомка поднялся и, подойдя к Летуновой, смахнул с ее парты ноты и карандаши.

— А ну, повтори! — И, не дожидаясь ответа, Хомка выбросил к доске ее портфель.

— Урод! Ненавижу!

Хомка скривился и плюнул ей в лицо. По классу пробежал ропот. Аня закрыла лицо руками и заплакала.

Бочарова словно что-то подбросило. Он вскопил, схватил Хомку за отвороты старенького пиджачка и отбросил к доске. Пиджак затрещал, и Хомяков с шумом полетел на пол.

— Ты что, гад?! Пиджак рвешь, да?! Убью! — истерично заверещал Хомка, но с места не сдвинулся.

В класс вдруг вошла завуч Нечаева.

— Что здесь происходит? — резким командным голосом спросила она. Оглядела разбросанные по полу предметы, потом Хомку и Бочарова.— В чем дело, Хомяков? Опять ты беспорядок творишь?

— А при чем здесь я? — со слезой в голосе стал отбиваться Хомяков.— Он меня избил, пиджак порвал, во! — На пиджаке действительно красовалась дыра.

Бочаров стоял потрясенный всем происшедшим и не мог выговорить ни слова.

— Это правда, Бочаров? — спросила Нечаева.

— Правда,— сказал Хомка.

— Я Бочарова спрашиваю... Я жду, Бочаров!

Тот молчал.

— Та-ак...— Нечаева посмотрела на Гвоздева.— Это что же, Дима, у тебя происходит? Двое хулиганов затевают драку на уроке, а вы преспокойненько сидите! Где же ваша комсомольская нетерпимость?

Гвоздев понуро поднялся.

По коридору застучали каблучки, и в класс вбежала запыхавшаяся Нина Михайловна. Завуч строго посмотрела на нее и снова перевела взгляд на Гвоздева:

— Чтобы сегодня же комитет комсомола во всем разобрался и доложил мне. А вы,

Нина Михайловна, зайдите ко мне в перемену.

Нечаева ушла.

Бочаров с Хомяковым все еще стояли посреди класса.

— Что... произошло? — растерянно спросила Нина Михайловна.

— Ничего особенного,— сказал Воронцов.— Подурили малость...

Пепеляев хихикнул.

Зазвенел звонок.

— Ну что ж,— голос Нины Михайловны дрогнул.— Урок окончен. Можете быть свободными...

Все сидели, не смея подняться. Нина Михайловна забрала сумку, журнал и вышла из класса.

Хомка подошел к Бочарову, в упор посмотрел на него и процедил:

— Выйдем.

Все смотрели на Бочарова, ожидая, что он решит.

Бочаров помедлил, сунул учебник в портфель и пошел к двери. У выхода он оглянулся: Аня все еще сидела, закрыв лицо руками.

— Бей первым! — шепнул сзади Воронцов, догнав его.— Он против тебя — комарик!

Хомка поджидал их у туалета.

— Никого не пускать! — бросил он Воронцову и первым вошел в туалетную комнату.

— А ну, пошли отсюда! — заорал на кого-то Хомка, и из туалета, натягивая штаны, выскочили двое первоклашек.

Бочаров вошел. Хомка прикрыл дверь. Нижняя губа у него скривилась, и лицо исказила злобная гримаска.

— Сволочь,— прошептал он и резко ударил в живот.

У Бочарова перехватило дыхание, он согнулся, и Хомка так же резко ударил коленкой по лицу. Бочаров ойкнул и рухнул на пол. Хомка несколько раз сильно пнул его ногой в живот.

— Ты сейчас пойдешь в класс и при всех плюнешь ей в рожу! — сощурил глазки Хомка.— Тогда мы все замнем! Понял?!

Бочаров застонал и с трудом поднялся на ноги. Он провел ладонью по лицу и увидел кровь. Лицо перекошилось от злости. Набычившись, он двинулся на Хомку. Тот в испуге попятился, попробовал ударить, но Бочаров, схватив его за отвороты пиджачка, что есть силы сдвинул и прижал к стенке.

— Я тебя придушу, если ты хоть раз тронешь ее! Слышишь?!

Хомка молчал. Лицо его побелело от испуга. Бочаров потрянул Хомку, стукнул головой о стену.

— И за Лобанова вы мне еще ответите! Думаешь, я стану пресмыкаться перед

вами! Плевал я на вас! — вне себя закричал Бочаров.

— Ты видел?! — вытаращил глаза Хомка.

— Видел. И свисточек твой слышал!

— Какой... свисточек?

— Такой! Когда ты на стреме стоял!

В туалет заглянул Воронцов, за ним просунулись еще несколько голов.

— А ну, пошли отсюда! — завизжал Хомка.

Дверь захлопнулась.

Бочаров пошел к умывальнику, снял пиджак и стал счищать грязь. Хомка отдышался, сузил глазки, подошел к нему сзади, но ударить не решился.

— Попробуй только вякни где-нибудь, — прошипел он, — мы тебя из-под земли достанем!

...Бочаров вышел из туалетной комнаты, прошел по коридору к своему классу.

Шел урок обществоведения, и старый историк Ефим Давидович, чуть прихрамывая, расхаживал по классу, излагал очередную тему:

—...само слово «гражданин» происходит от слова «город», «град» и означает: человек, приписанный к данному городу. И вот начиная с древности у граждан были свои права и обязанности. К примеру, в средневековой Англии тринадцатилетний мальчик обязан был владеть конем и шпагой. Один из прекрасных поэтов того времени Бертран де Борн писал:

Мне пыл сражения милей
Вина и всех земных плодов...

Как видите, война, воинство, сражение, защита родного очага, города всегда были обязанностью мужчины...

Бочаров приоткрыл дверь, увидел Аню, грустную, расстроенную. Потом натолкнулся на пристальный взгляд Зобачевой и прикрыл дверь.

— «Мне пыл сражения милей вина и всех земных плодов!» — еще раз повторил Ефим Давидович. — Вслушайтесь в эти строки!..

И в памяти вновь возник тот вечер в доме Лобанова.

— Ну, пока, — сказал физик, провожая его на крыльце. — Добежишь один?

— Добегу, — сказал Бочаров.

— Луна тебе поможет, — улыбнулся Лобанов. — Пока.

— Пока.

Бочаров шел по берегу меж сосен. Была такая тишина, что ему стало не по себе. Треснул сучок под ногой, сзади что-то зашуршало, и Бочаров резко оглянулся. За сосной кто-то стоял. Вторая тень шла от дерева. Он попятился, побежал, но

вдруг, споткнувшись, упал. Поднялся, прислушался. Было тихо. Ни души. Бочаров помедлил и повернул обратно. Он дошел до того дерева, где было две тени, и, пересилив себя, заглянул за него. Снизу, из одного корня, росло еще одно деревце, чуть поменьше. Оно и отбрасывало вторую тень.

Бочаров усмехнулся, вытер пот со лба. Погладил сосну, прижался к ней лбом...

Он стоял в школьном коридоре у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. Из радиопузыля выглянул Гвоздев:

— Бочаров! Заходи!..

На кожаном диване восседал почти весь комсомольский комитет. У стенки сидели Летунова и Зобачева.

— Садись! — Гвоздев указал Бочарову на стул у входа.

Сам он стоял у*стола, рядом с ним сидела беленькая девочка, похожая на мышку, с внимательными черными глазками.

— Ну что же, начнем! — с серьезным видом сказал Гвоздев и повернулся к беленькой девочке: — Наташа, веди протокол. Мы собрались, так сказать, в экстренном порядке, чтобы разобрать недостойный поступок нашего товарища, Бочарова Николая, который устроил драку на уроке. Я думаю, мы попросим Бочарова объяснить нам, почему он так поступил... Пожалуйста, Бочаров!

Повисла пауза. Бочаров молчал. Зобачева презрительно взглянула на Гвоздева:

— Можно мне сказать?

— Подожди, Зобачева, — оборвал ее Гвоздев. — Ты еще скажешь, нам бы хотелось сначала послушать Бочарова. Мы ждем.

— Я не буду говорить, — сказал Бочаров.

— Та-ак... Может быть, я неправильно изложил факты?..

Бочаров не ответил.

— Что ж, спорить против фактов бессмысленно, тем более, что свидетелями этой безобразной выходки был весь наш класс. Подожди, не пиши! — сказал Гвоздев Наташе. — Антонина Григорьевна сказала, чтобы мы подошли к данному поступку со всей принципиальностью и ответственностью. Представьте себе: все будут драться на уроках. Что тогда будет? Поэтому она попросила нас серьезно обсудить это дело. Теперь пиши, Наташа. Я предлагаю вынести комсомольцу Бочарову строгий выговор с занесением в учетную карточку. Есть другие предложения?..

Зобачева подняла руку.

— Зобачева, ты не член комитета, поэтому можешь лишь высказать свое мнение по данному вопросу, а решать будем мы... — предупредил Гвоздев.

— Спасибо за информацию! — зло сказала Зобачева.— Вот как все легко получается у Гвоздева: сидел Бочаров за партой, а потом думает: дай-ка я подерусь! А то, что Хомяков, отъявленный хулиган, оскорбил Аню и никто из всего класса вступиться за нее не отважился — надо поощрять, так выходит?! И не понимаю, почему ты-то молчишь! — повернулась она к Ане.— А тебя, Гвоздев, после всего, что случилось, я просто презираю! — Зобачева села, тихо и серьезно добавила: — Я предлагаю вынести Бочарову благодарность. Он единственный из всех мужчин класса вступился за девочку. А Гвоздеву я бы вынесла строгий выговор.

— Ну ты даешь! — не выдержал Гвоздев.— Значит, по-твоему, надо драться на уроках?

— Да,— спокойно ответила Зобачева.— Если уж другого выхода нет...

— Я не хочу защищать Хомякова,— подыавшись, сказал Гвоздев.— И я доложил об этом Антонине Григорьевне. Но Хомяков не комсомолец, элемент чуждый нам, а Бочаров — комсомолец, и он мог одернуть его другим способом, а не затевать драку... Правильно я говорю?

Все молчали.

— Что ж, товарищи,— закруглил Гвоздев.— Приступим к голосованию. Кто за строгий выговор, прошу голосовать...

Следом за Гвоздевым медленно подняли руки все, кроме Летуновой и Наташи, писавшей протокол.

— Летунова, ты воздерживаешься?

— Да...— прошептала она.

— А ты? — удивился Гвоздев, посмотрев на Наташу.

— А я против,— решительно сказала она.

— Хм...— Гвоздев скорчил кислую мину.— Что ж, шесть — за, одна воздержалась, одна — против...

Все с шумом поднялись и, подталкивая друг друга, заспешили в коридор. Выскользнула из радиоузла и Летунова.

— Ты идешь домой? — спросила Зобачева у Бочарова.

Он кивнул, но с места не двинулся. Зобачева помедлила и вышла.

— Поставь число и распишись,— подсказал Гвоздев Наташе.— Все, Бочаров! Через год, если все будет в порядке, мы можем этот выговор с тебя снять...

У Бочарова вдруг задрожали губы и слезы подступили к горлу.

— Я бы на твоём месте, Гвоздев, покончила с собой! — сказала Наташа и вышла.

— Вот психопатка! — пробормотал Гвоздев.— Видишь, с какими чокнутыми приходится работать... Ладно, не переживай. Я и сам понимаю, что ты прав, но Антонина приказала: строго, и все! Что

сделаешь? Через год снимем. Пошли! — Он тронул Бочарова за плечо.

Колька резко поднялся, вытер слезы.

— Я тебя ненавижу! — яростно выдохнул он.

Гвоздев отшатнулся. Бочаров вышел из радиоузла.

В коридоре было пусто. Из пионерской комнаты доносилась тревожная барабанная дробь. Сверху, из спортзала, слышались выкрики и стук мяча.

Бочаров спустился в вестибюль.

На вешалке висело три пальто. Одно из них, в светло-коричневую клетку, Бочаров узнал тотчас же, но когда одевался, старался на него не смотреть.

Перед выходом он все же оглянулся. Коридор был пуст.

Большие хлопья снега падали на землю.

Бочаров остановился, подставил хлопьям лицо. Слабо улыбнулся. Вдруг увидел Зобачеву. Она, втянув голову в плечи, смотрела на него. Бочаров нехотя подошел.

— Ты... куда идешь?.. Домой?.. — спросила она, заглядывая ему в лицо, но он смотрел в сторону.— Я... горжусь тобой... Я...— Она выдержала паузу.— Я была бы счастлива, если бы это случилось со мной.

Зобачева опустила голову и, не оглядываясь, пошла к воротам. Шла медленно, словно ждала, что он догонит ее и тоже скажет какие-то обнадеживающие слова. Но он стоял на месте. Однако тяжесть, лежавшая на душе, вдруг спала, и он улыбнулся.

Хлопнула входная дверь, и на крыльце появились Гвоздев и Летунова. Заметив его, они остановились. Гвоздев поежился, заозирался по сторонам. Растерялась и Аня.

Бочаров шагнул к ним. Гвоздев, почувствовав опасность, поднялся на крыльцо.

— Коля...— жалобно прошептала Аня, и Бочаров остановился под ее кротким и виноватым взглядом.

Заскрипела тугая дверная пружина, и появилась Нина Михайловна.

— Здравствуйте! — радостно кивнул Гвоздев.

— Здравствуйте,— Нина Михайловна растерялась.— Виделись же сегодня... Коля,— обратилась она к Бочарову,— у вас есть сейчас свободное время?

Бочаров пожал плечами.

— Мне надо с вами поговорить...

Гвоздев с Аней молча шли по улице. Гвоздев вздохнул.

— Что я мог сделать? — пробормотал он.— Нечаева мне сказала, чтобы был строгий с занесением! Одного накажем — другим неповадно будет...

Аня вдруг остановилась, растерянно посмотрела на Гвоздева.

— Знаешь, мне к бабушке надо зайти, я совсем забыла! — торопливо выговорила она и, повернувшись, пошла в обратную сторону.

Здание больницы было старое, с резными деревянными колоннами и крохотными верандами.

В одной из таких утепленных веранд и лежал Лобанов. На лице чернели ссадины и синяки.

Палата была на двоих, но сосед вышел, и Нина Михайловна присела на краешек его кровати, жалостливо глядя на Андрея Николаевича. Она молчала, не находя подходящих для таких посещений слов.

Молчал и Бочаров, сжимая в руках портфель.

Молчаливая пауза затянулась, и Лобанов первым ее нарушил.

— Ну, как у вас там? — слабым голосом спросил он и кисло улыбнулся. — Челюсть вот болит, разбили...

— Все в порядке, — закивала Нина Михайловна. — Я пока вместо ваших уроков веду французский, вы придете, свои часы вам отдам.

— Спасибо...

— Еще что-нибудь принести? — спросила Нина Михайловна. — Может быть, курицу отварить?

Лобанов подумал.

— Можно курицу.

Нина Михайловна радостно улыбнулась. — А фильм-то понравился? — вдруг спросил Лобанов у Кольки.

Тот вздрогнул, растерянно посмотрел на учителя.

— По-моему, мы с тобой на одном сеансе были. Вы с Хомяковым через сцену лезли... — Лобанов не мигая смотрел на Бочарова, и Кольку бросило в жар.

— Ничего вроде... — мертвым голосом пробормотал он и поднялся: — Мы пойдем?.. Поднялась и Нина Михайловна.

— Ты... заходи, Коля, — попросил Лобанов. — А то мне тоскливо здесь одному...

— Я зайду, обязательно!.. — Бочаров поспешил к двери.

Из больницы возвращались той самой улицей с деревянными тротуарами, на которой избили Лобанова. Вот и фонарь. Бочаров огляделся, стараясь отыскать следы вчерашнего события, но ничего не нашел: пыль толстым слоем лежала на досках.

Фонарь на столбе раскачивался от ветра и тоскливо скрипел. Во дворе, у раскрытого дровяника, возился бородатый старик в кителе речника.

— Что случилось, Коля? — спросила Нина Михайловна.

— Ничего. — Он пошел вперед, и она двинулась за ним.

— Ты не знаешь, кто избил Андрея Николаевича?

— Догадываюсь...

— Кто?!.. Ты не хочешь мне говорить?

— Нет.

— Почему? — удивилась Нина Михайловна.

Бочаров молчал.

— Странно, я думала, что... Что ты друг Андрея Николаевича...

— Чего вы от меня хотите?! — в отчаянии спросил Бочаров.

На ее щеках выступил румянец.

— Если не хочешь, не говори... Просто я думала, что... об этом кто-то же должен знать! Впрочем, ты молчун: Андрею Николаевичу даже о выговоре своем не сказал...

— Мне домой надо, до свидания, — выдавил Бочаров.

— Подожди! — заволновалась Нина Михайловна. — Может быть, выпьем кофе? Колька покачал головой.

— Вы все равно их не знаете, — вдруг сказал он.

— Кого?

— Их... Андрей Николаевич понял...

— Что понял?

— Просто один человек погибает, и Андрей Николаевич хотел бы его спасти.

— Кто погибает? — затаив дыхание, спросила Нина Михайловна.

— Хомяков... — выпалил Бочаров.

Нина Михайловна долго соображала, потом пожалала плечами:

— Странно... Хомяков просто лентяй, бездельник и хулиган. Зачем его спасать? Не понимаю...

— И не поймете, — обозлился Бочаров.

— Сложный вы, товарищ Бочаров! — стараясь перевести все в шутку, улыбнулась Нина Михайловна.

Бочаров не ответил, глядя в сторону.

— Ну, до свидания! — вдруг обидевшись, сухо сказала Нина Михайловна.

— До свидания, — бесстрастно проговорил Бочаров.

Бочаров посмотрел вслед «француженке» и, прихватив портфель под мышку, двинулся к дому.

— Коля, — вдруг позвал его тихий знакомый голос.

Бочаров, обернувшись, увидел Аню. Она держала авоську с хлебом и смотрела на него грустным виноватым взглядом.

Они молча пошли в обратную сторону.

— Трусиха я! — вдруг сказала Аня. — Мне потом Люся такое сказала, что я чуть не разревелась. Я понимаю, что поступила нехорошо, и на душе так гадко. Я рада, что встретила тебя.

— Ты же не голосовала...— пробормотал Бочаров.

— Все равно... Люся очень смелая. Я удивляюсь, как это можно одной пойти против целого комитета. И эта Наташа из десятого...— Аня задумалась, посмотрела на Бочарова: — Она в тебя влюблена без памяти!

— Кто?

— Люся Зобачева.

Колька хмыкнул и опустил голову.

Возле Дома культуры речников Бочаров увидел Хомку и Малыша. Они смотрели в его сторону.

— Она тебе не нравится? — вдруг спросила Аня.

— Кто? — не понял Бочаров.

— Люся,— Аня слегка порозовела.

Бочаров пожал плечами.

— А я, если бы была мальчишкой, в нее бы влюбилась!..— Аня вдруг замолчала.

Бочаров, не отрываясь, смотрел на нее.

— Я...— он вдруг запнулся и покраснел.— Я давно хотел тебе сказать...

— Папу приглашают в Тюмень, а он не хочет отсюда уезжать...— перебила его Аня.

Бочаров ждал, что Аня еще что-то скажет, но она молчала.

— Он больше не посмеет тебя тронуть,— сказал Бочаров, сделал шаг в сторону и сразу наткнулся взглядом на Малыша и Хомку.

Аня в страхе отступила в сторону.

— Продолжай, чего замолчал,— усмехнулся Малыш и уставился на Аню: — А ты иди домой!

Сетка выпала у нее из рук. Она тут же ее подхватила и бегом бросилась к дому, стоящему рядом.

Когда она скрылась в подъезде, Малыш схватил Бочарова за шиворот и потащил в дом напротив. Это была не заселенная еще новостройка.

Аня вбежала в подъезд и долго не могла отдышаться. Потом выглянула из подъезда: у соседнего дома никого уже не было.

— Жизнь или кошелек?! — раздался у нее за спиной громкий голос, и Аня вскрикнула.

Обернувшись, она увидела Гвоздева.

— Ты что? — удивленно проговорил он.— Шуток не понимаешь?

Отворилась дверь на первом этаже, и в щелку просунулся старушечий нос. Внимательно оглядев Гвоздева и Летунува, старушка недовольно заворчала и скрылась, захлопнув дверь.

— Народ перепугаешь,— усмехнулся Гвоздев.

— Идиот! — Аня прислонилась к стене, потом вдруг опомнилась, схватила Гвоздева

за рукав и зашептала: — Нужно помочь Бочарову, они его бьют там, в доме! Надо вызвать милицию!

— Кто бьет? — не понял Гвоздев.

— Они его в дом затащили, Хомка и эти бандиты! Я еле вырвалась!

Аня вытащила Гвоздева из подъезда. В одном из окон первого этажа виднелась чья-то могучая спина, потом мелькнуло лицо Хомки. Гвоздев остолбенел от неожиданности.

— Иди же, что ты стоишь! Они могут его убить!..

— Я вообще-то в аптеку собрался, у меня бабушка заболела...— неуверенно сказал он.

— Иди, я сказала! — со злостью выговорила Аня.— Если ты не пойдешь, я сама пойду!

— Да чего ты так волнуешься! — обозлился Гвоздев.— Они поговорят и разойдутся, чего вмешиваться не в свои дела...

— Трус! — с ненавистью бросила ему в лицо Аня и сама пошла к дому.

Гвоздев постоял, сплюнул и побежал ее догонять.

— Постой!

— Уходи отсюда! — зло проговорила Аня и, оттолкнув его, двинулась дальше.

Гвоздев снова догнал ее и преградил дорогу.

— Ладно, я сам пойду,— хмуро сказал он.— Заваривают дела, а ты потом расхлебывай.

— Быстрее! Быстрее же! — чуть не плача, проговорила Аня.

Гвоздев нахмурился, принял серьезный вид и нехотя двинулся к дому.

— Быстрее! — прошептала Аня, и Гвоздев ускорил шаг.

Он завернул за угол, неслышно подкрался к подъезду.

— Ах ты сволочь! — услышал он выкрик Малыша, а затем хлесткие удары и стон Бочарова.

Гвоздев поморщился, точно били его.

— Ладно, хватит,— пробормотал Хомка.— А то убьешь еще...

— Не велика потеря! — процедил Малыш.— Я ему отобью память, все мозги вышибу!..

Гвоздев сжался от страха и не мог сдвинуться с места. Рядом, что-то отыскивая, расхаживали двое рабочих. Гвоздев долго смотрел на них, но позвать на помощь так и не решился.

— Какой же ты негодяй! — раздался за спиной голос Летунуовой.

Гвоздев вздрогнул и обернулся.

— Трус! — крикнула ему в лицо Аня и робко двинулась к подъезду.

— Не ходи! — прошептала Гвоздев.

Но Аня, не оборачиваясь, шагнула в подъезд.

Бочаров лежал на полу. Квартира была чистенькая, полы сверкали свежей краской, и на розовых обоях была кровь... Малыш с Хомкой курили около окна.

— Уходите отсюда, или я позову милицию! — выпалила Аня.

Малыш выбросил в окно сигарету и медленно двинулся к Ане.

— Не подходите, я буду кричать! Здесь, в подъезде, стоит секретарь комитета комсомола, он дружинник, — громко сказала Аня, отступая в угол. — Гвоздев, иди сюда! Малыш кивнул Хомке, и тот побежал проверять.

— Тебе чего здесь надо, а? — услышался голос Хомки с улицы. — Живот вспотеть? А ну, чеши отсюда! Ну!

Бочаров медленно, цепляясь за стенку, поднялся.

— Убежал! — ухмыльнувшись, сообщил Хомка.

— Кто такой? — спросил Малыш.

— Да-а... — Хомка махнул рукой. — Будет молчать.

Малыш вплотную подошел к Летуновой.

— Сама уйдешь или помочь? — проговорил он, доставая из кармана бритвенное лезвие. — Только пикни, так разрисую, что ни один дурак любить не будет.

Рядом с Бочаровым валялся железный прут, он давно уже приметил его. Теперь же, когда Малыш с лезвием в руках сделал шаг к Ане, Колька схватил прут и шагнул вперед.

— Только тронь! — прохрипел он.

На лестнице послышались голоса.

— Помогите! — прошептала Аня.

Малыш мгновенно оценил ситуацию и, открыв окно, перемахнул через подоконник. За ним сиганул Хомка.

— Свидимся еще! — зло бросил Малыш. — И попробуй только рот свой поганый раскрыть!

Колька отбросил прут в сторону. Руки дрожали от напряжения. Щека была ободрана.

Портфель валялся в углу. Бочаров медленно наклонился, чтобы поднять его, но скрючился из-за боли в животе. Подбежала Аня, подняла портфель.

— Спасибо...

— У тебя щека ободрана, надо промыть и йодом смазать. Пойдем ко мне...

Бочаров не ответил.

— Ты не сердись на меня? — спросила Аня.

— Нет! — с трудом проговорил Бочаров.

— Мама варенья много наварила... И пальто у тебя все грязное!.. Я почищу. Надо щеткой...

Они вышли из подъезда. Острая боль снова заставила Кольку согнуться в три погибели.

— Что с тобой?

— Ничего, — пробормотал он.

Из-за деревьев выступил Гвоздев.

— Ну чего, все в порядке? — бодро спросил он. — Я звонить в милицию бегал, но там телефон испорчен.

— Подонок! — не выдержала Аня.

— Что?

— Подонок! — заорала на него Аня. — Уходи отсюда! Уходи! — Она не выдержала и заплакала.

— Лечиться надо... — пожав плечами, сказал Гвоздев.

Бочаров шагнул к нему.

— Полегче, полегче! — отбежав метров на пять, пригрозил Гвоздев. — Один строгач есть, второй схлопочешь!

Бочаров схватил кусок кирпича и запустил им в Гвоздева, но промахнулся.

— Плевал! Плевал я на вас! — выкрикнул Гвоздев и зашагал прочь.

Аня еще плакала, плечи ее вздрагивали, в руках у нее болталась сетка с батоном. Бочаров взял у нее сетку и тихо сказал:

— Не плачь...

Они сидели у Ани на кухне, пили чай. Аня изредка посматривала на Бочарова, боясь первой нарушить молчание.

— Это они избili Андрея Николаевича? — не выдержав, спросила она.

Бочаров кивнул.

— А за что?

Бочаров помолчал, потом вдруг сказал:

— Надо спасать Хомякова...

— Спасать? — удивилась Аня. — От кого?

Да я бы его... — Она сурово сжала губы.

— Мне тоже иногда кажется, что в нем уже ничего на осталось человеческого... А иногда мне его жалко...

— Да он изверг, садист! — возмутилась Аня.

— Твой Гвоздев не лучше.

— Во-первых, он не мой. А во-вторых, он просто трус!..

— Такие в сто раз страшнее. Хомку насквозь видно, а этот себе на уме.

— Я не понимаю. Он избил Андрея Николаевича, тебя, а ты его собираешься спасать. Это смешно!

Бочаров посмотрел на Аню:

— Не вычеркивать же его из жизни? Он же есть, живой...

— А для меня его нет! — выкрикнула Аня. — Вообще нет!

— Можно и так... — согласился Бочаров. Он допил остывший чай, так и не взяв ни одного бутерброда.

— Ты почему не ешь? — спросила Аня.

— Не хочу... — Бочаров покраснел и сознался: — Челюсть болит, глотать трудно...

— Хочешь еще чаю? А, может, молока? Давай я тебе молока налью.— Аня взяла чистую чашку, открыла холодильник.

— Только так он еще больше озлобится, еще хуже на всех будет бросаться,— вдруг сказал Бочаров.— Не на нас, так на других.

— Вот пусть на других и бросается.— Аня поставила перед ним чашку с молоком.— Раньше надо было его воспитывать, а мы ничего не сделаем, тем более, он не комсомолец...

— Ты просто обозлена на него,— тихо сказал Бочаров.— Мне тоже иногда хочется его придушить, но Лобанов прав: нельзя бесконечно ненавидеть друг друга, надо уметь видеть дальше своих обид, видеть хорошее в другом.

— А что в Хомке твоем хорошего? — вскипела Аня.

— Не родился же он таким! Просто били его больше, обижали чаще, это вернее всего. Но садистом сделали его мы.

— Как это мы, интересно? — усмехнулась Аня.

— Слово боимся ему сказать человеческого! Помнишь, когда он намазал чернилами нос Воронцову, тот полез на него, и Хомка при всех стал его бить? И никто его не остановил. Ведь вы все стояли тогда рядом, всё видели, но никто не вступился! — Бочаров встал из-за стола, прошелся по комнате.— Я тоже стоял рядом и тоже, как все, испугался. Я представил себя на месте Воронцова, и мне стало страшно... А остановила его тогда Зобачева... Тридцать человек испугались одного. Он знал, что мы боимся, и презирал нас. И правильно делал. Если и дальше мы будем бояться, то он и станет бандитом.— Бочаров помолчал, потом добавил: — Может быть, и сейчас уже поздно...

Аня не ответила.

— Ты со мной не согласна?

— Не знаю,— помолчав, проговорила Аня.— Я об этом никогда не думала.

На улице быстро темнело, и в кухню наполнили сумерки.

— Надо еще музыкой заниматься...— Аня зябко передернула плечами.— Сейчас родители придут и первым делом спросят: сколько играла? Они помешались на этой музыке, требуют, чтобы я каждый день по шесть часов играла, где-то прочитали про эти шесть часов, и никакой жизни нет!..

— Я пойду...

— Посиди еще,— попросила Аня.— Я сегодня все равно играть не смогу...— Она посмотрела на него растерянно, и странное удивление мелькнуло вдруг в этом взгляде.

Уже горели фонари. Бочаров медленно шел по деревянному тротуару, и звук его шагов гулко отдавался во дворах. От одного

из домов отделилась худенькая фигурка и двинулась следом за Бочаровым.

Колька остановился возле отделения милиции. У крыльца стояла машина ПМГ с включенным маячком на крыше.

Хомка пристально следил за его неподвижной фигурой. Бочаров чего-то ждал. Машина ПМГ отъехала, и Хомка затравленно оглянулся. Вытащил из-за пазухи финку, переложил ее в карман куртки.

Сзади послышались шаги, и Хомка шахранулся в сторону. Рядом был двор, и Хомка прижался к воротам.

Прошли, хихикая, две девицы.

У Хомки выступила испарина на лбу. Он выскочил из укрытия. Бочаров стоял на том же месте. Хомка, пригнувшись и стараясь не шуметь, стал подбираться к нему.

Крепко сжимая в кармане финку, он мысленно прокрутил всю сцену: бесшумно подбирается, резко бьет под лопатку, Бочаров падает... Потом его самого, маленького Хомку, обритого и жалкого, ведут по тюремному коридору...

На лбу у него заблестели капельки пота.

Бочаров услышал чье-то дыхание, резко обернулся.

Хомка метнулся в одну сторону, Бочаров — в другую. Он скрылся в ближайшем проулке, припустил было еще сильнее, но, запнувшись в темноте о кирпичи, упал в репейник. Тотчас поднялся, но тут же схватился за колено. Рядом с деревянным заборчиком лежало бревно, и Бочаров, доковыляв до него, привалился к заборчику и вытянул ногу.

Через секунду примчался Хомка.

— Чего рванул? — озираясь по сторонам и хватая ртом воздух, проговорил Хомка.

Колька не ответил и стал растирать ушибленное колено.

— К лягавым хотел податься?! — зло сунув глазки, прошипел Хомка.

Бочаров молчал.

— Тебя, кажется, предупредили сегодня!..

— Слушай, иди отсюда,— не выдержал Бочаров.— Нотации мне тут будет еще читать...

— Чего?! — возмущенно пропел Хомка.— Что ты сказал?!

— Я говорю: вали отсюда!

— А ну, повтори! — Хомка вытащил финку.

Колька посмотрел на финку, проглотил комок, застрявший в горле.

— Иди домой! Сиди тихо и не рыпайся! — приказал Хомка.— А там решим, что с тобой делать.

Бочаров не среагировал.

— Я два раза повторять не люблю,— процедил Хомка.

Бочаров насмешливо хмыкнул.

— Я что сказал?! — наливаясь гневом, оскалился Хомка и приставил финку к горлу Бочарова.

Рука у него дрожала, он тяжело дышал. Бочаров сидел не двигаясь.

— В последний раз говорю!.. — судорожно прошептал Хомка.

Бочаров закрыл глаза.

Хомка не выдержал и с силой всадил финку в забор. Лицо у него было в поту, и он, держась за доски, отошел в сторону, вытер рукой лицо.

Бочаров вытащил финку, внимательно рассмотрел. Ручка была набрана из цветного плексигласа. Колька провел пальцами по лезвию...

— Лобанов привет тебе передает...

— Чего? — недовольно проговорил Хомка и, подойдя к Бочарову, попробовал отобрать у него финку, но Бочаров не отдал.

— Отдай!

— Дурак ты! — вздохнул Бочаров. — В тюрьме решил юность провести?

— Отдай финку! — прорычал Хомка.

— Отдам, но не тебе.

Хомка бросился на него, но Бочаров легко отшвырнул его прочь. Хомка влетел в забор, застонал, сполз на землю.

— Я устал, — тихо сказал Бочаров.

— Отдай, — жалобно проговорил Хомка. — Иначе они пришьют тебя...

— Не пришьют.

Кто-то прошел за заборчиком. Дверь баньки распахнулась, в предбаннике вспыхнул свет. Хозяин вздохнул и, что-то напевая себе под нос, стал в кадшке рубить капусту. Где-то вдалеке прогудел пароход.

— А ну, пошли! — вдруг решительно сказал Бочаров и первым двинулся вперед.

Они подошли к Дому культуры речников, и Бочаров неожиданно остановился.

— На... — и отдал Хомякову финку.

— Сиди дома и не рыпайся! А то чик-чик сделаем! — Хомка скрылся за дверью. Бочаров потоптался у входа.

На крыльцо тут же выскочили Хомка и Малыш. Бочаров успел шмыгнуть во двор.

— Где он? — пролаял Малыш.

— Да черт его знает, — проговорил Хомка.

— Ничего, завтра отметелим!

Они ушли. Хлопнула дверь.

Бочаров сидел на корточках за чужими воротами и смотрел в одну точку. Подошла большая овчарка, обнюхала его, лизнула в щеку.

Бочаров поднялся. Вышел за ворота. И неторопливо пошел к крыльцу Дома культуры.

В фойе было многолюдно. Все ждали начала сеанса. Сверху доносился стук бильярдных шаров. Бочаров стал подниматься наверх. На середине лестницы на него наткнулся Хомка. Он бежал с пустыми пивными кружками вниз.

— Ты чего? — обалдел Хомка.

— Отдыхай. — Бочаров двинулся дальше. Хомка потянулся за ним.

В бильярдной Фикса играл с Малышом. Рядом в штормовках стояли нефтяники. Увидев Бочарова, Малыш замер с кием в руках.

Бочаров подошел, постоял немного и хрипло проговорил:

— Это вы избили Лобанова...

Было тихо. Малыш взглянул на Фиксу.

— Это вы избили Лобанова! — повысив голос, повторил Бочаров.

— Ты что, ты что! — скороговоркой забормотал Малыш. — А ну, иди отсюда! — рявкнул он.

— Это вы избили Лобанова. Он в больнице... — Голос Бочарова задрожал, на глаза навернулись слезы.

— Ты перепутал, мальчик, — пытаюсь выдать улыбку, выговорил Фикса.

— Это вы избили Лобанова, я сам видел! — закричал Бочаров.

Малыш бросился к Бочарову.

— Не трожь мальчишку! — предупредил один из нефтяников.

— Что?! — зло прошипел Малыш, пошел на нефтяника, и тот отступил.

— Это вы избили Лобанова! — что есть мочи закричал Бочаров.

— Заткни ему глотку! — рявкнул Фикса.

— Это вы избили Лобанова, вы, вы, я сам видел!.. — рыдания душили Бочарова.

Малыш ударил Бочарова, но в ту же секунду на помощь тому бросился Хомка.

— Не трожь! — завопил он и звезданул Малыша пустой кружкой по голове.

У Фиксы забегали глазки, но по лестнице, сквозь толпу, уже пробирался сержант милиции.

— В чем дело?

— Это они избили Лобанова, — прошептал Бочаров.

Фикса криво усмехнулся и бросил кий на стол.

Они вдвоем с Аней сидели у Лобанова в его комнате-лодочке, пили чай. Лобанов о чем-то рассказывал, улыбался, морщась время от времени и хватаясь за голову. На лице еще оставались шрамики от ссадин и легкая повязка.

Аня хохотала взахлеб, Бочаров грустно улыбался.

За окном, по реке, наряженный, точно елка, огнями бесшумно плыл большой пароход.



ЮЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НИКОЛИН (родился в 1941 году) окончил юридический факультет МГУ и сценарный факультет ВГИКа. По его сценариям поставлены художественные фильмы: «Длинное, длинное дело», «Сумка инкассатора», «Счет человеческий», «Три минуты лета» (в соавторстве с Э. Яковлевым), «Идущий следом» (в соавторстве с Р. Нахапетовым), многосерийный телефильм «Чокан Валиханов», «Пассажир», а также ряд документальных фильмов.

Литературный сценарий «Роль» готовится к постановке на киностудии им. М. Горького.

ЮЛИЙ НИКОЛИН

РОЛЬ

Я царь — я раб — я червь — я Бог...

Г. Державин

Летний день. Запряженная конной парой неторопливо трусит по пыльной дороге подвода. В ней на свежем сене дремлют двое мужиков. Возница, развлекая трехлетнего Мишу, то свистит птицей, то кудахчет, то лает на все лады. Но Миша не смеется — лишь с какой-то недетской серьезностью смотрит на возницу.

Огибая лесок, лошади вдруг с тревожным ржанием пускаются вскачь.

— Глянь, глянь, матерая! — кричит возница.

— Где? — Миша испуганно всматривается в единственно темный на залитом солнцем пространстве лесок.

Вскочив с сена, опасливо озираются и мужики.

— Та вон же, вон! — кричит возница и хохочет...

...Привал. На рушнике, расстеленном в тени большого дерева, остатки трапезы, недопитый штоф. Поблизости бродят стреноженные лошади. Мужики спят в тенечке. Шумит поле, всплескивая то вспорхнувшей птицей, то стремительным зайцем. Миша осторожно подходит к краю поля, боязливо

раздвигает колосья — о, да там оказывается целый волшебный, неведомый ему ранее мир: огромные жуки и зубастые зайцы, нескончаемый уж и замерший, как изваяние, посвистывающий одним животом суслик...

Торопливо раздвигая колосья, сразу смыкающиеся позади него, Миша уходит все дальше и дальше, и тут поле кончается, и он оказывается на пустынном бугре, под которым темнеет вода.

Стоящая у воды большая собака оборачивается к нему — янтарные глаза ее неподвижны. Тяжелые сосцы свисают до земли.

Миша спешит к ней, но она вдруг оскаливает пасть... Их разделяет несколько шагов... Тут весть откуда появляется златокудрый мальчик, неся в руках крупнолапного щенка, — он кладет его перед собакой.

— Не бойся, — говорит он ей и гладит по холке. Она ухватывает щенка за загривок и трусит прочь. Мальчик подходит к Мише и тоже гладит его по голове.

— Не бойся, — говорит он.

— Я потерялся, — хнычет Миша.

— Ты найдешься,— отвечает мальчик.

— Я пить хочу,— продолжает хныкать Миша.

— Вот вода, напейся...

Под обрывом течет почти черная от глибины вода. Подойти невозможно, разве что напиться, лежа на самом краю...

— Я боюсь,— испуганно отшатывается Миша.

— Не бойся...— пристально глядя на него, повторяет мальчик.

Миша склоняется над водой и вдруг видит в едва колеблемом течении зеркале воды старого лысого старика, который тоже тянется к нему губами...

Миша в ужасе кричит и... просыпается...

Он сам и есть тот страшный старик, что привиделся ему во сне... В ночном колпаке и длинной рубашке, он сидит на широкой кровати и трет кулаком мокрые от слез глаза.

— Прошло? — сочувственно спрашивает его Елена Дмитриевна, расплывшаяся телом старуха, со следами былой красоты в лице. Он отрицательно качает головой.

— Ну будет, будет тебе,— она тормошит его,— ужели так страшно?

Он молча кивает.

— А я так и вовсе теперь смерти не боюсь,— усмегается она.

— А я... боюсь,— едва слышно отвечает он и неожиданно вновь зарывается головой в подушки.

Он возвращает себя в детство, на берег, к воде, от которой он только что отпрянул, и плачет навзрыд... Но уже скачут к нему всадники и, спешившись, стараются «утешить»: один шлепком, другой оплеухой... Он еще сильнее ревет и показывает им на воду... Каждый из них с опаской заглядывает в темную воду, но видит лишь собственное отражение, и тогда они начинают хохотать, хлопать себя по бокам, гладить и целовать Мишу.

Гостиная в господском доме. В креслах граф и графиня. Перед ними — Миша.

— А суслик как вскочит, как засвистит: пссс! пссс!.. А заяц мне сначала зубы показал, а потом и ноги... А я пошел дальше, чтобы еще посмотреть, а там вдруг поле кончилось и я увидел большую собаку...

Граф и графиня переглядываются.

— То была волчица, мой мальчик,— ласково говорит граф.

Миша степенно кланяется.

— Да... волчица... она дожирала добычу... Загрызанная ею лошадь лежала мертвая, но хвост ее еще прядал, отгоняя... отгоняя...

Миша никак не может закончить фразу, потому что граф и графиня уже хохочут.

...Та же гостиная, но теперь там полно гостей, да и Миша одет так, словно бы он только что отыскан в поле: одежда истрепана, правда, на шее бант...

— А суслик как вскочит, как засвистит: пссс! пссс! И я побежал дальше, и вдруг поле кончилось и я увидел волчицу. Она лежала, кормя пустыми сосцами изголодавшихся своих волчат. Глаза ее загорелись янтарем, когда она увидела меня...— изображая, рассказывает Миша, он взволнован, речь его тороплива,— я хотел бежать, я испугался... Волчица бросилась ко мне, и ее желтые клыки уже готовы были впиться в мое горло, но тут,— вдруг Мишино лицо становится торжественно и благостно,— явился маленький кудрявый мальчик...

— То был ангел,— подает реплику графиня.

— Да, ангел,— кивает Миша.— Его белоснежные крылья трепетали, и одно перо, выпав, осталось в моей руке... Вот оно!

И он торжественно разжимает кулак, показывая гостям ладонь, на которой... ничего нет.

И, услышав дружный смех и аплодисменты, окончательно просыпается, на сей раз бодрым, шумливым, готовым к жизни.

— А-а-а! — первым делом громко пробует он голос.— Э-э-э! И-и-и!

Заслышав его голос, оживает дом, отзывается шумом, звоном посуды, перебранкой. Дверь в спальню приотворяется, и туда норовят заглянуть похожий на сушеного кузнечика Пантелей Иванович и юноша с безвольным подбородком, Горский, с выпирающим, пульсирующим кадыком, и беззубая старуха с распластанной над головой выцветшей шалью.

— Доброго утра, Михайло Семенович!

— Доброго здоровья!

— Как почивали?

— У-у-у! О-о-о! — испробовав на полный регистр свой голос и оставшись удовлетворенным, Щепкин набрасывает на плечи коричневый на белом шелку халат и стремительно, словно полководец перед войском, идет по дому.

— Михайло Семенович, батюшка, вот, извольте взглянуть, волосок к волосочку,— поспешает за ним Пантелей Иванович с новеньким париком на вытянутых руках.

— Ай да парик! Что за парик! — на мгновение нахлобучив его и тут же вернув парикмахеру, громким сценическим голосом кричит Щепкин.— Да ты у нас просто гений!

И мгновенно забыв о нем, спешит дальше. Но тут путь ему преграждает беззубая старуха, кутающаяся в шаль.

— «Всем этим ты возмездье заслужил! Пади же ниц и Дожа умоляй о Милости!» — громко декламирует она.

Щепкин отшатывается.

— «Берите все,— с дребезжащим смешком отвечает он,— берите жизнь мою. Не нужно мне пошады. Отымая подпоры те, которыми мой дом весь держится, вы целый дом берете...»

И, подставив щеку последовавшему поцелую, идет дальше.

— Отец! — слышит он позади себя и, застигнутый врасплох, замирает. — Отец, — нервный смуглый юноша стоит в простенке, прислонясь к косяку, — второй день я живу ожиданием вашего ответа, но вы избегаете меня.

Щепкин молчит, лишь губы его шевелятся.

— Ну что ж! — заносчиво говорит юноша. — Только знайте: если сегодня же вы не ссудите меня тремя сотнями ассигнациями, мне не останется иного выхода, как наложить на себя руки!

— Ах, господи, господи, господи! — скороговоркой шепчет Щепкин. — Почто покарал ты меня столькими чадами, не дав сил прокормить их?! — И норовит улизнуть.

— Отец! — в отчаянии кричит ему вслед Николай. — Да знаете ли вы в самом деле, что есть честь?!

— Честь? — Щепкин резко оборачивается. — Откуда ж знать это мне, рожденному крепостным?! Но знаешь ли ты, рожденный свободным, какого рабского труда, каких унижений стоит твоя честь... в три сотни ассигнациями?

— Не знаю, — ненавидяще глядя на отца, отвечает Николай, — и знать не хочу: слава богу, зарабатывать шутовством — не моя роль!

Стремительно шагнув к сыну, Щепкин влепляет ему звонкую пощечину.

И тут же слышит позади себя женский вскрик. Покосившись на дрогнувшую портьеру, он спешит уйти.

В умывальной комнате, облокотившись обеими руками на мраморный умывальник, он молча разглядывает себя в зеркале. Но вот появилось в зеркале и еще одно лицо, девичье, миловидное...

— Доброе утро, Михайло Семенович, — девушка с кувшином подходит к нему.

— Доброе утро, Лушенька, — задумчиво отвечает он. — Как почивали, барышня, отчего не веселысь?

И, обернувшись к ней, смотрит на нее пристально, подозрительно.

— Вода стынет, Михайло Семенович, — уходит она от ответа.

— Ужели обидел любимицу? — взяв ее за подбородок, он смотрит ей в глаза. — Ужели не добр к тебе?

— Ко мне-то добры, — вздыхает она, — даже очень... к другим, правда, иначе...

— Ах, ты про то! — восклицает он. — Э-э-эх, а еще актеркой задумала быть! То — роль! Роль, понимаешь?

— Если то роль, то где же жизнь? — спрашивает она.

— Вот! — Он подставляет руку под струю воды. — Это — жизнь, а остальное... «Мир — театр, люди — актеры», знаешь, кто сказал?

— Небось Гоголь ваш...

— Дуреха! То — Шекспир! — торжествуя кричит он и тут же спохватывается: — И чего это я так к тебе... как к дочери... больше, чем к дочери...

— Вижу, что лучше, чем к родным своим, — отвечает она.

— Что ж ты все одно заладила... Ну да ладно, смотри: учись! — Щепкин с размаху дает ей сценическую пощечину, то есть касается своей рукой ее щеки, а другой рукой звучно шлепает самого себя по заду. — Теперь поняла, что за пощечина то была? Поняла?

Его рука по-прежнему касается ее щеки. Она молчит, и он молчит. В умывальную, пыхтя чубучком, входит толстенная старая усатая сестра Щепкина; она презрительно хмыкает, будто хрюкает, и, ничего не взяв, выходит.

— Поняла, Михайло Семенович, — тихо говорит Лушенька. — А это тоже... роль? Он опускает руку, молча отрицательно качает головой и вдруг кричит:

— Ну не знаю, не знаю!.. Запутался! Все — сон, все — явь, все — роль, все — жизнь, понимаешь?!

В столовой за накрытым столом сидит одна беззубая старуха, утирая рот краем шали. Горский прохаживается вдоль стен, сардонически улыбаясь.

— Эй, петушок, — задевает его старуха, — вижу, упруг гребешок, а как, скажи, голосок?

Горский даже не смотрит на нее.

— Может, для консоме ты и хорош, — не унимается старуха, — а вот для сцены, да без голоса?!

— Оставьте меня в покое! — кричит Горский.

— А? Не слышу! Ты что-то сказал? — издевается над ним старуха и мечтательно добавляет: — Когда брат мой покойный, Мочалов, шепотом... шепотом говорил, то подвески в люстрах звенели! Или Михайло Семенович, благодетель наш...

— Да ежели хотите знать... — начинает было Горский, но тут дверь в столовую распахивается, и почти бегом врывается Щепкин и плюхается на стул во главе стола.

За ним поспешно вбегают и рассаживаются остальные, всяма многочисленными обитатели дома. Последним входит Николай с багровой пятерней на щеке...

Дождавшись, пока все рассядутся, и выдержав сценическую паузу, Щепкин закатывает глаза к «горным сферам» и, словно бы беседа с невидимым остальным собеседником, в бытовой, разговорной манере шепчет:

— Господи, это я, щепка твоя... ну вот еще один день наступил... Ну и спасибо... — И он начинает уписывать завтрак.

В окна столовой видно, как подъезжают к дому сани. Щепкин, завидя их, хватается со стола горсть конфет, кладет их перед собственным белым бюстом на постаменте и спешит на прощанье поцеловать жену, но при этом громко, так что слышат все за столом, шепчет ей:

— Скажи своему сыну, что — сегодня! Полбенефисного сбора — ему! И мое отцовское проклятие — тоже!

И, мельком взглянув на вспыхнувшую Лушеньку, покидает дом...

В слабо освещенной, но полной отраженного от многочисленных зеркал света артистической уборной застыли на манекенах, повисли на вешалках, плечиках, гвоздях и крюках фрак и мундир, барская шуба и тельняшка матроса, плащ Полония и лохмотья Бабы-Яги, наряд малороссийского парубка и иные многочисленные костюмы... Неподвижные, безжизненные, они теснятся в ожидании, но — чу! — шум, движение, громкий голос, распахивается дверь, и ворвавшийся воздух приводит их в движение: трепет пробегает по ним, а их король, их кумир — толстый лысый старик устремляется к зеркалу, мгновение вглядывается в свое отражение и вдруг начинает смеяться... Он смеется все громче, все азартней, все яростней и так же внезапно замолкает, прислушивается: слышно, как звенят хрустальные подвески на бра.

Щепкин удовлетворенно улыбается, но тут раздается торопливый стук и в артистическую уборную входит запыхавшийся Шевырев; увидев его, Щепкин пугается, но забывает стереть улыбку с лица.

— Что? — испуганно спрашивает он.

— Беда, — говорит Шевырев, — голодом уморить он себя решил! Сам митрополит Филарет повелел ему есть, так он и владыке перечит...

— А доктора? — быстро спрашивает Щепкин.

— Шевырев только машет рукой.

— На вас одна надежда, Михайло Семенович! — говорит он.

— На меня? — Щепкин пожимает плечами. — Да станет ли Гоголь грешника слу-

шать, когда митрополита слушать отказывается?

— Так вы ж Артист, Михайло Семенович! — не отступает Шевырев. — Да еще любимый им. Рассмешите, обманите, растор-мошите его!

— Э-э-эх, кабы не масленица, — бормочет Щепкин, — да не бенефис...

Шевырев непонимающе смотрит на Щепкина.

— В том-то и загвоздка, что артист! — пытается оправдаться Щепкин. — Нашего брата день масленицы полгода кормит!

— Помнится, вы сами, — сухо замечает Шевырев, — называли Николая Васильевича и другом своим, и благодетелем...

— Мало! Мало! — вдруг кричит Щепкин. — Да ежели знать хотите, я молюсь ему. Право слово, молюсь: «Гоголь, ну напиши мне новую роль, дай мне новую жизнь, сотвори меня еще в одном обличье...»

— Стало быть, отказываетесь?! — после паузы спрашивает Шевырев.

— Кабы не фарс проклятый да «Генрих» шекспировский... — начинает было Щепкин и вдруг спрашивает: — А что, второй том «Мертвых душ» у него?

Шевырев не отвечает.

— Взять бы надо, — занскивающе говорит Щепкин, — а то не ровен час, сожжет, как в Риме...

Шевырев молча откланивается и выходит.

Щепкин вновь опускается на стул перед трюмо, смотрит на себя, потом начинает гримироваться — в зеркалах возникает тупое лицо малороссийского дурня, фарсового, гротескное, но... с печальными, полными раздумий глазами... Щепкин несколько раз глубоко вдыхает и выдыхает, растягивает в улыбке рот, пытается смеяться, но никак не может войти в роль.

Он вскакивает, облачается в сценический костюм и, бормоча себе под нос мотив гопака, пытается пуститься в пляс... Но тут же в отчаянии плюхается перед зеркалом, закрывает глаза и, «настраивая» себя, начинает тихо напевать: «Чук-чук, тетяна, чернобрива кохана...»

Он словно возвращает себя к тому давнему дню, когда впервые овладел этой ролью... и видит шумную ромненскую ярмарку, шатры, лавки, ресторацию, у входа в которую висит афиша: «Комик Щепкин в операх-водевилях «Москаль-чаривник» и «Жид Шева»... Весь сбор идет на выкуп актера».

Неподалеку за ломберным столиком идет битва; вокруг столпились зрители, но они расступаются перед князем Волконским, который в генеральском мундире при орде-

нах подходит к играющим и молча кладет свою шляпу на ломберный стол...

— Что? Что такое?! — вскрикивает весь в перипетиях игры полковник.

— Помнится, полковник, вы обещали внести пожертвование на выкуп комика нашего, — говорит Волконский.

— Да, князь, да-да... — машинально отвечает он и вдруг находитесь: — Ежели выиграю, половину банка — ему.

...Осторожно, карту за картой, мечет банк полковник. Противостоящий ему полицмейстер сначала крестит карту, а потом открывает ее, но раз за разом проигрывает, растет банк...

...До начала представления остаются считанные минуты. Из-за занавеса доносится шум заполнившей «театр» публики... Щепкин, загримированный, в костюме «жида Шевы» маленькими шажками расхаживает взад и вперед по сцене, то заламывая руки, то закатывая глаза к небу и непрерывно при этом что-то шепча... Из-за кулисы за ним наблюдает Зеленский. Кажется, что они — двойники... Маленькими шажками и покачивая головой, Зеленский пересекает пространство сцены, приближается к ничего не замечающему Щепкину, трогает его за плечо.

— А? Что?

— Ничего, ничего, дорогой мой Щепкин, — вздыхает Зеленский, — я только хотел вам сказать... что подписался на сто рублей... И дай бог, чтобы это помогло вам стать свободным!

— Сердечно благодарен вам, господин Зеленский, — не выходя из уже созданного образа, кланяется Щепкин.

Но Зеленский мнется, не уходит...

— Что я хочу сказать, — поглаживая подбородок, говорит он, — а что ежели бы вам... не меня перед публикой представлять, а то теперь, даже встретив меня на улице, все непременно хохочут.

Щепкин невольно улыбается.

— Вы бы лучше изобразили того, кто... не подписался, — замечает Зеленский.

— И впрямь! — бесом вспыхивают глаза Щепкина. — А что, здесь ли Бродский?

— О-о-о-о, — хватается за голову Зеленский. — Только не Бродского, только не его...

— А разве он тоже подписался? — быстро спрашивает Щепкин.

...В маленькой грим-уборной на манекене висит мокрый от пота костюм «жида Шевы»... Щепкин перед зеркалом гримируется на роль Чуприна. Соответственно и на лице его появляется тупое самодовольство... Тут дверь открывается, заглядывает белобрысый мальчишка.

— Полицмейстер пошел ва-банк! — вопит он.

Щепкин хватается за сердце.

— Ну что же ты стоишь, дуй туда! — кричит он.

Звучат один за другим три колокольчика, приглашая к началу. Щепкин с трудом поднимается, идет на сцену.

...Стоя за занавесом, он смотрит в маленькое отверстие на зал: видит генерал-губернатора и князя Волконского, а неподалеку сияющих, успокоенных Зеленского и Бродского.

— Михайло Семенович! — дергает его сзади мальчик.

— Ну?!

— Выиграл, выиграл и отписал вам! — кричит мальчик.

Щепкин от счастья подпрыгивает на месте и пускается в пляс, но тут поднимается занавес, и он, оказавшись перед публикой, ни на миг не смутившись, продолжает гопака, налевая при этом слова своей роли: «Чук-чук, тетяна, чернобрива кохана...»

... — Чук-чук, тетяна, чернобрива кохана! — стоя перед трюмо с закрытыми глазами, притопывая, орет Щепкин. — Чук-чук, тетяна, чук-чук, тетяна.

И, внезапно раскрыв глаза, никого не видя и не слыша, он устремляется на сцену, весь дрожа. Словно нетерпеливый конь, он на миг замирает у кулисы, и вдруг лицо его озаряется нелепейшей улыбкой, и под звуки гопака тучный старик, словно юный парубок, вылетает на сцену...

Дом Щепкина. Николай слоняется по комнатам, то и дело подходит к окну, выглядывая наружу. У одного из них, штопая шаль, коротает время беззубая старуха.

— Что, душа моя? — цепляет она за руку юношу. — Не меня ли, красавчик, ищешь?

Николай вырывается, уходит, кружит по комнатам и вдруг оказывается в кабинете отца перед высоким бюро... Словно бы сам испугавшись, он отшатывается, но в следующее мгновение быстро открывает его, достает шкатулку — в ней всего несколько монет... Поспешно захлопнув шкатулку, он начинает шарить по многочисленным ящичкам бюро — в одном из них он обнаруживает дагерротип отца и матери с маленьким мальчиком на руках. Николай поспешно задвигает этот ящик, дергает другой, но тот, единственный, заперт. Усмехнувшись, Николай достает перламутровый ножичек и взламывает замок — в ящичке лежит револьвер.

Кулисы театра. Взмокшего, тяжело дышащего Щепкина Лушенька и Горский ведут в артистическую уборную... Позади не смолкают аплодисменты.

— Э-э-хе,— кричат Щепкин,— что за туша, что за мерзкая туша...

— Вы замечательно играли, Михайло Семенович,— говорит Лушенька,— мы за кулисами вам хлопали.

— О-ой-ой, да если бы вы так, как я сегодня, играли, да вас бы тухлыми яйцами, а не аплодисман... ой-ой-ой...

Он вваливается в артистическую уборную, бросает быстрый взгляд на стоящие там корзины с цветами. Внезапно ожив, он поспешно выпроваживает Лушеньку и Горского и спешит к корзине с цветами; сунув в них руку, он извлекает содержимое — деньги, перстень, записки, которые он, не читая, рвет... Лишь в одной, как ни роется, ничего отыскать не может. С недоумением смотрит он на корзину, потом нюхает цветы и, пожав плечами, возвращается к столу.

— На пропитание, Коле, Мите в Малагу, мне...— бормоча себе под нос, он быстро раскладывает по столу деньги, перекладывает из одной кучки в другую, примеривается. — На пропитание, Коле, Мите в Малагу...

У театра его ожидает извозчик. Сняв меховой треху, он приветствует Щепкина.

— На Тверской, дом Талызина, к Александру Петровичу графу Толстому, знаешь? — К Гоголю, значит? — подмигивает Щепкину всезнающий «лихач».

Тверской бульвар. Дом Талызина. Слуга помогает Щепкину раздеться.

— Ну как? — шепотом спрашивает Щепкин.

— Плох... только воду-то с каплей вина красненького и пьет,— отвечает слуга.— Немцев все к нему таскают, а я что думаю: растормошить бы его... Хвори-то никакой — одна печаль...

— Рас-тор-мошить, говоришь? — задумчиво повторяет Щепкин и тут же спрашивает: — Кто у него?

— Никого... Чуть кто придет, граф ли, господин Шевырев ли... сразу усталыми сказываются... Дремота, говорят, берет, простите, мол... Всё один и без света,— отвечает слуга.

— Ну, с богом,— говорит Щепкин и вдруг спрашивает: — А скажи, братец, ты ли печи топить?

— Печи? — переспрашивает, не поняв, слуга.

— Ну да, печи!

— Ну... я! Кому же еще?

— Это хорошо, что ты... ты уж смотри мне, братец!

И ласково начав, но с непонятной угрозой кончив, Щепкин грозит ему пальцем и уходит по коридору к дверям, перед которыми сидит мальчик лет четырнадцати в лакей-

ской ливрее. Он вскакивает, завидев Щепкина, радуется, чуть не плачет.

— Ну-ну, ну-ну, Якимушка,— качает головой Щепкин,— ступай, доложи барину!

Но не успевает мальчик скрыться за дверями, как Щепкин распахивает их и входит вслед с громким воплем.

— Где?! Где он?! Дайте мне хоть кусочек! — кричит он, радостно улыбаясь, но Гоголя не видит и сбивается с тона, замолкает.

В комнате полутьма, горит лишь лампадка да свеча на столе, на котором лежат многочисленные книги... Книги лежат и на полу у стола, а по всей комнате разбросаны длинные полосы бумаги, исписанные крупными буквами.

— Господи...— невольно бормочет Щепкин, пораженный.

— Здравствуйте, Михайло Семенович,— слышится из полутьмы с кресел,— вот уж кого не чаял...

— Ты... где? — хрипло спрашивает Щепкин.

Гоголь молчит.

— Здесь? — бормочет Щепкин, хватая одну книгу за другой.— Здесь? Здесь? Сколько же ты, братец, оказывается написал, а я все жду-жду, когда ты второй том «Мертвых душ» закончишь... да мне для бенефиса разрешишь! А? Ты что-то сказал?

Но Гоголь упорно молчит.

— А... а ежели это не твои книги, то зачем они, да еще столько?

— Читать,— едва слышно отзывается Гоголь.

— Читать?! — обрадованный ответом кричит Щепкин.— А жить когда?!

— В них одних истинные толчки к жизни,— тихо и отрешенно произносит Гоголь.

— Вот-вот! — в тон ему и даже невольно передразнивая, подхватывает Щепкин.— А какие у меня, актера, могут быть толчки, когда брат мой, мой господин, мой бог, не пишет для меня, а ежели случайно что и напишет, так сжигает, а не сжигает, так все одно не дает мне, вурдалаку, живой крови напитокя! Что молчишь?

— Не здоровится,— едва слышно отвечает Гоголь.— Да и простите, дремлетса что-то...

— Дремлетса? — повторяет Щепкин.— Вот и... мне тоже! Стар я стал, стар... Позволишь ли, подремлем вместе...

Он опускается в кресло, закрывает глаза и тут же начинает похрапывать.

Гоголь, в халате и сапогах, является из темноты, глядявается в лицо Щепкина.

— И кто же это первый назвал вас хорошим актером? — едва слышно говорит он.

— Ты! — продолжая «спать», выпаливает Щепкин.

— Я говорил, что вы Великий актер. но, видно, ошибался...

— Не ошибался! — кричит Щепкин, «просыпаясь», вскакивая и начиная тормозить Гоголя.

— Позвольте, Михайло Семенович, что вы, право... — морщится Гоголь.

— Дай, ну дай, ну дай же мне скорее... где они, ну, ну признайся, куда ты их спрятал, — скороговоркой произносит Щепкин, мнимо шаря по карманам халата, в который облачен Гоголь.

— Бойтесь, что опять сожгу? — с усмешкой спрашивает Гоголь.

— Нет! — Щепкин мгновенно отпускает его. — Просто прочесть не терпится... Да только дождусь ли?! Дал бы мне, братец, сейчас, что есть...

— Оставьте меня в покое, — мучительно тихим голосом говорит Гоголь. — Прошу вас, прошу...

Щепкин смущен, но не уходит.

— Зачем, зачем вы все хотите меня растормозить? — со страданием в голосе продолжает Гоголь. — Что за страсть принуждать меня к жизни, когда я наконец готов к самому трудному — к смерти?

Щепкин растерянно улыбается.

— Эко ты, брат, уж не разным ли богам мы поклоняемся... Ты — смерти, а я... я, признаться, — жизни! — лукавство загорается в глазах Щепкина. — Вот однажды — в Воронеже было дело — слышал я, что в день воскресный открытие будет мощей святого Митрофания. Дай, думаю, приобщиться. Пошел. День солнечный. Народу от всех мест — тьма. Иду, птицы райские в душе поют... Вдруг вижу: мужик в ведре двух вот таких стерлядок несет. Ну каких красавиц! Плещут, сверкают, в уху так и просятся... Ну сторговал я их, иду, в ведре их несу, все думаю, хороши ли молоки, да вдруг спрашиваю себя: куда же я иду? Молиться? Так не лучше ли здесь, сейчас! Поднял глаза — молюсь: господи, говорю, я богу, все эти люди думают, что молятся тебе, но они не молятся, а чего-то для себя просят да выпрашивают, один я — просто благодарю тебя за то, что дал ты мне эту жизнь, и это небо, и это солнце, и этих стерлядок в этом ведре...

— Оставайтесь всегда таким, — с чувством говорит Гоголь и порывисто обнимает Щепкина, — и прощайте, простите, устал... устал...

Щепкин разводит руками, идет к дверям, но решившись, останавливается.

— Э-эх, досказать не дал, гонишь старика... Слушай, а может... поедем в трактир Бубнова на блины?

Гоголь молча качает головой.

— Ну тогда ко мне?.. Сказывал ли я, что мне из Астрахани бочонки икры янтар-
146

ной прислали... Нет, нет, молчи, такой икры ты в жизни не ел, да что ты — я, я! И то такой не ел!

Гоголь молчит, он даже не смотрит на Щепкина.

— А тут как раз и Дмитрий, сын мой, из Малаги такую малагу прислал, что ты никогда не пивал... — И желая хоть как-то встряхнуть Гоголя или хотя бы убедиться, что тот его слышит, добавляет: — А после смерти и не поешь!

Гоголь поднимает на него глаза.

— Э, да я вижу, у тебя слюнки текут... Тогда ко мне, непременно ко мне, попируем, как в былые годы, а ежели... ежели совсем уж к смерти готов, — кошунствует он, — то... поминки справим, но... вместе! Ну как, согласен?

— Да, — едва слышно отвечает Гоголь.

— Да?! — изумляется Щепкин. — Ну и отлично, ну и замечательно... Прошевай тогда, побегу, нынче фарс отыграл я, но меня ведь еще трагедия ждет...

— Погодите, — вдруг говорит Гоголь, подходит к Щепкину, на мгновение прижимает его к себе, словно прощаясь, — теперь идите...

...С воздетой вверх рукой триумфатора идет Щепкин по коридору. Яким с восторгом глядит на него, крестится. Слуга, одевая Щепкина, тихо спрашивает:

— Ну как, Михайло Семенович?

— Растормошил! — в упоении отвечает Щепкин.

Извозчик ожидает его. Щепкин садится в сани.

— К Аксаковым, братец, — приказывает он и, откинувшись на спинку, прикрывает глаза.

Он вспоминает теперь уже давний день, когда в доме Аксаковых впервые встретил Гоголя: многочисленное семейство Аксаковых обедает, двери столовой открыты, и слуги бегают взад и вперед.

— Уж сколько знаю я вас, Михайло Семенович, — говорит хозяин дома, — а все не в силах отличить, где вы, а где — роль?..

— Да я и сам ведь не знаю, любезный Сергей Тимофеевич, — отзывается Щепкин, — но только ли у нас, актеров, жизнь и роль суть одно? Разве каждый из вас есть то, кем рожден, а не то, кем стремится быть? Разве не учите детей своих примером, то бишь зубрите чужую жизнь, как роль? — Щепкин вскакивает с места, идет вокруг стола, обращаясь к каждому, заглядывая ему в глаза. — Что до меня, то я сменяю роли, дабы запечатлеть вас всех и тем дать образец остальным!

— Но тогда зачем же так жизненно и мучительно представляете вы на подмостках людей негодных, подлых, лицемерных — какой при-

мер в них нам, людям молодым, ищущим? — возражает ему Константин. — Да и что могут подумать о России иностранцы, коим теперь здесь несть числа?

— Друг мой милый, любезный Константин Сергеевич, — Щепкин задумчиво смотрит на юношу, — лицедейство отнюдь не ложь, нет! Оно — зеркало личности, общества, государства... Так что на зеркало ли пенять, коли, простите, рожа крива...

Увлеченные спором, они не видят, как в глубине, в прихожей, появляется Гоголь, но не входит, молча слушая и лишь слегка потирая руки.

— Выходит по-вашему, все на Руси нашей плохо... Правительство, народ, мы, наконец?! — яростно кричит Константин.

— Не все, — Щепкин мгновение смотрит на Константина, — не все: телятина, например, превосходная... Впрочем, уподобясь вам, я сужу о ней, не испробовав... И, наверное, зря...

С этими словами он возвращается при всеобщем молчании на свое место и начинает быстро, громко есть. Он ест, а все смотрят. Лишь Гоголь, стоя в прихожей, невольно улыбается.

— Ну как? — с улыбкой спрашивает Аксаков.

— Отменно! — кричит Щепкин и тут же, перейдя на шепот, добавляет: — Должно быть, все дело в соусе? Может, ежили и правительство наше, и литературу, и народ под бешамелем или равигогом подавать...

Он не успевает закончить, потому что Константин вскрикивает от негодования:

— Да как, как смеете вы о святых вещах?!

— Милый мой, Константин Сергеевич, — усмехается Щепкин, — неужели же не чувствуете вы, что в моем осуждении больше сожаления и любви к отчизне, чем в одах мнимой ее непогрешимости?

— Мнимой? — не унимается Константин. — Да русский ли вы после этого?!

— Русский, — кивает Щепкин и тут... замечает в прихожей Гоголя: что-то неуловимо меняется в нем, он несколько раз глубоко вдыхает воздух и... «входит в роль». — Впрочем, все мы русские из теста одного, да с начинкой разной... Вот, ежили позволите, расскажу вам о земляках моих, курянах, двух помещиках, двух друзьях закадычных: один из них рода был древнего, знатного, сам воин, храбрец, весь день в седле... На исходе одного такого дня застиг он в поле крепостного мальчика рвущим колоски и объявил на него охоту — раздел донуга, пустил борзых: ату! Ату! Они налетают, нюхают, ан не кусают, человека чувуют... А он их снова: ату! Ату! Ату его!

— Господи, — в ужасе восклицает Константин.

— Так вот, представьте, — продолжает Щепкин, — сколько ни пытался, а заставить борзых не смог — уцелел мальчуган... Мать его правда, видя все, сошла с ума...

— Зачем вы все это рассказываете?! — кричит Константин. — Зачем... знаете это?

— Мне ль не знать, — отзывается Щепкин, — когда меж двумя этими господами жить довелось, да еще и самому крепостным...

— А кто же тот, другой?.. — спрашивает Гоголь, внезапно для Аксаковых появляясь на пороге.

— Николай Васильевич, вы, — бросается к нему Аксаков, — и давно ль?

— Не так, чтоб очень... — Гоголь смотрит на Щепкина, — но и перебить повествование не решился...

— Позвольте представить вам друга нашего актера Щепкина, — спешит познакомиться их Аксаков. — А это, хоть и начинающий, но высокую ноту берущий писатель Николай Васильевич Гоголь.

Щепкин и Гоголь раскланиваются, но вид у них такой, будто это не знакомство, а... сватовство.

— Простите, перебил рассказ ваш, — едва сев за стол, обращается к Щепкину Гоголь. — Так что ж сосед, какова его начинка?

— О, тот был собою дороден, слыл домоседом, людей своих баловал, однако ж прославился страстью неудержимой угощать всех, кого в дом свой затащить удавалось. И для того дежурил сам, аки разбойник у большой дороги, и как заслышит колокольчик, тут же со своей шайкой навстречу. Распахнет вот так руки... — Щепкин выбирается из-за стола, распахивает руки, изображая не только лица, но и предметы, о которых повествует, — и... Милости прошу отобедать... Да так пристанет, так пристанет... Привезет к себе: эй, расстегайчиков нам — скуку заморить! Тут несут сначала шесть подносов, а на них шесть графинов, а в них настойки все, — он чмокает, — разноцветные, а вокруг графинов целое ожерелье тарелок: икра, сыры, соленые грузди, опенки да что-то в закрытых тарелках, сквозь которое слышно ворчащее масло...

Гоголь не отрываясь смотрит на Щепкина, словно впитывая всю эту импровизацию... Почуя зрителя, Щепкин расходится воровку.

— Ах, вор Антошка, ах, разбойник Петрушка, а расстегайчики где? Вор и разбойник ташат расстегайчики... Сами-то откормленные, рожами лоснятся, а в глаза довольство любимых собак... Хозяин их, замечу, не в пример соседу, был душой добрый, хоть в словах любил перец...

— А не один ли и тот же это помещик? —

вдруг спрашивает Гоголь.

Щепкин замирает, но тотчас отрешивается.

— Так ведь соседи, куряне, русские, но один поджарый, а другой толстый! Почти, как я.— Щепкин хлопает себя по животу.— Ну вот, принесли расстегайчиков... И тут хозяин прямо деспотом стал: съешь один, он второй подкладывает да пословицами проталкивает, мол, без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете... потом: бог троицу любит... Потом: нет избы о трех углах... потом...— Щепкин достает платок, вытирает пот; он стоит с открытым ртом, тяжело дыша.— Уф-ф... Тут вносят телянка, жаренного на вертеле...— Щепкин отшатывается.— Чур-чур меня...— И строгим голосом хозяина добавляет: — Как же вы так, я его, можно сказать, два года на молоке воспитывал, ухаживал, как за сыном родным, а вы?! — Так ведь не могу! — А вы попробуйте, а потом скажете «не могу». — Не могу, нет места, не войдет... — Так ведь, голубчик, и в церкви нашей не было места, а как вошел городничий — нашлось! А этот кусок суший городничий...

Все хочочут. Гоголь не улыбаясь неотрывно смотрит на Щепкина...

...— А что, Михайло Семенович,— спрашивает он, когда они выходят из дома Аксаковых на летнюю улицу,— угадал я давеча? Один и тот же этот ваш помещик?

Щепкин молча кивает.

— А ведь казалось, что вы все тут же и сочиняете,— замечает Гоголь.

— Нет, нет,— машет руками Щепкин,— зачем сочинять, я ведь столько видел... Мне бы теперь только отыскать роль, чтоб в ней рассказать все, что я знаю...

— А сами умеете ли приготовить те яства, о коих живописуете? — уходит от разговора о роли Гоголь.

— Помилуйте, как же можно иначе?! — отвечает Щепкин.

— Я тоже,— тихо говорит Гоголь.— Все кухарки — дрянь... Никто ничего не умеет...— И, не прощаясь, он поспешно ныряет в первый же переулок.

— Приехали, барин! — слышит Щепкин позади себя и возвращается от воспоминаний к яви: он вновь у дома Аксаковых.

— Михайло Семенович,— радушно встречает его Аксаков,— не чаяли сегодня видеть вас, не случилось ли чего?

— Помилуйте, что может случиться со стариком? А остальное — не в счет! Вот ехал мимо, дай, думаю, забегу да к стопам припаду, да стыд окончательно потеряю,— скороговоркой произносит он.

— ...Сколько? — спрашивает Аксаков.

— Полтора, — выпаливает Щепкин,—

но лишь до нынешнего вечера! Знаете ли, я самолично читал ее высочеству запрещенного шекспирова «Генриха», и она испросила для меня дозволения сыграть отрывок в сегодняшний мой бенефис... Так что, думаю, никак не менее тысячи выйдет...

— Извольте получить,— отсчитывает деньги Аксаков.— Но что за шепка у вас такая? Проценты ли по закладным или долг?

— Долг,— кивает Щепкин, норовя улизнуть.

— Куда же вы?! — изумляется и обижается Аксаков.— Неужели откажете отобедать с нами?

— Увы, увы...— И торопясь поскорее раскрыть тайну, шепчет Аксакову: — У меня нынче Гоголь обедает!

Охотный ряд. От лавки к лавке, сопровождаемый кучером, идет Щепкин. Тщательно и любовно выбирает он самую изысканную провизию для обеда; тащит из телеги, набитой льдом и опилками, огромного осетра, заглядывает ему в глаза, нюхает жабры, мнет живот... Хозяин с восторгом смотрит на толкового покупателя.

...По крутым ступеням кряхтя спускается Щепкин в винный подвал, обходит длинный ряд темных бутылок, обросших сизой бородой. Потом раздвигает ряд и извлекает спрятавшуюся в глубине черную с проседью бутылку...

...Сани полностью нагружены провизией — Щепкин садится рядом с кучером на облучке.

Они едут по зимней Москве, и перед взором Щепкина является, отнюдь не заслоня реальность, а странным образом совмещаясь с ней, былое.

Он видит Гоголя, молодого, щегольски одетого, в золоченых очках, на четвереньках выбирающегося из театральной ложи под крики: браво! браво! И себя в костюме Городничего, вставшего на пути его бегства...

Видит, как торопливо входит к нему в кабинет Елена Дмитриевна с письмом в руке...

— От Гоголя? Из Рима? Мне?! — слышит он свой захлебывающийся голос.

— От Гоголя! Из Рима! Погодину! — сухо отвечает жена и добавляет: — Там и для тебя несколько слов!

Он хватает письмо, лихорадочно читает его:

— «А вам, милейший Михайло Семенович,— невольно подражая манере Гоголя, произносит он,— роль... Добчинского! После Хлестакова и Городничего она наиважнейшая!» Тьфу! Тьфу! Тьфу! — мгновенно.

преобразившись в самого себя, яростно кричит он.— Я десять, я двадцать лет тебя ждал — помереть боялся! И вот ты родился, вырос, вымахал, выучился кое-как, написал роль... и кому же? Не мне!!!

Люди на улице останавливаются, видя вошедшего в роль знаменитого комика, поворачивают, идут вслед за медленными шагами, но Щепкин, видя, не замечает их...

— Боже, боже, милейший Михайло Семенович,— с почти женской жеманностью прижав руки к груди, шепчет Щепкин,— менее всего хотел я узвять самолюбие ваше... Право, вы вольны сами выбрать себе роль, только скажите, какую желаете...

Щепкин замолкает, глаза его прикрыты, потом улыбка касается уголков рта, и он внезапно кричит:

— Все!!!

И слышит аплодисменты, и раскланивается перед случайной публикой... Сани останавливаются перед домом Щепкина. Он видит прильнувших к окнам домочадцев, и страх охватывает его.

— Гони! Гони! — шепчет он кучеру.

— Куда? Так ведь приехали, дом ваш,— думая, что его разыгрывают, отвечает кучер.

— И впрямь...— вздыхает Щепкин и, подняв в руке темную бутылку, он с видом победителя, но... трусовато идет в дом.

С недоумением смотрят на «шествие» деликатесов домочадцы... Николай закрывает лицо руками. Беззубая старуха цепляет Щепкина.

— «Все думают, и я так полагаю, что эту роль злодея хочешь ты разыгрывать лишь для развязки дела?» — затевает она привычную игру.

Но Щепкин непонимающе смотрит на нее.

— «Дань слабости такой неотвратимой!» — суфлерским шепотом подсказывает она, но Щепкин лишь отрицательно качает головой и идет дальше, окруженный молчаливым осуждением.

Идет туда, где ждет его Елена Дмитриевна.

— Друг мой...— бормочет он, останавливается, быстрым движением трет виски и начинает новый заход: — Ах, Алеша, ты в жизни не догадаешься, что за радость нас нынче ожидает! Сегодня к нам на обед будет Гоголь!

— Господи! — кричит, заламывая руки, Николай и бежит из комнаты.

— У кого же, интересно, сподобился ты займы взять? — угрожающе спрашивает Елена Дмитриевна.

— Ах, что за ерунда,— обрадовавшись ее реакции, продолжает Щепкин.— Сегодня мне дозволено сыграть «Генриха»! «Генриха»! — Не видя ответа в Елене Дмитриевне, он оборачивается к беззубой ста-

рухе: — Помнишь ли его, «милая моя трагедия»?

— «Не говорите так со мною, Дуглас, когда мне честь действительно велит оставить без вниманья осторожность,— сверкая глазами и вздымая руки, как крылья, вопит старуха,— я тоже забываю всякий страх!»

— Проклятый актер, проклятый актер,— в сердцах бормочет Елена Дмитриевна,— что ты без публики? Только ей ты и принадлежишь, только для нее и живешь!

— Что говоришь ты, Алеша,— пугается Щепкин и машет руками, чтобы все ушли.

Но домочадцы лишь сгрудились у дверей и не уходят.

— Что тебе твои дети, я, когда так легко заслужить всеобщий восторг, приютив сестру твоего злейшего врага Мочалова?!

— О-о-о! — беззубая старуха прижимает руки к груди.— Я уйду, я покину сей дом, я и мига здесь не останусь!

Никто не обращает на нее внимания, и она никуда не уходит.

— Кормя пьяницу-цирульника, ненаглядную твою Лушеньку, бездарных учеников и еще целую кучу бездельников, которые смотрят тебе в рот,— не помня себя от гнева, продолжает Елена Дмитриевна,— как щедр ты к публике, как скуп к нам! Но тебе и этого мало, теперь ты хочешь, чтобы тебе устроила овацию История: ай да Щепкин, попотчевал того, кто есть отказывался, но оставил без куска голодных! Ай да Щепкин!

— Господи, что говоришь ты...— едва слышно повторяет Щепкин.

— Я говорю правду! — резко отвечает она.

— Осетра куда прикажете? — Кучер с огромным осетром на руках пятается бокom протиснуться в дверь...

— Да не так, не так! Голову вниз, хвост вверх — вот! Другое дело! — Вдруг Щепкин оживает, толкает жену в бок: — Ну пусть я раб, пусть актер, пусть, пусть, но... зато какого красавца раздобыл!

Елена Дмитриевна ошеломленно смотрит на него.

— Ты уж распорядись, Алеша,— заискивающе продолжает Щепкин,— но только молоко не трогай, молоко... Я, когда вернусь,— сам!

Внезапно раздается выстрел. Мгновение они прислушиваются, потом бегут в кабинет Михаила Семеновича — бюро вскрыто, ящичек взломан, пуст... Перед бюро смущенный стоит Николай, вертя в руке небольшой револьвер...

Подскочив к сыну, Щепкин вырывает из его рук оружие.

— Э-э, да ты, я вижу, цел и невредим — должно быть, осечка,— косясь на запол-

нивших кабинет людей, вслух рассуждает он.— Но я ведь сам слышал выстрел, право, выстрел... А вы? — он обращается к «публике». — Ну вот... ну вот... проверить надо...

И прежде чем кто-либо сумел опомниться, он поднимает револьвер к виску и стреляет. Гром выстрела и крик окружающих сливаются воедино. Щепкин падает как подкошенный...

— Убит! — кричит беззубая старуха.— Ой, убит! Убит! Убит! — причитает она.

Все бросаются к Щепкину.

— Позвольте мне,— протискивается Пантелей,— я в покойниках толк знаю...

И тут позади раздается горький смешок. Невольно все оборачиваются к Елене Дмитриевне.

— Лучше б тебе знать толк в живых! — говорит она, подходит к расprostертому Щепкину, склоняется, целует.

— О где я, что со мной?.. — Щепкин внезапно открывает глаза.— От смерти воскресен я поцелуем...

Николай со всей силой швыряет револьвер об пол — тот отзывается выстрелом. Николай хватается за голову, убегает.

— Ну как, Алеша? — опершись на руку жены, Щепкин кряхтя поднимается с пола.— Кажись, отучил я его теперь навеки?

— Да, отучил,— задумчиво отзывается она,— ты большой мастер отучать... только жаль, не ведала этого раньше...

— Раньше? Когда?

— Тогда, когда увидела тебя впервые,— отвечает она.

— Ах, друг мой,— неожиданно по-стариковски говорит он,— неужели ты до сих пор еще не поняла, что видела тогда не меня, а того, кого, как мне казалось, нельзя не полюбить...

Он смотрит на Елену Дмитриевну, а память возвращает его к давнему прошлому.

Он и берейтор Веригин едут по летней пыльной дороге.

— А собою красавица, а сама-то турчанка! Паши дочь али султана, уж не помню,— рассказывает Веригин.— Ее генерал после боя дитем подобрали да воспитали... Так, значит, как увидела меня, так сразу и втрескалась!

— В тебя?! — смеется Щепкин.— Ох, Веригин, брешешь, да не так! Не так брешут, Веригин!

— Истинно говорю,— сердится Веригин и неожиданно спрашивает: — А ежели не так, то... как?

— На то талант, Веригин, нужен! Вот, например, кто я?

— Как кто? Известно — господский человек графа Волькенштейна...

— Верно! А вот как увертюру отыграют

да занавес дадут, я себя забываю... Где он, Мишка Щепка, где, где? И не знаю... Француз я или прыц какой, ну, по роли, значит... И сам в это верю — вот как брехать, Веригин, надо, чтобы себя забывать!

— Так, выходит, ежели верить, то и царя самого можно сыграть?

— Еще как, Веригин, можно!

— И Бога?!

...Летний день. Генеральская усадьба. В кресле сидит офицер с серьгой в ухе. Солдат, стоя позади него, отгоняет мух. Щепкин и Веригин вместе с управляющим осматривают хранящиеся в сарае духовые инструменты, но Щепкин все поглядывает через открытые ворота во двор, где то пробегает сопровождаемые собаками мальчишки, то слышит горничная с раздуваемым ветром платьем в руках.

— А какие трубы их сиятельство желал бы приобрести? — спрашивает управляющий.

— Так ведь... вот... эти... — отвечает Щепкин, машинально поглаживая сверкающие инструменты.

— Все?! — удивляется тот.— Но тогда, может быть, граф приобретет и музыкантов к ним?

— Да... возможно... впрочем... граф поручил нам лишь осмотреть вашу медь,— отвечает Щепкин.

— Дело ваше — смотрите...

— Ну где ж она? — набрасывается Щепкин на Веригина, лишь только управляющий покидает сарай.— Может, это — твоя красавица? — он показывает на важно пересекающую двор индюшку,— или та... сразу видно — турчанка,— смеется он, подмигивая раскормленной девахе, сидящей в одной домотканой рубаше в тенечке и поминутно зевающей и крестящей рот...

— Та отстань ты! Едем отсель...

— Как это «едем»? — не отступает Щепкин.— Я из-за нее их сиятельству эту медь расхвалил почти, чем ты турчанку...

Он достает из соломы одну из труб, прилежно обтирает ее платочком, прикладывает к губам... и сам изумляется прекрасному звуку...

Входя в роль, он хватается другую трубу, третью, четвертую, огромную,— дует на все лады...

И вдруг замечает девушку, которая стоит в проеме открытых дверей и с опаской и любопытством взирает на Щепкина. И он сразу узнает ее, хотя никогда раньше и не видел.

Но трубы не отпускает, а, наоборот, начинает дуть что есть сил, изображая при этом целый полковой оркестр.

Она смеется.

— Ой,— оборачивается на смех Петро,— та вот же, вот она!

Щепкин опускает трубу, низко кланяется. — Здравствуйте, Елена Дмитриевна, — сдергивает картуз Петро, — а это вот Щепка наш, он в Курске на театре артистом представляет... Может, слышали?

— Слыхала... — отвечает она. — А сам-то ты кто будешь?

— Я? — переспрашивает Петро. — Та ведь... графа Волькенштейна человек, третьего дня приезжал, может, помните...

— Не помню, — отзывается она.

Щепкин хохочет. Она поднимает на него глаза, но он не отводит взгляда.

Ночь на Ивана Купала... Поле... Горят костры... Обвязавшись соломой, прыгают через костер парни... Елена Дмитриевна сидит на распряженной телеге. В черных глазах ее отражаются огни. Пробегает мимо парнишка с хворостинкой, норовит стегнуть. Она смеется...

Светлая июньская ночь. По высокой траве, раздвигая ее, идет Щепкин — теперь он выше стеблей, но ощущение, как и тогда, когда заблудился: полусон, полуявь...

Впереди показались костры, доносятся крики, смех, визг. Щепкин останавливается. Сзади к нему подходят поотставшие толстенные, как и он, две его сестры...

— Вон... — тихо говорит он, показывая на стоящую у костра распряженную телегу, в которой сидит Елена Дмитриевна, — она!

Сестры разом кивают и направляются к костру. Щепкин остается один. На лице его улыбка сменяется изумлением, а изумление печалью... Руки его в непрерывном движении, губы шевелятся — он «репетирует»...

Но тут видит двинувшийся вокруг костра хоровод и спешит к нему. Мельком он замечает одну из своих сестер, сидящую в опустевшей телеге и раскуривающую маленький чубучок. Она молча благословляет его...

Елена Дмитриевна и другая его сестра уже кружатся в общем хороводе...

Сестра, завидев его, отпускает руку Елены Дмитриевны...

— Миша! К нам! — зовет она.

И он оказывается между сестрой и Еленой Дмитриевной.

Среди веселых лиц, кружащихся в хороводе, лишь два как-то по-особенному задумчивы.

— Сюда, сюда, Алена Дмитриевна... пожалуйста сюда, — в costume и гриме он ведет Елену Дмитриевну за кулисы.

Встреченные ими «актерки» привычно целуют его, косятся на турчанку.

— Вот сюда, — он усаживает ее в стоящее за кулисами кресло и за неимением

другого садится у ее ног. — Только, молю вас, будьте снисходительны и не уходите — в этой пьеске самая мораль в конце... Я играю хозяина постоянного двора... И страшно ревнив...

— Вы?!

— Нет, помилуйте, и если покажется вам, что я изображаю излишне достоверно...

— Это ничего... Я сама жуть как ревнива... А как, вы изволили говорить, пьеска называется?

— «Мнимый невидимка». — Уже звонят начало, и он сбивчиво тараторит: — Так вот, чтобы проучить меня... нет, не меня, конечно, а того, кого я играю, все сговорилось, что притворятся, будто я невидим, а на самом деле...

И, не договорив, он внезапно отскакивает от Елены Дмитриевны. Он стоит в нескольких шагах от нее по середине сцены и на глазах преобразается — тупость, чванство, подозрительность являются на его лице...

Елена Дмитриевна с изумлением смотрит на него, потом, взволнованвшись, тянется за табакеркой, сует в нос щепотку.

Открывается занавес... Доносится шум зрительного зала... Щепкин делает шаг вперед. И тут Елена Дмитриевна вдруг чихает, раз, другой... В зале слышится смех.

— А-а-а, простудилася, каналья! — неожиданно начинает импровизировать Щепкин. — Небось бродила где-то по ночам, плоды любви даруя постояльцам...

... Идет пьеса: маг в черном плаще на красной подкладке окутывает голову Щепкина плащом:

— Лишь невидимым ты станешь, все увидишь, все узнаешь!

Ревнивец согласно кивает головой.

— Слово страшное «мерлотти» — и невидим ты для всех. Скажешь слово «беркулотти» — снова годен для утех.

— Мерлотти! — восклицает Щепкин...

И тут все делают вид, что он невидим, — натываются на него, дают ему оплеуху...

Елена Дмитриевна хохочет так, что слезы текут из ее глаз.

— Надоело, надоело, быть невидимым — не дело... Был я бит и был забыт, надо обрести свой вид... Что за слово это... вроде беркумине, берколотти?! — Щепкин вдруг замирает, в лице его — отчаяние. — Неужели я забыл, ах, мне свет теперь не мил...

Испуганная Елена Дмитриевна, привстав с кресла, шепчет:

— Беркулотти!

Он не слышит ее.

— О, я сам хотел исчезнуть, в облике ином воскреснуть.

— Беркулотти! — громко подсказывает ему Елена Дмитриевна.

— Что-то вроде... что-то вроде,— продолжает Щепкин, направляясь к кулисе, где сидит Елена Дмитриевна, и, не доходя до нее двух шагов, опускается на колени и, делая вид, что молится, обращается к ней, шепча одними губами: — Я люблю вас, Алена Дмитриевна, я люблю вас больше жизни... Но я господский человек, я крепостной, Алена Дмитриевна...

И вдруг из-за кулис протягивается к Щепкину женская рука и гладит его по голове...

Он возвращается из прошлого к настоящему, смотрит на старую, обрюзгшую, с застывшим в глазах выражением тревоги и заботы Елену Дмитриевну, хочет что-то сказать, но никак не может...

— Алеша,— шепчет он,— Алешенька, Алюшенька, я так, так тебя люблю... так люблю.

Лушенька едва заметно улыбается.

Извозчик останавливает сани у Малого театра. Щепкин направляется к дверям. Он никого и ничего не замечает... Актеры смотрят ему вслед, дивясь его властной походке. Он входит в артистическую уборную, сбрасывает шубу на пол.

— «Король так добр,— обращаясь к костюмам на манекенах и вешалках, начинает Щепкин,— он знает срок посулам. И исполненью обещаний срок... Он это доказал отцу и дяде. Свой сан он получил из наших рук... Тогда уверившись в любви народа, он стал без страха отступать от клятв»...

Щепкин замолкает и, резко повернувшись, покидает артистическую уборную, идет по лестницам и коридорам, распахивает дверь в слабо освещенный закуток, где мальчик скрипач мышонком грызет булку.

Ни слова не произнося, повелительным жестом Щепкин приказывает ему следовать за ним; вернувшись в свою артистическую уборную, он оставляет скрипача за приоткрытой дверью, сам же садится к зеркалу, ждет... Из-за двери слышится трагическая мелодия. Щепкин как бы кладет на нее слова:

— «Тогда, уверившись в любви народа, он стал без страха отступать от клятв, он брался преобразовать законы».— Щепкин закрывает глаза и вдруг слышит чужой страстный хриплый голос, который с бешенством выкрикивает слова все того же монолога: — «Стегнительные для простых людей. Он говорил про злоупотребленья...»

Щепкин видит человека, который столь страстно произносит монолог,— немолодой, 152

с глазами навывкате, с выпирающим кадыком, Кетчер кричит на пределе голоса. А сценой для него — скошенное поле, в котором странно стоит стол, за которым — Герцен, Грановский, их жены, да и он сам в белом летнем сюртуке и панаме...

— «И плакал над невзгодами страны. Игрою и притворством он добился, чего хотел. Он покорила сердца,— кричит Кетчер,— и предал...»

Кетчер теряет голос, что-то хрипит, но ни слова выдать больше не может. Щепкин поспешно аплодирует ему.

— Что ж удивительного, Кетчер, что твой перевод «Генриха» запретили,— усмехается Герцен,— особенно в твоем исполнении! Вот ежели бы друг наш, Щепкин, исполнил...

Щепкин кланяется.

— В его устах это могло бы прозвучать одой любимому им Николаю Павловичу.

— Полноте, Герцен,— качает головой Щепкин,— ужели я виноват, что любим императором? Да и признаться, польза от этого всем нам немалая...

Кетчер протестующе машет рукой, что-то хрипит.

— Кетчер хочет опровергнуть теорию «пользы»,— смеется Герцен,— как и всего целесообразного вообще... не так ли?

Кетчер отрицательно качает головой.

— Ах, не говорите, господа,— защищает Щепкин,— вы еще люди молодые, горячие...

— Но и вы, кажется, не слишком остыли, любезный Михайло Семенович,— замечает Грановский.

— Да, так,— кивает Щепкин.— Вот вы, дорогой мой Грановский, профессор, так рассудите же, захочет ли самодержец выслушать заведомую оппозицию? Нет! Услышит ли народ правдивое слово, если оно... не произнесено? Нет! И наконец, не стали ли вы в оппозицию прежде, чем выслушали противную сторону?

— Николая?! — восклицает Герцен.

— Николай Павловича,— подтверждает Щепкин.— Верно вам скажу: вначале намерения его были куда как либеральные...

Кетчер беззвучно хохочет. Герцен внимательно смотрит на Щепкина. Грановский опускает глаза.

— Разве не хотел он освободить Россию от крепостного права?

— И вы верите?! — с искренним изумлением переспрашивает Грановский.

— Мне Гоголь говорил...

— Ах, ваш Гоголь,— усмехается Герцен.

— Мой... и Белинский мой... и вы мои,— задумчиво говорит Щепкин и после паузы продолжает: — Мне ли не видеть, господа, бед нашей отчизны, но не слишком ли легко почитать виновником оных не историю на-

шу, не нрав рабский, не нас самих, а обыкновеншего из людей, Николая Павловича Романова?

— Уж не Чаадаев ли вещает устами бывшего крепостного? — качает головой Грановский.

— Нет! — восклицает Герцен. — В суждении Чаадаева — отчаяние, а не раболепство! Иной тон — иная и музыка!

— Но согласись, — возражает Грановский, — что есть странная крамола в признании помазанника «обыкновенным из людей»?

Они оба словно забывают о Щепкине, продолжая свой давний спор.

— Погодите, — пытается вмешаться Щепкин, — да погодите же, послушайте: вы еще дитящими малыми были, когда Николай Павлович, тогда великий князь, крамолой увлекся, всю потаенную литературу наизусть зубрил... Да знаете ли вы, что сам Грибоедов читал ему «Горе от ума» и Николай Павлович смеялся и плакал...

— Но взойдя на трон, запретил! — кричит Герцен.

— Но ведь потом разрешил! — не сдается Щепкин.

— После смерти Грибоедова! — настаивает Герцен.

— Но ведь разрешил! — настаивает Щепкин.

— Вы вымолили? — негромко спрашивает Грановский.

— Я... — тихо отвечает Щепкин и вдруг начинает читать: — «Король наш добр, он знает срок посулам и исполненью обещаний срок...»

Кетчер отрицательно качает головой.

— «Он это доказал отцу и дяде — свой сан он получил из наших рук», — продолжает в мягкой повествовательной манере Щепкин.

Кетчер безмолвно рубит в воздухе рукой, но Щепкин улыбаясь продолжает:

— «Тогда, уверившись в любви народа, он стал без страха отступать от клятв...»

— Михайло Семенович, — слышит он чей-то голос и возвращается от воспоминаний к реальности: дверь в артистическую уборную открыта, мальчик скрипач стоит с опущенной скрипкой, а позади своего кресла Щепкин видит сановного господина, директора театров Гедеонова.

— А-а-а, — вздрагивает Щепкин, — что?!

— «Король наш добр», — вздыхает Гедеонов, — однако наш генерал-губернатор граф Закревский своею властью запретил исполнение «Генриха Четвертого»!

— Как запретил?... Как запретил?! Но я готовился! Я надеялся! Я... взаймы взял!

— Увы, — пожимает плечами Гедеонов, —

граф изволил своими глазами взглянуть на сей текст — и прочел его иначе, чем вы...

— Что же будет... что мне теперь делать, господин директор?

— Принять неизбежное, — отвечает Гедеонов, — и, удвоив рвение, исполнить замену.

Захлопывается дверь. Щепкин остается наедине с зеркалом. Он начинает снимать грим, внимательно разглядывая того, кто является из-под грима, — старого, обрюзгшего, лысого старика с плачущим ртом и пристальными глазами...

И снова напыляет прошлое: он видит заставленную упакованными в дорогу вещами комнату. Герцена, Кетчера, себя с огромным пирогом в руках... Никто в суматохе не обращает на него внимания.

— Вот, Герцен, возьми! — кричит Кетчер, вручая Герцену толстую тетрадь. — Издай! Там!

— Что это?

— Мой перевод «Генриха»! — кричит Кетчер.

— Твой перевод... издать на родине Шекспира? — Герцен хохочет.

— И чему ты, Герцен, радуешься, — качает головой Щепкин.

— А у вас что, Михайло Семенович? — обнимая Щепкина, спрашивает он. — Что вы для Британии приготовили?

— Кулебяку с рыбой, — просто отвечает Щепкин, — в дорогу... Вот поешь ихней несъедобщины, может, твое решение и переменится...

— Не переменится, Михайло Семенович, — качает головой Герцен, — разве что Россия наша переменится...

— Э-э-э, да с чего же ей меняться-то, если лучшие люди, ты, Герцен, покидать ее будут... И на кого покидать? На деспотов, на самодуров!

— А кем прикажете мне здесь оставаться? Ссылным в Вятку? Или каторжным в Сибирь?

— По мне, друг мой, все одно: хоть под ножом, но оставаться...

Герцен качает головой.

— И все-таки «Генрих» — не кулебяка! — внезапно, поскольку разговор вроде бы уже давно ушел на другие пути, кричит Кетчер. — Эта рукопись — она моя жизнь, понимаешь?! Я умру, так что, и ей помирать?! Нет, нет, нет! Пусть мракобесы имеют власть над нашей жизнью и судьбой, но не над душами! Пусть наши рукописи переживут и их, и нас, и только тогда у грядущих поколений все станет на свои места: мы в делах наших воскреснем, а они — так и останутся мертвецами!

Щепкин смотрит то на Кетчера, то на Герцена.

— Возьми, Герцен! — говорит он.— Пусть будет и у тебя там, и у меня здесь,— он стучит себя по лбу.

— Вот теперь, пожалуй, я понял,— усмехнулся Герцен,— что же вам так мило в нашей России — то, что здесь пока еще можно безнаказанно молчать!

— А там? — поднимает на него взгляд Щепкин.— Что там тебе так мило?

Мгновение они смотрят в глаза друг другу...

Слуга приносит шампанское.

— А вот и Шампанское,— горестно восклицает Кетчер,— его «выход»!

Он берет бутылку, одним движением открывает ее. Но Герцен и Щепкин по-прежнему смотрят друг на друга. Потом порывисто обнимаются.

— Что ж, что ж,— глядя на обнявшихся друзей, неожиданно тихо говорит Кетчер,— пусть будет, как будет, но только не след нам обманывать самих себя: благородство не в том, чтобы бежать с поля битвы, а в том, чтобы оставаться на нем до конца...

Щепкин от воспоминаний возвращается к реальной жизни и видит перед собой в зеркале уже загримированного для выхода «Матроса»; он поднимается и идет к дверям какой-то качающейся походкой. Распахивает дверь. За дверью его ждет мальчик скрипач...

Вечер. Стремительно мчатся к дому Щепкина сани: в них он и мальчик скрипач.

— Гони же, гони! — кричит Щепкин кучеру и тут же шепотом на ухо мальчику: — А ты только не робей — они все там добрые...

— Такие, как вы? — спрашивает мальчик.

— Не-ет,— усмехнулся Щепкин,— вправду добрые...

Сани останавливаются. Щепкин входит в дом, за ним скрипач. Елена Дмитриевна бросает на мальчика короткий оценивающий взгляд, потом смотрит на мужа.

— Ну, ну,— торопливо спрашивает он,— все ли готово? — И тянет носом. И улыбается.— Аромат дивный, дивный... так, пойду попробую, как вы тут без меня...

— Кто это? — спрашивает Елена Дмитриевна.

— Это мой друг, мой юный бедный друг со своею волшебной скрипкой...

— А как его зовут? — спрашивает Елена Дмитриевна.

— А как его зовут? — машинально повторяет Щепкин и вдруг взрывается: — Ты сперва накорми его, а потом, потом... допрашивай!

— Понятно... — усмехается Елена Дмитриевна,— ступай на кухню, мальчик. А ты, Михайло Семенович, погоди... Скажи, что «Генрих», каков сбор?

— Время ли, Алеша,— в сердцах восклицает Щепкин,— с минуты на минуту Гоголь пожалует, а готово ли все, накрыто ли?

— Готово, накрыто,— отвечает она, ведя его в столовую, где и впрямь сияет огромный стол, накрытый на... двоих.— Ну так что «Генрих»?

— Знаешь уже? — не поднимая головы, спрашивает Щепкин.

— Знаю... Не ведаю только, как дальше жить будем?

— Так же, как и жили,— слабо усмехается он,— но теперь... под скрипку!

Поздний вечер. В доме странно малоллюдно. Все по своим комнатам. Пуста столовая, заметно оплавились свечи в канделябрах над роскошным столом. От окна к окну ходит, бормоча что-то себе под нос, Щепкин. То и дело, заслонясь руками от света, выглядывает он на улицу. Позади него громко бьют часы. Видно, как он, шевеля губами, считает удары. И, насчитав одиннадцать, поспешно бросается в прихожую, сам на ходу надевает шубу, нахлобучивает шапку и выскакивает из дома...

Тверской бульвар. Дом Талызина. К дому подлетает рысак. Щепкин проворно соскакивает с саней, спешит в дом... Распахивает дверь и, не обращая внимания на бросившегося к нему слугу, как есть в шубе и шапке спешит к дверям апартаментов Гоголя, перед которыми сидит на маленькой скамеечке Яким. При виде Щепкина он испуганно вскакивает, преграждает путь.

— Что? Пусти! Где он?!

— Не велено принимать,— шепчет Яким.

— Меня?! — грозно кричит, дабы быть услышанным и за дверью, Щепкин.— Меня, Щепкина?!

— Никого не велено,— шепчет Яким.

Ночь. По заснеженной улице бредет Щепкин. Подойдя к своему дому, он останавливается, смотрит на окна: они темны, лишь столовая ярко освещена. Щепкин крадучись подходит к окнам столовой, осторожно заглядывает: на столе среди наполовину уже догоревших свечей по-прежнему сверкают всевозможные закуски и блюда, графинчики, лафетнички, серебро приборов да темнеет сквозь соломенную оплетку бутылка малаги...

Стараясь не шуметь, Щепкин входит в дом, сбрасывает шубу, сам, кряхтя, стаски-

вает с себя сапоги и на цыпочках пробирается в столовую, где начинает задуть свечи. И вдруг, задумавшись, опускается на стул...

— Э-хе-хе,— бормочет он,— раб, жалкий раб, вечный раб...

Он сидит с закрытыми глазами, и может показаться, что дремлет, но внезапно с силой ударяет кулаком по столу: вздрагивает, звоном отзывается посуда. Дверь в столовую приотворяется, бесшумно входит Елена Дмитриевна, садится рядом с мужем, гладит его по голове.

Слезы текут из-под прикрытых век Щепкина.

— Ну будет, будет, Миша,— говорит она,— неча тебе себя казнить — ты свою роль исполнил достойно, а ежели кто унижал тебя, то бог им судья!

— Роль?! — он открывает глаза, смотрит на жену и неожиданно начинает смеяться: — Роль? Ну а под нею что? Думаешь, кожа?..

— Кто тебя знает,— ворчливо отзывается она.

— Хочешь есть? — вдруг спрашивает он.

— Хочу,— шепотом отвечает она.

— А знаешь, сколько лет этой малаге?

— Ну разве что капельку,— соглашается она,— а то боюсь, запьянею, как тогда... помнишь?

— Помню! — Щепкин смеется и тут же прижимает палец к губам.— Т-шш, давай-ка мы с тобой, пока все спят... будто одни на свете, две щепки, Алеша да Миша, а кругом... никого!

— Давай,— давясь смехом, шепчет она и показывает ему глазами на закрытые двери в столовую.

Щепкин быстро подбегает к дверям, распахивает их — и тут, будто по знаку режиссера, как ни в чем не бывало входят в столовую и рассаживаются по местам отнюдь не спавшие, а лишь ждавшие «выхода» обитатели дома: пытит чубучком сестра Щепкина; потупя взгляд, проходит Николай; лукаво улыбается Лушенька; расталкивая других, спешит за стол парикмахер Пантелей; робко жметя к стене мальчик скрипач; с достоинством молча раскланивается со Щепкиным Горский; рыдая, бросается на грудь к Щепкину сестра Мочалова и тут же, выйдя из «роли», торопится занять свое место...

Но вот все уже за столом — шум и разговор смолкают; Щепкин садится во главе стола и привычной скороговоркой начинает традиционную «молитву»:

— Господи, ну о чем мне тебя молить? Ну о чем? Ты дал прожить мне этот день, дал хлеб и вино... — он замолкает, все в недоумении ждут, — но сам... сам не пришел, — бормочет Щепкин, — я, конечно, понимаю,

что ты открыл для себя сокровенный смысл, но почему же не отважился поделиться им со мной, а чрез меня со всеми?

Усмехнувшись, Щепкин откидывается на спинку стула, качает головой.

— Потому что я — раб? И без тебя, без твоего Слова не было бы ни славы моей, ни вина, ни хлеба этого? — продолжает он.— Да, это так! Я не свободен от тебя, но ведь если бы не было меня, то чьими бы устами ты говорил с людьми? Сосницкого? Ха-ха-ха! Он умеет только смешить, а что толку в смехе, если он не учит плакать?! Выходит, что и ты не свободен от меня, а ежели так, то что есть свобода и зачем она?! То-то же, брат...

И Щепкин залпом выпивает бокал малаги...

И тут же все набрасываются на еду. За столом молчание — лишь слышен звон приборов...

Ночь. Никто не спит. За столом царит веселье. Никто никого не слушает, все лишь говорят, смеются...

— Играй! — кричит Щепкин скрипачу.— Веселую играй!

Мальчик начинает играть печальную мелодию.

— Веселую, тебе говорят! — кричит Щепкин.

— Та не умею я...

— А чего тут уметь! — кричит Щепкин.— Громкая — значит веселая!

Громко, пронзительно звучит печальная мелодия... Все выбирают из-за стола, разбредаются. Дом ходит ходуном. Среди веселящихся домочадцев ходит, кого-то выглядывая, Щепкин. Он улыбается, но взгляд его напряжен.

— «Наконец-то ты верное слово сказал,— ловит Щепкина беззубая старуха,— наконец ты назвал трижды грозного демона нашей семьи. Это он не велит, чтоб утихла в сердце старая боль... А уж новые раны открылись...»

Сбежав от нее, Щепкин, постучав, осторожно заглядывает в комнату к сыну. Николай лежит на постели одетый. Щепкин облегченно вздыхает, входит, садится на краешек кровати.

— Прости, дружок,— тихо говорит он,— видишь, как вышло... но завтра новый день и новая роль...

— Не надо, отец! Я не хочу быть причиной твоего рабства! Я... я решил подарить тебе свободу, отец! Отныне и навеки...

— Не клянись,— Щепкин прикрывает сыну рот рукой,— или поклянись, что не будешь клестясь.

Выскочив из комнаты сына, Щепкин, улыбаясь, продолжает свое движение по дому,

и все более становится очевидным, что он кого-то... ищет! Он распахивает двери комнат, заглядывает в умывальную, быстрым шагом обегает кухню... и останавливается в задумчивости. Затем устремляется в сени, но перед закрытой дверью замирает, прислушиваясь.

— «Не рассуждай, не хлопочи. Безумство ищет, глупость судит! — слышит он громкий голос Горского. — Дневные раны сном лечи!»

Щепкин приоткрывает дверь: в сенях, кутаясь в наброшенную на плечи шинельку, сидит на стуле Лушенька. Горский с шандалом, поднятым к губам, стоит перед ней, декламируя стихи и прислушиваясь, не звенят ли хрустальные подвески на шандале.

— «А завтра быть чему, то будет!» — кричит Горский. — Не звенит ли, Лукерья Ильинична?

— Нет! — вместо нее отвечает Щепкин, врываясь в сени. — И звенеть не будет! — Отчего же? — ошарашенно спрашивает Горский.

— А... оттого, — отвечает Щепкин и, склонившись к Лушеньке, читает те же стихи, но только совсем иначе: едва слышно, с глубоким искренним чувством: — «Живя, умея все пережить. Печаль, и радость, и тревогу. Чего желать? О чем тужить...» — Он вдруг оборачивается к Горскому: — Звенит?

— Нет, Михайло Семенович.

— Звенит, Михайло Семенович, ой как звенит... — тихо отвечает она.

...Когда он возвращается в столовую, там уже никого нет. Лишь мальчик скрипач спит в кресле, прижимая плечом отсутствующую скрипку.

Догорели свечи. За окнами занимается утро.

— Чего желать? О чем тужить? — едва слышно шепчет Щепкин и с горькой усмешкой добавляет: — Вот мы и помянули тебя, Николай Васильевич...

Мерно бьет церковный колокол. Никитская улица заполнена народом. В университетской церкви отпевают Гоголя...

Щепкин пробирается против движения толпы...

— От голода, сказывают, помер... сам себя уморил, — слышит он обрывки фраз, — сжег «Мертвые души» и врачей прогнал...

— Да полноте, не они ли его и умертвили? Немцы проклятые!

— А слышали, духовник требовал от него от Пушкина отречься — и что ж? Воспротивился! Выходит, наравне с господом Пушкина-то ставил?!

Вывавшись из толпы, Щепкин оказывается на Страстном бульваре. Входит в дом Талызина. У дверей все на той же скамеечке сидит Яким и плачет. Щепкин подходит, гла-

дит его по голове, потом вдруг цепко хватает за ухо, выкручивая его.

— Я не хотел, не хотел, а они велели... холодно, говорят, растопи... — лепечет Яким, — ...вольную мне написали, да только зачем мне она?

— Э-эх, эх ты, Яким! — Щепкин отпускает мальчика, открывает дверь, входит.

В комнате все так же, как было при жизни Гоголя, — горит свеча на столе, повсюду книги и длинные исписанные полоски бумаги. Щепкин поднимает одну из них.

— «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?» — вслух читает он.

Пожав плечами, поднимает другую бумажку.

— «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно...» — читает он и поспешно хватает с пола целую кипу исписанных длинных бумажных полос: — «Как поступить...», «как поступить...» Господи, — выпуская из рук бумажки, бормочет он, — и это все, что ты мне оставил?!..

— Да, — слышит он в ответ, и из темного угла комнаты является Шевырев, которого Щепкин не заметил, — все сжег, все, что у него было... Впрочем... — Шевырев оценивающе смотрит на старика, — кое-что сохранилось у меня... две тетради второго тома — возьмите их и постарайтесь прочитать лично государю. Это единственный шанс добиться, минуя цензуру, издания оных!

Щепкин стоит молча, не выражая ни ожидаемого восторга, ни нетерпения.

— В конце концов, — продолжает Шевырев, — именно вам Николай Васильевич доверял первое исполнение всех своих произведений, не так ли?

Дворец. Николай Павлович со своим семейством. Перед ними Щепкин.

— Здавствуй, старик, — доброжелательно говорит император, — что на сей раз ты нам приготовил?

— Ваше величество, — Щепкин кланяется, — мне ли не знать, чего втайне жаждет сердце ваше? Потому хотел бы вашему вкусу и уму доверить спасенные из огня тетрадки второго тома «Мертвых душ»... Когда вы услышите их, то несомненно проникнитесь значением момента и прикажете издать их, минуя...

— Да, конечно, — перебивает его император, — все, что написано Гоголем, надо будет издать, — все от слова до слова... — и добавляет: — Только, конечно, когда наступит подходящее для этого время... А пока, Щепкин, прочитай нам монолог охотника твоего Горлопанова.

Щепкин молчит.

— Помнишь ли? — не дождавшись ответа, спрашивает император.

— Я все помню, ваше величество,— склоняет голову Щепкин.

— Тогда приступай! — приказывает император и, словно бы оправдываясь, добавляет: — Наследник наш любит веселое...

Щепкин отступает на шаг.

— «Женихи», — называет он сочинение и поясняет: — Они незадачливо сватаются... И приезжает еще один охотник, только что с отъезжих полей... «Сто лет здравствовать всей беседе,— начинает он сиплым голосом.— Эх, батюшка, да где ж ты был...— продолжает Щепкин женским старушечьим голосом,— на охоте небось? — Истинно слово, полевал, да уж и поле нынче задалось... Нахал мой меня натешил, а что сделала Налетка — чудеса. Послушайте, господа: вы знаете тот перелесок, где у меня крестьянские поля? Место славное, чистое... И только что мы отъехали и бросили гончих на остров, как пошли попыхивать: а-га! Га! Га! Га! Га! Га! Ай, ух! Ух!.. Тут гончие и начали: тяф! Тяф, тяф, тяф, тяф, тяф, тяф,— мгновенно преобразаясь, Щепкин с какой-то удивительной достоверностью изображает гончих, — и закипели! Я вижу, что гоняют по зрячему, перескакиваю через пашню и глядь: а родимый — так и катит! Я Нахала со своры. Да уж, миленький!»

Наследник хохочет.

— «...Кобель мой пошел сажать, а русачище — матерый такой,— продолжает, предстывая перед зрителями в образе жирного, щекастого матерего зайца, Щепкин, — уж он кобеля-то мотал, мотал... Мой Нахал уже начал оттягивать. Я: ух! Ух, Нахалушка! Ух, батюшка! О-го! Го! Го! Родной мой! И га! Га! Га! Возьми его,— Щепкин продолжает изображать охоту, но вдруг по щекам его начинают течь слезы.— Нахал мой набрал, да раз, два, три и как на рожон,— голос Щепкина срывается, но он все еще силится продолжить: — А Налетка моя! Ух, сука! В белом свете нет подобной суки! Ату его! Ату! Ату...»

Щепкин замолкает, стоит, давясь слезами.

— Еще! — кричит наследник.

— Хватит,— тихо, но твердо говорит император.

Все еще заливаясь слезами, Щепкин долго собирает лежащие на столике тетради, перевязывает их бечевкой, косится на императора, но тот, видимо, разгадал игру актера и молча смотрит на него.

Поклонившись, Щепкин тщательно прячет тетради за пазуху, покидает залу, выходит к ожидающим его саням.

— Теперь куда, Михайло Семенович? — спрашивает его извозчик.

— К Герцену,— в задумчивости отвечает он.

Пароход под британским флагом приближается к причалу. Среди пассажиров — Щепкин с суковой палкой в одной руке и перевязанными бечевкой тетрадками в другой. Он, шурясь, пытается разглядеть кого-то в толпе встречающих. Но вот подают трап, и тут же, оттолкнув полицейского, взбегает на борт и бросается к Щепкину Герцен.

— Ой, Герцен, ты,— бормочет старик,— ну, слава богу, а я уж совсем отчаялся. Представляешь, здесь никто ни слова не понимает. Никто ни слова!

Герцен не отвечает, лишь обнимает, тискает старика.

— Э-э,— вдруг пугается тот, — а ты чего молчишь? Уж не разучился ли по-русски?

— Не разучился,— смеется Герцен,— но как это вы... и в такую дорогу?!

— Надобность, Герцен, она и не туда погонит! — отвечает Щепкин.

— Надобность ко мне? — на мгновение радость сменяется подозрительностью.

— К тебе, к тебе, дружок,— отвечает Щепкин.

— А что за надобность такая? — осторожно спрашивает Герцен.

— Так вот она — вся! — восклицает Щепкин, показывая Герцену перевязанные бечевкой тетрадки.— Гоголь! То, что не сгорело!

— Вот как...

— Да, привез, тебе почитать хочу! Ты у меня, Герцен, теперь выше императора,— сообщает Щепкин.

— А был — ниже?

— Ну нет, конечно...— Щепкин кашляет.— Но согласись у него ведь вся Россия, а у тебя что? А теперь — две России, вот я и подумал, может, ты в «Колоколе» своем опубликуешь?

— Может быть...— сдержанно отвечает Герцен,— хотя, помните ли, мы под конец с Гоголем врагами идейными стали! Непримиримейшими!

— Э-э-э, кто с кем ссорился да мирился,— упомнишь ли,— ворчит Щепкин.

— А о чем... это, несгоревшее?

— Скоро узнаешь,— обещает Щепкин,— вот я прочитаю тебе, а сам посмотрю, как ты хочотать будешь...

— Я предпочел бы плакать, возмущаться,— сдержанно замечает Герцен.— «Колокол», позвольте напомнить вам, издание политическое, впрочем, читали ли его?

— Да нет, нет, конечно! — отмахивается Щепкин.

— А что читаете? Что газеты наши пишут? Что говорят?

— Да все то же, все то же, Герцен,— досадует Щепкин.— Я теперь одно понял: нам, русским, читать надо только Пушкина да Гоголя... И все!

— Все? А Шекспира? — подтрунивает Герцен.

— Ну и Шекспира, коли в Британию тебя занесло, — отвечает Щепкин.

Герцен помогает ему спуститься по трапу, ведет к кэбу.

Кэбмен помещает багаж Щепкина на верх экипажа. Щепкин восторженно смотрит на него, манит к себе Герцена и, оглядевшись по сторонам, шепчет прямо в ухо:

— Вылитый граф Воронцов, верно?

Герцен смеется.

— Ну вот, ну вот, — довольный бормочет Щепкин и тут же тревожится: — А куда мы?

— Сначала в ресторан, — отвечает Герцен. — Вы ведь всегда хотели испробовать настоящую аглицкого бифштекса?

— А читать когда?

— Читать потом... — отвечает Герцен. ...Они сидят в дорогом сумрачном ресторане, утопая в массивных дубовых креслах.

— А горчица у них есть? — спрашивает Щепкин. — Я ведь без нее никак!

Герцен не отвечает, разглядывает постаревшего Щепкина.

— Так, значит, вы, Михайло Семенович, новую роль себе избрали: посещать российских изгнанников да читать им запрещенные рукописи? И не боитесь?

— Ролей я никогда не боялся, я боялся остаться без роли, — улыбается Щепкин, но глаза его остаются озлобленными.

— А знаете ли, что вы первый, кто решил-ся навестить меня в Англии?

— Так мне это как раз с руки, — прищуривается Щепкин. — Ведь меня, недавнего крепостного, собираются, представь, избрать членом Московского Аглицкого клуба...

— Замечательно, наконец-то окажетесь среди крепостников... Это ли не ваша мечта и цель? — желчно замечает Герцен.

— Ах, Герцен, Герцен, — с обидой говорит Щепкин, — все, что ты говоришь и делаешь, покойся, конечно, на огромном твоём уме и блестящей логике... однако в любви к человеку я готов поспорить с тобой и даже знаю, чья возьмет...

— О чем вы, Михайло Семенович?

— Да все о том, все о том, Герцен, — отвечает Щепкин. — Разве не знаешь ты, что рабы пока еще и не хотят и не умеют быть свободными... А ты, вместо того, чтобы помочь становлению в них нравственного чувства, зовешь их вырваться на волю и внутреннее их рабство сделать уделом всеобщим? Должно быть, ты любишь идею вместо того, чтобы любить этих несчастных...

— Полноте, Михайло Семенович, — перебивает его Герцен, — от вас ли, столько испытывавшего на своем веку, я это слышу?!

— От меня, — кивает Щепкин. — Уж кто, как я, знаю то, о чем сужу. Давным-давно, 158

Герцен, выкупили меня на волю, но разве свободу можно купить или получить в подарок? Вот и на воле я остался рабом и, сам того не сознавая, искал себе хорошего хозяина... А уж какие господа у меня были, — неожиданно мечтательно продолжает он. — Государь, Гоголь, ты, Герцен... О чем бишь я?

Герцен не отвечает, с горечью смотрит на старого актера.

— Ах, да, — вспоминает Щепкин, — о воле! Думаешь, для чего это я тетрадки сии повсюду зачитываю? Да для того, чтоб души рабские освободить! Собственная жизнь — она ведь тоже урок. Вот и понял я, братец, что никакой бунт и никакой Пугачев истинной свободы не принесут. Но Пушкин и Гоголь, Пушкин и Гоголь...

— Милый Михайло Семенович, — с тягостью в голосе говорит Герцен, — все, что делаете вы, как всегда, прекраснодушно, однако... не рабам же ищите вы случай прочитать «Мертвые души», но императору, свету, мне...

— Да-да, — согласно кивает Щепкин, — всем, кто хочет и не хочет слушать... всем, даже тем, кто еще не осознал, рабом чего он является...

11 августа 1863 года. Ялта.

На причале у трапа только что прибывшего парохода стоит щегольская английская коляска с ливрейным лакеем...

По трапу слуга осторожно сводит дряхлого толстого старика; накинутое на плечи одеяло сползло, волочится за ним. Щепкин все время стонет, то и дело хватается за сердце.

— За господином Щепкиным от их сиятельства графа Воронцова! — Ливрейный лакей вместе со слугой с трудом подсаживают Щепкина в коляску.

Оказавшись на сидении, Щепкин снова испуганно хватается за грудь.

— Сердце? Сердце, Михайло Семенович? — вопрошает слуга.

Щепкин сначала отрицательно качает головой, потом вдруг подтверждающе кивает...

Коляска несется к Алушкинскому дворцу... Щепкина провожают в отведенную для него комнату, он опускается на диван, сидит, прижав руку к сердцу...

— Что, Михайло Семенович, куда как вам читать сегодня? — говорит слуга. — И что вы себя так мучаете...

— Ступай, ступай, братец, — бормочет Щепкин, — мне хорошо, мне уже хорошо. Но едва слуга выходит, он поспешно извлекает спрятанные на груди две полуистлевшие тетрадки и, близко поднеся их к глазам, начинает про себя репетировать, то

вспыхивая улыбкой, то морща нос и сдвигая брови...

Вечер. Щепкин во фраке сидит готовый к выходу, чуть раскачиваясь и шевеля губами...

— Господин Щепкин,— в комнату заглядывает лакей,— их сиятельство и гости собрались и ждут вас...

Щепкин будто не слышит его. Он продолжает сидеть на стуле, но его нога начинает выбивать ритм более напряженный, уверенный, и вдруг он поднимается, распрямляется и, притопывая ногой, направляется на ярко освещенный балкон, где его уже ждут...

— «Тут дверь растворилась. Ротозей Емультян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с шестью графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок — икра, сыры, соленые грузди, опенки, да новое принесли из кухни, что-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчащее масло... Чичиков съел чего-то чуть ли не двенадцать ломтей. И тут хозяин, ни слова не говоря, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренного на вертеле...»

Слушатели уже не в силах сдержать смеха. И текст, и чтение, а главное, удивительное совпадение персонажа и личности читающего смешит их до слез. Меж тем не замечают они, что читает Щепкин трагически... Губы его дрожат, дыхание становится прерывистым, он едва сдерживает слезы...

— «Два года воспитывал на молоке,— сказал хозяин,— ухаживал, как за сыном.— Не могу,— сказал Чичиков.— Да вы попробуйте, а потом скажите: не могу! — Не взойдет, нет места.— Да ведь и в церкви не было места, взмошел городничий — нашлось. Вы только попробуйте: этот кусок — тот же городничий»...

Слезы текут по щекам Щепкина, и он вдруг заходится в рыданиях.

Смех смолкает. Один из слушателей быстро подходит к Щепкину, цепко хватая его за запястье. Щепкин пытается вырваться, но силы оставляют его...

— Что с ним? — слышит он обращенный к доктору вопрос.

— Он умирает,— отвечает доктор.

— Так... так сделайте же что-нибудь...

Слуги подхватывают его на руки, несут вниз к коляске. Коляска мчится от дворца к гостинице... Щепкин обеими руками держится за сердце.

В гостинице гремит полковой оркестр. Щепкина проносят среди танцующих, опускают на кровать. Оркестр и топот слышатся совсем рядом... Щепкин хочет извлечь спрятанные у сердца тетрадки, но там их нет. Он пугается, ищет и, не найдя, поднимается, норовя куда-то бежать...

— Куда?! — орет, бросаясь к нему, слуга.— Куда это вы?!

— Так ведь сожжет не ровен час,— бормочет Щепкин,— надо бы скорее к нему, к Николаю Васильевичу... к Гоголю!

— Да успокойтесь же вы — умер ваш Гоголь, давным-давно умер! — кричит слуга.

— Умер? — переспрашивает Щепкин, и тут им овладевает смех.

Он смеется тихо, хрипло, а потом и вовсе беззвучно... Он ложится на кровать, отворачивается к стене, но тело его все еще сотрясается от смеха...

...И вдруг он снова видит шумящее под ветром поле, которое внезапно обрывается у бугра, под которым темнеет вода... Он спускается к воде, но замирает, не решаясь напиться...

— Не бойся,— слышит он позади себя детский голос,— это совсем не страшно...

— А я теперь ничего не боюсь,— отвечает он и склоняется над водой: там, в едва колеблемом течением отражении, он видит себя, но не старым и дряхлым, а вновь тем маленьким мальчиком, который потерялся когда-то, мальчиком, у которого все впереди...

ИЗ АРХИВА МАСТЕРОВ

ВЛАДИМИР КРЕПС

РАЗБЕГ

Первые эпизоды сценария «Разбег», опущенные в данной публикации, рассказывают о разгроме контрреволюционного Кронштадтского мятежа. Персонажи сценария — санитарка Галя, Шумов, Вдовин, комиссар Доронин, рябой матрос Макеев и некоторые другие — так или иначе причастны к штурму Кронштадта в исторические дни 1921 года...

...Высокий человек в белом кителе и фуражке с эмблемой речного пароходства торжественно обращается к толпе, запрудившей носовую часть товарно-пассажирского судна:

— А теперь, товарищи и граждане, плавающий агитпункт парохода «Менделеев» предлагает вам прослушать речь предсовнаркома товарища Ленина о продовольственном налоге.

Заведующий агитпунктом опускает мембрану на граммофонный диск. Из большой голубой трубы раздается голос Владимира Ильича:

— «Продовольственная разверстка заменена продналогом. Издан об этом декрет ВСЕЦИКом. Во исполнение декрета Совнарком опубликовал уже закон о продналоге. Все советские учреждения обязаны теперь ознакомить крестьян как можно шире с законом о продналоге и объяснить его значение.

Почему была необходима замена разверстки продналогом? Потому, что разверстка оказалась непомерно тяжела и неудобна для крестьян, а неурожай 1920-го года еще больше усилил крестьянскую нужду и разорение...»

Вдоль бортов и по верхним трапам спешат пассажиры — на голос Ленина. Это в полном смысле слова «разношерстная публика»: бородатые крестьяне, демобилизованные красноармейцы в шинелях и шлемах, сдобные мешочники и франтоватые спекулянты, бродячие плотники и безработные грузчики... Все они бегут, не выпуская из рук своих сундучков, узлов, фанерных чемоданов, баулов, ящиков с инструментом.

Лавируя в этой людской каше, пробирается Галя, не отягощенная никаким багажом. В ее васильковых глазах отражается волнение, такое же, как у всех стоящих рядом бедняков...

А из голубой трубы звучит голос Ленина:

— «...Наша страна разорена неслыханно сначала войной царской, потом войной гражданской, то есть нашествием помещиков и капиталистов против Советской власти рабочих и крестьян. Надо поднять хозяйство во что бы то ни стало. В первую голову надо поднять и укрепить, улучшить крестьянское хозяйство.

Продналог поможет делу улучшения крестьянского хозяйства. Крестьяне возьмутся теперь за свое хозяйство с большей уверенностью и с большей старательностью, а это самое главное.»

И не успевает закончиться пластинка, как здоровенный грузчик в опорках громко хлопает своими ручищами. За ним начинает аплодировать Галя. И вот уже гремит дружная овация...

Отзвуки ее доносятся до кормы. Здесь в деревянных стойлах мирно жуют сено шесть коров чистокровной ярославской породы. В отдельной клетке мечется бычок, брэнча цепью, кольцо которой продето через его ноздри.

На редкость красивая девушка-подросток ставит подойник с парным молоком возле разостланного на палубе рядна, на котором готовится трапеза.

— Вот, папаня, только что надоила...

Осанистый старик с курчавой бородой цвета свежей соломы разливает молоко по кружкам. Затем нарезает большими ломтями вареную делятину, ломает на куски ситный хлеб.

* Публикация Л. Богатыревой

Его спутники, трое кряжистых мужчин, отчасти смахивающих на главу фамилии, ждут, пока он закончит все приготовления, с уважением слушают его степенную речь.

— Опять пластинки крутят... И хлопают... Как бы только им не прохлопать... Как ни крутили, а пришлось допустить крепкое крестьянство.

— Одно плохо, что нас голосов лишили. Все-таки мы считаемся как лишенцы, — вздыхает девушка.

— А очень тебе нужно, Грунюшка, Советы выбирать? Голос-то на хлеб не намажешь. А мы хоть и безголосые, полдюжины ярославок купили, да еще племенного бычка...

К жующей компании подходит Галя и обращается к девушке:

— А что, мои вещички целы?

— А как же, все в полной сохранности... Вот корзинка, а вот узелок.

Старик с курчавой бородой сдвигает брови:

— Это еще что за попутчица?

Но бывшая санитарка отвечает сама:

— Я Галя с Большой Охты... Учиться еду, на рабочий факультет... А вы из какого совхоза?

Сородичи, ухмыляясь, переглядываются. У отца Груни в глазах мелькают веселые искорки.

— Из собственного... Мы — Желдобины! Садись с нами, отведай хлеб-соль, молочка парного выпей.

И он протягивает полную кружку.

Галя машинально берет кружку, но не пьет. А главу фамилии осеняет новая мысль:

— И охота тебе столько годов учиться, пока вся краса завянет? Едем с нами в Леденцы. У нас кони лютые, а работнички сытые... А потом я тебя замуж определяю. Вот хотя бы за Герасима... — И он кивает в сторону нескладного жилистого парня.

Наконец Галя начинает понимать, с кем имеет дело. Она решительно ставит кружку на место и гордо выпрямляется:

— Давитесь вашим молоком! Я, господа кулаки, Кронштадт-город брала всего назад с полгода. А жених у меня свой найдется... Очень даже возможно!

Шумов и Вдовин сидят за мраморным столиком на веранде прибрежного ресторана. За бортом виднеется широкая речная гладь. На груди у обоих друзей красуются новенькие ордена Боевого Красного Знамени, но у Вани орден приколот к нескладному серому пиджаку, а у Алеши — к привычной флотской форменке.

— Я, конечно, понимаю, все понимаю... Новая экономическая политика, проще сказать — нэп. Продналог вместо разверстки... Свобода частному капиталу... Но хорошо бы их всех под пулеметы! — митинговым голосом произносит Вдовин, нарезая на тарелке жирную ветчину.

— Тебе легче, Алеша... Даже зависть одолевает — председатель сельпо, красный купец, да еще в родное село!

Вдовин, покосившись на пеструю публику за соседними столиками, отвечает совсем тихо:

— Нашел чему завидовать. У нас в Леденцах места беспокойные, воровские. Рыба, понимаешь, погрузка, перевалка... Зерно, между прочим, на баржах идет внасыпь. Кулачье кряжистое — пудовиками крестятся.

— А нэпманы лучше? Как я ни спорил в Цека... а пришлось — руки по швам. И галстучек надеть, костюмчик справиться. Финансовый инспектор!.. Это нам с тобой все старик Доронин отхлопотал, Степан Акимыч.

— Комиссар? Он же нас к орденам представил! И в партию принимал... Как лучших военморов!..

— Вот нас, как лучших, — на передний край нэпа.

За стойкой пересчитывает бутылки солидный мужчина в чесучовом костюме, в котором с трудом можно узнать рябого матроса Макеева, саданувшего Шумова по голове палашом во время Кронштадтских событий.

К нему подлетает видная глазастая девка в кружевной наколке, голубой батистовой кофточке и коричневых шнурованных ботинках.

— Хозяин, за пятым столиком новый фининспектор... И с ними военный...

Владелец ресторана ведет себя, как капитан корабля во время шторма:

— Обслужить мигом, Тоська! Передай на кухню: четыре холодных нарезки, две икры, четыре лососины. Прочую закусь навалом... И сильный выпивон!..

Как по боевой тревоге, на эстраду выбегает ресторанный хор — девицы в кофточках и парни в цветных рубашках.

На фоне хорового пения в разных углах зала идут мимолетные «транзитные» разговоры.

— В Сормово надо подаваться, ребята! Там, говорят, большущий заказ на паровозы! Набор прямо от ворот!.. — подбивает группу мастеровых пожилой мужчина в синем ватнике.

За соседним столиком совещаются грузчики:

— В Астрахани сильная погрузка... Нефть с морских судов в баржи качать...

И опять — рыба! За арбуз я даже и не говорю, — шепчет русский детина атлетического телосложения.

Еще одна компания — демобилизованные красноармейцы. Они сидят так плотно, что некоторые тянутся через плечи соседей, чтобы поставить на мрамор пустые пивные кружки. Здесь ораторствует поджарый усатый кавалерист:

— А что если нам в Донбасс, в шахтерское звание? Восстановить главную советскую коچهгарку — это тоже вроде Перекон взять!..

А на эстраде уже идет мужской перепляс с лихой присядкой и кренделями.

К столику боевых друзей подлетает Тоська с огромным подносом. Рядом с ней появляется и сам хозяин заведения.

— Очень приятно познакомиться. Руководитель этого очага общественного питания Макеев, Федор Петрович.

Шумов встает и вежливо раскланивается.

— Уже слышан. Имеете патент первого разряда. Весьма рад. Но где я мог вас видеть, Федор Петрович?

Тот, в свою очередь, внимательно вглядывается в лицо фининспектора и вдруг всплескивает руками:

— Голуба моя, да при штурме Кронштадта мы рядком валялись на перевалочной, возле Графской пристани... Какая радость повстречаться!

— А вы в какой части служили? — настороженно спрашивает Алеша.

— В экипаже... Ну, в этом... Проще говоря, примкнул... Ну, выпьем. За Дыбенку, что ли...

Вдовин резко поднимается со стула.

— На пристань пора — «Менделеев» сейчас пришвартуется. Пока.

— Извините, провожаю друга, — направляясь к выходу, произносит Шумов.

Федор Петрович с явным беспокойством смотрит им вслед.

— Завертывай, краля, обратно... Вот принесла нелегкая... Неужели не берет?

Тоська, играя глазами, слегка усмехается:

— Они все не берут... В первый день.

— А вдруг вовсе не берет?

Официантка с треском ставит на стол поднос с нетронутыми графинами и закусками.

— Никогда! Что он, старик? Или схимник? На чем-нибудь ахнется!

И как бы в подтверждение ее слов звучит протяжный пароходный гудок. Из-за столиков торопливо поднимаются транзитные пассажиры.

А Шумов целует Галю при всем честном народе возле пароходных сходен. Де-162

вушка даже не может отбиваться, потому что в одной руке у нее корзина, а в другой узелок.

— Ванечка, разве можно? Ведь мы же никто...

И когда он выпускает девушку из объятий, сбоку подлетает Вдовин и чмокает ее в щеку.

— Здорово, сестренка! Если он никто, то и мне можно.

— Ну как вам не стыдно... Просто срамите девушку... — с обидой шепчет Галя.

Но друзья уже забирают ее багаж, ведут к извозчицкой стоянке.

— Выходи лучше за меня замуж, Галя. Я тебе дом над рекой поставлю, крытый железом. Крылечко с петухами... Всю задарю, расфасую...

— Да я о тебе вовсе и не думала, даже в мечтах не имела.

Они втроем садятся на извозчика.

— А обо мне думали? — с надеждой спрашивает Шумов.

— Некогда было думать. Вся в заводе... И дома — отец да трое братьев. Постирать, накормить, убрать... И опять комсомол... Только во сне вы мне снились.

Старичок-извозчик, придерживая лошаденку, обращается к пассажирам:

— А куда едем, господа хорошие?

Шумов весело отзывается, поглаживая Галин локоток:

— Мы — товарищи... А видал, какая у меня невеста!

— Да мы всяких невест навидались. Нам бы адресок...

— Улица Карла Маркса, одиннадцать. Общежитие финотдела.

— Ну да, стало быть, Соборная, дом купца Нестратова.

Галя наконец приходит в себя:

— Стойте, вы меня встречали по телеграмме?

— Вчера получили. Вот и Алеша на день остался, — отзывается Ванечка.

— Так там же ясно написано: еду на рабфак, учить.

Вдовин приходит на помощь другу:

— Хитришь, Галочка. Мало ли в Питере рабфаков? А почему сюда, по месту назначения нашего дорогого товарища Шумова? Вот со мной ехать не хочешь...

— Там я не могла. Четыре мужика — попробуй, учись с таким хозяйством. А тут все-таки свой человек... Ванечка, а вдруг из меня профессор выйдет? Очень даже возможно...

И здесь Шумов ставит вопрос ребром:

— Все возможно. Выходите за меня замуж... А потом учитесь хоть на академика! Пожалуйста. Одно только ваше словечко.

Но Галя упрямо держит свою линию:

— Знаю я это словечко! Опять стирка, готовка... А вдруг у нас тоже четверо будет, как у покойной мамы? Такое тоже возможно.

— Ну, это мы дома обсудим,— перебивает Ванечка.

— Да, каждый у себя дома... Извозчик, на проспекте Чернышевского, двадцать. Знаешь рабфак?

Возница круто поворачивает в сторону:
— Знаю, барышня... Это, выходит, на Большой Дворянской, дом Института благородных девиц.

Беленькая светлая комната. По стенам стоят четыре койки, застланные байковыми одеялами. Изголовья убраны кружевными накидками. На покрытом клеенкой столе лежат учебники, линейки, тетрадки. Над ними склоняются четыре девичьи головки.

Галя со вздохом откладывает в сторону обломок карандаша.

— Я, наверно, сотню карандашей изгрызла. Очень даже возможно... А вот уравнение с двумя неизвестными как было мне не известно, так и осталось... А у тебя, Катенька?

Пухленькая завитая подружка тоже вздыхает:

— И у меня ноль целых, ноль десятых. Ой, что на будущий год будет. Говорят, начнется три-ги-но-метрия! И слово какое мудреное, как будто болезнь.

— А у меня выходит! Проверяйте, девчонки,— с гордостью заявляет смуглая скуластая рабфаковка.

Подруги бросаются к ней со своими тетрадками.

— Какая ты счастливая, Заира! Дай спитать.

— Пользуйся. Только вникай. Вот видишь — икс плюс игрек...

— Я вникаю, я ужасно вникаю...— бормочет пухленькая, торопливо перенося задачу в свою тетрадку.

— Врешь, ты вникаешь только в портрет, который у тебя под подушкой. Красивый военный портрет.— Вступает в разговор сероглазая девушка с большой русой косой.

Галя, всплыв, вскакивает с места:
— Зачем такое говоришь, Аленка? Это же глубоко личный вопрос.

— А я ей подруга? Подруга. И тебе тоже. Значит, можно по душам. Ты, Галочка, тоже уравнение со многими неизвестными. Ведь икс плюс игрек — твои поклонники?

— Можешь взять их себе.

— Благодарствуйте, не нуждаюсь... Но ведь у тебя еще есть финансовый жених.

— Какие могут быть женихи, когда решается вопрос в мировом масштабе! — произносит Галя.

— Прекратите агитацию. Лучше списывай уравнение,— благодушно замечает Заира.

— Не буду! Я сама должна. У нас на Пороховых заводах так положено.

В дверях появляется круглый, как шарик, студент с фанерным ящиком в руках.

— Икс пожаловал...— тихонько посмеивается девушка с русой косой.

А гость, краснея от смущения и восторга, осторожно ставит на стол свой ящик.

— Я сегодня не Икс, а вестник счастья! Полномочный представитель Фортуны! Мне сама дежурная уборщица поручила передать посылку для Галочки...

Девушки веселой стайкой кидаются к столу, мигмом открывают верхнюю крышку. В ящике колбаса, балык, банки с топленым маслом, с вареньем, большие груши.
— Смотрите, там еще что-то есть... Чай! И не брусничный, а китайский!..— восклицает Заира.

Катенька стучит кулаком в стену:

— Игрек! У нас посылка! Иди скорей да захвати чайник с кипятком!

В комнату влетает долговязый парень с большим медным чайником и гитарой:

— Прошу внимания! Есть новая песня, только что закончил.

И в комнате негромко звучит его бархатный баритон:

Коли стал нехорош,
Стоишь ломаный грош,—
Ты любви не проси, не вымаливай...
Раз твоей дорогой
Полюбился другой,
Выбирай якоря
И отваливай!

— Это ты написал, а не Сергей Есенин? — подозрительно спрашивает придира Аленка.

— Самолично я!

Улетят журавли,
Уплывут корабли —
По дорогам, неизвестным ранее...
Моросит по реке,
Как слеза на щеке...
Поднимай паруса,
Без прощания!

Галя тем временем тщательно перебирает обрывки оберточной бумаги, тщательно вытряхивает из ящика стружки, ищет записку.

— Я что-то не пойму... От кого мне посылка?

— Ясно, из дома, с твоей Большой Охты...— не задумываясь, отвечает Заира.

— Ведь была уже посылка в прошлом месяце. И потом, мне всегда копченую корюшку посылают, антоновские яблоки...

Аленка подозрительно разглядывает какой-то кулек:

— А правда, девочки, ей всегда постный сахар посылают, а тут леденцы...

Просиявшая Галя садится к столу:

— Леденцы? Это же друг мой Алеша Вдовин из Леденцов прислал! А ну, навались, ребята!

Раздается нерешительный стук в дверь.

На пороге стоит Шумов в сером костюме. На нем крахмальная рубашка и синий в крапинку галстук.

— Шел мимо... Дай, думаю, проведу красное студенчество... А кто именинница?

— У нас посылка! Да вы садитесь там, рядом с Галей...— приглашает Катенька.

Игрек неохотно двигает стул, уступая место новому гостю:

— Прошу, Иван Гаврилович.

— Иван Иванович,— поправляет его Заира.

— Это я в шутку, поскольку финансовый деятель в роскошной «гаврилке», при полном глаже-манже...

— Это его должность довела,— вмешивается Галя.— А то бы он нипочем форменку не снял.

— Если не возражаете, я эту робу скину,— благодунно произносит Шумов.

Он снимает пиджак и оказывается в полосатой тельняшке, на которой более чем странно выглядит крахмальный пластрон с галстуком — так называемая гаврилка. Фининспектор мгновенно отстегивает ее и садится за стол в самом прекрасном настроении.

— Какие яства!

— Это Алеша... Вот чудак-человек! Целый ящик прислал, а не пишет ни строчки. Как понять, что он балыком и вареньем выразить хочет?

— Иногда банка варенья яснее всяких слов,— смеется Ванечка.— Да и не мастер он письма сочинять...

— Ну и мастер он письма сочинять! — весело говорит Вдовин тщедушному бухгалтеру, утопающему в безбрежной толстовке из сурового полотна.

— Кто мастер, Алексей Яковлевич? — осторожно осведомляется бухгалтер.

— Да Ванечка Шумов, мой флотский друг. Вот пишет, что своей зазlobe посылки шлет под моей фирмой. А она меня благодарит...— И он показывает бухгалтеру оба письма.

Они стоят посередине небольшой комнаты при магазине, которая одновременно служит и кабинетом и жилищем пред-

седателю сельпо. В углу — железная койка, накрытая солдатским одеялом. Прочая мебель состоит из покрашеного клеенкой стола, нескольких некрашенных табуреток и рукомойника. На бревенчатых стенах портрет Карла Маркса, два плаката с буржуями на денежных мешках, матросская бескозырка и наган в брезентовой кобуре.

Бухгалтер осторожно кладет письма на папки с бумагами:

— А почему бы вашему товарищу прямо не открыться?

— Он уже и открывался и закрывался. Но ничего не выходит — ей еще учиться лет шесть. А я при чем? Могу я чужой барышне посылки посылать?

— Не можете, Алексей Яковлевич.

Вдовин, поправляя воротник еще сохранившейся форменки, задумчиво прохаживается взад и вперед.

— А подвести своего товарища могу?

— Никак не можете; Алексей Яковлевич.

— Что ж тогда им отвечать? Чего делать?

— А ничего не делать... Это самое лучшее. Жизнь сама углы обомнет.

Эта мысль очень нравится председателю:

— Так и сделаю — ничего.

— Неприятность есть одна,— мнетя бухгалтер,— на ваше усмотрение.

— Недостача? — грозно хмурится бывший матрос.

— Что вы, Алексей Яковлевич. Наоборот, излишки. Ситчику метров пятьсот, сахарку четыре мешочка, да еще подсолнечное маслице. Ну и керосинчик тоже...

— Так... И как ты предлагаешь поступать?

— Никак. Дело торговое — сегодня излишки, а завтра, не приведи господь, недостача. Одно на одно и выйдет.

Председатель начинает не на шутку сердиться:

— Нет уж, дудки! Это тебе не посылка за товарища, а народное добро!

— Шум поднимать неохота, Алексей Яковлевич,— накличем ревизию...

— Наплевать! Я сам шуметь умею. Все излишки сдать в детский дом, для сирот. На мою партийную ответственность!

— Слушаюсь, Алексей Яковлевич...

И бухгалтер уходит, сталкиваясь в дверях со стариком Желдыбиным.

— Здорово, председатель...— солидно произносит глава кулацкой фамилии, усаживаясь на табурет. Серую барашковую шапку он небрежно кладет на стол.— Ну, налог вчера сдали под расчет. Однако могу еще продать тысяч десять пудов зерна... Интересуешься?

Алеша тоже садится, принимая официальный вид.

— Подходяще. Вези, Желдыбин, прием.

— Уж сразу и вези! Уговор надо раньше иметь...

— А в чем у нас с тобой может быть уговор?

Кулак изображает на лице подобие дружеского расположения:

— Я ведь знаю, что у тебя с закупкой — того... Ладно, выручу... Но и ты выручай...

— Чем?

— Сатину цветастого надо дочке на кофточку да снохам. Родня-то большая... Ну и полотна беленого...

— И много ли?

— Да чтоб без торгу — двести кусков... Тебе-то не все едино, кому продать?

Председатель сельпо вскакивает со жатыми кулаками:

— Я совестью не торгую! Ушел бы ты лучше!

Старик тоже встает и тяжелым, свинцовым взглядом впиается в лицо Вдовина:

— А ты не кричи на меня. Не семнадцатый год, а двадцать третий! Вон наган-то на стене висит, чай, не выстрелит.

— Вон отсюда, и дорогу забудь! — задыхаясь от бешенства, хрипит Алеша.

Но его противник уже и сам направляется к двери. Захлопывает ее за собой. И вдруг снова приоткрывает, чтобы бросить с едкой усмешкой:

— А зерно в Балагуши повезу! Хоть и далече, а там председатель свойский...

Вдовин подбегает к стене, снимает бескозырку и нахлобучивает ее на голову. Это его немного успокаивает. Затем достает из кобуры револьвер и ласково гладит вороненую сталь.

— Эх, кокнуть бы гада!.. А потом и себя... Да неловко... Политика...

Чьи-то торопливые шаги в коридоре заставляют его спрятать оружие под подушку.

Снова распахивается дверь. Но на сей раз в комнату входит Груня.

— Папаня шапку забыли...

Вся злоба председателя мигом испаряется.

— Возьмите, красавица. Жаль только, дело у вас ко мне малое...

Девушка берет в руку барашковую шапку.

— Какие у нас могут быть дела? Вы мне даже сатину на кофточку пожалели...

Она медленно направляется к выходу, а вдогонку ей звучит искренний голос хозяйина:

— Эх, барышня, я, может быть, жизни для вас не пожалел бы, но казенный сатин... Не в моих силах...

Желдыбинская дочка оглядывается в дверях, обжигая Алешу долгим взглядом.

Бывший матрос вешает на гвоздь бескозырку и бросается к окну. Смотрит вслед удаляющейся бричке.

— Стоп, машина, военный моряк Вдовин! Ведь она всего-навсего кулацкое отродье в распрекрасном виде — вот что бы тебе сказал товарищ Шумов!..

— А что скажет товарищ Шумов? Я думаю, партийному собранию интересно знать его мнение,— произносит молодежавый блондин в аккуратной гимнастерке, обращаясь к взволнованной аудитории, заполнившей большую комнату.

Все сидят на кожаных стульях с резными спинками, и только президиум располагается в глубоких креслах за продолговатым полированным столом. Это великолепие, очевидно, уцелело со времени расцвета Коммерческого банка, здание которого занимает финотдел.

Иван Иванович встает со своего места в дальнем углу:

— Товарищи! Я человек военный, и мое дело драка. Но собирать налоги в десять раз тяжелее, чем идти на приступ. Нэпман свое дело знает с царских лет, а мы... Горько слышать, что наше губфо недобрало двадцать миллионов по частному сектору. Значит, мы плохо держим партийную линию!

Из президиума человек с небольшой бородкой резко перебивает:

— Кто это мы, дорогой товарищ? И нельзя ли без демагогии!

Но бывшего матроса не так-то легко сбить с позиции.

— Какая же демагогия? Вы, товарищ Дементьев, виноваты больше как руководитель учреждения, но и мы все виновники... А эти миллионы надо взять!

Заведующий губфо небрежно играет карандашом:

— Наивные и пылкие слова... Не лучше ли просить Наркомфин о снижении нашего плана? Ввиду нереальности!

Председатель собрания звонит в бронзовый, тоже еще банковский, колокольчик.

— В губкоме другое мнение. В таком богатом крае надо не резать, а увеличивать план!

Участники собрания, видимо, не имеют единого мнения. В разных углах возникают приглушенные горячие возгласы:

— Еще увеличить?

— Попробуй сам возьми...

— Губкому виднее!

— Был когда-то край!..

Внезапно распахиваются тяжелые дубовые двери. К столу президиума медлен-

но проходят пятеро немолодых рабочих, на ходу снимая картузы.

Снова звонит колокольчик.

— К нам пришли делегаты судоремонтного завода. Послушаем их... Ну, кто первый? Вы, дядя Серафим?

— Можно и я... — Пожилой рабочий с бритым лицом шагнул вперед. — Долги мы ходим, хлопочем, доказываем. А ответ один: средства не позволяют. Ну, нам совет дали — пойти к коммунистам губфо. Помогите судоремонтный разморозить! Это не просьба наша, а голос рабочей совети...

— Сколько же вам денег надо? — спрашивает Шумов.

— Семь миллионов! Конечно, сумма... Но завод ее за два года покроет... А сколько флота еще по затонам ржавеет? Это все денежки!

Старик с густыми седыми бровями горячо добавляет:

— Кто в пятом году первый бастовал? Судоремонтный. Кто хозяев свергал? Опять мы.

— А в Гражданскую? Мы все давали — сынов, кровь свою, муки...

Наступает томительное молчание. Все сидят, опустив глаза.

Моложавый председатель негромко произносит:

— Ну, кто ответит? Может, ты, Шумов? Бывший матрос качает головой:

— Тут отвечать нужно только делом.

Фининспектор сидит в лавке портного, проверяя торговые книги. Хозяин, маленький тшедушный человечек, ловко орудует утюгом, отглаживая брюки. При этом он успевает есть песочное печенье и разговаривать со своим посетителем.

— Я понимаю — не все любят песочное... Но что вы там такое нашли в этих книгах? Это же бумага... Вообще как порядочный человек я вам должен сшить новый костюм.

— А у меня и так новый, — не отрываясь от подсчетов, отзывается Шумов.

— Это костюм? Это мешок, Иван Иванович! И при том еще жмет под мышками. Ах, у меня есть отрез! Почти полуковеркот! Чистый импорт!..

Шумов закрывает книги:

— Так, гражданин Слоник... Месячный оборот семьдесят две тысячи. И трое надомников.

Хозяин вытягивается во весь рост и оказывается вовсе уж не таким маленьким.

— Семьдесят две?! Я в жизни не видел таких денег. Даже когда работал в генеральном штабе... Главным закройщиком!

— Но по книгам... И с учетом заявле-

ний вашей клиентуры.

— Конечно, я теперь, как говорится, нэпман, и на меня можно накапать что угодно. Три надомника! Это же мой кузен с племянником... И одна сиротка, которую мы с женой воспитываем как дочь...

Шумов невозмутим:

— Участковая налоговая комиссия числила правильно. Можете жаловаться в губфо.

Портной опять скрючивается в три погибели:

— Жаловаться? Я лучше закрою ателье! Не хотите, чтоб всем было хорошо — тогда будет ни вам, ни нам.

— До свидания, желаю успехов, — козыряет бывший моряк.

Когда за фининспектором закрывается дверь, портной опять принимается за утюг и печенье:

— Молодо-зелено, товарищ Иван Иванович... Много ты в моих книгах нашел! За тебя надо богу молиться! Три надомника... На сто шестьдесят костюмов и триста пар брюк, не считая лицовку и мелкий ремонт! Я так не смеялся с семнадцатого года!

Из магазина с вывеской «Братья Шубниковы. Скобяные и москательные» выходит Шумов в сопровождении двух простецкого вида нэпманов — оба на одно лицо. Тот, что постарше, обиженно гудит:

— Да вы войдите в положение. Какой у нас товар — одна кисть да печная заслонка. Много ли тут корысти?

— Закрываемся! Завтра же — все с молотка!

Инспектор вежливо козыряет.

Ювелир в роговых очках горестно указывает на роскошный зеркальный прилавок, где под стеклами сиротливо лежат две пары часов и несколько грошовых колечек.

— Разве теперь попадают настоящие вещи? За месяц продал дюжину обручальных, старенький «Мозер» и дешевый кофейный сервиз. Золотых дел мастер еле зарабатывает на обед... Смешно!

— А вы полюбуйте на свою витрину, — спорит Иван Иванович, показывая глазами на заставленное ювелирными изделиями окно.

— Я? Пусть любитесь публика!.. Моя реклама — это украшение улицы Карла Маркса... Но что там есть?.. Тэтовские бриллианты... Стеклашки... Столовые приборы Фраже...

Хозяин магазина решительным жестом опускает на окне стальную штору. Сразу становится полутемно.

— Я лучше буду стоять со шляпой на паперти. Раз вы меня все равно делаете нищим.

И вот Иван Иванович сидит в отдельном кабинете приморского ресторана. Сквозь открытые окна дует ласковый речной ветерок, треплет разбросанные по столу листочки, переворачивает страницы толстых конторских книг.

На соседнем маленьком столике сервирован роскошный ужин. Тоська, с интересом поглядывая на инспектора, наполняет бокалы. Еще более посолдневший Makeев пытается изобразить на своем рябом лице что-то вроде восторженной улыбки.

— Ну, браток, все-таки, может, выпьем? Зря обижаешь... Ну, за Дыбенко!

Шумов щелкает костяшками счетов.

— В следующий раз... А где оборотка за прошлый месяц?

Играя глазами, подходит официантка:

— Вот оборотка, уважаемый, а это книга меню, счета поставщиков... У нас все почестному.

— По кассе триста двадцать тысяч. Налог придется взять по первому разряду, с подачей крепких напитков... Можете жаловаться.

К нему подходит смеющийся хозяин с двумя бокалами:

— Жаловаться? На боевого товарища?! Да я завтра же внесу за целый квартал... Ну, за Дыбенко!

Сбитый с толку сговорчивостью хозяина Шумов чокается и пьет до дна.

— Расстегайчики... С жару, с пылу... Наша специальность...— подает поднос Тоська.

Но инспектор уже закрывает свой портфель:

— Это нам не по средствам. Желаю успехов!.. И вот два рубля — согласно вашей калькуляции.

Он кладет деньги на стол и уходит быстрым военным шагом.

— Какую строгость имеет. Никак не берет...— вздыхает Makeев.

— Дешевка...— презрительно кривит губы официантка.

— Кто?

— Да вы, Федор Петрович. Такую рыбину хотите поймать на расстегайчики... Нет у вас размаху...

— А мы и без размаху не тужим. Передай в залу вечернее меню... Твоя рыбина налог-то взяла по-дневному...

— А вдруг вечерком нагрянет? В самый дым?..

Слышен бравурный марш. На арену цирка кувырком вылетают акробатки в розовых трико.

В первом ряду сидит Иван Иванович с Галочкой. Она читает вслух программу:

— Это — «Пять-Тосканини-пять!» А потом будут музыкальные клоуны «Бим-Бом». Ой, до чего я цирк переживаю! С самого детства!

В боковом проходе чернявый, как жук, хозяин беспокойно шепчет полногрудой билетерше:

— Фин пожаловал... Вон в первом ряду...

— Да они с барышней.

— Видали мы таких барышней! Не ровен час — легкая кавалерия... Упреди всех — половина публики, мол, зайцы. Допускаем в целях культурного охвата...

Гаснет световая реклама на фронтоне цирка. Вместе с пестрой публикой выходят на улицу Шумов со своей подружкой. Идет дождь.

— А ну, прокатим на резвых! — набирается лихач.

— Да нет, мы лучше пройдемся...— вздыхает Иван Иванович.

Чтоб переждать дождь, они останавливаются под полотняным навесом возле ярко освещенной витрины. На них безучастно глядят восковые куклы в модных платьях, с зонтиками и сумочками в протянутых руках.

— Ваш магазин, Ванечка?

— Мой... Взял с него пятьдесят тысяч. Обещал в субботу закрыться.

— Мне так всего хочется... Хотя бы одно платье такое... или сумочку,— честно признается рабфаковка.

— У вас будет и не такое.

— Ну, когда еще будет... К старости?

— А вы хотели бы, чтобы ваш спутник выглядел, как этот? — И Шумов показывает на «гвоздь витрины» — джентльмена с черными усиками, в длинном фраке.

— Так бы я с ним и пошла! Сядем на ступеньки...

— А может, добежим? До общежития уже недалеко.

Галочка со вздохом присаживается на каменный порог.

— Вам больше туда ходить нельзя. Не сердитесь...

— А кто не позволил?

— Засмеяли... Знаете, какие у нас ребята. Вас прозвали — Зет.

— Почему Зет?

— Не скажу, не имею права. Тайна нашего общежития.

— Вы зря за меня не выходите замуж. Мне сейчас одному очень трудно,— вдруг срывается у Шумова.

— А что трудно, Ванечка?

Но бывший моряк уже берет себя в руки:

— Да так... Извозчик! Отвезешь барышню...

Пошарив по карманам, он набирает несколько серебряных монет.

— И никуда я не поеду. Я с вами пойду,— обиженно заявляет Галочка.

Но Иван Иванович, махнув рукой, уже шагает под дождем. Девушка догоняет его:

— Нет, вы мне скажите! А то я нарочно вся размокну. И простужусь вам назло.

Шумов останавливается под навесом, возле магазина братьев Шубниковых, где за стеклом тускло поблескивают утюги и напильники, банки с краской и пирамиды из мыла.

— Хорошо, я скажу... Вызывал меня сегодня заведующий губфо, показал кипу жалоб...

— Похвалил?

— Да... Строгий выговор. У меня по району четыре магазина замки повесили и семь мастерских.

Галочка нежно гладит его по мокрым волосам.

— Ой, Ванечка, что же нам делать?

— Учиться, говорит, надо. На курсы пошлет... А мне стыдно — вполне взрослый мужчина, с орденом. Ну, я книжек разных накопил на всю полочку. Смотрю в них и ничего не понимаю. Кредит... Сальдо... Дебиторы...

И вдруг рабфакровка начинает весело смеяться:

— А уравниие со многими неизвестными лучше? Ну, я вам помогу. Очень даже возможно...

— Вы? А что вы понимаете в двойной итальянской бухгалтерии?

— Ровным счетом ничего. Но зато наш педагог Ключевский...

Седовласый мужчина с изможденным лицом прохаживается по небольшой комнате, искусно лавируя между буржуйкой и грудями конторских книг, наваленных прямо на полу. Он говорит с увлечением, глядя куда-то сквозь стены, как будто наблюдая одному ему ведомые миры. Во всяком случае он совершенно не замечает Ивана Ивановича и Галочку, сидящих рядом на облезлом кожаном диванчике.

— За строгими рядами цифр вы можете разглядеть взлет и падение, рассвет и закат, муки рождения и страх умирания... Говорят — зеркало предпрятия. Мало! Бухгалтерия — это микроскоп ученого, нож хирурга и мысль философа! Все вместе.

— А вы двойную итальянскую тоже постигли, товарищ Ключевский? — воспользовавшись минутной паузой, спрашивает Шумов.

Седовласый смотрит на него почти с сожалением:

— Вы спрашиваете об этом главного бухгалтера Коммерческого банка? Правда, бывшего, но все-таки главного! И если я преподаю математику на рабфаке, то только в силу капризов одной прекрасной дамы по имени Судьба... Да-с, молодые люди...

— А могли бы по старой специальности... Очень даже возможно...— вставляет девушка.

Ключевский беззвучно смеется, вытирая рот ветхим фуляровым платком:

— Пробовал. И даже паек получал — воблу, пшено, монпансье. Очаровательные вещи... Но не мог. Ведь я финансист, а не счетный работник. Мне миллионами ворочать, а тут выписывай зарплату с начислениями на соцстрах.

— Но ведь есть частные фирмы, так сказать, моя клиентура,— недоумевают фининспектор.

— Фирмы... Меня многие звали — братья Шубниковы, Слоник... Но ведь это жулье, а не коммерсанты.

Иван Иванович останавливает его за плечо:

— Я к вам учиться пришел. Но вы тоже послушайте. Партии сейчас необходим нэп, чтобы покончить с разрухой. Воевали семь лет... Однако власть у нас, и мы можем брать с частника деньгу на социализм. Сколько брать? Как можно больше, но чтоб он дышал и даже пока что рос.

Рыцарь бухгалтерии сбрасывает руку гостя со своего плеча.

— Простите, я читаю газеты... Но не сочувствую. Зачем тогда было свергать господина Путилова, Рябушинского, Коммерческий банк? Чтобы на их местах расцвели мухоморы — Макеев, Шубниковы, Слоник и компания? Зачем было вам орден добывать? А мне лакомиться воблой?

— Да поймите, Ключевский, мы у Путилова забрали власть. А эти что!

— Но пока они водят вас за нос! Верно, молодой человек!

— Меня лично — да! Я строгий выговор заработал.

Лицо хозяина светлеет.

— Хорошо, я открою вам все тайны. Вы должны проникнуть за кулисы балансов, давать экономический анализ счетов кредиторов и дебиторов, развить тонкое финансовое чутье... Я вас сделаю наследником всех своих капиталов, вы мне нравитесь.

— Значит, я буду знать больше, чем они...

— Эти поганки? Через год вы станете настоящим фининспектором... И вас не смог

бы надуть даже покойный Нестратов, воротила нашего банка! Если бы даже он встал из гроба!

— ...Ведь покойничек-то, царствие ему небесное, из гроба не встанет. А вам жить надо как молодому существу...— благодушно резонерствует Макеев, вытирая испарину с рябого лица.

Ему наливает из большого самовара новую чашку чая еще не старая женщина в темном кружевном платке.

— Кушайте, Федор Петрович. А в кувшинчике варенье из свежей малины, Аделаида сама варила.

— Ну, разве если сама... Благодарствуйте, Пелагея Кондратьевна.

— Федька, интересно, сколько ты можешь чаю вылакать? Неужели целый самовар? Да и варенье бы оставил, может, кто поприличнее зайдет,— лениво цедит бледная тонкая женщина, слегка приподнимаясь на козетке, чтобы закурить новую сигарету.

Все это происходит в большой комнате уплотненной барской квартиры, куда составлены остатки великолепных спален, будуаров и кабинетов. На видном месте висят два больших портрета — Пелагея Кондратьевна в расцвете былой красоты и какой-то важный мужчина в сюртуке, с тронутой преседью густой шевелюрой и желтыми тигриными глазами.

Гость отставляет в сторону варенье и с обидой продолжает привычный, видно, разговор:

— Никто не зайдет, Адель Захаровна. Уж придется вам со мной сочетаться.

Его поддерживает и женщина в накидке:

— Смирись, доченька. У человека ресторан, дела на бирже. И сколько он нам помог!

— Федька-то? На побегушках был в малом лабазе. Отец его за вихры драл.

Макеев не желает всего этого слушать: — А кто захочет жениться на дочери расстрелянного в купе с Колчаком купца Нестратова? Да вас даже в курьеры не возьмут — анкета не позволяет...

Упрямая невеста каким-то кошачьим движением соскальзывает с козетки и пускает претенденту дым прямо в глаза.

— Я в Петербурге на театральных курсах училась, с Игорем Северяниным была знакома, с Верой Холодной. Из-за меня на дуэли драгуны дрались. А ты в это время у отца пятаки воровал.

— Не пятаки и не у Захара Фомича. Я в Кронштадте служил, баталером. Сахарок по кусочку копил, крупу по горсточке. И вам же — посылки. От всей моей большой любви.

Адель, злобно усмехаясь, швыряет окурок.

— Сигареты кончились. Скажи своей Тоське, чтоб принесла. Только английские! А насчет любви — кто с меня все колечки ободрал на свою ресторацию?

Жених не успевает ответить, потому что раздается звонок и купеческая дочка выходит в переднюю.

Вдова Нестратова хочет смягчить положение:

— Очень она у меня нервная. С самой революции... А вам, Федор Петрович, скажу как мать — подход надо иметь.

— Какой может быть еще подход, если я прямо к венцу.

— Деликатность упускаете. Хоть бы цветочек когда принесли или в драму пригласили. Мой-то, бывало, без букета в дом ни ногой. А в ресторане одних салатов на четвертной заказывал. Где нынче такие кавалеры?

— Может, еще и на дуэль за нее кого-нибудь вызвать?

В дверях появляется Адель с двумя пачками сигарет в руке.

— Самолет твой прилетел.

— А-а... Тоська ночную выручку небось принесла.

— Иди, Федька, не заставляй ждать свою даму сердца.

— Какая она дама! Это вы всему виновной...— бормочет жених, пробираясь к двери между кованым сундуком и кроватью карельской березы.

— Ненавижу! — цедит невеста каким-то чужим голосом.

Пелагея Кондратьевна, вздыхая, доликает чайник.

— Гордости в тебе с перебором, доченька. А Федор Петрович — мужчина. Что ж ему, на твою красоту любоваться? Да и где она, красота? Бывшая, как все в этом доме.

И снова раздается звонок. Адель проस्कальзывает в переднюю. Слышится звук заборов... Резкий крик...

Мать, роняя чашки, кидается к дверям и со стоном опускается на кованый сундук. На пороге собственной персоной стоит Захар Фомич Нестратов. Он очень похож на свой портрет, только голова больше поседела и вместо добротного сюртука на нем драная шинель.

— Захар... Муженек... Неужто живой?... — шепчет жена.

— Какая радость, отец! А я уж и не мечтала о днях счастливых...— сквозь слезы улыбается дочь.

Годы испытаний не сломили главу фамилии. Он снимает вещевой мешок, сбрасывает шинель и по-хозяйски прохаживается по комнате.

— Тесновато живете. Уплотнили вас, что ли? А кто в моем кабинете?

За стеной слышится звон бокалов и женский смех.

— Особняк давно коммунальный, нам оставили только столовую. А там, на счастье, въехал Макеев Федор Петрович... — каким-то извиняющимся тоном докладывает Пелагея Кондратьевна.

— Федька! Значит, выкарабкался, шельмец.

Адель жадно курит, не сводя с отца любящих глаз.

— А ты откуда?

— Из уездного города Парижа. На прошлой неделе еще торговал на Плас Пигаль.

— Чем торговал? Я вроде как во сне... — ахает жена.

— Голыми бабами. Да не красней, не в натуре. Потреты любви по пять франков.

Он распаковывает вещевой мешок и вручает подарки.

— Тебе, матушка, золотая змейка. Прости — в глазенки стекло поставлено, по скудости. А дочке духи — «Убиган».

— А ты сам-то не убеги? — тихонько спрашивает Пелагея.

— Ну, тогда, из Омска, успел дать стрекача. А теперь у меня все по закону. Вот она, грамотка: «Помиловать гражданина Нестратова и разрешить...»

Адель уже распечатывает духи, закрыв глаза, вдыхает их аромат.

— Значит, ты покайся?

— Ну бумаге — я, а по делу — они! Нэп! Попробуй, подними наши края без Нестратова...

— Чего вам еще надо? Мы выручку считаем, — недовольно говорит завернутая в пикейное одеяло Тоська, стоя возле закрытой двери.

— Водки давай, вина, коньяку. И деньгами два червонца, — требует из-за двери торжествующая Адель.

Официантка хватает со стола недопитые бутылки и шепчет куда-то в темноту:

— Федор Петрович... К Адельке жених приехал, не иначе...

...А хозяйка тем временем возятся возле изголовья огромного семейного ложа под сенью шаловливых амуров, вырезанных из карельской березы каким-то безвестным умельцем. Захар Фомич уверенно вынимает деревянные шпильки и поворачивает в сторону самую большую фигуру.

Открывается глубокий тайник, из которого трепещущая супруга достает серебряные ложечки, вазу с какой-то юбилейной надписью и целую грудь пустых футляров.

Муж в изнеможении опускается на кровать.

— Проели мы с Аделькой... — робко объясняет жена.

— Ничего себе аппетит... Вот что значит дом без хозяина! Сирота...

Нестратов швыряет в тайник все его содержимое и ставит амуров по местам.

— Что ж ты раньше не ехал? Люди почти три года торгуют, сколько добра нажили, — с упреком произносит купчиха.

Ее супруг достает из кованого сундука визитку, полосатые брюки, желтые туфли, стряхивает с вещей нафталин.

— Ждал, пока Ленин преставится. Уж больно грандиозный был ум, да и характер тоже. Сколько раз думалось, что им крышка, а он как повернет в неожиданную сторону. Без него-то нам на душе поспокойнее.

Пелагея быстро накрывает на стол.

В комнату входит хозяйская дочь, нагруженная бутылками и пакетами. Следом за ней вваливается Макеев в сопровождении Тоськи. Они оба явно под хмельком.

— Ну, показывайте жениха. Интересно, что за личность... — развязно говорит Федька.

Официантка подходит к комоду, находит парижский флакон.

— Заграницей пахнет. Видать, ухажер стоющий.

Но Адель сейчас настроена совершенно безмятежно.

— Проводите, Феденька, вашу даму. А вам, Тосенька, спасибо за угощение. Теперь сочтемся. Отец приехал, голуба.

Из-за ширмы выходит Нестратов. Костюм на нем болтается, живот явно опал, но все-таки Захар Фомич имеет очень представительный вид.

— Феденька! Здорово! Да что ты глаза вылупил? Садись, гостем будешь. Знаешь, каких мы с тобой дел наворочаем!.. Магазины мой на Соборной цел?

— Цел... Там теперь братья Шубниковы... — отвечает остолбеневший Макеев.

— Паклей торгуют на Соборной? В нестратовском доме! Вытряхнуть на базар, дать отступного. А потом будем ставить свечной завод, лесной двор, рыбную пристань... Я им покажу смычку с деревней! А это кто? Как тебя зовут, барышня?

— Тоська-Самолет, — играя глазами, отвечает официантка.

— Это Федькина. Сажать, что ли, за стол?.. Какие теперь будут порядки? — с кривой усмешкой спрашивает Адель.

Но отец уже сам поднимается из-за стола.

— Тоська... Тосенька... Выходит, Таисия... А по батюшке?

— Кирилловна... Да можно и без батюшки...

Дерзко, вызывающе смотрит она прямо в желтые тигриные глаза Нестратова...

И вот Тансия Кирилловна в шляпе с вуалеткой, в дорогой норковой шубке едет на рысаке рядом с Захаром Фомичом. Он бережно придерживает ее за талию.

Экипаж на дутых шинах бесшумно подкатывает к магазину, где висит новая вывеска: «Захар Нестратов. Меха». За зеркальными витринами вместо напильников и пирамид из мыла теперь красуются восковые куклы в каракулевых, беличьих, скунсовых манто. Над их головами висят гирлянды из чернобурок.

У заваленного шкурками прилавка величественный, похожий на лорда продавец обслуживает двух принаряженных салоппиц.

— Вам больше серый к лицу, мадам. Полубуйтесь, как оттеняет... Да вы не на меня, а в трюмо взгляните.

Из-за кассы выглядывает Адель с неизменной сигаретой во рту:

— В конторке фин сидит, в книгах роется.

— Знаю я его по ресторану, — говорит Тоська. — Этот Иван Иванович нипочем не берет.

— Ну да! Просто человек цену свою устанавливает, — с оттенком превосходства посмеивается Захар Фомич, однако довольно поспешно скрывается за стеклянной перегородкой.

В тесном помещении, заваленном тюками невыделанных мехов, Иван Иванович просматривает свой блокнот. Хозяин входит, садится напротив. Некоторое время оба не произносят ни слова.

— Долго мы в молчанку играть будем? Или, может, поговорим начистоту, дорогой инспектор?

— Можно и начистоту, гражданин Нестратов. Вот, полюбуйтеесь, мои подсчеты...

Владелец магазина внимательно просматривает листки блокнота, с трудом стараясь сохранить спокойствие.

— Гляди ты, и муфточки учтены, и отвороты... Да когда же раскрой скунса весь шел первым сортом?.. — И вдруг спрашивает: — Десять тысяч вас устроят? И манто на выбор для вашей бабы. Чтоб без торгу...

В ответ раздается спокойный, будничныи голос:

— Не устроит... А ведь за это и ответить можно.

— Нельзя. Свидетелей нет... А что вас тогда устроит?

Иван Иванович тоже переходит на доверительный тон:

— Да мне много не надо. Судоремонтный бы разморозить. Для начала.

— Стало быть, вы шибко идейный... Уважаю. Однако могу поспорить, что неженатый...

Фининспектор собирает свои бумаги.

— Я хотел бы знать ваши возражения...

— А чего мне возражать — неженатый так неженатый. Может, мою Адельку возьмете? Ну, ну, не сердчайте. Я человек веселый, шутейный... А кто вас консультировал? Вы же не делец...

— Вы про Ключевского слышали? Он теперь у нас главный контролер губфо.

В желтых глазах Нестратова мелькают сердитые искорки. Он встает, давая понять, что разговор окончен.

— Подсчитано все досконально. По мелочам не будем заводиться. Только помяните мое слово — подведет вас Ключевский под монастырь.

В большой примерочной Тоська в котиковой шубе прохаживается перед солидными заказчицами. Из-за занавески за ней наблюдают Адель и Макеев.

— Да она мне никогда не нравилась...

— Брешешь, Федька, нравилась. Только не по карману.

— Адель Захаровна...

— Умолкни, коварный искуситель!

— Молчу... Мне Китти Шубникову сватают. Так что говорите последнее слово.

И вот молодожены сидят в большой столовой нестратовского особняка, освобожденной от излишней мебели. Все помещение занято свадебным столом, за которым теснятся крупные нэпманы со своими женами и дочерьми, увешанными драгоценностями и мехами.

— Пелагея, пора подавать сласти... — говорит жене Захар Фомич, примечая, что ужин идет к концу.

Полная брюнетка в цыганских серьгах заводит граммофон с таким видом, будто сама собирается петь.

— Слушайте, господи! Последняя новинка...

Из полированного рупора раздается «жесткий романс»:

Шумит ночной Марсель...

В притоне «Трех бродяг» —

Там пьют матросы эль

И женщины с мужчинами жуют табак...

Гости помоложе танцуют.

Глава дома сидит на почетном месте, окруженный вниманием крупнейших дельцов.

— А что же за границей думают насчет победы коммунизма? По откровенности? — допытывается знакомый нам плешивый ювелир.

Захар Фомич оглядывается по сторонам:

— Ну, тут все свои. Насчет коммунизма пишут, что это теперь только воображаемый...

Раздается хохот. Старший Шубников веселится:

— Верно подмечено! Да мы все за такую советскую власть, которая задним ходом под обрыв катится...

— А что это там, глядите, за косогором? — беспокойно вопрошает младший москательщик.

Гости вскакивают с мест, теснятся у распахнутого окна.

Далеко внизу, на берегу затона, горит множество огней. Оттуда доносятся глухие удары молота.

— Чего не видали? — расталкивает всех Нестратов.— На судоремонтном заводе вторую смену пустили. Что тут особенного?

Но все понимают, что это — особенное...

На берегу затона шумно — идет субботник по расчистке доков. Играет оркестр, звенит знакомая всем трудовая песня:

Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куюм мы счастья ключи,
Вздыхайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи,
стучи...

По каткам тащат старую баржу. Впереди бородач со шрамом, мы видели его на собрании в бывшем банке.

Торопится к докам колонна девушек с лопатами и заступами на плечах.

Работники финотдела заняты переноской железных балок. В последней паре шагают Шумов и Ключевский. Желая дать своему напарнику передышку, Иван Иванович кричит:

— Давайте присядем. Что-то я устал. Но его напарник держится на нервном подъеме:

— Мы и так отстали... Идем, идем!

И вдруг он не выдерживает и роняет свой конец балки. Тогда инспектор осторожно укладывает ее на землю.

— Ничего, балка цела. А как ваше сердце?

— Ржавое, хотя, увь, не железное...

И только сейчас бывший преподаватель рабфака замечает, что рядом стоит группа его учеников. Впереди других с железным хламом на плечах Икс, Игрек, Заира, Катенька и Аленка.

— А-а, молодежь... Ну как, штурмуете?

— Науку — довольно основательно, — отвечает Заира.

— Даже несмотря на столовую, там каша и каша. Как только повару не надоест! — вставляет Аленка.

— Зато хлебушек на столах. Сколько угодно! Ситничек! — перебивает кругленький, как шарик, Икс.

— А давно ли в стране был неслыханный голод! — говорит Ключевский.— А сейчас коммунисты одержали победу на хлебном фронте!

— А вот на железном — вы сами тормозите. Если взялись за субботник, работать надо. Вот лому-то еще целые горы,— укоризненно говорит пожилой рабочий в синем фартуке, останавливая груженную металлическими стружками тачку.

— У нас перекур. Правда, папирос нету, — отшучивается долговязый Игрек.

Старый бухгалтер первый поднимает с земли конец балки:

— Ну, перекур или недокур, только крыть нечем... Иван Иванович, взяли.

Но Шумов уже крепко жмет обе руки человека в фартуке:

— Дядя Серафим! Как вы нам тогда помогли, боевой дух подняли! Коллектив до сих пор вспоминает...

— И мы вас добром поминаем в заводе. Только скоро опять придем. Большие деньги требуются... Не подкачаете, товарищ Шумов?

— Смотри, как твой Зет выдвигается. И собой хорош, и орден... Я бы даже не задумывалась,— шепчет Гале Катенька.

— Да я за него и выйду... Когда-нибудь... Очень даже возможно...

А дядя Серафим переходит на строгий отеческий тон:

— Ты помни, дорогой товарищ Шумов, кто тебя поставил на дело. И жми как следует, чтобы нам за тебя не краснеть.

— Жить надо с умом,— вставляет старый бухгалтер.— С учетом экономической целесообразности. Это вопрос одновременно и философский, и практический.

— Это мы понимаем. Пускай эппманы покуда икру ведрами лопают. Зато гляди — на этой самой тачке я в семнадцатом году хозяина за ворота прокатил, а теперь она для государства скрипит. Изо всех сил старается! В две смены.

— Мы что же, будем резолюцию вырабатывать или лом таскать? — укоризненно спрашивает Галочка.

Студенты наваливают на плечи куски железа. Икс и Игрек, кроме своей ноши, подхватывают и железную балку.

И снова раздается песня, отдаваясь эхом на берегах затона, где виднеются силуэты безжизненно застывших судов:

...Куюм мы счастье народу,
Мы вольный труд ему куюм,
И за желанную свободу
Мы все страдаем, все умрем, умрем,
умрем...

— «Емельян Пугачев» скоро на ремонт встанет... Бывшая «Екатерина Великая»...

Красавец-пароход, сверкая белоснежными палубами, рассекает речную гладь. На его носу виднеется надпись: «Емельян Пугачев».

Облокотясь на поручни, любуется широкой панорамой сильно раздобревший Вдовин. На нем белая фуражка, шегольские сапоги, в правой руке зажат брезентовый портфель.

Навстречу, вверх по течению, поднимается буксир с караваном барж.

— Не знаете, куда столько цемента гонят, если не секрет? — спрашивает Нестратов, становясь рядом.

Нэпман одет по-дорожному, его клетчатый костюм сшит из тонкого сукна, лаковые полусапожки сверкают нестерпимым блеском.

— Да об этом все газеты трубят. На Волховстрой груз идет, на строительство первой советской гидростанции!

— Как же, слышали! Даже не верится, что при нашей отсталости... — усмехается Захар Фомич.

— Каждому в свое верится. А, простите, вы кто такой? — настораживается бывший матрос.

— Нестратов. Объезжаю свою епархию. Приятно познакомиться.

— И мы про вас слышали. Я — Вдовин, председатель леденцовского сельпо. Только удовольствия от нашего знакомства не ожидаю.

— Отчего? Ну, допустим, вы красный купец. Но все равно мы оба — люди торговые.

На круглом лице Вдовина появляется лукавая улыбка:

— Фирма у нас разная — вы от себя, а я от хозяина.

— Разве я вам не подмога? Нестратовы нынче электростанции не строят, шахты не копают... А, между прочим, хомуты, дуги, колесную мазь где берете? А рукавицы, мыло, свечи, блесну, грузила?

— Это все до поры. Мы тоже скоро шорно-обозный завод пустим... И Мехторг открывает государственное ателье — супротив вашего магазина.

Нэпман снимает соломенную шляпу, подставляя ветру еще пышную шевелюру.

— Что ж, посмотрим, чей козырь старше... Интересно, где они пушнину брать будут.

— Да там же, где вы, — в лесах.

— Есть у меня человек один верный, в Заозерье, Савельич, — усмехается Захар Фомич. — Сколько он мне шкурок добывает! Пропасть! А где вы найдете такого? Алеша заливается звонким смехом:

— Вот спасибо, что надоумили! Я так и передам: ищите в Заозерье Савельича...

— Уморил... Да в тех местах их тыщи! В другой деревне чуть не одни Савельичи, все накруг! — хохочет Нестратов.

Глава сельпо недовольно смотрит на собеседника:

— Верно мне про вас Шумов говорил, будто вы свободно можете человека съесть, даже с сапогами!

— Иван Иванович? Да он сам целый лабаз может заглотать. С воротами!.. А вы дружны?

— Еще бы! Я и сейчас у него гостил, проездом в Леденцы.

— Так вы, стало быть, наш? — появляется в дверях каюты Тоська.

— Это... со мной... — неохотно представляет ее нэпман.

— Чего там знакомиться, когда мы земляки. Я же сама леденецкая. Вы Желдыбиных знаете?

Вдовин хмурится:

— До всей этой кулацкой фамилии я вовсе не касаюсь. Должность не позволяет.

— Ну, хоть привет передайте Груне, моей племяшке... — просит случайная спутница.

Бывший моряк, слегка отстранив Тоську в сторону, решительно идет к трапу.

Нестратов, посмеиваясь, бросает ему вдогонку:

— Да какой у вашего друга кругозор! Света не видит — ездит себе на трамвае от Соборной до Большой Дворянской...

И здесь Алеше становится обидно за Шумова.

— А вы все знаете! — кричит он. — Шумова в Москву вызывают, на важные финансовые курсы! Можете провозжать в субботу...

Свисток... Гудок... Трогается ночной поезд... Фининспектор вскакивает на площадку, а Галя бежит за вагоном, еле успевая передать бумажный сверток.

— Это тебе от нашей комнаты!

Шумов входит в купе и застает там лишь одну пассажирку — Тоську-Самолет.

— А я вас знаю.

— Я тоже... Не лучше ли мне перейти в другое купе?

— Не трудитесь, все места заняты. Только здесь держат два верхних — броня до Пензы... Неужели я такая страшная?

— Понимаете, Тося... У вас очень привлекательная внешность, но для меня вы только классовый враг.

Фаворитка Нестратова делает скорбную мину.

— Всюду несправедливость. Какой же я враг? Работаю манекенщицей, член профсоюза, а манто мне только с выставки дают поносить. Скорняки говорят, чтобы мех играл.

...Быстро мчит в ночи поезд. В купе идет все более дружественный разговор. Таисия Кирилловна уже надела свой пестрый халат, а Шумов снял пиджак.

— Неужели и гусей пасли? — интересуется фининспектор.

— И гусей, и поросят, — со слезой в голосе рассказывает Тоська. — А потом подросла — в прислуги. У статского советника жила.

— Ну, там было, наверно, неплохо?

— Сплошная дешевка... Сам с бакенбардами, белый, как зимний заяц, два сыночка — лиценсты. И все пристают.

— Так вы бы ушли.

— Ушла. А что толку? Вспоминать неохота. Гадость, гадость и гадость... Только после революции за человека стали считать. И то не все... Вот вы, например, не считаете.

Иван Иванович медлит с ответом.

— Я бы вас уважал, если бы вы за настоящий труд взялись. И даже помог...

— Вот и помогите. К вашему сведению, я ушла из ателье. В Москву еду, к подружке. Она там в кассиршах на государственных бегах. Не знаю, примут ли.

— А почему не принять? Если грехов за вами нет.

— Грех один — внешность. Вы думаете, это так легко — быть красивой? — играет глазами Тоська-Самолет.

— Я знаю таких, которым легко.

— А-а... Это вы, наверно, про ту шатеночку, которая вас провожала. В прюнелевых босоножках...

Тем временем на столике появляются курочка, севрюжка, маринованные грибки. Таисия Кирилловна достает из корзинки пузатенькую бутылочку.

— Попробуйте моей наливочки. С прошлого года в погребке стояла.

Иван Иванович решительно отодвигает от себя стакан:

— Я пью только по праздникам.

— А разве поездка в Москву не праздник? Не бойтесь, миленький, я вас отбивать у студенчества не собираюсь.

Фининспектору, видимо, не нравится, что эта женщина считает его трусом.

— Видал я вещи пострашнее вашей наливки... — И Шумов выпивает стакан до дна.

Но напрасно Иван Иванович так уверен в себе. Вдруг медленно начинают кружиться стены купе, какие-то зигзаги описывает настольная лампочка, а напротив призывно улыбается уже не одна Тоська-Самолет, а две... Потом сразу четыре тянутся к его лицу губами...

— Ты только не горюй, миленький, я ведь легкая, без сцен. Хочешь — забуду, а хочешь — веревки из меня вей...

Тоська-Самолет ласково прижимается к угрюмому Ивану Ивановичу. Они едут на извозчике по кривому московскому переулку.

— Эй, папаша, вези меня в Наркомфин. Знаешь? — произносит фининспектор.

— Как не знать! Это мы мигом...

Но Таисия Кирилловна решает по-своему:

— Сначала меня в номера «Люкс». У тебя, Ванечка, есть деньги? А то возьми — купишь шоколадный торт и коньяку. Я буду ждать тебя вечером.

— А ты вечером — ко мне. К старику вместо прекрасной дамы... Ну, ну, умолкаю, только не кисни...

Комиссар Доронин стоит на дорожке небольшого сада, поливая из лейки цветущие флоксы. Белая рубашка с расстегнутым воротом, подпоясанная серебряным пояском, и стариковские войлочные туфли придают ему глубоко штатский, домашний вид.

— Эх, Степан Акимыч, — глухо откликается Шумов. — Если б вы только знали, до чего у меня мерзко на душе!

— А это без любви всегда мерзко выходит. Тем более Тоська-Самолет... Ну, и чего она попросила?

— Пока ничего. Но пусть только попробует.

Доронин наполняет лейку водой из садового крана.

— Тогда еще полгоря. Заявления от потерявшей нет и, видимо, не ожидается, других незтичных поступков не предвидится... Морду тебе набить? Так тебе и без того тошно...

— Но ведь я коммунист, член партии... — бичует себя Шумов.

Доронин испытующе смотрит на него поверх стальных очков усталыми, воспаленными глазами.

— Я покидаю свою рекомендацию не снимаю. И в наливку, наверно, чего-нибудь было подмешано.

— Не знаю... Только напрасно вы меня выгораживаете! Не маленький, должен ответ нести по всей строгости.

Комиссар в сердцах отбрасывает лейку в сторону:

— Да ты сам себя поедом ешь, это похуже меча карающего! А вот оставаться тебе там трудновато. Нестратов все на кон бросил, даже свою даму бубен.

Иван Иванович с проблеском надежды глядит в добрые близорукие глаза своего поручителя.

— А ведь верно! Если сразу — задний ход?

— Стоит подумать... Может, ко мне работать пойдешь?

Шумов оглядывает садик, несколько яблонь, малинник, маленькую дачку среди берез.

— Цветочки поливать? Или на огороде? Ведь вы вроде как на пенсии. Как ни позвоню — говорят, на даче.

Степан Акимович не может удержаться от смеха:

— У меня дома дисциплина. Мало ли кто интересуется, где Доронин. А на дачке я действительно часто — за лето уже третий раз. Только так и не пришлось ни разу выспаться в гамаке на вольном воздухе.

За забором раздается автомобильный гудок. Старик поспешно начинает обрывать флоксы.

— Это за мной. Сейчас поедем.

— Куда?

— На работу... В ГПУ. Это на Лубянке.

Большой букет розовых флоксов стоит в вазе на письменном столе, покрытом зеленым сукном.

По кабинету большими шагами ходит Феликс Эдмундович Дзержинский. В кожаных креслах сидят Шумов и Доронин. Комиссар теперь одет в форму и имеет молодежавший подтянутый вид.

— Рабочий, матрос... — вслух размышляет Дзержинский. — В партии с девятнадцатого года... Орден за Кронштадт. Все годится. Женаты?

— Да пока нет... — смущенно отвечает Иван Иванович.

— Невеста есть на примете?

— Есть... Галя... Только она не согласна... — лепечет совсем растерявшийся Шумов.

— Какая же это невеста! Значит, не любит?

— Любит... Она рабфак кончила, а теперь в институте. Ей некогда замуж выходить...

— Какой вздор! Знаете, я напишу вашей Гале письмо...

Иван Иванович в волнении вскакивает.

— Садитесь, товарищ Шумов, в ногах правды нет... Ну, а теперь насчет работы. Доронин метит вас в экономотдел. Откуда вас вызывать?

— Я сейчас приехал на краткосрочные курсы. А вообще работаю фининспектором...

Оттенком огорчения заметен в задумчивых глазах Дзержинского.

— Жаль... Откуда угодно, только не с финансов. Да нам никто и не позволит. Я сам не позволю!

Звонит один из многочисленных телефонов, и Дзержинский берет трубку:

— Да, я... А почему звоните на Лубянку, а не в совнархоз? Не дают зарплату? Немедленно свяжитесь с Госбанком, пусть самолетом вышлют десять миллионов из резерва... Да, мое распоряжение как председателя Высшего совета народного хозяйства!..

Феликс Эдмундович кладет трубку на рычаг и сердито обращается к Шумову:

— Слыхали? Это звонок с площадки Магнитогорского комбината. Такое строительство сидит без денег! А у вашего уважаемого Наркомфина снова недобор! Что же прикажете — опять печатать денежные знаки? И вы еще хотели уйти!

Бывший матрос впадает в уныние:

— Но я же не могу туда вернуться.

Дзержинский понимающе переглядывается с Дорониным:

— Знаю, все знаю... Вам бежать? Ну нет! Пускай возвращение товарища Шумова влетит нэпманам в хорошую копеечку. А невесте вашей я все равно напишу...

На цирковой арене выступает мужчина с черными усиками, в длинном фраке.

В боковой ложе — студенческая компания.

Иллюзионист взмахивает магической палочкой, и под звуки вальса из большого закрытого сундука летят искры, валит дым. Новый взмах палочки — теперь весь сундук покрывается ковром из бумажных цветов, на котором, раскланиваясь, стоит человек в длинном фраке. И замерший цирк слышит его деревянный голос, почти без интонаций, но с сильным иностранным акцентом:

— Почтеннейший публикум! Я, доктор черной и белой магии маэстро Леопарди, благодарит за ваш комплимент... Теперь имею честь приглашать один смелый девушку для научный эксперимент гипнотического сеанса. С разрешения Наркомздрав!..

Над переполненным амфитеатром гремит призывный туш.

Подруги подталкивают вперед упирающуюся Галочку.

— Иди, иди! Ты у нас самая смелая, — уговаривает Заира.

— Пускай лучше Игрек пойдет. Все-таки мужчина.

— А доктор всевозможных наук требует как раз девушку, — с усмешкой вставляет Аленка.

Галя выходит на арену с отчаянной решимостью человека, ныряющего в холодную воду. Яркий свет прожекторов сразу ее ослепляет. И в каком-то мерцающем ореоле к ней начинают приближаться похожие на бурвачки глазки и черные усики иллюзиониста.

— Смотрите сюда, на конец мой волшебный палочка... Еще внимательнее... Я говорит: внимательнее!

В оправе из слоновьей кости играет при свете хрустальный шарик, смахивающий на бриллиант сказочной величины. Девушка уже не может отвести от него глаз...

— Вам хочется уснуть... Засыпайте, здесь кругом друзья, они хотят вам добра... Спать!.. Спать!

И загипнотизированная Галочка падает на руки подоспевших униформистов.

— Самостоятельный мужчина. Как он эту шумовскую студентку в гипноз вогнал? За одну минуту! — с восхищением восклицает Тоська-Самолет, обращаясь к своим соседям по ложе — Нестратову с дочкой и зятем.

Леопарди сейчас похож на большую хищную птицу.

— Вы на балу... Вас приглашают на тур вальса... А это есть ваш кавалер...

И он кладет руки девушки на спинку высокого стула. Оркестр играет вальс. И бедная Галочка начинает кружиться в обнимку со стулом, под смех и аплодисменты всего цирка.

— Я ошибался... Вы не есть дама на балу. Вы - пожарный. Публикум, соблюдайте спокойствие. Это есть опасный номер... Прошу вас, дорогой кум-пожарный, потушить огонь на эта крыша.

Из «таинственного ящика» поднимаются языки пламени. Служители вкладывают в руки студентки игрушечный огнетушитель.

Она по-военному вытягивается, нажимает кнопку и заликает пеной холодный бенгальский огонь. Звучит барабанная дробь.

Грохочет цирк, кланяется «доктор магии». А девушка, козырнув, докладывает воображаемому начальнику:

— Товарищ бранд-майор! Все потушено! Леопарди поднимает палочку с хрустальным шариком на конце:

— Проснитесь, смелая девушка. Вы есть блестящий медиум! Маэстро имеет честь вас благодарить...

И он галантно вынимает из рукава большой букет.

Галочка проводит рукой по глазам, как будто сбрасывая с лица незаметную тяжесть, и пробирается на место мимо ошарашенных, недоумевающих, хохочущих зрителей. Наконец она попадает в круг своих друзей.

Заира с подозрительной миной нюхает букет. И вдруг на пол выскальзывает маленькая визитная карточка. Ее поднимает с пола проворный Игрек.

— Можно прочитать? «Смелая барышня, прошу зайти в цирк завтра в десять утра для проверки вашего самочувствия»...

— Это предлог! — утверждает Заира.

— Неужели ты пойдешь? К «доктору черной магии»? — испытующе спрашивает Аленка, теребя свою густую косу.

— Да что вы, девчата! Ни за что на свете!

— Я пришла, маэстро Леопарди, поскольку вы с разрешения Наркомздрава... — сму-

ленно говорит студентка, стоя в пустом проходе рядом с иллюзионистом.

Он теперь одет в модный короткий пиджак и узкие брюки.

— Я Леопарди только по афише, а вообще меня зовут просто Оскар, — своим обычным деревянным голосом, но без всякого иностранного акцента отвечает циркач.

Они проходят к полутемному манежу, где служители причесывают граблями песок.

— Дайте руку, я проверю пульс. Садитесь. Как вы спали?

— Хорошо. Только мне все пожар снился... И еще бал...

— Пульс нормальный... А впрочем, это предлог.

Девушка вскакивает на ноги:

— Ах, вот как! Меня подруги предупреждали...

В ответ раздается легкий смешок:

— Успокойтесь, я вовсе не собираюсь за вами волочиться. Мне нужна партнерша с такой внешностью, как вы. И потом нелегко найти настоящего медиума.

Студентка даже сочувствует его затруднениям:

— Бедный товарищ Оскар... Но ведь я же не брошу технологический!

Но иллюзионист не привык слушать то, что ему не нравится.

— Это будет мировой аттракцион. Два-Леопарди-два! Гонорар для начала — червонец за выход, при нашем реквизите.

— Куда мне такие деньги? И вообще у меня каникулы. Я завтра уезжаю к себе, на Большую Охту, — категорически отказывается девушка.

— Вы родились под счастливой звездой. У меня контракт в Ленинград на все лето.

— Но я комсомолка...

— В цирке тоже есть комсомол. Сестры Риккардос, девять Оливер и еще...

— Да вы поймите, я обожаю цирк, но только как зритель.

— Контракт только на два месяца. Я вас отпущу к началу учебного года.

— Но мои подруги, родные...

— О, вы предстанете перед ними в таком импозантном виде!

И вот уже Галочка появляется на ярко освещенной арене в голубом трико и сверкающей серебряными блестками мантии. Она стоит на колеснице, которую везут маленькие пони с завитыми гривами. Дебютантка бросает вожжи, взмахивает «волшебной палочкой». И маленькие лошадки, освободившись от постронок, вальсируют, помахая золотыми султанами. Потом карета в миг превращается в «таинственный ящик». А «добрая фея» при

помощи стального троса взлетает на воздух, описывая большие круги.

Леопарди поворачивает рычаг, и его новая партнерша плавно опускается на песок среди танцующих пони. Звучат негромкие аплодисменты, потому что аплодируют всего трое — сам «доктор магии», чернявый, как жук, хозяин и полногрудая билетерша. Смолкает оркестр, гаснет свет, и становится ясно, что это была только репетиция.

Владелец цирка в восторге:

— Это будет сенсация! Даем на среду отдельную афишу: «Два-Леопарди-два»! По повышенным ценам!

На круглой тумбе висит многокрасочная афиша, привлекая внимание зевак.

Мимо, с удовольствием поглядывая на столпившуюся публику, проходят оба партнера. Они спускаются вниз по центральной улице, где теперь добрая половина магазинов уже занята государственными торговыми.

Цветочницы наперебой предлагают свой товар. Маэстро, не торгуясь, выбирает самый красивый букет и преподносит спутнице. Начинает накрапывать дождь.

— Я думаю, Галочка, вам надо купить зонтик, — говорит иллюзионист.

— У меня никогда не было зонтика. Но я вам честно скажу, Оскар, я не при деньгах... Жду из дома на дорогу.

— Вы не умеете разговаривать с антрепренером. Зато я умею, вам везет! Вот ваш первый аванс, десять червонцев.

...Все сильнее льет дождь. Распахивается дверь магазина, и на улицу храбро выходит Галочка, раскрывая красный зонтик. На ней нарядное платье, через плечо висит большая сумка, на голове красуется пушистый берет, на ногах — лакированные лодочки.

Маэстро швыряет в урну сверток с ее старым платьем.

— Ну зачем же? Я бы лучше уборщице в общежитии подарила, — с явным сожалением произносит девушка.

— Вы ей лучше подарите новое. Артисты должны уметь делать жесты!

И Леопарди бросает в урну старенькие босоножки.

...Плешивый золотых дел мастер достает из-под прилавка сверкающее ожерелье.

— Имею для вас бенефисный товар! Не хуже настоящих!

Он надевает искусно обработанные стекляшки на Галю.

— Случайная вещь... Фирменный Париж! Таможенный конфискат! И всего три червонца...

...На улице загораются фонари. Лихач на дутых шинах осаживает гнедого рысака перед выходящими из магазина партнерами.

— Пожа, пожа, ваша честь! Я вас на шальных!

Галя не успевает опомниться, как маэстро уже усаживает ее в пролетку.

— В «Эльдорадо»!

Но девушка все еще спорит:

— Я не привыкла по ресторанам.

— Но надо же спрыснуть первую получку. Это примета со дня основания цирка! Ну, на немецкий счет — платим пополам...

«Два-Леопарди-два» ужинают в прибрежном ресторане. Но теперь большой зал имеет другой вид — он разделан под «Эльдорадо»: на колоннах наляпаны позолоченные гирлянды, с потолка свисают тяжелые бронзовые люстры, на столиках горят огромные желтые абажуры. И публика совсем другая — вместо пристаньских пассажиров здесь гуляет нэп.

На эстраде, на фоне оркестрантов в парчовых фраках, поет солистка.

За хозяйским столиком располагаются Макеев с Аделью. Владелец «Эльдорадо» перешептывается с женой, указывая глазами на Галю.

— Что они на меня так уставились? — спрашивает девушка у своего партнера.

— Вы со мной, и этим все сказано! Привыкайте к вниманию публики, смелая барышня. И осушайте вашу стопку.

— Мне не нравится, что вы называете меня — барышня. И водки я не пью, я только красное могу...

— Мускат! Разрешите ваш бокал... А называть я вас буду Стеллой, — раздастся деревянный голос.

Галя делает глоток и как-то незаметно для себя выпивает все до дна. И вдруг перед ней, словно в кривом зеркале, начинается кружиться зал. Мимо вихрем проносятся невероятно длинные официанты, невероятно толстые лица кутил...

— Уйдемся отсюда, Оскар... Мне что-то худо...

Маэстро пожимает узкими плечиками и тихоенько спрашивает медленно шествующего вдоль столиков метрдотеля:

— Что, свободен пятый кабинет?

На деревянной резной двери висит табличка: «№ 6». Шумов открывает дверь и проходит в какое-то полутемное помещение. И когда за ним захлопывается створка, становится видна надпись: «Кабинет заведующего губфом».

Отделанная дубовыми панелями комната слабо освещена настольной лампой. Можно разглядеть только продолговатый полированный стол да кожаные стулья с резными спинками.

Ивану Ивановичу спешит навстречу обрадованный Ключевский:

— Какой молодчина! Получили молнию и сразу на самолет... Ну, поздравляю, от всей души!

— А с чем, собственно? — недоумевает бывший матрос.

Старик закладывает его в объятия:

— На должность заведующего губфо выдвинут товарищ Шумов! Сегодня было решение.

Совершенно растерянный Шумов машинально опускается на стул.

— А если я не гожусь? Не справлюсь?..

— Вы годитесь и справитесь! Вы умеете держать генеральную линию!

— Да, кстати, с генеральной... В Москве говорят, что решен вопрос о постройке Днепрогэса, Туркестано-Сибирской железной дороги, Сталинградского тракторного... — оживляется Иван Иванович.

Ключевскому тоже хочется поделиться новостями:

— А у нас закрывают судоремонтный. Не удивляйтесь — на его базе создается судостроительный завод! И еще планируем механический, трубный, химических удобрений... Сколько денег потребуется в бюджет! Уйма!

Все эти новости Шумов слушает уже не слишком внимательно.

— Да, да, конечно... А вы давно не видели Галочку?

Ключевский, конечно, не может знать, что девушка сейчас сидит в отдельном кабинете ресторана, под сенью огромного оранжевого абжура. Сюда издали доносится румба и шарканье множества ног.

Иллюзионист наполняет фужеры шампанским. Ажурная пена льётся на скатерть, попадает на вазу с фруктами, на десертные тарелки, потому что пронзительные, похожие на буравчики глазки Леопарди ни на миг не отрываются от лица его партнерши.

— Я вам сказал, Стелла: еще один бокал, и все!

Студентка послушно делает несколько глотков... и заливается совершенно несвойственным ей капризным смехом.

— А ведь мы с вами немного жулики! Очень даже возможно... Только вы большой, а я маленькая... С разрешения Наркомздрава...

«Доктор магии» улыбается:

— Мы артисты оригинального жанра. Это не жульничество, это иллюзия...

Но студентка уже не слушает, ее голова безвольно опускается на спинку плюшевого кресла.

— Вы говорили, от шампанского пойдет... А голова совсем закружилась...

Маэстро быстро закрывает дверь на ключ, подходит к девушке и крепко целует в губы.

Это сразу отрезвляет Галочку. Она отталкивает Леопарди с такой силой, что он, как мешок, плюхается на диван. Циркача сразу покидает наигранный равнодушный тон.

— Сколько можно ломаться, деточка? Я же тебя взял в номер, одел с головы до ног.

— Не все можно купить! Давитесь вашими деньгами! Вот... вот... вот...

И она швыряет в голову иллюзиониста все, что стоит на столе, — апельсины, куски рыбы, крабы, бросает на ковер сумку, пушистый берет, стеклянное ожерелье. Открывает дверь и сразу успокаивается:

— Платье и туфли я пришло вам в цирк... А тут, в ресторане, нет керосина?

Вытирая лицо салфеткой, Леопарди в смятии спрашивает:

— При чем тут еще керосин?

— Я ведь рабочая девушка, охтенская. У нас керосином смывают с рук копать, ржавчину, всякую дрянь... Вроде вас.

В большой зал «Эльдорадо» входят Шумов и Ключевский. Старик брезгливо морщится, глядя на ночную ресторанный публику, отпльсывающую румбу.

— Я угошаю. Дома-то ведь у вас пусто...

— Но я должен опять в общежитие. Мне там сказали, что она еще не уехала и будет попозже.

— Мы быстренько. Вы успеете туда раньше, чем ваша милая...

И тут он замолкает, увидев, как через гущу танцующих проталкивается разгневанная Галочка.

Шумов бросается навстречу, хватая ее за руки:

— Вы здесь? Одна?!

Девушка с плачем прижимается к его груди.

— Какое счастье, что это вы! Увезите меня отсюда скорее. И ничего не спрашивайте! Потом, потом...

Ключевский опускается на свободный стул и машинально говорит подоспевшему официанту:

— Холодного боржома...

А молодые люди садятся в пролетку к тому самому старику-извозчику, который вез их когда-то с пристани.

— Гони, отец, на Соборную, бывший дом Нестратова...

— Стало быть, улица Карла Маркса, общежитие финансового отдела. Как не знать!

Девушка с отвращением смотрит на свое нарядное платье:

— Нет, я должна переодеться. Извозчик, Большая Дворянская, дом Института...

Возница круто поворачивает свою свивую лошадедку.

— Место известное — улица Чернышевского, дом двадцатый... А ну, кормилица, шевели копытами!

Пролетка подкатывает к подъезду старинного дома с колоннами.

Беленькая комната общежития заполнена клубами табачного дыма. Все новые голубоватые круги поднимаются из угла, где сидит худощавый военный в кожаной тужурке.

Когда молодые люди входят, он встает и официально спрашивает:

— Ваша фамилия — Быстрова?

— Да... — упавшим голосом подтверждает студентка.

— Имя, отчество?

— Галина Агафоновна...

Шумов решает выяснить в чем дело:

— А вы откуда, товарищ? Я могу ругаться...

Военный открывает полевую сумку:

— Не требуется. Я из ГПУ.

— Какие у меня дела в ГПУ? — пугается Галя.

— Не знаю, не знаю... Вам пакет от председателя коллегии. Распишитесь.

Она машинально расписывается, берет в руки письмо за тяжелой сургучной печатью. А курьер уже исчезает в дверях.

И вот над листком почтовой бумаги склоняются две головы. Студентка, слегка заикаясь, читает вслух:

— «Милая Галочка! Позвольте мне поговорить с вами от всей души как старшему товарищу и другу...» Ой, а откуда он знает, что я — Галочка? — совсем теряется девушка.

— В ГПУ все известно, — отзывается Иван Иванович, наконец сообразив, в чем дело.

— Очень даже возможно... Но вы только послушайте! «Мы, старая гвардия, отдали себя в служение людям, чтобы каждый мог полностью испить чашу земного счастья... Но ни стены одиночек, ни решетки, ни кандалы не могли погасить нашей любви... Не знаю, когда я больше любил свою жену — в день свадьбы или сидя в варшавской цитадели... Ее арестовали беременную... И сын наш Ясик родился в тюрьме...»

— Сильные они люди! Не такие, как мы с вами... — вздыхает Шумов.

— «Я решил вам написать, потому что не согласен с вами... Один говорит «люблю» — и это лишь фраза. Другой же говорит «люблю» — и за этим словом выступает человек с чувством. Шумов вас любит, а

вы его? Что у вас — фраза или чувство?..»

Девушка роняет письмо на колени и обнимает Шумова.

— Я люблю... И перед вами ни в чем не виновата... У меня не фраза!

Бывший матрос целует ее в щеку. Она слегка отстраняется, вся во власти душевного смятения.

— Потом, потом, дайте дочитать... А почему он мне пишет, сам Дзержинский, Феликс Эдмундович? Кто с ним говорил?

— Ну что за разговор, товарищ Чичаев? Неужели вы не можете решить это у себя в секторе? — с сердцем произносит Шумов, обращаясь к Иксу.

Икс все такой же кругленький, как года четыре назад, когда он был рабфаковцем. Сейчас он стоит перед заведующим финотделом с какими-то папками в руках.

— Они не согласны, Иван Иванович. Требуют, чтоб допустили, как они выражаются, «к самому». Надо бы уважить, люди издалека, из Леденцов. И вопрос у них скорее политический.

— А когда же финансы отрывались от политики? Вы экономический факультет окончили — должны разбираться. — Иван Иванович нажимает кнопку звонка. — Ладно. Вы не уходите.

В кабинете появляются двое пожилых крестьян — чернявый и рыжеватый. Посетители, кланяясь, приближаются к начальству. Но заведующий финотделом уже сам идет к ним навстречу, пожимает руки, усаживает на кожаные стулья, сохранившиеся еще с банковских времен.

— Богато живете, уважаемый, — говорит рыжий, ощупывая красную суконную скатерть.

— Это дом Коммерческого банка.

— Значит, реквизиция была... А давно ли? — допытывается чернобровый.

— Да вот, двенадцатую годовщину в октябре справили... — Ну, в чем нужда? Выкладывайте, отцы...

Ходоки подталкивают друг друга валенками. Наконец чернобровый осторожно произносит:

— Недоимка у нас... Так вот, хлопочем от всего общества. Ходим, ходим, и всюду отказ. Только на вас надежда.

— Чичаев, дайте мне заключение Ключевского... Действительно, странно. Почему столько набралось? Леденцы — село торговое, богатое...

— Было, родимый, было. А теперь только слава осталась. Хлебушек не родится, рыбака не ловится... — жалуетесь рыжий.

— Что скажет заведующий сектором? Икс явно затрудняется с ответом.

— Тут возможны два подхода... Если завинтить финансовый пресс, товарный выход хлеба должен увеличиться. Но, с другой стороны, как бы не перегнуть...

— Тут возможен только один подход — классовый! Середнякам недоимку скинем, а кулачеству... В следующий раз. Довольны?

Леденцовские представители несколько разочарованы.

— На этом, конечно, тоже спасибо... Только нам лучше теперь Желдыбиним и на глаза не попадаться. Особливо Николаю Александровичу, — грустно говорит чернобородый.

— Это что за особа?

— Он у нас вроде царя. Только свергнуть его потруднее... Лучшая земля — у Желдыбинных, жнейки, молотилки, всякое орудие — у них же... Баркасы, невода, копилка — все желдыбинское! — со злостью поясняет рыжий.

Шумов встает с кресла, подходит к своим посетителям почти вплотную.

— Ну, и гнали бы вы это кулаче в шею. Подумаешь, царь! Власть-то у нас советская. Коммунисты есть у вас на селе?

Чернобровый крестьянин вздыхает:

— Были, голубчик, были... Один — пастихов сын, а другой — демобилизованный. Только потонули оба по весне. У нас под берегом — омота страсть какие глубокие.

Икс поживается, словно от озноба.

— Ну а комсомольцы? Тоже все утонули?

Рыжий с безнадежностью машет рукой:

— Совсем притихли. Особенно как учительницу подвода переехала...

— Я понимаю, вас кулаки ко мне послали, — говорит Шумов. — Но вы-то сами за кого? Можете начистоту — все останется между нами.

Ходоки опять переглядываются. И чернобровый пускается в откровенность:

— Кому не хочется по-людски жить? В Крутоярове колхоз, в Балагуше тоже. А у нас — не пикни... И сколько зерна на самогонку переводят — страсть! Вся округа споена...

— Вот что, отцы, надо ваших Желдыбинных... А рабочий класс поможет!

— Нам бы хоть одного партийного прислать, только настоящего... Чтоб не только бедноту, но и все середнячество мог поднять, — делится своими мыслями рыжий.

— Позвольте, а сельпо у вас в самих Леденцах или на пристани? Там же друг мой старинный Алеша Вдовин работал. Правда, не пишет третий год. И на свадьбу ко мне не приехал.

Чернобровый ходок отвечает с горечью:

— А вас на свадьбу он позвал, уважаемый? Он, конечно, ответственная личность. Но считается у нас как нейтральный.

— Какой там нейтральный! — добавляет рыжий. — Его Николай Александрович на младшей дочке женил, на Груне. Первеющая красавица! Как глянеть, ровно в сердце ударила...

— Удар сердечный в ту пятницу случился у Захара Фомича. С той поры из себя стал беленький, рученьки и ноженьки не ходят, — сквозь слезы лепечет Пелагея Кондратьевна, отодвигая ширму перед постелью больного.

Он возлежит на двуспальной старинной кровати, и резные амуры ведут над ним свой бесконечный хоровод.

Братья Шубниковы садятся к изголовью.

— Ну, небось полегчало? Вид с лица еще ничего!.. — неестественно бодрым тоном восклицает старший москательщик.

— Пиявки надо ставить. Наш родитель чуть ни год этим спасался, — сообщает младший.

— Твое дело — пакля. Пускай доктора мозгуют, они тоже кушать хотят. Лучше говорите, что слышно, — раздается слабый голос.

— Беда, Захар Фомич. За неделю в городе штук двадцать торговых точек объявилось — и все государственные, кооперативные... Да еще колхозные лари полезли...

— Слоник свое «Готовое платье» закрыл, и ему шьют дело с ворованной мануфактурой. Все описано!..

— А Шумов-то лютует! В губфо ни души, все на объектах — проверяют даже за прошлые годы... Запомнится нам этот двадцать девятый!

Больной через силу поднимает голову и с тоской обращается куда-то к потолку:

— Прибери, господи... Хоть в своей постели... — И тут же валится на бок, прошептав еще два слова: — Пелагея... Капли...

Испуганные москательщики выбегают из-за ширмы, уступая место заботливой жене и дочери. Те проходят к больному... Но видят пустую постель. Нэпман торопливо одевается, затягивает подбитые гвоздями сапожищи, накидывает драную шинель — ту самую, в которой он прибыл из Парижа.

Пелагея Кондратьевна вытаскивает из-под кровати туго набитый вещевого мешок.

— Отец, куда ты? — спрашивает изумленная Адель.

— Уходить надо, пока можно своим ходом... — говорит Нестратов, опрокидывая на дорогу чарку водки.

— Но у нас все по закону? — неуверенно заикается наследница.

— Как сказать... И взятки, и дела с валютой. Да и книги наши... Ты их только Ключевскому в руки на денек дай... А сколько для нас в заповеднике зверя били. За одно это — десять лет!

— Неужели в Париж? — с завистью спрашивает Адель.

— Кому мы там нужны? У них свои Нестратовы, французские... Нет, только к Савельичу, в Заозерье. Поступлю в лесничество, хоть сторожем. Схоронюсь до поры... А всем говорите: совсем, мол, плох Нестратов, в Ленинград, в клинику увезли.

Жена помогает ему надеть вещевого мешок:

— И опять все под амуров?

— И думать забудь! Как можно скорее ко мне, в Заозерье...

— А в Заозерье тут больше проезда нету. Государственный механический весь пустырь занял, так что придется давать крюк через набережную, граждане,— говорит словоохотливая баба-сторожика.

Они стоят возле проходной, по обе стороны которой простирается глухой забор.

Нестратов высовывает из пролетки голову в суконной ушанке и пристально смотрит на краны, поднимающие свои хоботы за оградой, на огромные бухты кабеля, грудой сложенные возле трансформаторной будки.

— Извозчик, пошел вкруговую!

Возница с сомнением поглядывает на драную шинель пассажира.

— Трогай, трогай! Как-нибудь наскребу...

Уже позади остаются огни и шум судостроительного. Но вдоль пути Захара Фомича мелькают другие заборы... проходные... фабричные вывески... Высоко к небу поднимаются дымящиеся трубы... А по реке плывут пароходы, буксиры, баржи... И судовые гудки перекликаются с заводскими.

На реке ледостав. Скованные морозом волны белым кружевом застывают на отмели у прибрежного ресторана. Валит снег.

Мрачный Макеев бродит по опустевшему «Эльдорадо», не обращая внимания на вой пурги за окнами. Он с тоской смотрит, как официанты снимают бархатные шторы, складывают стопками тарелки, выстраивают на столиках длинные ряды рюмок. Какая-то комиссия за стойкой пересчитывает бутылки.

Из-за горки перевернутых стульев появляется одетая с деревенским шиком женщина, в расшитом тулупчике, пуховом

платке и фетровых валенках. Она бесцеремонно останавливает за рукав хозяина, и он с удивлением узнает Тоську.

— Что стряслось, Феденька? Описали?

Владелец ресторана отводит ее в сторону, чтобы пропустить грузчиков, увлакивающих рояль.

— Полный прокол... Рыбники засыпались, у которых мы левый товар брали.

— Стало быть, горишь?

— Похоже... Меня новая прокурорша вызывала, знаешь, татарка, шумовской жены подружка.

Тасия Кирилловна тихонько свистит:

— Контора известная. Эта не возьмет.

По рябому лицу Макеева скользит невеселая усмешка:

— А я прощаться пришла, уезжаю в Леденцы.

— А как же Захар Фомич?

— Не ведаю. И не горюю, я птаха вольная. Ну, дружок, может, поедешь со мной? А что в твоей Адельке? Одна злость.

Зять Нестратова находится в состоянии полной растерянности. Он даже не видит, как маляры проносят мимо них сверкающую свежей краской вывеску: «Государственный ресторан первого разряда «Ермак».

— Как можно? Ведь я ей супруг венчанный...

Тоська придвигается к нему вплотную:

— От твоей венчанной и передачи в тюрьме не дожدهшься. А говорят, к нам жалует из ГПУ группа Доронина. Гляди, схлопочешь себе вышку. Ты меня слушай. Что успеем вынести — ко мне. А ночью — в Леденцы.

— Неужели в Леденцы? — тревожно спрашивает Ключевский, обращаясь к Шумову и Гале.

Иван Иванович поднимает с пола кудрявого мальчика лет двух.

— Как в губкоме скажут. Но, в общем, в те места. И к вам большая просьба — взять к себе нашего Феликса, недельки на две. Ну, на месяц...

Старик берет ребенка на руки:

— Ах, вот как... И Галочка тоже?

— И Галочка тоже. Вместе с бригадой судостроительного...

Ключевский, прижимая к своей груди доверчивую кудрявую головку их сына, смотрит в темный провал окна:

— О Феликсе не беспокойтесь. И я тоже постараюсь... не беспокоиться...

Один из классов сельской школы до отказа забит крестьянами. За столом президиума — старики да трое деревенских

комсомольцев. Пристально вглядываются в лица присутствующих приезжие — старый тачечник дядя Серафим, еще один рабочий помоложе и Заира.

— Я из прокуратуры,— говорит Заира.— И при вашей помощи, товарищи, должна распутать все здешние уголовные дела.

Наступает долгое молчание. Наконец набирается духу крестьянин с густыми черными бровями:

— Да мы бы помогли! Только ваша бригада уедет, уважаемая. А с нами расчет короткий — в омут головой.

Задорный комсомолец из первого ряда вспыхивает как порох:

— Что вы говорите, папаня! Неужели весь век труса праздновать? Я лично не согласен перед кулачем дрожать!

Его поддерживает тоненькая, как свечечка, девушка:

— Если можно, я первая вступлю. Мы с маманей согласные. Корову с телкой отдаем и лошадь.

Рыжий крестьянин выбегает вперед, требуя всеобщего внимания:

— Я от середняков скажу, которые, понятно, без наемного труда... Нам тоже желательнее тракторами пахать! Но покуда старшой Желдыбин считается Николай Александрович, а не просто сволочь — толку не будет!

— Свергнуть их всех надо! Не то только беду наживем...

— А с ихним зятком чего делать?

На этот вопрос отвечает Галя:

— Вдовин на собрание не явился... Ну, ничего, уполномоченный губкома партии товарищ Шумов пошел лично его проведать...

В большой хорошо обставленной горнице Алеша собирается в дорогу. Надевает поверх рубашки толстую фуфайку, аккуратно прикрепляет к ней орден. Его жена — красавица Груня подает мужу обшитые кожей бурки:

— А не лучше ли тебе в свинарнике схорониться? Кто тебя там искать станет, Лешенька?

Хозяин дома проверяет патроны в нагане. Теперь становится видно, что он сильно обрюзг и только глаза сохраняют прежний лукавый задор.

— Нет, Грушенька, кругом столько колючих глаз стало. Я лучше махну в Крутоярово, вроде на базу. Пойдем запрягать вороного.

Но запрягать уже поздно — в закрытую дверь стучат сильные руки, колотят подкованные каблуки.

— Принимай гостей! Да поживей запоры сымай... — раздается из сеней чей-то сильный голос.

Вдовин кидается к окну, вышибает за-

мазанную створку... И тут же отшатырается назад, потому что на подоконник влезает чубатый паренек лет семнадцати в расстегнутом тулупе и с маузером в руке.

Дверь слетает с петель под натиском крепких плеч, и в горницу вваливается целая орава кулачья. У каждого из-за пазухи торчит обрез или револьверная рукоятка. Они расступаются, чтобы пропустить вперед осанистого старика Желдыбина. И можно заметить, что они все в большей или меньшей степени на него похожи.

— Папаня... — бросается к Желдыбину Груня.

— Ты не суйся! У нас дело сурьезное, мужицкое,— сипит отец, медленно опускаясь на стул. Он переводит тяжелый взгляд на побледневшего Вдовина: — Эх, зятек, зятек... Мы тебя в родно взяли, каким добром задарили! Думали, пушай будет свой коммунист, да еще при должности. А ты? В чем твоя благодарность?

В разговор вмешиваются другие члены фамилии — сыновья, племянники, свояки:

— Сало наше жрал! Пудами!

— А самогонку! Целыми четвертями жарил!

— Груню ему в жёнки не пожалели!

Бывший моряк с трудом берет себя в руки:

— Говорите ясно, чего от меня требуется, Николай Александрович.

— Все требуется... Чтоб с нами до конца. Пиши записку на склад, пусть Герасиму весь керосин выдадут. А тебе лично поручение — партийный уполномоченный Шумов... Можно из нагана, а лучше конями...

— Керосин-то зачем Герасиму? — оторопело бормочет Алеша.

— Известно зачем. Элеватор ночью сожгем,— спокойно поясняет жилистый дядька.

— Сколько раз говорено — я человек нейтральный... И на такие дела не пойду! — заявляет председатель сельпо.

— Кончат его, что ли? — лениво спрашивает чубатый паренек, слезая с подоконника.

— Папаня!.. Брательники!.. Свояки!.. Пожалейте моего Алексея... Он пойдет, для меня пойдет... — голосит Груня.

Воспользовавшись минутным замешательством, Вдовин хватает наган и прыгает за окно.

За стеной сразу звучит гулкий выстрел. Макеев наклоняет свое рябое лицо к уткнувшемуся ничком в сугроб телу.

— Открылась в сельпо вакансия... Как только теперь керосин достанем? — говорит он Тоське.

— Не скули. Хорошо еще, что мы на дворе караул держали. А горючку добудем — не добром, так силком!

Председатель сельпо лежит на прикрытой кисейным пологом никелированной кровати. Груня недвижно сидит у него в ногах.

Иван Иванович осторожно откидывает кيسة и долго смотрит на своего бывшего друга.

— Эх, Алеша, Алеша... Заблудился ты в жизни, а умер, как балтийский матрос от вражеской пули. Кто его убил?

— Родня моя, Желдыбины... Вы бы лучше ушли — ведь все из-за вас...

— А куда они подевались? Где искать?

— Элеватор поехали жечь... Только вам нипочем не догнать.

Кулацкий обоз останавливается возле закрытых ворот нового элеватора. Чубатый паренек и жилистый Герасим соскакивают с саней и ломятся в калитку:

— Эй, охрана! Открывай! Самогону дам по четверти на брата... И деньгами тоже... А не то — живьем сожгу! — сипит Желдыбин.

Из-за ворот раздается робкий голос:

— Все равно убьешь... И мы еще будем в ответе...

Считая мирные переговоры законченными, Николай Александрович машет рукавицей. Несколько здоровенных мужиков поднимают огромное бревно. Со второго удара отлетают железные скобы, настезь распаиваются обе створки.

Подняв руки, прислоняются к кирпичной стене четверо сторожей из инвалидной команды. Винтовки воткнуты в снег дулами вниз.

— Сдаемся на милость. Ваша взяла... — вздыхает колченогий начальник охраны.

— Поздно надумали! — отрезает Желдыбин.

— Кончать их, что ли? — Чубатый паренек поднимает маузер.

— А ты не спеши, еще надо разобраться, чья взяла, — насмешливо говорит Доронин, выходя из тени.

И сразу загораются яркие висячие фонари. Теперь видно, что весь двор оцеплен чекистами.

— А ну, бросай оружие! — кричит Доронин.

Сторожа, посмеиваясь, закрывают ворота. К ногам протрезвевших кулаков падают обрезы, наганы, берданки, топоры.

Бывший комиссар ощупывает карманы леденцовского богатя:

— Ну, с приездом, Николай Александрович...

Но тот еще хорохорится:

— Ты тоже не спеши, начальник. Деревня-то, она большая... Хватит ли у тебя кожаных курток?

— А мне помогут все, кого ты донага раздел!

— Надейся, надейся... Только смотри, как нагрянут Чудаковы из Балагуш, да Разуваевы, да еще Кондаковы...

Доронин снимает стальные очки, отчего его лицо сразу приобретает добродушное выражение:

— А ну, давай за мной, вот сюда...

Он ведет Желдыбина в амбар, где на грудах старых мешков сидят несколько здоровенных бородачей. Лишь один юркий старичок в меховой бекеше мечется взад и вперед, как лиса в западне.

Николай Александрович в сердцах бросает шапку на пол:

— Как же ты, кум, оплошал?! А хвалился — мы, Чудаковы, всю пристань запалим!

— Так мне простительно, Николаша. Всея родни-то семеро мужиков. Середняки-то наши отвернули...

К воротам элеватора подкатывают сани, груженные железными керосиновыми бочками. Макеев осаживает взмыленных жеребцов, подозрительно оглядывая следы полозьев на грязном снегу:

— Неужто мы их обогнали?

И пока кучка сородичей Груни сбрасывает наземь бочки, к забору подъезжают еще несколько троек с пьяным кулачем.

Тоська решительно стучит в ворота:

— Эй, кто там, открывай!

За забором раздается пронзительное ржание лошадей.

— Засада! — кричит Федор Петрович, поворачивая оглобли.

Его давнишняя подруга на ходу прыгает в кузов, и все остальные бандиты вылетают за ними на дорогу, изо всех сил нахлестывая лошадей.

Распахиваются ворота элеватора, на дороге вырывается пикап с чекистами. Яркий свет автомобильных фар пробивает снежную пелену.

Карьером уходит кулацкий обоз. Но беспощадные лучи все ближе.

А со стороны села тоже раздается гудение мотора. Снопы света слепят лошадей.

На большом грузовике едут вооруженные чем попало крестьяне и члены рабочей бригады. Несмотря на быстрый ход, на борту машины можно разглядеть обоих ходоков, дядю Серафима, Галю и Шумова.

Тройки сворачивают с дороги на завьюженное поле. Застревают в сугробах... Бандиты, проваливаясь в ноздреватом предвесеннем снегу, пробираются к темнеющей вдали железнодорожной станции.

Федор Петрович проползает под вагоном в какой-то тупик и, вставая на ноги, неожиданно сталкивается с уполномоченным губкома.

— А может, разойдемся по-хорошему? — рычит Макеев, поднимая с земли ржавую рельсу.

— В следующий раз! — Шумов наводит на него наган. И, взглядевшись в бритое рябое лицо, вдруг вспоминает их прежнюю встречу во время штурма мятежного Кронштадта. — Постой... Так это ты меня тогда на Графской пристани палашом...

Вместо ответа бандит замахивается тяжелым куском металла. Но тут раздается гулкий выстрел...

Всю эту сцену сквозь окошко соседнего товарного вагона наблюдает Тоська-Самолет, стоя на груде ящиков. Затем она устраивается в углу на роговых кулях, готовая к новым превратностям судьбы...

Возле элеватора еще много народа... Тесной группой стоят Доронин, Заира, Игрек, дядя Серафим и Шумов с Галей. Они молча смотрят на тонкую полоску зари, заалевшей на далеком горизонте...

О ВЛАДИМИРЕ КРЕПСЕ

Люди старшего поколения, несомненно, помнят, какими яркими событиями в культурной жизни страны были в свое время художественные фильмы «Крушение эмирата», «Море студеное», «Райнис», фильмы-портреты, рассказывающие о творчестве Хмелева, Качалова, Шукина, Вахангова, Протазанова, документальные и научно-популярные ленты «В небе Покрышкин», «Великий дар природы». Автором и соавтором сценариев этих кинокартин был Владимир Михайлович Крепс. За участие в работе над фильмом «Райнис» он был удостоен Государственной премии СССР. А кто не знает цикла радиопьес «Клуб знаменитых капитанов», вот уже почти сорок лет не теряющих своей популярности у миллионов подростков! Первыми авторами цикла неизменно являлись Владимир Крепс и Климентий Минц.

Один лишь перечень названий говорит о необычайно разносторонних интересах В. Крепса, о его даре неординарного выдумщика и рассказчика, исследователя и документалиста.

Мы были знакомы долгие годы. Перед моими глазами и сегодня стоит полный, несколько громоздкий человек, улыбающийся, со вкусом посасывающий привычную трубочку. Было в его облике нечто домашнее, или, если хотите, клубное — иначе говоря, своеское, сразу же располагающее к себе. Трудно было представить, что когда-то он был красноармейцем, боевым матросом, героем Гражданской войны, участником подавления Кронштадтского мятежа, а затем — солдатом Великой Отечественной. Среди наград В. Крепса были и медали «За взятие Берлина» и «За взятие Кенигсберга». Ветеран партии, ветеран войны, ветеран труда, он был живой историей страны, отлично помнил многие фрагменты этой истории и мастерски рассказывал о них в своих произведениях.

Сценарий «Разбег», предлагаемый вниманию читателей альманаха, был написан Владимиром Крепсом более тридцати лет назад. Предназначался он для известного кинорежиссера Леонида Лукова, пошел было в работу, но в какой-то момент режиссер, как это, увы, нередко случается, увлекся другим замыслом. Сценарий «Разбег» рассказывает о довольно длительном этапе истории страны — от Кронштадтского мятежа до периода индустриализации. Возможно, кое-что в этом произведении сегодняшнему читателю покажется наивным, чрезмерно упрощенным. Однако как документ эпохи, убедительно отражающий ее дух, сценарий, безусловно, заслуживает читательского внимания.

Юрий Яковлев

Валентин Черных

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ЭПОХЕ

Во весь экран, отражаясь в зеркальной стене, стоял «форд», блестя никелем и ярко-синей краской.

На титрах проходили «мерседесы», «фольксвагены», «оппели», «крейслеры», «кадиллаки», советские «ЗиСы», «ЗиМы», «Победы», «Чайки»...

Рука взяла «Чайку» и стала протирать влажным поролоном.

Кириллов — мужчина под семьдесят, но еще крепкий, мослатый — занимался уборкой квартиры. Квартира была стандартная, двухкомнатная, со стандартной стенкой, единственным украшением была коллекция игрушечных автомобилей, хорошая коллекция: десятки моделей от старинных до ультрасовременных.

Зазвонил телефон. Кириллов уменьшил звук работавшего телевизора, поднял трубку.

— У аппарата, — ответил он. — Здравствуйте, Валерьян Петрович. Да я ничего. Как ваше-то здоровье?.. Это нормально, это от перемены погоды... Я лично готов... Хорошо... Там же.

Они встретились — бывший министр, высокий представительный старик в бобровой шапке и в пальто с бобровым воротником, и Кириллов, в коротком двубортном пальто и черной каракулевой шапке, покрытой кожей. Пожали друг другу руки.

— Вот, получай обещанное, английское. — Бывший министр вынул два ярких флакона.

— Спасибо. — Кириллов бережно положил лекарство в карман. — Это, как говорится, то, что доктор прописал. Отшагаем положенные десять тысяч, и сразу же отвезу, ждут там.

— Ну, раз ждут — вези сейчас, а еще лучше, если меня с собой захватишь, давненько я на твоей коломбине по Москве не катался.

Они открыли гараж. Кириллов включил свет. В гараже стояла, поблескивая черным лаком, «эмка» — солидная легковая машина довоенных лет.

«Эмка» шла по улицам вечерней Москвы. — Твоя половина из Одессы домой не собирается? — спрашивал министр.

— Куда там. Младшенькому пять месяцев всего. Так что один буду зиму зимовать.

— Да уж, мы, старики, для этого дела меньше годимся.

— Это уж точно. Старухи — всегда при деле и нарасхват, а мы — пока вкальваем и пока при почете и уважении. Старик

на пенсии никому не нужен. Мне бы эту зиму продержаться, летом я снова продавцом пойду на овощной ларек. А что? И на свежем воздухе, и подработка. И вам совету.

— Ну, это ты, брат, загнул. Да и люди что скажут?

— А что скажут?.. Да если бы я, как вы, министром был, я бы даже табличку повесил: вас обслуживает такой-то министр, знаете, какая очередь стояла бы. Во-первых, люди бы точно знали — этот не обвешит, а потом интересно на министра посмотреть, хоть и на бывшего, большинство министра и в глаза не видело.

— А что сам не вешаешь табличку? — спросил министр.

— А что я повешу — вас обслуживает шофер первого класса? Тоже мне невидаль.

— Может, заедем? — вдруг предложил министр.

Кириллов кивнул. «Эмка» вернулась и вскоре подъехала к зданию, где в предвоенные годы располагался Совнарком.

Министр вышел, глянул вверх. Окна были темными.

— А помнишь, как по ночам работали? Кириллов кивнул.

— Да-а... Какие люди в эти двери входили, какими делами ворочали...

Молча постояли. Министр вздохнул и сел в машину.

Кириллов вырулил на широкую улицу. Машина медленно двигалась по первому ряду, на нее оглядывались прохожие. И вдруг с тротуара шагнула молодая женщина и замахала руками. Кириллов резко затормозил. Женщина открыла дверцу и сказала:

— Привет, ребята! Не хотите ли подработать?

— В каком смысле? — растерянно спросил министр.

— В прямом, — ответила женщина. — Меня зовут Лена. Я вам сейчас все объясню...

На следующее утро Кириллов подъехал к воротам киностудии, припарковал «Эмку» у проходной, возле которой уже стояли две точно такие же машины.

Потом Кириллов шел по бесконечному коридору, глядяваясь в таблички с названиями кинокартин. Наконец увидел — «Тревожные годы». Заглянул.

— Заходите, — сказала Лена. — Давайте паспорт, я впечатаю ваши данные в договор. Будем платить за смену по тридцать рублей.

В комнату вошел высокий плотный мужчина.

— Сколько машин? — нетерпеливо спросил он.

— Три «Эмки», один «мерседес-бенц».

— А «ЗиС-101»?

— «ЗиСа» нет. Все студийные разобраны, а те, что из картотеки, — у одного гипертонический криз, а другой позвонил, что не может завестись.

— Ты что, не знаешь эту психопатку? Она же съемку отменит! — раздраженно ответил мужчина. — Делай что хочешь, но «ЗиС» должен быть. Замнаркома должен ездить на «ЗиСе».

Лена тяжело вздохнула.

— Совсем не должен, — неожиданно для себя сказал Кириллов.

Мужчина повернулся к нему.

— Простите, вы кто?

— Владелец «Эмки», — представила его Лена. — Берем на договор.

— У наркомов, и то не у всех, были «ЗиСы», — пояснил Кириллов. — А замам обычно подавали «Эмки».

— Откуда вы знаете? — спросил мужчина.

— Я перед войной в гараже Совнаркома работал.

— Если что, сошлись на него, — сказал мужчина и вышел.

Лена благодарно улыбнулась Кириллову.

— А что я должен делать? — спросил он.

— Ничего. Поставьте машину там, где скажут, вот и все.

На здании была прикреплена вывеска «Совет Народных Комиссаров», у входа стояли три «эмки», неподалеку громоздились лихтваген, студийные автобусы, камерваген. Уже были расставлены осветительные приборы.

Кириллов стоял возле своей машины, рядом с молодым парнем в кожаной куртке, галифе и сапогах.

Подбежала Лена:

— Вас к режиссеру.

Кириллова подвели к худенькой молодой женщине в короткой меховой куртке.

— Замнаркома мог ездить на «Эмке»? — нетерпеливо спросила она.

— Здравствуйтесь, — сказал Кириллов.

Режиссер внимательно осмотрела его.

— Здравствуйтесь. — Она улыбнулась. — Я вам задала вопрос.

— А я ответил уже ему, — Кириллов кивнул в сторону высокого плотного мужчины — второго режиссера. — И мог, и ездил.

Режиссер окинула взглядом машины и ткнула в сторону «Эмки» Кириллова.

— Тогда на этой. Актеры готовы?

Из автобуса вышел полный мужчина в костюме довоенного покроя.

— Итак, — сказала ему режиссер, — по сценарию — это зима тридцать восьмого года. Суровое, прямо скажем, время

и не только в смысле времени года... Ваш наркомат срывает важное правительственное задание. Вам сказано: или вы находите выход, или... В общем, вы выходите после этой... беседы и медленно идете, так сказать, в прострации. А ты,— режиссер обратилась к молодому парню в кожаной куртке и галифе, «шоферу замнаркома» — ты выскакиваешь из машины, открываешь дверцу и ждешь. Вы же,— она вновь обратилась к «замнаркома»,— еще секунд пять стоите, вы уже скисли, из вас выпустили воздух, внутренние вы уже не замнаркома и в этом состоянии садитесь в машину. Ты пробуешь завести машину, но то ли от долгого стояния на холоде, то ли тебе передалось настроение начальства, но машину ты завести никак не можешь...

— А сколько времени я не могу завести машину? — спросил «шофер».

Режиссер задумалась и наконец решила:

— Пять метров.

— Секунд десять,— кивнул оператор.

— Глупость это все,— сказал Кириллов, и сказал вроде бы не очень громко, но режиссер услышала.

— В чем глупость? — напористо спросила она.

— Неправда это...

На съемочной площадке стало тихо, некоторые прятали улыбки, другие отворачивались, чтобы не смеяться в открытую.

— А в чем неправда? — напряженно улыбулась режиссер.

— В Совнаркоме работали классные водители, по десять секунд никто не гонял бы. Зачем аккумулятор сажать? И еще — шофер в те годы не выскакивал и не распахиывал дверцу... Это считалось буржуазным лакейством, тогда каждый человек имел чувство собственного достоинства.

Режиссер снисходительно улыбнулась. Кириллов это отметил и вдруг спросил:

— Вы на такси ездите?

— Езжу,— режиссер повела плечами.

— Вам таксист дверцу распахиивает? Да никогда! А если в багажник тяжелый чемодан укладываете, он вам поможет? Вряд ли! Хотя мог бы. Но тогда больше всего опасались лакейства, которое со временем переродилось в хамство. Вот этого мы не ожидали...

Режиссер внимательно посмотрела на Кириллова:

— Простите, как вас зовут?

— Кирилл Иванович.

— А меня Нина Ивановна. Кирилл Иванович, а вы действительно работали в гараже Совнаркома?

— Три года. До сорок первого. Потом четыре года на фронте. Потом в Совмине...

— А что еще вам в этой сцене не нравится, есть ли в ней еще какие-нибудь неточности? — прервала его режиссер.

— Есть,— кивнул Кириллов.

Съемочная группа затихла.

— Ну, например? — с напряженной улыбкой спросила режиссер.

Кириллов оглянулся на актера-«замнаркома» и жестом попросил режиссера отойти с ним в сторонку. Та подчинилась.

— Во-первых,— начал тихо Кириллов,— таких замнаркомов не было.

— Ну, я думаю, замнаркомы были разные,— не согласилась режиссер.

— Таких не было. Вот ему сколько лет? — кивнул он в сторону актера.— Шестьдесят?

— Точно не знаю, кажется, пятьдесят три или пятьдесят четыре.

— По паспорту, может, и пятьдесят три, а по виду все шестьдесят. Таких старых не только что замнаркомов, даже наркомов не было. Товарищ Сталин был самый старший по возрасту, так и ему было только пятьдесят девять в тридцать восьмом году. Я возил наркома связи Ивана Терентьевича Пересыпкина. Так ему было тридцать пять лет, наркому авиационной промышленности Алексею Ивановичу Шахурину — тридцать шесть, товарищу Устинову, когда он стал наркомом боеприпасов, было тридцать три. А замнаркома были или такие же, или даже моложе. По шестнадцать часов работали, только молодые и могли выдерживать. Тогда животов, как у этого вашего замнаркома, не было. Жили небогато. А что требовали строго — это правда. Не требовали бы, может, и в войну не выстояли...

— Значит, мы неправду снимаем? — спросила режиссер.

— А это уж сами решайте,— устало сказал Кириллов.

Режиссер задумалась, потом быстро подошла ко второму режиссеру, взяла висевший у того на плече мегафон и командовала оторопевшим помощникам:

— Перерыв!

Потом вернулась к Кириллову, протянула ему книжечку:

— Кирилл Иванович, вы прочтите, пожалуйста, сценарий и отметьте неточности. Завтра жду вас на студии в десять часов. Пропуск вам закажут.

К ней подбежал пришедший в себя второй режиссер, и они, видя, что к ним прислушиваются, отошли в сторону. Разговор, судя по всему, был темпераментным.

Кириллов сидел в квартире бывшего министра и молча наблюдал, как тот читал сценарий — быстро, решительно, как

привык. В карандашнице стояли остро отточенные цветные карандаши. То он подчеркивал красным, то шел в ход зеленый, то синий, на полях возникали вопросительные и восклицательные знаки.

Министр подошел к полке и взял один из томов Маркса, нашел нужное место, вложил закладку. На столе громоздились уже просмотренные книги.

Молча вошла жена министра и вкатила столик с чаем, вареньем и сушками и также молча удалилась.

Министр перевернул последнюю страницу, взял трубку, набил ее табаком. Кириллов достал «Беломорканал» и закурил, когда закурил министр.

Министр, попыхивая трубкой, прошелся по комнате. И тут Кириллов все-таки не выдержал и спросил:

— Валерьян Петрович, правда ведь интересно? Всё, как было. Почти про вас. Этот Колбасин — замнаркома, и вы были замнаркома. Он командовал корпусом, а вы начсвязи армии.

— Во-первых, Колбасин. Что за фамилия? Надо потребовать, чтобы заменили. Насмешка какая-то.

— А после вас замнаркома стал товарищ Кишков. Тоже фамилия не очень красивая. А работник был замечательный.

— Нет, — сказал министр. — Мы потребуем изменений. Они всё перекосили: замнаркома, а потом генерал — и матерится. Что это за безобразие?

— Безобразия, — согласился Кириллов. — А помните, когда наша сорок седьмая армия оторвалась в наступлении и мы не сразу смогли наладить связь со штабом фронта, как вас обматерили сверху, а вы полковника Евсева обматерили. И потом, они же это с осуждением описывают.

— Где осуждение, там может быть и очернение, — возразил министр и уже совсем твердо добавил: — Вот что, Кирилл, как было, я знаю не хуже тебя, но я еще знаю, как надо!

Кириллов и бывший министр шли по двору студии. Кириллов на полшага сзади. Увидев одну очень известную актрису, Кириллов сказал ей: «Здравствуйте», и та ответила ему: «Здравствуй».

— Ты с ней знаком? — спросил министр.

— Где-то виделись, — ответил Кириллов. — Очень знакомая. А, — вспомнил он, — это директорша нашего магазина «Кулинария».

— Кулинария, — усмехнулся министр. — Это актриса Клара Лучко.

— Ну да! — поразился Кириллов.

Потом они шли по бесконечному коридору студии. Министр зорко всматривался в студийных работников. И остановил свой выбор на солидном, в возрасте, мужчине:

— Простите, как пройти к директору? Мужчина объяснил.

— А зачем к директору-то? — робко поинтересовался Кириллов.

— Главные вопросы надо всегда решать с первым лицом, — ответил министр. — Который может дать указания и проконтролировать их.

В приемной директора накопилась очередь. Заглянул известный актер, привистнул:

— Сколько они сидят-то?

— Час двадцать, — ответил ему другой известный актер, взглянув на часы.

— А чего решают?

— На «Тревожных годах» консультанты скандал устроили.

— Ну, если консультанты, тогда надолго. — И актер бодро вышел из приемной.

Во главе стола сидел директор киностудии, справа — работники съемочной группы, в основном молодые, а слева — Кириллов и бывший министр.

— Значит, мы обо всем договорились, — сказал директор. — Продолжайте работу. Спасибо, товарищи, за консультации.

Директор, прощаясь, пожал им руки, и все пошли к выходу. За столом осталась только режиссер.

— И все-таки я так не могу, — сказала режиссер.

— Сможешь. Сменили актера на замнаркома, и стало лучше. Значит, от них и польза есть.

— Есть, — согласилась режиссер. — Особенно от Кирилла Ивановича. Он многое помнит. Но этот министр! Уже не я, а он снимает фильм. Он во все влезает.

— А ты как думала! Те, которые не влезают, министрами не становятся. В душе-то он все равно министр. Когда ты станешь старой и уже не сможешь снимать фильмы, ты все равно останешься режиссером. И будешь ворчать, давать советы молодым.

— Я не буду, — сказала режиссер.

— Будешь! — сказал директор. — Еще как будешь! Иди, продолжай работу.

И работа продолжалась. В павильоне осветители дали свет. Актриса — молодая женщина в маркизетовом платье по моде тех лет — накрывала на стол. Распахнулась дверь, и вошел уже более молодой

«замнаркома», в клетчатом костюме, широкополой шляпе, с чемоданом и цветами. Женщина бросилась к нему, обняла.

— Стоп! — крикнул министр и вошел в кадр.

Оператор оторвался от камеры, обхватил голову руками в бессильной ярости.

— Почему белый атласный галстук? — министр подошел к «замнаркома». — У вас же тридцать восьмой год. Не было атласных в тридцать восьмом. Уже пошел нормальный советский галстук в горошек или полоску. Белый галстук можно два раза, от силы — три, надеть. А где его чистить? Химчисток не было.

— Валерьян Петрович, — начала объяснять режиссер, — по сценарию «замнаркома» приезжает из заграничной командировки и поэтому одет во все заграничное, яркое. Мне об этом бабушка рассказывала. У нас даже фотография есть такая в альбоме.

— Нет, — сказал министр. — Руководитель не позволял себе яркого. И вообще, руководство старалось не выделяться одеждой. Предпочтение отдавалось темно-синему, темно-серому и темно-зеленому. Никогда не видел ни одного руководящего работника в атласном галстуке, в костюме в клетку. В полоску — да, но... едва заметную. А потом это не аргумент: бабушка, видите ли, рассказала...

Режиссер заплакала. Ее бросились успокаивать.

— Что это такое? — удивился министр. — При чем тут слезы? Если вы не согласны, доказывайте свою точку зрения, боритесь.

— Я не хочу бороться, я хочу работать, — выкрикнула сквозь слезы режиссер.

Министр и Кириллов выезжали на «Эмке» с территории студии. У самых ворот им навстречу шагнула пожилая женщина, приказывая остановиться. Кириллов резко затормозил. Женщина рванула дверцу и села на заднее сиденье.

— Вы чего девке не даете работать? — спросила она напористо.

— Какой девке? — спросил министр. — И кто вы такая?

— Я Нинкина бабушка, а Нинка — режиссер.

— А, значит, вы и есть та бабушка, которая дает безответственные советы внучке, — сказал министр. — Так вот, выслушайте мой совет: занимайтесь правнуками, у вас, наверное, уже и правнуки есть.

— У меня всё есть, — сказала женщина. — А у тебя явно не хватает. — Женщина крутанула пальцем у виска. — Ладно, физкульт-привет! — И, хлопнув дверцей, вышла из машины.

Утром Кириллов подъехал к высотному дому, в котором жил бывший министр. Поднялся на лифте, обшитом красным деревом.

Министр заканчивал завтрак.

— Садись, — сказал он. — Ты же холостякуешь. — И налил Кириллову чаю.

Кириллов взглянул на часы.

— Успеваем, — сказал министр. — К тому же они вовремя никогда не начинают.

Они вышли на улицу. «Эмки» у подъезда не было. Министр взглянул на Кириллова, на лбу которого мгновенно выступил пот.

— Может, за углом поставил? — предположил министр.

Они зашли за угол, заглянули во двор. Машины не было. Кириллов прислонился к дереву. Министр выдалив из облатки шарик нитроглицерина, протянул Кириллову.

— Вы не волнуйтесь, — говорил им дежурный лейтенант в милиции. — Я думаю, что это мальчишки побаловаться решили, интересно же на такой старине покататься! Идите домой. Телефон ваш есть. Думаю, мы еще сегодня вам позвоним. Где-нибудь здесь она, в нашем районе.

— Вы уж постарайтесь, — сказал министр.

— Мы обязательно постараемся. Сейчас сообщу дежурному по городу, и на всякий случай перекроем все выезды из Москвы.

— Может быть, пообещать награду? — сказал министр.

— У нас для работников премия установлена за нахождение машины.

Кириллов лежал на тахте, укрывшись пледом. Раздался звонок. Кириллов поднялся, открыл дверь. Вошел министр и с ним вместе могучий старик.

— Знакомься, — сказал министр. — Комиссар милиции.

— В отставке, — сказал старик и представился: — Пятиглазов.

— Целыми днями лежит, — сказал министр Пятиглазову. — Помрет с горя ведь, а милиция второй месяц ищет, и ничего! Надо на министра выходить.

— Министр новый, — сказал Пятиглазов. — Я с ним не служил.

— Но кто-то с ним служил, — сказал министр, — связи-то остались.

— Связи, связи... — вздохнул Пятиглазов и раскрыл большую записную книжку. — Этот на пенсии, этого уволили, этот помер, этого уволили и этого тоже...

Вот что,— решил бывший комиссар,— поначалу давайте разберемся сами. Кому было выгодно увести машину?

— Сейчас много любителей ретро,— сказал министр.

— Эту версию милиция отработала. Это не любитель старины. Встать! — вдруг приказал комиссар Кириллову. Тот выполнил приказ.— Сосредоточьтесь! Есть у вас недоброжелатели?

— Нет,— сказал Кириллов.

— Недоброжелатели есть у каждого. Вспоминайте. Соседи по площадке? По гаражу? Вам не предлагали продать гараж? Родственники? С кем вы ссорились в последнее время? Есть ли среди ваших знакомых бывшие уголовники?

— Нет у меня знакомых уголовников.

— Должны быть,— сказал комиссар.— Потому что угон совершен профессионально.

Комиссар стоял возле универсама. Из дверей нагруженная двумя сумками вышла женщина, которая подсаживалась к Кириллову и министру в «Эмку» возле киностудии.

— Анна Петровна, здравствуйте,— поздоровался комиссар.

— Здравствуй,— ответила Анна Петровна.— Мы с тобой знакомы, что ли?

— Еще нет, но познакомимся.

— Начинай тогда.— Анна Петровна сунула сумки комиссару...

...Потом они уселись передохнуть на лавочке возле дома Анны Петровны.

— Петровна, а ты все-таки нехорошо поступила с машиной,— сказал комиссар.

— А ты мне на уши лапшу не вешай,— мгновенноотреагировала Анна Петровна.— Машину я не угоняла и управлять не умею.

— Я же не говорил, что машину угоняли,— сказал комиссар.— Может, я про швейную машину сказал... Вот ты себя и выдала.

— Я выдала?! — возмутилась Анна Петровна.— Ты хоть и бывший, но, наверное, про меня всё узнал, прежде чем сюда прийти.

— Узнал,— сказал комиссар.— Во время войны была радисткой в партизанском отряде имени Щорса, потом...

— Потом неважно,— оборвала комиссара Анна Петровна.— Потом, как и все, на фабрике работала. Но ты ведь узнал, наверное, и то, что меня гестапо вместе с рацией взяло. Три месяца пытали, а я не то чтобы выдала, я им ни слова не сказала. Меня еще два года по концлагерям мотали, пока наши не освободили. Это тебе моё последнее слово, и насчет машины

ничего ты не докажешь.

— Докажу,— сказал комиссар.

На киностудии шли съемки. Девушка-помреж хлопнула хлопнушкой перед объективом камеры, и «замнаркома», уже в шинели с четырьмя шпалами на петлицах, обнял жену.

— Всё,— сказала режиссер.— Последний кадр снят. Всем спасибо.

Кто-то захлопал, кто-то крикнул «ура», оператор подал знак, и осветители выключили приборы. Уже сматывали кабели, разбирали реквизит.

Режиссер молча сидела на стуле. Ее обходили. Ее не тревожили еще. Но вот рядом с ней остановилась пожилая дама-реквизитор, режиссер поднялась, и стул тут же унесли.

На рассвете по заснеженному полю шел трактор. Остановился у занесенной снегом скирды. Из кабины вылезли двое пожилых мужчин, разбросали сено. Внутри скирды стояла «Эмка». Мужчины подцепили «Эмку» к трактору, вытащили ее на шоссе, достали из кабины трактора бидон, закутанный в ватники, залили в радиатор воду. Один из стариков сел в «Эмку», и «Эмка», включив фары, понеслась по шоссе. Второй старик сел в трактор и двинулся в сторону светящейся вдаль деревни.

Кириллов пил чай и смотрел по телевизору занятия по аэробике, когда у него в квартире зазвонил телефон. Он снял трубку. Выслушал, бросился в переднюю. Накинув пальто, выскочил на площадку. Лифт был занят, и он бросился бегом по лестнице.

У кромки тротуара стояла его «Эмка». Кириллов заглянул в салон, ключи были в замке зажигания. Он выхватил ключи, зажал в кулаке. Обошел машину, по привычке ткнул носком ботинка в баллон.

«Эмка» стояла напротив детской площадки. Из-за грибка вышел высокий старик и остановился возле. Они посмотрели друг на друга.

— Я тебе, дед, в багажник два ската от «Эмки» положил. С пятидесятого года у меня на складе хранились. И бензонасос. Пригодятся.— Старик провел ладонью по крылу.— Машина у тебя в хорошем состоянии. Молодец. Извини за переживания, что тебе доставили, но Анюта попросила, и мы ее просьбу не могли не выполнить. И комиссару передала, что он все правильно высчитал.

Кириллов торопливо покивал, не совсем еще понимая, что к чему.

— Может, чайку попьем? — предложил он.

Старик мотнул головой:

— Не могу. Я на полдня отпросился, к посевной технику готовим.

— Значит, комиссар прав, машина не в Москве была. А в милиции нам сказали, что все выходы из Москвы тут же перекрыли.

— Ну, милиция сейчас намного лучше стала работать,— сказал старик.— А мы, хоть и бывшие, но партизаны. Ну, и операция, конечно, готовилась. Мы всё просчитали... Бывай.— Старик приложил ладонь к ушанке и зашагал прочь.

— Эй! — крикнул Кириллов.— Товарищ! Давай подвезу.

Старик махнул рукой и заспешил к оставшке троллейбуса.

И снова шла по Москве «Эмка».

Остановилась возле киностудии.

Кириллов повернулся к министру:

— Валерьян Петрович, давайте договоримся. Если нас попросят, мы, конечно, будем давать консультации, но встречать в работу молодых не станем. Им жить, им и разбираться. И с прошлым, и с настоящим, и с будущим.

— Что значит — им! — вскинулся министр.— И что значит не встречать, как ты выражаешься! Встревали и будем встречать!..

Мимо шли сотрудники студии — молодые и не очень. Шли актеры — известные и не очень. Оглядывались на «Эмку», стоявшую рядом со строем «Жигулей» всех цветов и моделей. А в «Эмке» сидели два старика, о чем-то ожесточенно спорили...

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ
«КИНОСЦЕНАРИИ»
ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО,
ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД.**

Альманах публикует
литературные сценарии художественных,
документальных и научно-популярных
фильмов,
а также сюжеты мультипликационных лент и
сюжеты
Всесоюзного сатирического киножурнала
«Фитиль».

Цена каждого номера альманаха
1 руб. 20 коп.

Подписку на альманах «Киносценарии»
можно оформить во всех отделениях связи.
Стоимость годовой подписки 4 руб. 80 коп.

Стоимость полугодовой подписки
2 руб. 40 коп.

В 1987 году редакция намеревается опубликовать новые произведения Одельши Агишева, Тимура Баблуани, Игоря Болгарина, Владимира Валуцкого, Евгения Габриловича, Евгения Григорьева, Эдуарда Дубровского, Тимура Зульфикарова, Рустама Ибрагимбекова, Олега Осетинского, Рамиза Фаталиева и других известных кинодраматургов.

Редакция также располагает сценариями молодых кинодраматургов: Ю. Арабова, И. Агеева, Л. Бобровой, В. Залотухи, А. Зинчука, Е. Ласкаревой и других.

1р.20к.
70434

КИНОСЦЕНАРИИ

1986

4